

В.А. Потто

КАВКАЗСКАЯ ВОЙНА

Том 5. Время Паскевича, или Бунт Чечни

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. ВЗГЛЯДЫ ПАСКЕВИЧА НА ПОКОРЕНИЕ КАВКАЗА	3
II. ВОЗНИКНОВЕНИЕ КАВКАЗСКОГО МЮРИДИЗМА И КАЗИ-МУЛЛА	9
III. ДАГЕСТАН В ЭПОХУ НАЧАЛА МЮРИДИЗМА	16
IV. ПЕРВОЕ ВООРУЖЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ МЮРИДОВ	23
V. КАХЕТИЯ И ЕЕ СОСЕДИ	30
VI. ПОКОРЕНИЕ ДЖАРЦЕВ	38
VII. ВОЕННО-ГРУЗИНСКАЯ ДОРОГА	41
VIII. ОСЕТИЯ И ОСЕТИНЫ	54
IX. ПОКОРЕНИЕ ЮЖНЫХ ОСЕТИН	64
X. ЭКСПЕДИЦИЯ В СЕВЕРНУЮ ОСЕТИЮ	70
XI. НАЧАЛО БОРЬБЫ С МЮРИДИЗМОМ	76
XII. КОЙСУБУЛИНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ (Поэт Полежаев)	85
XIII. ПОСЛЕДНЕЕ ЗАТИШЬЕ ПЕРЕД ВЗРЫВОМ	93
XIV. ПЕРВОЕ ВОЗМУЩЕНИЕ ДЖАРЦЕВ	101
XV. ВТОРОЕ ВОЗМУЩЕНИЕ ДЖАРЦЕВ	107
XVI. НЕУДАЧНАЯ ПОПЫТКА ВЗЯТЬ СТАРЫЕ ЗАКАТАЛЫ	111
XVII. ШТУРМ ЗАКАТАЛ И УСМИРЕНИЕ ДЖАРСКОЙ ОБЛАСТИ	116
XVIII. ЧЕЧНЯ ПОСЛЕ ЕРМОЛОВА	123
XIX. ЧЕЧНЯ ВО ВРЕМЯ ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЫ	128
XX. ПРЕДВЕСТНИКИ ВОССТАНИЯ	135
XXI. ВЕЛЬЯМИНОВСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ	144
XXII. ЗАТИШЬЕ НА КУБАНИ (Эмануэль)	151
XXIII. ПЕРВЫЕ ШАГИ ЭМАНУЭЛЯ НА КАВКАЗЕ	161
XXIV. СЕЛО НЕЗЛОБНОЕ	168
XXV. НА УБОРКЕ ХЛЕБОВ	177
XXVI. ХИЩНИКИ	182
XXVII. ПОКОРЕНИЕ КАРАЧАЕВЦЕВ	189
XXVIII. РЕПРЕССАЛИИ	195
XXIX. НОЧЬ НА 18 АПРЕЛЯ 1829 ГОДА (Смерть князя Измаила Алиева)	203
XXX. НА ЭЛЬБРУСЕ И АРАРАТЕ	211

I. ВЗГЛЯДЫ ПАСКЕВИЧА НА ПОКОРЕНИЕ КАВКАЗА

В то время, когда турецкая война близилась к своей развязке, Паскевича уже занимала мысль об окончательном покорении Кавказа. Он видел ясно, что отдельные экспедиции, предпринимаемые для наказания горцев, так же мало приносили пользы, как меры безусловной кротости, и потому изыскивал средства, чтобы раз и навсегда покончить с этим роковым вопросом. Время для этого казалось самым удобным. Многочисленные трофеи, провозимые то и дело через Кавказскую линию в Петербург, воочию свидетельствовали горцам о знаменитых победах, одержанных русскими в Персии и Турции, и слава этих побед, казалось, должна была бы удостоверить их в невозможности борьбы с такой могущественной державой, как Россия. Паскевич не хотел допустить даже мысли о серьезном сопротивлении “каких-нибудь горцев”, и на этом, главным образом, основал план своих будущих действий. Нужно сказать, что это было время всевозможных проектов. Военное министерство было засыпано трактатами, в которых было много любопытных, а еще более странных идей, показывавших только усердие, но никак не знакомство с Кавказом всех этих составителей планов. Предлагалось, например, действовать против горцев, подвигаясь не с равнины к горам, а напротив, с гор к плоскостям, строить крепости на хребтах, а наблюдательные посты на горных шпилях, рвать самые горы порохом, а против хищников растягивать проволочные сети по берегам Кубани и Терека. Советовали покорять горцев не оружием, а культурой во всем ее широком объеме, то есть просвещением, торговлей, водворением среди народа роскоши и даже пьянства. Были предложения учредить в Анапе лицей или кадетский корпус, в котором воспитывались бы черкесские юноши вместе с детьми черноморских казаков, полагая, что общность воспитания родит дружеские связи, которые не замедлят отразиться в будущем и на дружеском согласии обоих народов. В подкрепление этой мысли приводился даже обычай аталычества, преподавался совет, чтобы в этом заведении русский священник, поставленный рядом с муллой, из-под руки внушал бы мусульманским детям понятия о превосходстве христианской веры и тому подобное. Некоторые шли еще дальше и предлагали прежде всего озаботиться смягчением нравов, посредством заведения у горцев музыкальных школ. “В глубокой древности уже было известно,— писал один коллежский советник,— что музыка, производя приятное впечатление на слух, смягчает человеческие нравы”. Министерство даже не давало себе труда разбирать эти проекты, и массами отправляло их в Тифлис “на рассмотрение”. Там их читали и, после короткого отрицательного ответа, сдавали в архив, где они покоятся и поныне. В противоположность этим культурным планам, проект Паскевича основывался исключительно на силе оружия, как на аргументе единственно доступном пониманию горца. Он хотел воспользоваться пребыванием на Кавказе двух лишних дивизий и произвести разом одновременное движение против всех горских племен, чтобы лишить их взаимной помощи. Этим маневром Паскевич рассчитывал быстро и без особого труда завладеть всеми важнейшими пунктами в горах, прочно утвердиться в предгорьях и, таким образом, отняв у неприятеля все средства получать пропитание с равнин и плоскостей, вынудить его к покорности. В сущности это был тот же самый план, которого держался Ермолов в течение десятилетнего управления краем. Но то, чего достигал Ермолов упорным трудом, подвигаясь лишь шаг за шагом, Паскевичу казалось легко осуществить одним стремительным натиском. Нет никакого сомнения, что план этот возник у него под влиянием трех, блистательно исполненных, кампаний. Действительно, поля побежденной Персии, низринутые в прах твердыни Азиатской Турции — вот те вечные памятники, благодаря которым время командования Паскевича, по справедливости, должно быть отнесено к одной из особенно интересных и блестящих эпох русского владычества на Кавказе. Но, собственно, внутренним кавказским делам отводилось им до сих пор самое незначительное место. Быстро сменявшиеся события персидской и турецкой войн, обуславливая собой громадность и сложность занятий

Паскевича в делах внешней политики, не давали ему ни времени, ни свободы заняться серьезным изучением Кавказа. Он был знаком с ним лишь по донесениям частных начальников, не всегда основательным, и даже мимоходом не видел кавказской войны, которая потому и рисовалась в его воображении совсем не похожей на то, чем она была в действительности. Этим только и возможно объяснить себе тот резкий, полный самонадеянности тон, с которым он писал государю.

“Чем более делаю я наблюдений, тем более удостоверяюсь, что направление политики и отношений наших к горцам были ошибочны и не имели ни общего плана, ни постоянных правил. Жестокость, в частности, умножала ненависть и возбуждала мщение, а недостаток твердости и нерешительность в общем — обнаруживали слабость и недостаток сил. Опыт четырехлетнего моего управления оправдал мою политику, которая состояла единственно в том, что в частности я был снисходителен, но в общем угрожал твердостью и решимостью. От этого при всей малости войск наших, занятых войной против персиян и турок, горцы удержаны в покое и, исключая частные набеги, ничего важного не предпринимали”...

Паскевич, очевидно, приписывал своей политике то, что являлось лишь естественным результатом всей деятельности Ермолова. Но этого мало, он хотел идти дальше Ермолова, хотел покорить Кавказ одним ударом, и не только не покорил его, но отодвинул покорение на тридцать лет и создал войну, стоившую нам, в конце концов, множества жертв, крови, материальных потерь, нравственных потрясений...

Надо заметить, что в это самое время ходила по рукам мемория генерала Вельяминова, которая, конечно, не могла быть неизвестной и Паскевичу. Вельяминов, друг и сподвижник Ермолова, также изыскивал средства ускорить окончание тяжелой кавказской войны, но средства, предлагаемые им, значительно разнились от мыслей Паскевича.

По мнению Вельяминова, опыты прошедших лет не позволяли сомневаться, что главный вред, какой терпела от горцев Кавказская линия, происходил всегда от их конных набегов; поэтому, если поставить горцев в такое положение, чтобы они с большим трудом доставали лошадей, годных для хищнических наездов, то этим отнимется у них одно из важнейших средств делать нападения. Достигнуть же этого, по мнению Вельяминова, можно было, только заняв казачьими станицами все места, изобилующие пастбищами, как например, между Кубанью и Лабой, между Лабой и Урупом, по правую сторону Малки, по берегам Сунжи и Ассы. Увеличение числа кавказских линейных казаков, способствуя решительному покорению горцев и обеспечивая Кавказскую область, могло, сверх того, принести и громадную пользу в будущих европейских войнах. Таким образом, перенося наши линии за Кубань и на Сунжу, постепенно вытесняя горцев с плоскостей, истребляя у сопротивляющихся посева и жилища, Вельяминов приходил к убеждению, что при настоящих средствах Кавказского корпуса, то есть при двух лишних дивизиях, война может быть окончена в течение шести лет и будет стоить, сверх обычных сумм, отпускаемых на продовольствие войск, четырнадцать миллионов рублей ассигнациями.

Насколько этот план был основателен и применим практически, доказали позднейшие события, когда, после многолетней бесплодной борьбы, пришлось обратиться к тому же проекту и дать средств гораздо более, чем требовал Вельяминов. Но тогда глядели на дело еще иными глазами. На предложение Вельяминова государь отозвался, что требуемые средства чрезмерно обременят казну и что армию нельзя ослаблять и отвлекать от западной границы. Проект Паскевича, бравшегося покончить дело в одно наступавшее лето, был утвержден. Государь даже торопил его исполнение, так как по окончании экспедиции, обе дивизии — четырнадцатая и двадцатая — должны были немедленно

возвратиться в Россию. “Его Величество,— писал по этому поводу военный министр,— совершенно уверен, что полный успех увенчает ваше предприятие, столь необходимое для прочного обеспечения нашей оседлости на Северном Кавказе”.

Теперь оставалось разработать только детали.

Государь предполагал начать военные действия со стороны Каспийского моря, где горы имеют наименьший поперечник, и для этого употребить войска собственно Кавказского корпуса, в их полном составе; двадцатая же дивизия должна была сосредоточиться в виде резерва в окрестностях Тифлиса, а четырнадцатая — на Северном Кавказе, в кубанских и терских станицах, на случай, если бы горцы, теснимые с противоположной стороны, бросились на линию.

Государь, впрочем, не стеснял Паскевича действовать по обстоятельствам и предоставил ему широкие полномочия. Паскевич выработал программу несколько иную. Он полагал основательно, что прежде чем приступить к общему покорению горских народов, необходимо было обеспечить Закавказье и покорить джарских лезгин, без чего никогда не установилось бы спокойствие на границах Кахетии; затем требовалось привести от нас в такую же зависимость Осетию, стать твердой ногой в Абхазии, и только тогда уже пройти по всем направлениям Чечню и земли закубанских народов. Дагестан не особенно занимал главнокомандующего. Паскевич, более нежели следует, полагался на преданность к нам шамхала Тарковского, акушинского кадия и ханов Мехтулы и Казикумыка, которые, по его мнению, достаточно обеспечивали спокойствие приморского края и плоскости, а что касается Нагорного Дагестана, где главенство принадлежало сильной Аварии, то ханы ее только что добровольно присягнули тогда на подданство России и своим примером, казалось, не могли не повлиять на соседние с ними вольные общества. Правда, лезгины, спускавшиеся с гор, продолжали делать набеги в Кахетию, но Паскевич думал, что покорение джарцев вынудит и их к безусловной покорности. В противном случае предполагалось сделать к ним экспедицию, и если бы они оказали упорство, выселить их на плоскость. К началу мая войска, занимавшие Дагестан, должны были занять Аварию и оттуда, смотря по обстоятельствам, или идти на лезгин, соседних с Кахетией, или спуститься в Чечню, для содействия главным силам.

Таким образом, Дагестан был почти совсем устранен из общего плана и соприкасался с ним лишь косвенно, а между тем дальнейшие события показали, что именно Дагестан-то, которому так мало уделялось внимания, и был причиной, расстроившей все соображения и планы фельдмаршала. Там, в глухой койсубулинской деревушке Гимрах, никем не замечаемые, готовились события, которые грозили страшным потрясением нашему владычеству на Кавказе и не замедлили оказать решительное влияние на общий ход дела. То был мюридизм, кинувший горцев в страшный водоворот борьбы кровавой и религиозной. Правда, облик нового учения был еще туманен, но при должном внимании и тогда уже можно было различить в нем глухие отголоски приближающейся бури. Наружное спокойствие Дагестана обмануло Паскевича, в гуле победных громов он не слышал, как шумела река, разливавшаяся кипучим потоком, и как затопляла она все, чему было посвящено столько лет разумной деятельности и трудовой жизни Ермолова.

В феврале 1830 года Паскевич открывает военные действия, и первая экспедиция на землю джаро-белоканских лезгин оканчивается быстрым и бескровным покорением этих обществ; но, в то же время, из Дагестана приходят такие тревожные слухи, которые заставляют наконец внимательно взглянуть в тамошние события и увидеть в них нечто посерьезнее обыкновенного мусульманского бунта. То было вторжение мюридинов в Аварию. Бой под Хунзахом и поражение Кази-муллы аварцами умалили несколько

впечатление грозного движения, начавшегося в горах, но, однако, не рассеяли нависших над горизонтом туч. В это время Паскевич писал военному министру, что “несомненная цель нового учения заключается в том, чтобы отторгнуть от нас все дагестанские племена и соединить их под одно общее феократическое правление”...

В Петербурге вправе были ожидать самых энергичных мер со стороны Паскевича там, где, по его же мнению, дело касалось безусловно нашего владычества над Восточным Кавказом, и государь полагал справедливо, что всем этим смутам и неурядицам будет положен скорый конец. На этом основании он потребовал, чтобы военные действия, начатые покорением джаро-белоканцев, отнюдь не отлагались и чтобы все предначертания одновременного поиска в горы были окончены в течение лета.

Теперь главнокомандующий поставлен был в необходимость обстоятельно уже разъяснить те затруднения, которые, под влиянием текущих событий, принуждали его во многом отступить от первоначального плана. Он писал, что к военным действиям нельзя приступить ранее осени, так как войска из Турции могли прибыть только в августе; но что касается времени, в которое возможно окончить задуманный план, то Паскевич не брался определить его даже приблизительно — все зависело от обстоятельств, которых ни предвидеть, ни предугадать было невозможно. Он сам подал мысль и создал план покорения Кавказа; но теперь, соображая известную воинственность горцев и ближе ознакомившись с местностью, фельдмаршал не мог не сознавать всю трудность подобного предприятия. Да и время было уже не то, что в 1829 году, когда возник этот план. Тогда Дагестан находился в состоянии полнейшего спокойствия, теперь появился Кази-мулла с его религиозной пропагандой, и волнение, охватившее не только нагорные племена, но даже плоскостных кумыков, перебросилось в Чечню и угрожало занять всеобщим пожаром.

“Я желал бы,— писал он государю,— чтобы горцы совсем нас не знали и чтобы прибытие русских войск для их покорения было бы еще в первый раз. Тогда можно было бы утратить и привести их в изумление и неожиданной новостью впечатлений, и превосходством войск и оружия, и даже с пользой употребить политику, деньги и подарки. Но уже более пятидесяти лет, как они имеют дело с нами, и, к сожалению, были случаи, которые достаточно поселили в них мнение не в нашу пользу”...

Отнесшись с такой укоризной к деятельности своих предместников, “испортивших дело — по его выражению — настолько, что теперь уже трудно его поправить”, Паскевич, со своей стороны, предложил два плана.

Первый состоял в том, чтобы, “войдя стремительно в горы, пройти их по всем направлениям”. Такой генеральный разгром, конечно, мог произвести некоторое впечатление, но серьезных результатов от него ожидать было нельзя. Сам Паскевич пишет, что горцы, не имея ни богатых селений, ни прочных жилищ, которые стоили бы того, чтобы их защищать, будут уходить все далее и далее в глубь горных ущелий, но не перестанут наносить вред нашим войскам. “В такой войне,— говорит он,— гоняясь за бегущим и скрывающимся неприятелем, не может быть большой потери, но войска утомятся и, не имея ни твердых пунктов, ни верных коммуникаций, должны будут наконец возвратиться без успеха”.

Второй план заключался в том, чтобы, войдя в горы, занять выгоднейшие пункты, устроить укрепления и учредить безопасные коммуникации. Таким образом, подаваясь вперед постепенно и занимая область за областью, завоевание будет медленнее, но зато благонадежнее. Объединив оба эти плана, Паскевич рассчитывал пользоваться ими в

зависимости от обстоятельств, применяясь к характеру противника и свойствам страны. Но, к сожалению, и этим соображениям главнокомандующего не суждено было осуществиться, благодаря позднему открытию военных действий, так как полки, следовавшие из Турции, подходили постепенно. В ожидании их, время, однако же, не было потеряно даром: генералы Абхазов и Ренненкампф усмирили как северную, так и Южную Осетию, генерал-майор Гессе занял в Абхазии некоторые приморские пункты, а в Дагестан был послан достаточно сильный отряд, под начальством генерал-лейтенанта барона Розена с тем, чтобы занять Гимры, главное селение Койсубулинского общества, где жил Кази-мулла, и задушить мюридизм, так сказать, в самой его колыбели. Все это были, однако же, экспедиции частные, находившиеся только в связи с общим планом, но не составлявшие его сущности — покорения горцев. Последнее должно было начаться лишь с наступлением осени, когда фельдмаршал, рассчитывал собрать сорок тысяч войска в один отряд, и с этой грозной силой, которую не видели Тавриз и Эрзерум, пройти Чечню и земли закубанских народов. Внося к чеченцам меч и огонь, Паскевич намеревался искрестить страну по всем направлениям и в важнейших пунктах ее оставить сильные гарнизоны. “Если я успею,— писал он военному министру,— провести две линии: одну от реки Гудермеса через Мичик до Темир-Хан-Шуры, а другую из Телава через Хевсурию по реке Аргуну до Грозной, то можно будет надеяться, что покорение чеченцев совершится так же, как и покорение джарских лезгин”.

От закубанцев ждали не менее серьезного сопротивления, чем от чеченцев, а потому Паскевич, чтобы разъединить их силы, имел в виду вторгнуться к ним с четырех различных сторон: главные силы, под личным его предводительством, должны были идти со стороны Кубани против шапсуров и абадзехов; отряд из Абхазии, перейдя главный хребет в истоках реки Белой, устремиться на убыхов, а остальные два — действовать со стороны Анапы и Гагр. Сверх того, для содействия войскам, идущим из Абхазии, в распоряжение Паскевича должна была поступить часть черноморского флота.

Такова была уже окончательная программа Паскевича, от которой он не имел намерения отступить ни при каких обстоятельствах. Дагестан по-прежнему был исключен им из общего плана военных действий, так как тамошние события не имели, по-видимому, в глазах его большого значения. Он до такой степени был убежден, что экспедиция барона Розена покончит все затруднения, возникшие в Дагестане, что даже не стал ожидать ее результатов и двадцать седьмого мая выехал в Петербург, где пробыл почти до августа. К этому времени главная квартира перешла в Пятигорск; все частные экспедиции, предположенные Паскевичем, окончились, и войскам, постепенно сходявшимся на назначенные пункты, оставалось только приступить к военным операциям против чеченцев. Но именно эта-то главная . экспедиция и расстроилась самым неожиданным образом.

Причиной тому послужил отчасти все тот же Дагестан, упорно игнорируемый Паскевичем. Экспедиция барона Розена, от которой ждали блестящих результатов, кончилась ничем, так как Розен, обманутый наружной покорностью горцев, отступил от Гимр, и мюридизм, оставленный в покое, сделал в короткое время огромные успехи. Сдерживаемый еще кое-как нашими войсками на плоскости, он тем с большей силой развивался в горах и, наконец, нашел исходную точку в Джаро-Белоканской области. Там, летом 1830 года, вспыхнул мятеж, потребовавший с нашей стороны огромного напряжения сил и кончившийся кровавым штурмом Закатал и новым покорением джарцев. Таким образом, к началу осени значительная часть войск была отвлечена на театр войны, который до тех пор совсем не предвиделся; а между тем в полках, стоявших на линии, появилась холера. Этот страшный бич, тогда еще впервые посетивший Россию, произвел общую панику и с особенной силой свирепствовал именно в чеченских аулах.

Холера и недостаток войск, в связи с политическим состоянием Дагестана, и были причинами, заставившими Паскевича изменить начертанный им план и отложить чеченскую экспедицию до будущего года.

Теперь от всего обширного проекта, так долго занимавшего главнокомандующего, осталась только последняя часть его — движение против закубанских народов. Но и это предположение не могло осуществиться в тех грандиозных размерах, в каких оно предполагалось фельдмаршалом. Волнение в Абхазии удержало тамошние войска от участия в общем походе, и Паскевичу пришлось ограничиться только частной экспедицией против шапсугов и абадзехов; даже надежда его пройти через их земли к берегам Черного моря не исполнилась, так как поздняя осень, дожди и упорное сопротивление неприятеля остановили войска на реке Обине. Единственным полезным результатом этого похода было только личное знакомство Паскевича с краем да вынесенное им убеждение, что его система “вторгнуться в горы и пройти их по всем направлениям” не обещает успеха. Он сам истребил третью часть шапсугских земель — и не добился покорности. Пришлось и здесь остановиться на мысли медленного движения вперед укрепленными линиями с тем, чтобы в конце концов прорезать ими все пространство от Кубани до берегов Черного моря.

Таким образом, Паскевичу не удалось развить во всем объеме предназначения, сделанные им на 1830 год, и все обширные приготовления окончились несколькими частными экспедициями, которые, конечно, имели важное значение, но не дали Кавказу и России ожидаемого спокойствия. Седьмого декабря Паскевич возвратился в Тифлис, куда вслед за ним прибыла и главная квартира. Дальнейшие действия против горцев приостановились до наступления весны, а весной фельдмаршал был отозван в Польшу, на пост главнокомандующего действующей армии. Он выехал из Тифлиса двадцатого апреля 1831 года, поручив управление Северным Кавказом генералу Эмануэлю, а Закавказьем — генерал-адъютанту Панкратьеву. Взгляды Паскевича на ведение кавказской войны в это время уже значительно изменились. Покидая Кавказ, он оставил своим преемникам инструкции, в которых рекомендовал держаться преимущественно пассивной обороны. Из Петербурга, по его настояниям, повторили то же требование, а тут на беду выступил опять Кази-мулла с его кровавым учением, и пожар, охвативший тогда восточную половину Кавказа, угас только спустя двадцать восемь лет.

Время командования Паскевича на Кавказе продолжалось с небольшим четыре года. Главная деятельность его была поглощена внешними войнами, и делам Кавказа, силой обстоятельств, отводилось лишь второстепенное место. Тем не менее все, что сделано было им в короткое время для внутреннего развития страны, носило на себе печать несомненной административной заботливости. Он видел ясно, что вся система управления, существовавшая здесь со времени занятия Грузик, не только не вела к благоденствию края, но сама по себе уже служила источником различных неурядиц и беспорядков. Его поражала обширная власть главнокомандующих, вытекавшая здесь не из положительных законов, а из местных обычаев, которые разнообразились и применялись к управлению в бесчисленных формах. Паскевич первый указал на неотложную потребность гражданского переустройства края и, не доверяя в этом случае своим собственным силам, просил государя о назначении в край senatorской ревизии. Его заслуга заключается в том, что он наметил вопросы, на которые его преемники, не отвлекаемые более внешней политикой, могли сосредоточить всю свою деятельность.

В военном отношении, в деле умиротворения Кавказа, им также сделано было немало. При нем уничтожена была автономия Гурии, покорены осетины и карачаевцы, утратила последнюю тень независимости беспокойная Джаро-Белоканская область, упрочена за

нами Абхазия и покорилась Сванетия. Но надо сказать, однако, что все это были только зачатки, потребовавшие с нашей стороны еще долгой и упорной борьбы. Главное же, что оставил Паскевич в наследие своим преемникам,— это зарождающийся мюридизм, который он мог задушить в колыбели и не задушил, потому что не угадал, какие в этом зародыше скрываются семена будущих страшных потрясений.

II. ВОЗНИКНОВЕНИЕ КАВКАЗСКОГО МЮРИДИЗМА И КАЗИ-МУЛЛА

В то самое время, когда Россия победоносно выходила из войн с Персией и Турцией, двумя могущественными государствами Азии, в глубине Дагестана незаметно скапливались горючие материалы, грозившие Кавказу страшным потрясением. То готовился чрезмерный взрыв фанатизма, который в своем проявлении записан в наших летописях под грозным именем мюридизма. Мюридизм возвестил народам Дагестана “газават”, то есть войну религиозную, а следовательно войну кровавую и упорную до изуверства.

Собственно говоря, мюридизм не был каким-либо новым, неведомым мусульманскому миру, явлением; он существовал на Востоке целые столетия — с тех пор, как явился Коран, но никогда не выражался в той страшной и своеобразной форме, в которой проявился среди дагестанских горцев. Исследовать причины, побудившие сотни тысяч людей разом слиться в одной идее, дело политической истории; нам же доводится лишь проследить за явлением настолько, насколько оно выразилось с внешней своей стороны.

Никакая религия мира не исчерпывалась одним только кодексом законодателя, а всегда оставляла последователям широкое поле возможности дополнять и разъяснять этот кодекс новыми идеями. Так случилось и с религией Магомета. Едва раздалось слово проповедника, как тотчас же явились толкователи и выразители идей пророка, и между ними первенствующее место заняли последователи тариката, иными словами, учения, указывающего наилучший “путь к Богу”, то есть к достижению вечного блаженства. Учение тариката, сопровождаемое самосозерцанием, постом и молитвой, во многом уподоблялось христианскому монашеству. Основателями его являлись отшельники, которые своей святой, уединенной жизнью привлекали к себе последователей и вместе с ними составляли, в некотором роде, братства. Восточное воображение и фантазия, конечно, не могли оставить это учение чистым и отвлеченным, а увлекли его на путь мистицизма. Таким образом, в монашеском мусульманском братстве образовывались пять степеней духовного совершенства, для достижения которых требовались не только религиозные познания, но и исполнение многочисленных и трудных обрядов [Эти степени были учреждены по числу пророков-завоевателей: Адама, Авраама, Моисея, Иисуса и Магомета]. Все это дало возможность духовным учителям, именующим себя муршидами, имамами и тому подобное, в случае надобности эксплуатировать по своим личным расчетам толпу своих учеников, мюридов, и делать из них послушную орудие своих политических замыслов.

В мусульманском мире немало разыгралось кровавых революций, в которых вожаками политических партий всегда являлись муршиды со своими мюридами. Вызывая политическое движение во имя тариката, представители его, следуя наставлениям пророка, предварительно посылали ко всем мусульманам да'ват, то есть приглашение присоединиться к ним для защиты народных и религиозных прав, а затем уже, не принявшим да'вата, объявляли джигат (война за веру), чтобы силой оружия заставить их следовать за собой. Вот эти-то три начала: тарикат, да'ват и джигат, или по отношению к нам газават — и объединялись у нас в одном понятии мюридизм.

То, что было на Востоке, должно было неизбежно случиться и на Кавказе. С тех пор, как ислам нашел себе место среди кавказских народностей, явились и здесь последователи тариката, были муршиды и были мюриды; но до тех пор, пока это учение держалось тесной догматической рамки, все было тихо и спокойно. Правда, во имя религии и на Кавказе не раз поднимались бури, но они сами собой утихали, так как народ, косневший в духовном невежестве, не был в состоянии увлекаться религиозной идеей на продолжительное время и, вспыхнув как порох, скоро терял свою силу [Выдающимися событиями в этом роде были: появление Шейх-Мансура в восьмидесятых годах прошлого столетия и чеченский бунт 1825 года.].

Не то произошло в двадцатых годах настоящего столетия. Первые вожаки будущего грозного движения горцев шли к цели медленно. Возвестив народам Дагестана мюридизм, во всем его широком объеме, и укрепив его на почве политической свободы, они целые семь лет фанатизировали массы, прежде чем двинуть их на борьбу с неверными.

Чтобы объединить разрозненные племена Дагестана в одно крепкое тело, могущее противопоставить силу против силы русской, потребовалось влияние религии, и именно учение тариката, основные начала которого, отвергая светскую власть ханов, подчиняли и совесть, и волю народа одному духовному учителю, муршиду или имаму. Но обратить к изучению тариката целые народы, создать из них духовный монашеский орден, конечно, было нельзя, да это и противоречило бы тем целям, которые преследовались сеятелями мюридизма. Им нужно было довести толпу до такого состояния, чтобы эта толпа стремилась к достижению вечного блаженства не одним путем духовного просветления, а видела бы его в мученическом венце “шегида”, искала бы газавата. Отсюда проистекало то, что кавказский мюридизм, хотя имел в основе высокие идеи тарикатства, но не был уже тем чистым, нравственным учением, которое создано и освящено было первыми мусульманскими богословами. Истинный тарикат, как всякое подвижничество, требовал измождения тела вечным постом, молитвой, самосозерцанием и не допускал даже ношения оружия; для газавата нужны были, напротив, зоркие очи и крепкие мышцы, чтобы владеть кинжалом и винтовкой. Для газавата важны были уже не одиночные адепты, а целые массы, все население, которое, очевидно, не могло быть посвящено поголовно в высокие нравственные истины мистического учения. Вот почему истинных мюридов, во все продолжение кавказской войны, было немного; их считали сотнями, тогда как становившихся под знамя мюридизма набирались десятки тысяч, но зато от этих последних и не требовалось уже ничего, кроме строгого исполнения шариата, обязательного для каждого мусульманина, а из тариката — лишь основное правило его: слепое повиновение имаму. Таким образом, кавказский тарикат является просто политическим орудием, сектой, где под завесой религии образовывается невиданное доселе братство в несколько десятков тысяч людей, не сильных в богословии, но глубоко проникнутых одной идеей — ненавистью к неверным. Это воинствующее монашество, созданное при таких исключительных обстоятельствах, обратило всю свою дикую энергию против владычества русских, и горы Дагестана целые тридцать семь лет наполнялись непрерывным громом войны и звуком оружия.

Каким образом могло возникнуть это опасное движение среди покорных нам племен Дагестана, возникнуть, так сказать, на глазах у русских, заметивших его в момент лишь самого взрыва — это вопрос, остающийся открытым до настоящего времени. Вот, как об этом, касаясь лишь внешней стороны явления, говорят исторические документы и устные предания очевидцев.

В двадцатых годах нашего столетия, уже во времена Ермолова, представителем чистейшего тарикатского учения на Кавказе был некто шейх-Хаджи-Измаил,

проживавший в селении Кюрдамире, Ширванской провинции. Он был известен своей ученостью и святостью жизни. И этому-то старцу, отрешившемуся от мира и исключительно погруженному в созерцание духовных видений пророка, совершенно случайно суждено было стать творцом кровавых идей, зажегших на целые тридцать лет фанатическим пожаром Дагестан, а за ним и чуть не все Кавказские горы.

Произошло это следующим образом:

В 1823 году, при Аслан-хане казикумыкском, жил в кюринских владениях некто мулла Магомет, родом из селения Ярага; он также посвятил весь свой досуг изучению тариката, и если не достиг на этом пути известности Хаджи-Измаила, то, тем не менее, по обширным познаниям своим слыл в числе дагестанских алимов, а по уму и твердому характеру достиг звания главного кадия.

У муллы Магомета, в числе его учеников, воспитывался долгое время один бухарец по имени Хос-Магома, прилежно изучавший под руководством своего наставника все догматические истины Корана. По окончании учения он объявил, что отправляется на родину, и скрылся из Ярыглара. Точно ли он был в Бухаре или объезжал в это время других замечательных кавказских алимов — не известно, но через короткое время он возвратился назад и повел такую аскетическую, суровую жизнь, что мулла Магомет начал втайне следить за его поведением. Однажды, в глухую ночь — как рассказывают старики Ярага и носится предание по Дагестану — мулла Магомет пошел посмотреть, что делает его бывший воспитанник. Он увидел, что комната, где жил Хос-Магома, была озарена каким-то невиданным светом, а сам он сидел на ветхом келиме, углубившись в чтение Корана. Но едва Магомет вошел в комнату — огонь исчез, и мулла очутился в глубоком мраке. Пораженный удивлением, кадий просил Хос-Магому объяснить ему смысл этого таинственного явления.

“Почтенный наставник! — отвечал Хос-Магома. — Ты трудился и учил меня семь лет, и я до сих пор не мог ничем отблагодарить тебя. Но теперь я передам тебе мудрость бухарских алимов, не известную в странах Дагестана, открою такие великие тайны ислама, о которых и ты, алим, не имеешь понятия. Но прежде чем говорить о них, поедем со мной к кюрдамирскому эфендию и примем его благословение”.

Мулла Магомет согласился и вместе со своим учеником и несколькими кюринскими муллами отправился в Кюрда-мир для свидания с шейх-Измаилом. Это свидание было роковым для Кавказа.

Шейх как суровый аскет, не знакомый с практической стороной жизни, развивал перед гостем высокие богословские идеи, доходившие до самоотречения от личного “я”. Мулла Магомет как кадий, стоявший близко к народу и знавший степень духовного его развития, рисовал перед ним картины тогдашнего положения дел внутри Дагестана и требовал прежде всего направить на истинный путь совратившихся с него мусульман. Шаткость религиозных понятий, совершенное неведение шариата, заменяемого народными обычаями, не всегда согласными с духом мусульманской религии, действительно производили в народе тот безобразный нравственный хаос, который нельзя было назвать иначе, как полным духовным растлением. Таким образом, ученость одного и политические соображения другого привели общих к общему выводу — к необходимости заботиться о просвещении не тех одиночных лиц, которые были способны к восприятию высокого уровня тариката, а целых масс, погрязших в неведении основных начал религии и в ложном толковании Корана. Развивая эту идею, они остановились на мысли соединить разрозненные народы Дагестана в одно общее целое, прекратив между ними взаимные

междоусобия, ссоры и обычай кровомщения. А отсюда уже не трудно было додуматься, что для народа будет понятнее призыв к священной войне, чем богословские рассуждения, и этим страшным орудием решили воспользоваться оба проповедника, чтобы обратить народ к шариату. С минуты этого разговора тарикат получает в устах кавказских проповедников совершенно иное толкование и развивается в то грандиозное явление, двигавшее на смерть сотни тысяч людей, которое известно истории под именем кавказского мюридизма.

Прощаясь с муллой Магометом, шейх-Измаил возвел своего почетного гостя в звание муршида и благословил его, по возвращении домой, приступить к проповедованию тариката.

Это произошло осенью 1823 года.

Уже в той первоначальной форме, в которой вылилась новая идея из уст муллы Магомета, зазвучала политическая нотка, сглаживаемая истинными обязанностями тариката лишь настолько, насколько это было нужно, чтобы не произвести преждевременной бури.

В Кюринском селении Яраг, или Ярыглар, между бедными лачугами стоит простая деревянная мечеть с магометанской луной на кровле и с тремя круглыми окнами, напоминающими бойницы. Узкая лестница ведет снаружи на деревянную галерею второго этажа, покрытую навесом от дождя и палящего солнца. Внутренность мечети также не отличается роскошью; серо-коричневые стены ее украшены полуистертыми изречениями из Корана, пол покрыт старыми войлочными коврами, а посередине стоит кафедра из орехового дерева, довольно грубой работы. Не более двухсот человек может вместить в себя эта бедная мечеть, но ей-то именно и суждено было стать колыбелью мюридизма. Здесь престарелый мулла Магомет, после пламенной речи к кюринцам, впервые произнес газават — слово, возбудившее разом все дикие инстинкты народа и ринувшее его на путь кровавой борьбы, закончившейся только громом гунибской победы.

День, в который была произнесена эта речь, был первым днем мюридизма. Весть о новом учении и о чудесном ораторе с быстротой электрического тока охватила собой все углы Дагестана и пронеслась оттуда в Чечню. Аскетическая жизнь муршида, его глубокое знание Корана и пламенное красноречие привлекли к нему толпы учеников и поклонников: В Яраг стали приходиться уже и муллы, желавшие услышать новые, неведомые доселе им откровения. Многие из них проживали по целым месяцам, наблюдая втайне за поведением муршида, и всегда находили его в духовных трудах и в молитве к Богу. Молва о святости его распространялась все более и более, а вместе с тем росло и крепла проводимое им учение.

Описывая наружность муллы Магомета, современники говорят, что он был высокого роста, с длинной белой бородой; кротость и добродушие были написаны на его изможденном лице, а глаза ослепли от ночного бдения. И этот-то, по-видимому, мирный старик слабым, едва слышным голосом проповедовал всеобщее восстание на кровавую брань. Песни, игры, музыка, курение табака, вино и танцы объявлены были светскими обрядами, достойными казни. Принимавший учение мюрадизма, принимал точно монашескую схиму; но только эта схима звала его не из греховного мира в область поста и молитвы, а, напротив, в мир, куда газават должен был внести меч и огонь, чтобы оградить религию от притязаний гяуров.

“Истинные магометане,— внушал мулла Магомет,— не могут быть под властью неверных, потому что присутствие их заграждает путь к престолу Аллаха. Молитесь и

кайтесь; но прежде всего ополчитесь на газават — без него один шариат не приведет к спасению”.

Большинство слушателей смутно понимало сущность пропаганды, а многие и вовсе ничего не понимали, вынося из проповедей только неясное предвидение близкой борьбы с русскими, уже занявшими плоскость и стоявшими у входа в самые горы. Весь склад суровой жизни готовил лезгина к трудной борьбе и военным тревогам. Почва, следовательно, была готова, оставалось идею осуществить на практике. И вот мулла Магомет рассылает своих последователей — мюридов, которые, с деревянными шашками в руках и с заветом гробового молчания, обходят горы и аулы Казикумыка. В стране, где семилетний ребенок не выходил из дома без кинжала на поясе, где пахарь работал с винтовкой за плечами, вдруг появились в одиночку безоружные люди, которые, встречаясь с прохожими, ударяли по земле три раза деревянными шашками и с безумной торжественностью восклицали: “Мусульмане — газават! Газават!” Мюридам дано было только одно это слово, и на все остальные вопросы они отвечали молчанием. Впечатление было чрезвычайное; их принимали за святых, охраняемых роком, и горцы, любопытство которых было возбуждено самым страстным образом, стали тысячами стекаться на поклонение мулле Магомету.

Но пока этим все и ограничилось.

Напрасно некоторые историки связывают с новым учением восстание, вспыхнувшее в том же году в Мехтуле и кончившееся трагической смертью полковника Верховского. Нет никаких данных, которые позволили бы предполагать какую-либо связь между этими событиями. Мятеж в Мехтуле был делом совершенно случайным. Это были домашние счеты, вызванные жестокостью русского пристава, о чем согласно говорят и наши документы, и горские источники, а при этих условиях мятеж возможен был и без всякой религиозной пропаганды.

Тем не менее, когда Ермолов в том же году посетил Дагестан и из разговоров с араканским кадием Сеид-эфенди узнал о зарождающемся мюридизме, он приказал Аслан-хану казикумыкскому прекратить беспорядки.

Аслан-хан сам отправился в кюринское селение Касумкент, куда, по его требованию, явился и мулла Магомет ярагский с некоторыми из своих последователей. Мулла начал излагать перед ханом истины тарикатского учения, и на вопрос: “Почему твои мюриды ходят по деревням и кричат газават?” — отвечал:

— Мои мюриды в религиозном экстазе не понимают сами, что делают; но их поступки показывают ясно, что все должны делать.

— Твое учение только соблазняет народ,— возразил Аслан-хан.— Газават дело угодное Богу; но разве ты не знаешь силы русских, разве не понимаешь, сколько через твою пропаганду может пострадать и погибнуть невинных людей?

— Русские, конечно, сильнее нас,— спокойно отвечал мулла Магомет,— но Бог сильнее русских: в его руках победа и поражение. Я бы посоветовал и тебе, хан, оставить мирскую суету и подумать о том, куда мы все пойдем от последнего раба до царей и пророков.

— Я мусульманин и исполню шариат, как повелевают священные книги,— сказал Аслан-хан.

— Ты говоришь ложь,— запальчиво возразил проповедник.— Ты и твой народ во власти неверных, а при этом исполнение вашего шариата ничего не стоит.

Этот дерзкий ответ и укор, брошенный в лицо одному из могущественных владетелей Дагестана, вывел из себя гордого хана. Он публично дал мулле Магомету пощечину и выгнал его вон.

Но на другой день, мучимый раскаянием, хан вторично пригласил к себе старого кадия и просил у него прощения. Тогда мулла воспользовался минутой и сумел своим красноречием подействовать на грубую натуру хана.

— За мою обиду Бог тебе простит,— отвечал мулла,— но ты, хан, не будь по крайней мере истинным приверженцем русских. Если ты не можешь допустить проповедование тариката в твоих владениях, то не препятствуй в том другим дагестанцам. Вспомни, что если русские встретят в Дагестане много врагов; ты будешь им нужен и тебя осыпят наградами; но если они покорят горы, ты будешь выброшен ими как ненужная ветошь.

Хан призадумался. Льстивые слова мурлы Магомета показали ему чем-то пророческим. Он отпустил его домой, а Ермолу донес, что в ханстве восстановлен полный порядок.

Таким образом мюридизм втихомолку продолжал развиваться. Магомет ярагский стал уже не единственным проповедником новой идеи, а рука об руку с ним действовали и быстро выдвигались на народную арену другие знаменитые представители тариката, из которых особенно выдавался ученостью и святостью жизни Джемалладин казикумыкский. “Благодать этих святых,— говорит один из горских историков,— так действовала на распространение в народе шариата, как действует весенний дождь на произрастание хлеба”.

Рассказывают, что Аслан-хан, встревоженный проповедями Джемалладина в своих владениях, приказал привести его во дворец. Но когда Джемалладин явился и стал перед ханом, облокотившись на палку, Аслан, уже готовый произнести над ним смертный приговор, вдруг побледнел и поспешно вышел из комнаты. “Отпустите его домой и не трогайте,— сказал он своим приближенным,— я видел, что его пальцы сияли светом, как зажженные свечи”...

В таком положении были дела, когда в 1825 году Ермолов увидел в чеченских событиях отражение нового дагестанского учения и, опасаясь, чтобы волнение не охватило приморский Дагестан, приказал Аслан-хану арестовать муллу Магомета и доставить его в Тифлис. Магомет был арестован, но с дороги бежал и скрылся в Табасарани. Вслед за ним бежал из Казикумыка и Джемалладин. Начавшиеся затем персидская, а потом турецкая войны надолго отвлекли внимание нашего правительства от внутренних дел Дагестана; а между тем новое учение росло и фанатизировало массы до высокой степени.

Все было готово. Нужен был вождь,— вождь явился.

В числе последователей тариката был один гимринец, по имени Гази-Мухамед, о жизни и деятельности которого, до выступления его открыто на политическое поприще, сохранилось так много разноречивых сведений, что по ним трудно Добраться до какой-нибудь истины.

Шах-гази-хан-Мухамед, известный в истории под именем Кази-мурлы, провел свое детство в Гимрах и подобно своим сверстникам занимался тем, что возил на осле

виноград и знаменитые гимринские персики в шамхальские владения и там менял их на пшеницу. Постоянные разъезды, разнообразные встречи, знакомство с иной природой и иными людьми,— все, что так бесследно проходило для большинства детей его возраста, развило в его пытливом уме любознательность и интерес к знакомству с такими предметами, о которых он не имел понятия. Но удовлетворить жажде знаний было очень трудно. В то время в Дагестане не существовало правильно организованных школ для прохождения книжного учения, а в так называемых медресе, существовавших почти в каждом ауле, можно было научиться только чтению Корана. Но этого было слишком мало для того, кто желал занять место муллы или кадия или же приобрести звание эфенди. Мальчикам приходилось ходить по аулам, разыскивая достаточно ученого кадия, от которого можно было бы позаимствоваться более глубокими богословскими сведениями. Подобно своим сверстникам скитался из одной мечети в другую и Гази-Мухамед, пока не попал наконец в Араканах к знаменитому алиму того времени Сеид-эфенди. Естественно, что направление, данное своему ученику умным Сеидом, одним из приверженцев русских, было радикально противоположно учению тарикатских шейхов и не могло толкнуть Кази-муллу на тот кровавый путь, на котором он завоевал себе место в истории. Но ум Кази-муллы был такого склада, что не мог оставить без внимания и нового учения. Он отправился в Казикумык, где в то время находился святой Джемалладин; но прежде чем принять от него тарикат, он захотел испытать, точно ли шейх имеет дар прозорливости, как о том говорили в народе. Когда он, никому не знакомый в Казикумыке, вошел в дом Джемалладина и скромно поместился у порога, Джемалладин сказал ему: “Здравствуй Гази-Мухамед! Садись поближе ко мне, там не твое место”. Удивленный Кази-мулла спросил: “Почему ты знаешь мое имя, когда прежде никогда на видал меня?” “Разве в книге не сказано,— отвечал Джемалладин,— берегитесь прозорливости верного раба, он смотрит светом Божиим. Разве ты сомневаешься, что я верный раб?”

Эти слова поразили Кази-муллу: он упал ниц перед святым муршидом, исповедуя свой грех, и стал ревностным мюридом Джемалладина.

Но тарикат, который проповедовал Джемалладин, был тарикат истинный, чуждый политическим целям; он был направлен собственно к возвышению чисто религиозного духа своих последователей, и в этом понимании божественных откровений Джемалладин резко расходился с воззрениями своего наставника Магомета ярагского. Основываясь на словах пророка, сказавшего при возвращении домой после боя с неверными: “Мы совершили малый газават, теперь предстоит большой”, то есть борьба с собственными страстями, он учил народ, что усмирение страстей и очищение себя от греховных помыслов есть дело более угодное Богу, чем война с неверными. Кази-мулла, принявший от него тарикат, не разделял, однако же, взглядов своего наставника и, чтобы разъяснить мучившие его сомнения, решил обратиться за советом к мулле ярагскому, к тому, кто поставил муршидом и самого Джемалладина. Он написал ему: “Аллах велит в своей книге воевать с неверными, но мой наставник Джемалладин воспрещает это: чьи повеления исполнять мне?” “Повеления Божий,— ответил ему шейх,— мы должны исполнять более, чем людские”.

Тогда Кази-мулла отправился сам на свидание с муллой Магометом. Путешествие в Яраг он совершил пешком, с полным религиозным смирением, в сообществе только одного из своих друзей — Шамиля, тогда только что начинавшего свое историческое поприще. Достигнув Ярага, он отправился прямо в дом кюринского кадия и почти целый год пробыл в сообществе знаменитого шейха. Не раз случалось им уходить из селения в поле и просиживать вдвоем целые ночи, беседуя и любуясь бесконечными красотами горной природы; учитель пояснял ему смысл правоверия, открывал тайны религии, рассуждал о шариате, о способе привлекать в себе сердца людей, убеждать их, повелевать ими.

Уединенная, отшельническая жизнь развила в мулле Магомете необычайную созерцательность, приучила читать живую книгу природы и видеть во всем таинственные символы, сокровенный смысл которых постигал он один.

“Однажды ночью, это было в позднюю осень,— рассказывал сам Кази-мулла одному гимринскому старику, здравствующему еще и поныне,— наставник мой сидел задумчиво у входа в пещеру; свет луны ослепительно отражался на высях гор, покрытых снегом и загроможденных вековыми льдами. Я не смел прервать его благоговейного размышления. Наконец он встал и, пересев к очагу, углубился в чтение Корана, а я между тем заснул. Наступила полночь. Я проснулся от непонятного сильного шума: точно река, свергаясь с высоких гор, ворочала огромные камни; в воздухе стоял оглушительный гул, скалы колебались, земля дрожала. В страхе смотрю вокруг себя — и что же вижу? Передо мной стоит муршид, окруженный дивным сиянием; седая борода его блестит, как лед, а глаза сверкают странным огнем, который жжет душу и сердце; он держит в одной руке Коран, другую простирает ко мне и твердым голосом, ясно отделявшимся от подземного гула, произносит: “Именем Аллаха подвизаю тебя на священную войну за правоверие, и да будешь ты наречен Гизи-муллой”. Я повергся к его ногам и с трепетом слушал вдохновенные слова учителя. Когда он умолк, и я осмелился поднять свою голову, передо мной стоял уже не вдохновенный прорицатель, а старец, изнемогший от душевной истомы. После того он целый месяц лежал обессиленный”.

Таков рассказ самого Кази-моллы о провозглашении его газием. Но нужно было сделать имя это известным целому народу. И вот в маленьком садике ярагской мечети, который существует еще и теперь, несколько темных мулл, учеников кюринского шейха, держали в 1828 году последний совет, на котором положено было начать газават. Мулла Магомет был душой этого совета. Вскоре после того он собрал к себе представителей всех вольных обществ Дагестана: ученых мулл, кадиев, старшин и, после долгой молитвы, объявил всенародно, что знамя газавата поднимет его любимый ученик Гази-Магомет, и тут же провозгласил его имамом.

“Именем пророка,— сказал он, возложив руку на его голову,— повелеваю тебе, Гази-Магомет, иди, собери народ и с Божьей помощью начинай войну с неверными. Вы же,— продолжал он, обращаясь к народным представителям,— ступайте домой, передайте вашим соотчикам все, что видели здесь, вооружите их и ведите на газават. Вы живете в крепких местах; вы храбры; каждый из вас как истинный мусульманин должен идти один против десяти неверных. Рай и светлый венец шегиды ожидает тех, кто падет в бою за веру и пророка”...

Провозгласив газават и поставив вождя, мулла Магомет с этой минуты удаляется с политического поприща, а на его место, уже на кровавую арену, выступает Кази-мулла.

III. ДАГЕСТАН В ЭПОХУ НАЧАЛА МЮРИДИЗМА

После того, как шейх Магомет торжественно провозгласил Кази-муллу имамом, последний возвратился в Гимры и, удалившись от общества, весь погрузился в религиозные размышления. Нет сомнения, что ввиду грандиозной задачи, выпавшей на его долю, Кази-мулла испытывал некоторого рода колебания и выжидал удобной минуты, прежде чем поднять священное знамя имама. И действительно, время к тому было не вполне благоприятное. Персидская война, так долго ласкавшая горцев несбыточными надеждами, окончилась в стенах Тавриза, а вместе с ней окончились и все их мечты и иллюзии. Теперь и шамхал тарковский, и хан казикумыкский, один на севере, другой на юге, зорко стояли на страже спокойствия Дагестана, и их усердие даже нужно было

сдерживать, а не поощрять какими-нибудь понудительными мерами. Так, однажды, два эмиссара, распространявшие в народе турецкие прокламации, были схвачены и доставлены на суд грозного хана. Суд был короток и строг. Хан приказал одному из них отрезать язык, другому обрубить уши, и затем выпроводил их на родину. “Такой поступок хотя и не был мной одобрен,— писал по этому поводу Паскевичу тифлисский военный губернатор Сипягин,— но так как хан сделал это из одного усердия, то я отнесся к нему с просьбой, чтобы он впредь удерживался от подобных расправ, а присылал бы виновных в Тифлис”. При таких отношениях к делу, никакая пропаганда не могла иметь в народе быстрого успеха, и восточный Кавказ наслаждался полным спокойствием. Даже Авария, издавна враждебная России, не перестававшая смотреть на нее, как на источник всех своих зол, видимо стала мириться со своим зависимым положением и искала уже сближения с русскими.

Чтобы понять причины, побудившие Аварию уклониться от традиционной политики оружия, завещанной ей славным Омар-ханом, не раз заставлявшим трепетать самую Грузию, бросим беглый взгляд на эту страну и на ее недавнее прошлое. Последний правитель ее, султан Ахмет-хан, принадлежавший к владетельному мехтулинскому дому, умер в 1823 году, оставив после себя законным наследником малолетнего сына Абу-Нусал-хана. Но Ермолов, еще при жизни султана объявивший его, как изменника лишенным покровительства русских законов, желал навсегда устранить от правления весь род крамольного хана, и потому со своей стороны провозгласил владетелем Аварии молодого Сурхая. Это был последний представитель знаменитой династии Омара; но, к сожалению, он происходил от брака с простой узденькой, и потому, по законам страны, не имел никаких прав на престолонаследие [Сурхай был сын Гебека, родного брата Омар-хана и, следовательно, приходился последнему родным племянником.]. Тем не менее, Авария разделилась тогда на два враждебные лагеря — меньшая часть ее подчинялась Сурхаю, благодаря громадным привилегиям, дарованным ему Ермоловым; большая же часть осталась верной Нусал-хану, за малолетством которого правила страной мать его ханша Паху-Бике, хитрая, но замечательно умная и энергичная женщина. В таком состоянии Авария находилась уже несколько лет. Ни аварцы не могли отделаться от Сурхая, ни русское правительство не было в силах совсем устранить Нусал-хана, чтобы объединить в одних руках древнюю власть аварских ханов. И эти непрерывные распри двух партий, из которых враждебная России была сильнее, тяжело отзывались и на стране, и на смежных с ней русских границах.

Так наступил 1828 год, когда Абу-Нусал-хан достиг наконец совершеннолетия. Умная ханша продолжала, однако, стоять у кормила правления и видела ясно, что при тех внутренних смутах, которые ежечасно потрясали Аварию, власть ее сына, без чьей-нибудь посторонней поддержки, не могла быть прочной. О политических союзах в горах мечтать было трудно, так как соседние вольные общества были бессильны отстаивать даже собственную свою независимость. Из владетельных ханов также не было никого, кто бы решился прямодушно протянуть ей руку. Мало того, и шамхал тарковский, и хан казикумыкский были сторонниками русских и находились с ней в открытой вражде. На помощь извне рассчитывать было еще труднее. Персия, возбудившая было так много надежд среди дагестанских горцев, теперь, разбитая и уничтоженная, лежала у ног России. Турция гибла под ударами Паскевича; оставалось, следовательно, одно, последнее средство — искать сближения с самой Россией,— и ханша повела это дело умно и энергично.

По ее настоянию, молодой Абу-Нусал-хан написал письмо генералу Эмануэлю, командовавшему войсками на Северном Кавказе, с просьбой принять его со всем аварским народом под покровительство русского государя. Эмануэль сразу оценил те

выгоды, которые могло доставить нам центральное положение Аварии в горах, и, со своей стороны, настойчиво пошел навстречу сделанному предложению. Испрашивать инструкций Паскевича, находившегося в Турции, не было времени,— и он решил принять все дело на личную ответственность. Для начала переговоров Эмануэль пригласил ханшу Паху-Бике прибыть на границу Аварии; но ханша отвечала, что “по обычаям и законам их страны, не жены к мужьям, а мужья ходят к женам”, а потому желала видеть русского генерала или доверенное от него лицо в Хунзахе. Эмануэль согласился. Уполномоченным с русской стороны назначен был известный кумыкский старшина Мусса-Хасаев. Однако, ханша, узнав об этом, просила назначить другого, так как Мусса имел в Дагестане много кровников, и она не ручалась за его безопасность. Тогда выбор пал на кумыкского князя Чапан-Муртазали-Алиева, который седьмого августа 1828 года, в сопровождении прапорщика сорок третьего егерского полка Хрисанфова и девятнадцати почетных туземцев, отправился в Хунзах. На границе Аварии посольство встретил ханский конвой и сопровождал его до самой столицы, где князь Чапан был принят с почестями и вместе со всей свитой помещен в ханском дворце.

На следующий день последовало представление его лицам ханского дома. Дом этот состоял в то время из самого Абу-Нусал-хана, имевшего двух малолетних братьев и сестру Салтанету, знаменитую красавицу, игравшую такую романтическую роль в судьбе Амалат-бека. Затем следовали: ханша-правительница Паху-Бике и две старые бабки, Гихили и Костоман. По словам Чапана, оставившего любопытные записки об этом путешествии, правительница была средних лет, пользовалась общим уважением народа и отличалась необычайной деятельностью. Ее постоянно можно было встретить на улицах Хунзаха верхом на бойком иноходце, в сопровождении семи преданных ей женщин да нескольких нукеров, составлявших всю ее свиту. Старая Гихили, вдова знаменитого Омара, была также любимицей народа; но так как она не имела детей, то отказалась от всякого участия в правлении, и тем не менее без ее совета не приступали к решению ни одного сколько-нибудь важного дела. Костоман, по всей вероятности, являлась личностью бесцветной, потому что Чапан обходит ее совершенным молчанием.

Переговоры на первых же порах встретили, однако, такие серьезные препятствия, которые едва не расстроили все наши предположения. Ханша потребовала, чтобы те части Аварии, которые при жизни Ахмет-султана были отданы Ермоловым во владения шамхала тарковского и Сурхая, вновь были бы возвращены ее сыну. Это требование превышало полномочие Чапана, а потому тотчас же поскакал гонец к Эмануэлю за нужными инструкциями. Генерал отвечал, что примет с признательностью присягу аварского народа, но что о возвращении земель, некогда отторгнутых от бывшего Аварского ханства, не может быть и речи, уже потому, что и шамхал тарковский и Сурхай в течение десяти лет укрепили за собой право на эти владения постоянной верностью. Таким образом, расчеты ханши Паху-Бике были обмануты, но отступить назад ей уже было нельзя, и после нескольких дней колебания, девятого сентября 1828 года, аварский народ принес присягу на верность русскому государю. Три города и двести семьдесят восемь селений, более чем со ста тридцатью тысячами жителей, поступили в подданство Русской империи. Впрочем, так доносил генерал Эмануэль; в действительности же Авария вовсе не была так многолюдна и сильна, как казалась издали.

По возвращении из мечети, депутация, по обычаю, поднесла подарки от имени Эмануэля: ханше Гихили — бриллиантовый перстень с бразильским топазом, правительнице — бриллиантовый перстень с гранатами, а молодому хану — золотой хронометр.

Знаменательный день завершился народным праздником и пиром во дворце юного хана, на котором присутствовали все знатнейшие аварские беки и даже соседние владельцы и

старшины, съехавшиеся поздравить Абу-Нусал-хана со вступлением его на престол своих предков. Торжество продолжалось несколько дней, и аварцы, по-видимому, были искренни и чистосердечны.

Между тем Паскевич, получив об этом донесение, поставлен был в весьма затруднительное положение. Признание аварским ханом кого-либо из членов фамилии умершего султана вовсе не входило в его соображение, а главное, это ставило наше правительство в ложное положение к Сурхаю, которого нельзя было без всякого основательного повода лишить в стране значения и власти; к этому прибавились еще опасения, чтобы оскорбленный Сурхай не стал искать себе поддержки в народных смятениях, что в конце концов заставило бы Россию вмешаться в дела Аварии вооруженной рукой. “Если бы генерал Эмануэль,— писал Паскевич министру иностранных дел,— уведомил меня предварительно о начатых им переговорах, то я не отступил бы от принятого мной правила не вмешиваться в дела Дагестана до окончания турецкой войны, так как ни одного из наших требований мы, в настоящее время, поддержать оружием не можем. Я бы посоветовал тогда Эмануэлю замедлить с принятием покорности, а между тем предварительно испросил бы по этому важному предмету разрешения государя императора”.

Но так как дело уже сделано, то Паскевичу оставалось только извлечь из этого события наибольшую пользу. Он остановился на том, что признал Абу-Нусал-хана владельцем лишь той части Аварии, которая повиновалась ему до начала переговоров; а деревни, находившиеся в подчинении Сурхаю, утвердил за последним. Нельзя не сказать, однако, что подобное разделение Аварии ставило русское правительство в положение, требовавшее особенного внимания. Нужна была крайняя осторожность и так, чтобы лаская нового хана, не возбудить зависть в Сурхае, и, в то же время, поддерживая Сурхая, как человека уже испытанной верности, не вооружить против себя Абу-Нусал-хана. Но эти неудобства, по мнению Паскевича, окупались большими преимуществами, если взглянуть в обратную сторону медали. Авария, замкнутая непроходимыми горами, доселе была недоступна нашим войскам, а при таких условиях, если бы она подчинилась одному владельцу и этот владелец явился бы таким же смелым предводителем, каким был знаменитый Омар,— то страна легко и безнаказанно могла бы отложиться от русских. Разделение же Аварии между двумя владельцами, из которых каждый будет искать нашей защиты, разъединит ее силы и, в случае надобности, проложит нашему оружию свободный путь в самые недра аварской земли.

На этом основании Паскевич заключил с обеими сторонами акты на верноподданство; обоим владельцам пожалованы были чины полковников, с двухтысячным жалованием, высочайшие грамоты на ханское достоинство, знамена с императорским гербом и драгоценные сабли с надписями. Все эти знаки ханской инвеституры доставлены были в Тифлис; но передачу их Паскевич отложил до окончательного примирения между собой обоих ханов.

Казалось, что подчинение могущественной Аварии должно бы было прочно обеспечить наше положение в Дагестане. И, быть может, оно бы так и случилось, если бы обстоятельства совершенно неожиданно не выдвинули в это время на политическую сцену Кази-муллу, с его кровавой пропагандой.

Возвратившись в Гимры, Кази-мулла увидел, что почва для газавата еще не была подготовлена. Но как сеятель слова Божьего он не усомнился бросать семена мюридизма направо и налево, полагая, что если иное и упадет на каменистую почву и, выросши, скоро заглохнет, то все же и кратковременное прозябание его, если и не принесет плода,

то послужит к удобрению земли для будущего всхода. Таким образом, цель была намечена ясно, а план к достижению ее был прост и основывался не на каких-нибудь умозрительных, отвлеченных идеях тариката, а на коренных началах религии, доступных пониманию каждого горца.

С высоты своего духовного развития Кази-мулла увидел вокруг себя полное нравственное растрение, происходившее единственно от неведения народом шариата. Законом служил не Коран, а простые обычаи, адаты, выработанные житейским опытом, а потому часто противоречившие священным книгам. Муллы были невежественны. Мужчины курили табак, предавались пьянству, пели греховные песни и танцевали в сообществе с женщинами. Молодые девушки и даже замужние женщины ходили с непокрытыми лицами, и случаи нарушения спокойствия и святости домашнего очага бывали не редки. Жизнь мусульманина считалась ни во что, и целые реки крови лились вследствие обычаев кровомщения. На глазах Кази-муллы случилось однажды следующее происшествие.

В селении Иргонае, Койсубулинского общества, проживал некто Мирза-бек-оглы, бежавший сюда из Дженгутая после убийства мехтулинского пристава. Спустя несколько лет мирного пребывания среди приютившего его общества, Мирза был убит в ссоре одним из иргонаевцев. Вот это то обстоятельство, столь обычное в горах, где люди не расстаются с оружием, послужило началом чудовищного кровомщения. Однажды ночью семнадцать мехтулинцев нагрянули за Иргонай, чтобы разыскать убийцу. Последнего не было дома, и потому жертвами безумной мести сделались две ни в чем не повинные женщины, да араканский житель, случайно ночевавший в сакле. Когда в Иргонае поднялась тревога, мехтулинцы, не успевшие покинуть аул, заперлись в саклю и, конечно, дорого продали бы свою жизнь, если бы старшины аула не предложили им покончить дело мировой, согласно народным адатам. Те изъявили согласие, но когда, усыпленные джаматом, они ослабили бдительность, народ кинулся в саклю, и все семнадцать человек, захваченные врасплох, были зарезаны на площади.

Вот против этих-то, позорящих мусульманскую религию, сцен, против растрения нравов и общего неверия, Кази-мулла и выступил во всеоружии духовного проповедника. Он избрал для этого лучший путь, подкрепляя каждое слово примером собственной жизни. Как некогда пустынный Петр Амиенский созывал крестоносцев на защиту Господнего гроба от сарацинов, так и Кази-мулла с сумой, наполненной одним толокном, и с посохом в руке обходил аулы, беседуя с народом и возбуждая в нем дух фанатизма.

Красноречие его, по словам горцев, было таково, что сердце человека прилипало к его губам, и он одним дыханием будил в душе человека бурю.

Красноречие и сила слова его, вместе с глубокой ученостью, приводили в восторженное опьянение слушателей и делали то, что народ, постепенно приучаемый к правилам шариата, не слишком даже чувствовал суровость его требований; мужчины бросили табак и перестали пить вино, женщины прикрылись покрывалами; а молодежь приутихла, и всякое пение, за исключением гимна “Ля-илляхи-иль-Алла”, было изгнано как несвойственное истинному мусульманину.

Но между тем как все это совершалось в Гимрах, и Гимры, полные религиозного экстаза, незаметно принимали иную физиономию, учение Кази-муллы постепенно проникало и в соседние общества. Жители Ашильтов, чиркеевцы, иргонаевцы и другие, привлекаемые в Гимры славой проповедника, по возвращении домой охотно распространяли его идеи, и Кази-мулла приобретал с каждым днем все большее и большее число последователей, так что мог наконец приступить уже к решительным действиям.

Вскоре сами обстоятельства подали к тому повод.

Жители пограничного шамхальского селения Караная обратились к нему с просьбой дать им кадия. Кази-мулла указал на одного из своих учеников по имени Магома-Илау. Каранаявцы встретили его с почетом, но, испытав на деле строгость нового кадия, скоро раскаялись и выгнали его из селения. Тогда оскорбленный Кази-мулла подступил к Караная с гимринцами; жители не решились стрелять по святому человеку, и Кази-мулла занял Караная беспрепятственно, наказав возмутившихся, согласно шариату, палочными ударами. Это было первое вооруженное движение мюридов, сильно подействовавшее на умы народа, начавшего видеть в Кази-мулле уже не одного духовного наставника.

Случай в Караная обратил внимание Кази-муллы вообще на плоскость. Зная слабость и недостаток влияния шамхала Тарковского, он был убежден, что семя, брошенное на этой почве, прорастет успешно,— и к концу 1828 года, действительно, приобрел уже много последователей не только в Караная и Эрпилях, но и в обоих Казанищах. Слух о святости Кази-муллы, тщательно скрывавшего пока свои политические виды, достиг наконец и самого шамхала, жившего тогда в Парауле. Человек недалёковидный, он взглянул на новое учение только с одной духовной стороны его и увидел, как далеки от истинного исламизма и сам он, и все его подданные. Под этим впечатлением престарелый Мехти отправил к Кази-мулле следующее послание: “Я слышал, что ты пророчествуешь. Если так, то приезжай научить меня и народ мой святому шариату; в случае же твоего отказа, бойся гнева Божьего: я укажу на том свете на тебя, как на виновника моего неведения, не хотевшего наставить меня на путь истины”.

До сих пор Кази-мулла ограничивался проповедованием мюридизма только в вольных обществах, не смея показываться на землях владельческих. Теперь, когда сам Мехти-хан, человек старый, уважаемый в горах по древности рода принял его сторону, Кази-мулла понял, что обстоятельства начинают ему благоприятствовать и что для деятельности его открывается широкое поприще. Он отправился в Параул в сопровождении нескольких учеников, пешком, в простой одежде пилигрима, без оружия, с котомкой за плечами. Во всех аулах народ выходил к нему навстречу и сопровождал его пением стихов из Корана; женщины сочиняли в честь его хвалебные гимны:

На свете возшло дерево истины
И та истина — имам Гази-Магома.
Кто не поверит ему,
Да будет проклят от Бога.

И за каждым куплетом следовал припев: ля-илльяхи-иль-Алла.

В Парауле, в резиденции Тарковского владетеля, Кази-мулле готовилась торжественная встреча. Там, у дворца шамхала, толпились массы народа, которому хотелось видеть святого проповедника, а в самом дворце ожидал шамхал, окруженный знатнейшими алимами и почетнейшими беками, съехавшимися сюда даже из Каракай-тага и Даргинского общества. очевидцы рассказывают, что вся фигура Кази-муллы, в момент, когда он предстал перед шамхалом, дышала таким вдохновением, была исполнена такого грозного величия, что шамхал растерялся, побледнел и, как пишет один горский историк: “Шальвары его сделались мокры”... Кази-мулла, какое впечатление произвел он на окружающих. “Могущественный шамхал! — сказал он, смиренно склоняя перед ним свою голову.— Ты валий Дагестана; все народы тебе повинуются, а те, которые независимы, послушают твоего слова. Так дозвожь же мне просветить твой народ, а ты будь блюстителем шариата!”

Простодушный шамхал не сумел разглядеть политической подкладки нового учения, и не только дозволил распространять шариат, но своими руками усердно принялся насаждать его в своих владениях.

Между тем Кази-мулла, у которого руки теперь были развязаны, перенес свою деятельность сперва в Черкей, потом в Салатавию и в Аух и, наконец, к кумыкам. Главный кумыкский пристав, князь Мусса-Хасаев, человек искренне преданный России, также не заметил в новом учении опасных элементов, и потому не препятствовал распространению его на Кумыкской плоскости. Кайтаг и Табасарань, благодаря своему вечно крамольному духу, ожидали Кази-муллу не с меньшим нетерпением. И если волнения, нарушившие спокойствие этих провинций в 1829 году, объясняются только взаимной враждой табасаранских владетелей и не имеют прямого отношения к началу мюридизма, то, во всяком случае, они подготовляли для него почву. Мало-помалу начал склоняться, на сторону Кази-муллы и хитрый Аслан-хан казикумыкский. Кази-мулла, на возвратном пути в Гимры, гостил у него в доме несколько дней, и хотя не добился позволения явно проповедовать шариат в его владениях, но, тем не менее, завоевал его симпатии настолько, что когда люди, посланные Кази-муллой на Кубу, были ограблены, Аслан-хан не только разыскал и наказал виновных, но возвратил Кази-мулле деньги, по стоимости разграбленного имущества. На этом обстоятельстве, обыкновенно, строятся все обвинения Аслан-хана в том, что он будто бы умышленно содействовал распространению в горах мюридизма. Эти подозрения едва ли справедливы уже потому, что кавказский мюридизм проповедовал равенство всех мусульман, а следовательно ниспровержение законных владетелей,— Аслан-хан, конечно, сделался бы первой жертвой этого учения. Трудно допустить со стороны умного Аслан-хана такую недалекость. Всего правдоподобнее, что Аслан, видя в отвлеченных идеях тариката те семена, которые давно уже гнездились в других государствах Востока, не нарушая общего строя, не придал им значения и был убежден, что фанатизм, возбужденный в народе, скоро потухнет и все по-прежнему останется спокойным.

Заручившись, таким образом, на плоскости сочувствием владетельных особ, Кази-мулла повел свои пропаганду внутрь Дагестана. Гумбетовское общество, давно ожидавшее к себе знаменитого проповедника, первое встретило его с восторгом и безусловно подчинилось всем его требованиям. Отсюда он направился в Андию, и шествие его было рядом неслыханных оваций, о которых до сих пор вспоминают старожилы. Тысячные толпы народа, женщины и даже дети стекались со всех сторон, расстилали по дороге свои одежды, бросались целовать руки и ноги фанатика. Кази-мулла, окруженный своими учениками, шел пешком, уверяя, что все еще находится в сомнении, не грешно ли ему ехать. В пути он часто останавливался, как будто к чему-то прислушиваясь, и на вопрос одного из своих последователей, что он делает, отвечал: “Разве ты не слышишь? Мне чудится звон цепей, в которых проводят передо мной русских”. Затем Кази-мулла сел на камень и в пламенной речи впервые стал развивать перед народом картины будущей войны, изгнание русских с Кавказа, похода на Москву, взятие Стамбула...” Не подлежит сомнению,— говорит Окольников,— что Кази-мулла искренне был убежден в возможности подобных замыслов. Москва и Константинополь казались ему не более, как большими деревнями, вроде Унцукуля или Хунзаха, а следовательно и овладение ими для него не могло быть химерой”.

Энтузиазм, произведенный этой речью, был глубокий и поразительный. По всей вероятности, к этому времени относится песня, сложенная в честь Кази-муллы и так прекрасно рисуемая перед нами того, кто без власти, богатства и многолюдной родни сумел возвыситься в степень вождя буйного и разъединенного народа.

Вот эта песня:

“Честь и слава Кази-мулле, труженику ислама, сумевшему соединить под своими знаменами, как братьев родных, враждебные народы Чечни и Дагестана. Он, как посланник Аллаха, творит суд и правду кинжалом, и, как могучий хункар, скрепляет волю свою своей печатью. Он соединил в одном себе всю силу, мудрость и богатства древних дагестанских ханов и стал владыкой над владыками. Да будет же вечно над тобой, Кази-мулла, благословение Божие. Хотел бы я воспеть тебя в назидание потомкам, но могу ли это сделать, когда русские, грозят нашей родине?”.

Это был призыв к газавату уже самого народа. Почва, стало быть, была подготовлена. Одно красноречивое слово Кази-муллы, как искра, брошенная в пороховой бочонок, неминуемо произвела бы взрыв. Но Кази-мулла медлил сказать это слово. Он еще не считал себя достаточно сильным, чтобы выступить открытой войной на русских, и действовал так, чтобы излишней поспешностью не погубить себя и великого, задуманного им, дела.

IV. ПЕРВОЕ ВООРУЖЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ МЮРИДОВ

К исходу 1829 года, когда окончилась турецкая кампания, почти весь Дагестан уже был объят пожаром. В это время Кази-мулле повиновались Койсубу, Гумбет, Андия, Чиркей, Салатавия и другие мелкие общества нагорного Дагестана; половина шамхальства почти вся Мехтула, Казикумык, Кайтаг и Табасарань были на его стороне; чеченцы и кумыки были достаточно подготовлены, чтобы, в случае надобности, стать под знамена имама. Одна Авария упорно отвергала всякие попытки к сближению с Кази-муллой; но пропаганда и там незаметно подтачивала ханскую власть, и, за исключением Хунзаха, ни на одно из селений положиться было нельзя. Казалось бы, что пора для общего восстания горцев приспела. Но Кази-мулла имел свои основания не слишком полагаться на эту, им же наэлектризованную массу. Как ни много было у него приверженцев, но были и враги, влиятельные и сильные, которые держались в стороне, но во всякое время могли составить оппозицию и увлечь за собой народ силой того же религиозного слова. Нужно было, следовательно, повлиять на этих главных духовных представителей народа, и взоры Кази-муллы обратились прежде всего на бывшего своего наставника Сеид-эфенди араканского, могшего сразу вывести его на торную дорогу. Кази-мулла решился предложить ему звание верховного кадия.

В Тарках еще недавно жил некто Дебир-хаджи, по прозванию Аксак, бывший шамилевский наиб, потом бежавший к шамхалу и получивший от него звание тарковского кадия. Вот этот-то Дебир, один из немногих оставшихся в живых свидетелей первых дней мюридизма, так рассказывал об этом свидании между Кази-муллой и Сеидом:

“Я был в то время еще учеником Гази-Магомета; нас было несколько человек, и в том числе Шамиль, изучавший тарикат под непосредственным руководством самого наставника. Однажды Кази-мулла сказал мне, чтобы я собрался в путь, и мы в тот же день отправились с ним в Араканы погостить с неделю у Сеида. Пришли мы к нему поздно, когда солнце уже село, и после вечернего намаза, за ужином, Гази-Магомет повел речь с Сеидом о делах Дагестана.

— Что ты думаешь, эфенди,— спросил он его,— о нашем народе и нашей земле, когда-то осененной благодатью? Что она представляет собой теперь: дом войны или дом мира?

— Я тебе отвечу, сын мой,— отвечал Сеид,— что наш народ — народ мусульманский, а земля наша — дом мира и, благодаря Богу, еще не сделалась домом войны. Ты слишком мрачно смотришь на вещи. Как твой наставник я дам тебе совет: будь благоразумен; ты видишь, насколько власть наших ханов возвысилась за последнее время. Не дай Бог, что может случиться. Побереги свою голову.

— Благодарю за совет, эфенди,— сухо отвечал Кази-мулла,— но ты забываешь, что голова мусульманина, а тем более чистого узденя, принадлежит не ханам, а единому Аллаху, творцу ее. Но дело не в этом. Не ошибаешься ли ты, эфенди, называя народ наш мусульманским? Можем ли мы быть мусульманами, когда не следуем указаниям пророка, когда гяуры...

— погоди! — прервал его эфенди.— Кто тебе сказал, что наш народ не следует повелениям пророка? Он молится единому Богу, читает Коран, постится, ходит в Мекку, и совершает суд по шариату.

— Нет, ты говоришь не то, эфенди,— возразил Кази-мулла.— Ты знаешь сам, что в вере народа одна только половина истины, а другая — ложь.

— Чего же недостает народу? Чего он не делает?

— Хорошо, я тебе скажу, чего ты не хочешь договаривать сам. Газават есть обязанность каждого мусульманина. Где же это в нашем народе? Одной молитвы недостаточно, чтобы быть совершенным перед Богом. В Коране сказано: кто исполняет одну половину его и не исполняет другую — тот принимает на себя великий грех.

— Окончим этот спор,— уклонившись от ответа, сказал Сеид,— и если хочешь, займемся лучше духовной беседой.

Тогда Кази-мулла встал в сильном волнении и шепнул мне:

— Сеид тот же гяур; он стоит поперек нашей дороги, и его следовало бы убить, как собаку.

— Нельзя нарушать долг гостеприимства,— сказал я,— лучше выждем; он может еще одуматься.

Прокричали полуночный намаз. Сеид приготовился совершить молитву; но Кази-мулла резко сказал, что с ним молиться не будет. Тогда Сеид, ни слова не говоря, удалился, предоставив в наше распоряжение свою библиотеку. Мы разослали келим, помолились, и легли спать. Опечаленный тем, что произошло у меня на глазах, я не мог заснуть до рассвета и видел, что не спал и Гази-Магомет.

На другой день нам сказали, что Сеид еще до восхода солнца ушел в мечеть заниматься со своими учениками; следом за ним пошли туда и мы. Пока продолжался урок, Кази-мулла сидел, углубившись в чтение какой-то книги, но я видел, что он внимательно вслушивается в каждое слово эфенди, и время от времени по лицу его пробегала тень неудовольствия. Когда окончился урок, Кази-мулла подошел к Сеиду и попросил его прочесть из книги Азудия. Раскрыли книгу и начали; но в продолжении трех часов чтение не пошло дальше первой строчки, так как беспрерывно прерывалось горячими спорами. Между тем на минарете прокричал мулла, и в мечеть стал собираться народ. Сеид закрыл книгу и сказал Кази-мулле:

— Ради самого Бога, прекратим разговор. Ты отлично знаешь все, что я могу тебе сообщить, и понимаю, чего ты желаешь. Но знай, я не могу принять участия в том, что противно моим убеждениям.

С этими словами Сеид вышел из мечети. Кази-мулла несколько минут стоял в глубоком раздумье.

— Да поможет мне Аллах наказать гяуров, а вместе с ними и тебя, лукавый раб,— сказал он, провожая гневным взором удалявшегося Сеида.

В тот же день мы вернулись домой в Гимры. Неудача с Сеидом заставила Кази-муллу искать поддержки в духовных лицах из среды своих последователей. И вот под его влиянием образуется новое религиозное общество, целой головой стоящее выше обыкновенных мюридов. Это — шиха, угодники Божий, которые своей видимой, наружной святостью должны были произвести на народ глубокое впечатление и принизить в его глазах таких либеральных ученых, как араканский Сеид. С созданием новой секты завершилась, так сказать, закладка мюридизма, и Кази-мулла, оградив себя на почве религиозной, мог перейти наконец к осуществлению своих политических замыслов.

Обстоятельства, по-видимому, ему благоприятствовали. В половине 1829 года старый шамхал выехал в Петербург и там опасно занемог. С минуты на минуту ждали известия о его кончине, и в шамхальстве начались беспорядки. Они случались и прежде, но теперь приняли особенно острый характер, благодаря тому, что один из младших сыновей шамхала, Абу-Муселим-хан, задумал, в случае смерти отца, овладеть шамхальством. Старший брат его, Сулейман, законный наследник престола, был слишком слаб, чтобы остановить волнение, и большая часть народа от него отложилась. Самые Тарки изо дня в день ожидали нападения мятежников. Быстрое прибытие к Таркам подполковника Дистерло, с батальоном Куринского полка и тремя орудиями, отклонило грозу. Движение в шамхальстве приостановилось; но, тем не менее, достигнуть примирения враждующих братьев Дистерло не удалось. Бунтовщики заняли крепкую позицию у Эрпели и там ожидали помощи со стороны койсубулинцев. Прибытие в шамхальство еще двух батальонов Апшеронского полка заставило, однако же, мятежников смириться, и надежды Кази-муллы, не имевшего сил фактически поддержать восстание, рушились при самом начале.

Он понял тогда, что все его попытки будут безуспешны до тех пор, пока он не увидит на своей стороне сильный аварский народ, и в особенности их умную правительницу ханшу Паху-Бике. Но добиться этого было не легко. Ханша лучше других понимала опасное значение нарождавшейся секты и стояла на страже. Она отвечала на письмо Кази-муллы любезным приглашением приехать самому в Хунзах, чтобы лично разъяснить ей шариат. Но Кази-мулла умел читать между строками. Он знал, что ханша не будет стесняться с тем, кого считала своим прирожденным врагом, и, опасаясь оставить в ее владениях свою голову, благоразумно уклонился от этой поездки.

Так наступил 1830 год. Турецкая война окончилась. Планы Паскевича, касавшиеся покорения горских племен, близились к своему осуществлению, и первый удар должен был разразиться над джарцами. О событиях в Дагестане, мало кому даже известных, у нас никто не заботился, потому что никто не постигал их внутреннего, глубокого значения в жизни дагестанских народов. Все это брожение, готовое вот-вот разразиться страшным ударом над головой русских, сводилось в донесениях только к тому, что в Дагестане распространяется новое религиозное учение с целью улучшить нравственность мусульман и создана какая-то секта шихов. Но в чем заключается новое учение, что такое эти шихи и

кто руководит всем этим движением, оставалось совершенной тайной не только для главнокомандующего, но даже для ближайших местных начальников в Дагестане. Все это может показаться теперь несколько странным, но так оно было в действительности.

И вот в то время, как у нас делались обширные приготовления для покорения горцев, Кази-мулла деятельно работал над планом изгнания русских с Кавказа. Около него уже организовался небольшой отряд приверженцев, в числе четырехсот конных мюридов, которые готовы были поддержать своего наставника силой оружия. Это было ядро, к которому впоследствии должно было примкнуть все население Дагестана.

Первая деятельность вооруженных мюридов выразилась нападением на Араканы, с целью истребить ненавистного Кази-мулле Сеида. Этот человек на каждом шагу ставил опасные преграды замыслам имама, и отделаться от него нужно было во что бы то ни стало. Исполнить это казалось тем легче, что беспечный алим никогда не ограждал себя мерами предосторожности, да и самые Араканы были таким пунктом, для овладения которым вовсе не требовалось каких-нибудь чрезвычайных усилий.

Набег был решен в январе 1830 года.

Уже не смиренным странником, с посохом и мешком за плечами, а грозным вождем, на боевом коне, с Кораном в одной и с шашкой в другой руке, выехал Кази-мулла из Гимр во главе своих отважных мюридов. Внешность его производила глубокое впечатление. Это был человек среднего роста, широкоплечий и худощавый в лице, большие навывкате глаза его сверкали как уголья, а глубокие морщины поперек высокого лба изобличали постоянную думу и тот внутренний огонь, в котором, как в горниле, перегорали страсти и как сталь закалялась железная, непреклонная воля. Всегда сосредоточенный в самом себе, угрюмый и молчаливый, как камень, там, где это было нужно, Кази-мулла являлся типом восточного честолюбца, спокойного, мрачного и холодно-жестокого. Таким по крайней мере его рисуют нам воспоминания современников.

Четыреста всадников, в белых чалмах, знак принадлежности их к духовному ордену, на бойких конях и с добрым оружием следовали за своим предводителем. Впервые скалы и ущелья Дагестана огласились тогда грозной боевой песней мюридов: “Нет Бога, кроме Бога”. Жители попутных деревень с трепетом провожали глазами этот невиданный ими конный отряд, несший с собой смерть и кару тем, кто не хотел последовать истинам ислама.

К Араканам подошли на рассвете. Кази-мулла остановился на небольшой поляне перед селением и потребовал к себе аманатов. Араканцы, застигнутые врасплох, не смели сопротивляться, и мюриды торжественно вступили в селение. Испуганные жители, под угрозой сожжения деревни, дали присягу в мечети жить по шариату. Сеид был объявлен лишенным достоинства кадия. По счастью, его самого не было дома: он был в гостях у Аслан-хана казикумыкского, а потому Кази-мулла приказал только истребить все, что нашлось в его доме, не исключая обширных сочинений, над которыми ученый алим трудился всю жизнь свою. Большие кувшины с вином, открытые в подвалах, были вынесены наружу, разбиты, и вино разлито на землю и по полу. В это самое время беспечный Сеид, не подозревая того, что делалось в Араканах, спокойно возвращался домой и был уже около деревни, когда один из араканцев встретил его и предупредил об опасности. Таким образом, только слепой случай спас жизнь дагестанского ученого. Сеид проклял бывшего своего ученика и бежал в Казикумык, где мог считать себя в большей безопасности, нежели в шамхальстве.

Нападение на Араканы было первым открытым действием со стороны Кази-муллы. Нельзя сказать, чтобы оно произвело благоприятное впечатление на умы шамкальцев; во многих местах, особенно в Каранае и Эрпелях, обнаружилось волнение; старики, преданные адатам, стали колебать новое учение, провозглашая, что не должно следовать тому, чему не следовали их отцы и деды. Но Кази-мулла был настороже. С толпой своих мюридов он бросился на плоскость и, прежде чем противники его успели опомниться, главнейшие из них уже были захвачены и отправлены в Гимры, где их рассадили по душным и вонючим ямам; туда же скоро привезли и некоторых кумыкских князей, закованных в железо.

Еще печальнее окончилась попытка к восстанию в селении Миатлах. Мюриды нагрянули туда как снег на голову, и сам Кази-мулла выстрелом из пистолета в упор положил на месте непослушного кадия. Народ в страхе просил помилования. Кази-мулла даровал его, но взял аманатов, которые должны были отвечать головой за дальнейшее спокойствие жителей. Таким образом, власть в шамхальстве и в Мехтуле перешла в руки Кази-муллы уже фактически; но соседнее с ними Даргинское общество наотрез отказалось впустить его в свои пределы. Акушинский кадий отвечал, что даргинский народ исполняет шариат, а потому личное появление Кази-муллы в Акуше будет излишним. Распорядиться с акушинским кадием так, как он распорядился с Сеидом, было нельзя, потому что кадий был вместе с тем правителем сильного народа и его сопротивление могло погубить зарождавшееся дело в самом начале. Кази-мулла сделал вид, что довольствуется ответом и оставил его до времени в покое.

Как раз в это самое время начались приготовления Паскевича к большой экспедиции в Джаро-Белоканскую область. Джарцы молили Кази-муллу о помощи. Имам, не хотевший так рано открывать военных действий, понял, однако, что покорение джарцев откроет русским свободный путь в Дагестан со стороны Кахетии, и горцы, сдавленные с двух сторон, будут заперты в своих бесплодных горах. Медлительность в этом случае могла подорвать учение газавата в самом его корне — и Кази-мулла решился действовать.

В последних числах января 1830 года в Гимры созваны были народные представители со всех концов Дагестана и даже из Дербента. Кази-мулла явился перед ними в мечети. “Народ! — воскликнул он. — Знайте, что пока земля наша попирается ногами русских, до тех пор не будет нам счастья; солнце будет жечь поля наши, не орошаемые небесной влагой; сами мы будем умирать как мухи, и когда предстанем на суд Всевышнего, — что скажем ему в свое оправдание?.. Я послан от Бога спасти вас. Итак, во имя Его призываю вас на брань с неверными. Газават русским! Газават всем, кто забывает веру и святой шариат! Не жалейте ни себя, ни детей, ни имущества; мы не можем быть побеждены, потому что за нас правое дело. С этой минуты мы начинаем священную войну, и я буду вашим газием. Готовьтесь!”

Вся эта пламенная речь, как нельзя лучше ответившая на задушевную мысль каждого горца, с быстротой молнии облетела край, и отовсюду под знамена Кази-муллы начали стекаться охотники. Зашевелилось и шамхальство, подстрекаемое опять Абу-Муселим-ханом. Русские власти уже знали о каком-то необычайном движении, начавшемся в Гимрах, но ничего не могли предпринять, так как сведения об этом были крайне неопределенны и сбивчивы. А между тем в Гимрах уже выработался окончательный план предстоящего похода. Решено было идти в Хунзах, чтобы овладеть Аварией, необходимой Кази-мулле прежде всего, так как ее центральное положение в горах давало возможность с полным успехом распространять свою политическую власть во все стороны Дагестана. Усилившись воинственным аварским народом, имам предполагал общими силами

вторгнуться в Акушу, чтобы наказать дерзкого кадия, потом овладеть Казику-мыком — и таким образом отвлечь Паскевича от экспедиции в Джары.

Создав обширный и смелый план, Кази-мулла, однако, приступил к его осуществлению с большой осторожностью; он прежде всего решил исследовать ту почву, на которой ему приходилось действовать, и с этой целью отправил гимримского кадия в Хунзах для переговоров с правительницей. Кадий возвратился назад с известием, что ханша собирала большой джамат, на котором все, кроме хунзахцев, открыто высказались в пользу союза с Кази-муллой и требовали, чтобы Нусал-хан повел свои войска на соединение с войсками имама. Правительница протестовала против такого решения и, видя, что собрание принимает все более и более шумный характер, распустила старшин. Связь между Хунзахом, поддерживавший ханскую власть, и народом, стремившимся навстречу новым грядущим событиям, таким образом, была окончательно порвана. Хунзах готовился к битве. Но что значило одно ничтожное селение, когда вся Авария становилась под развернутое знамя имама!

Четвертого февраля три тысячи всадников, имея во главе Кази-муллу, двинулись из Гимр по дороге в Аварию. Жители попутных деревень Иргоная и Казатлы попробовали не пустить мюридов, но были разбиты,— и день ознаменовался первыми кровавыми жертвами начинавшегося газавата. Но зато при дальнейшем движении все покорялось Кази-мулле без выстрела, и аварские деревни присоединялись к нему одна за другой, так что силы его скоро увеличились от восьми до двенадцати тысяч. В числе предводителей горцев насчитывалось в то время уже много славных имен, вошедших в известность среди народа своей ученостью и святостью жизни. Таковы были: Гамзат-бек аварский, Шамиль, Ших-Шабан и другие.

Рассказывают, что, готовясь идти в Аварию и зная, что на пути встретится безводица, Кази-мулла приказал заблаговременно зарыть в известных местах бурдюки с водой, и когда партия располагалась на отдых или ночлег, вода появлялась там, где ее никогда не бывало. Хотел ли он явиться народу новым Моисеем или действовал так просто, без всякой задней мысли, как предусмотрительный вождь,— об этом толкуют различно. Но суеверные горцы увидели в этом особую благодать, осенявшую “Божьего избранника”, и по всему Дагестану пошла ходить молва о чудесах и святости имама. Сам Аслан-хан, отрицавший доселе политическое значение Кази-муллы, теперь встревожился и писал, что опасность предстоит большая, ибо Кази-мулла является в глазах дагестанских народов не простым вождем, а пророком. “Таких происшествий,— добавлял он в своем письме к полковнику Мищенко,— никто здесь не видал и не помнит. Я сам нахожусь в большом беспокойстве, потому что, в случае появления его в Кази-кумыке, никто из моих подвластных не осмелится поднять против него оружие... Если хотите высылать войска, то высылайте как можно скорее и не велите им стоять в поле, а держаться по крепостям, ибо скопище газия будет чрезвычайно большое”...

Совет его приняли, и чтобы не подвергать опасности небольшой отряд, собиравшийся тогда для действия в шамхальстве, задержали его в Дербенте. А Кази-мулла между тем все шел вперед и остановился у ворот Хунзаха.

На самом конце обширного Аварского плато, у селения Ахальчи, скопище имама разбило свой бивуак и стало грозным, хотя и беспорядочным станом. Перед ним, в туманной дали, вырисовывались хунзахские скалы, и на них большое многолюдное селение — резиденция аварских ханов, священная могила первого распространителя ислама в Дагестане — Абуль-Мусселим-шейха. Этот шейх был главой духовенства в войске аравитян, и существует предание, что, раненный смертельно в одном из сражений, он

завещал похоронить себя там, где ляжет с его телом катер. Катер пришел в Хунзах. Останки святого были преданы земле в тамошней мечети, где они покоятся и ныне, в особой пристройке, имеющей вид обыкновенной азиатской сакли. У гробницы шейха сохраняются и некоторые принадлежавшие ему вещи, как, например, рукописный Коран, свидетель первых времен мусульманства, белый плащ, исписанный священными стихами, и сабля, не разлучавшаяся с ним в походах. Прежде тут же хранились посох и четки, но они утеряны во время одного из хунзахских погромов. Все эти вещи, составляющие предмет особого религиозного почитания, имеют в понятии народа силу талисмана, дарующего победу, и потому обе стороны в равной мере возлагали свои надежды на помощь святого: хунзахцы,— как на патрона своего родного гнезда, мюриды,— как на ревнителя веры, во имя которой они обнажили меч.

Как ни крепко было селение, вмещавшее в себе более семисот дворов и населенное по преимуществу абреками, мало помышлявшими об истинах ислама, тем не менее измена аварцев и грозные силы, обложившие Хунзах, не могли не смутить ханского дома. Ханша Паху-Бике попыталась даже вступить в переговоры, отправив в стан Кази-муллы своего любимца, Елхаджи-гази-Магомета. Но Кази-мулла вместо ответа приказал продеть ему через ноздри веревку и в таком позорном виде, с навешенной на шее торбой, отослал обратно в Хунзах. Хунзахцы были глубоко оскорблены безрассудным поступком имама и дали клятву биться с ним до последнего.

Существует официальное сведение, что Елхаджи пострадал будто бы за то, что, явившись в стан Кази-муллы мирным послом, пытался, по наущению ханши, подкупить некоторых из числа влиятельных горских вождей, и особенно гумбетовцев. Но старики-хунзахцы, живые свидетели минувших событий, упорно отрицают самый факт подкупа и говорят, что выдумка эта нужна была мюридам, чтобы оправдать ненужную жестокость имама. В действительности, они видят в этом подкладку и утверждают, что увечье посла было преднамеренное, вызванное желанием оскорбить хунзахцев, с целью заставить их драться, так как Кази-мулла, вполне уверенный в своей победе, более всего опасался добровольной покорности хана, которая связывала бы ему только руки. Не покорности, а истребления ханского дома домогался Кази-мулла, стремившийся на его развалинах основать свою духовную власть, как это сделали впоследствии преемники его, Гамзат и Шамиль.

Несколько дней прошло в обоюдных приготовлениях к битве. Хунзахцы не унывали. Те же старики рассказывают, что одно ничтожное обстоятельство много содействовало поднятию мужества гарнизона. Хунзахцы увидели однажды в небе громадную стаю голубей, преследуемых коршуном. Голуби летели прямо на стан Кази-муллы, и коршун с налета бил их во множестве. Появление коршуна в понятиях суеверного горца всегда предзнаменует победу — но кому? Хунзахцам или Кази-мулле? Люди, умудренные жизненным опытом, решили — хунзахцам: коршун был один и знаменовал собой Хунзах, одиноко стоявший посреди общей измены, охватившей тогда Аварию.

Наступило двенадцатое февраля — первый день праздника Рамазана. Утром, после молитвенного пения, весь неприятельский стан пришел в необычайное движение. В Хунзахе быстро изготовились к бою,— и действительно, в одиннадцать часов утра давно ожидаемый приступ начался. Большая часть скопища, где находился сам Кази-мулла и Гамзат-бек, двигалась со стороны Ахалчи; гумбетовцы, предводимые Шамилем, направились в обход, через городское кладбище. Бешеный ружейный огонь, загремевший со стен Хунзаха, не остановил мюридов. Неспешно, с дикой, торжественно унылой песней “Аллах акбер! Ля-илльяхи-иль-Аллах!” двигались вперед их густые толпы и скоро достигли самых завалов. Никогда ничего подобного не видели хунзахские абреки. Разом встали перед ними рассказы, усердно распускаемые клеветами Кази-муллы о том, что его

приверженцам всегда предшествуют легионы ангелов, что шашка, поднятая на них, мгновенно тупеет и в нацеленном ружье не вспыхивает порох. Суеверный ужас закрался в самые бестрепетные сердца,— и у хунзахцев опустились руки. Пальба прервалась... В эту минуту Шамиль ворвался в селение и тотчас водрузил на плоских кровлях домов свои знамена, давая этим знать Кази-мулле, что Хунзах уже занят. Еще минута — и участь аварской столицы была бы решена... Как вдруг, с непокрытой головой, с пылающим взором и обнаженной шашкой в руке, окруженная одними женщинами, на валу появилась ханша Паху-Бике. “Хунзахцы! — крикнула она, и голос ее покрыл раскаты ружейной перестрелки.— Вы не должны носить шашек; если вы трусы, отдайте их нам, женщинам, а сами покройтесь чадрами”...

Эти слова электрическим током зажгли мужество в пристыженных жителях, и они как один кинулись на стены. Знамена, веявшие на крышах, мгновенно были сорваны и скопище Шамиля выбито из селения. Сам он с тридцатью мюридами, отрезанный при отступлении, едва успел запереться в подгородней сакле, где был окружен и очутился в блокаде. Поражение Шамиля вселило смущение в главной массе штурмующих, и Кази-мулла уже не мог поправить проигранного дела; толпы его, бросившиеся через завал, встречены были дружным залпом в упор — и отшатнулись назад. Пользуясь их замешательством, юный Абу-Нусал-хан сам сделал вылазку и кинулся в кинжалы. Женщины наравне с мужчинами отстаивали селение, и одна из них по имени Курнаиль-Хандулай, работая топором, отняла четырнадцать винтовок. Паника, которой сначала поддались было хунзахцы, быстро перешла на мюридов, и они побежали. Хунзахцы гнали их через всю долину и только к вечеру, когда на Аварском плато не осталось уже ни одного мюрида, молодой хан с торжеством победителя вернулся в свою резиденцию. Пять неприятельских значков, двести тел и шестьдесят пленных были трофеями блистательной победы. В числе последних, как говорят, находился и сам Гамзат-бек, но ему помог бежать один из хунзахских жителей. Шамиль также остался в Хунзахе, запертый в сакле, и должен был выбирать смерть или сдачу. Его выручили гумбетовцы, приславшие в тот же день просить у хунзахцев мира. Мир был заключен, и Шамиль со своими тридцатью мюридами получил свободу. Но гумбетовцы, ожесточенные своими потерями, встретили его такими укорами и дошли до такого неистовства, что сорвали с него священную чалму и едва не лишили жизни. Очень может быть, что здесь и окончил бы свое земное существование грозный впоследствии владыка “гор и лесов”, если бы на его сторону не стал дервиш, кадий Нур-Магомет. Благодаря заступничеству старца, Шамилю была дарована жизнь, но народ изгнал его из Гумбета.

Император Николай Павлович в ознаменование верности, оказанной хунзахцами, и в память победы, одержанной молодым Нусал-ханом, пожаловал всему Аварскому народу белое Георгиевское знамя.

Так окончился первый взрыв мюридизма. Подобно раскату грома, гулко прокатился он по горам и ущельям Дагестана и замер под Хунзахом. Но горизонт все еще был заволочен мрачными тучами, и вслед за первым ударом надо было ждать последующих.

V. КАХЕТИЯ И ЕЕ СОСЕДИ

В то время, когда грозные силы имама, сокрушившись о хунзахские стены, искали в стремительном бегстве своего спасения, Паскевич с войсками стоял на Алазани. Давно уже в голове фельдмаршала зрел грандиозный план быстрого и одновременного покорения гор, и теперь наконец приблизилось время осуществить свою мысль на деле. Смолкли победные громы на полях Турции, и ничто уже не отвлекало главнокомандующего от внутренних дел все еще не покоренного Россией Кавказа.

Переходя к рассказу о событиях, которые привели наши войска на Алазань, к преддверию Джаро-Белоканской области, охарактеризуем в коротком очерке длинный ряд годов кровавой борьбы кахетинцев с их хищными соседями — лезгинами.

В старые годы, когда над всем Закавказьем царила единая и нераздельная Грузия и величавый образ Тамары воплощался в народных сказаниях в идеал земного могущества,— вся заалазанская долина, простиравшаяся до самых гор Лезгистана, принадлежала той же Грузии и составляла восточную половину Кахетии. Господствующий народ здесь были грузины, господствующая религия — христианская.

Но со смертью Тамары, как бы унесшей с собой в могилу величие и силу своей родины, миновал и золотой век Грузии. Страна, истерзанная нашествием монголов и полчищами Тимурленга, распалась на части, в ряду которых Кахетия, сложившаяся из трех эриставств: собственно Кахетии, Кахской и Джарской областей, является уже самостоятельным царством. Раздробленная и ослабленная внешними войнами, Грузия скоро изнемогает, однако же, под тяжестью внутренней неурядицы и становится добычей своих хищных соседей лезгин.

За высокой грядой подоблачных вершин засели эти грозные, неумолимые враги всякого труда и спокойствия и как дамоклов меч висели над головой кахетинцев.

Суровый климат, скудные произведения земли, голод и холод заставили лезгин перешагнуть порог своей бедной родины. Рассказывают, что первое селение, поставленное ими на одном из уступов южного склона Кавказского хребта, было Сарубаш, обитателями которого естественно явились самые отчаянные головорезы. Им нечем было жить, а у их ног лежала роскошная, но слабая Кахетия, представлявшая собой обширное и благодарное поле для хищнических набегов. Грузины, испытавшие скоро всю тяжесть близкого соседства новых пришельцев, потеряли наконец терпение и пошли на них с огромными силами. Сарубашцы укрепились. Завал, следы которого показывают еще и теперь в версте ниже селения, оказался не под силу грузинам, и они овладели им с помощью измены. Один подкупленный сарубашец вызвался провести их окольной дорогой, и часть грузинского войска спустилась в селение в то время, когда все вооруженные жители сторожили завал, а в домах оставались только старики, женщины и дети. Старики были в мечети и совершали вечерний намаз, когда на них нагрянули грузины. И пока испуганные сарубашцы, покинув завал, бежали на выручку семей,— все, что находилось нового в деревне, было перерезано. Мечеть в Сарубашах и поныне называется Шагидмек-эры, что значит место мучеников.

Весть об ужасном побоище подняла на ноги все горные лезгинские племена, и грузины в свою очередь испытали ужасное мщение. С этих пор начинается вековая борьба: лезгины стремятся в Кахетию, кахетинцы мужественно отстаивают родину. Это была война не политическая, не религиозная, это самая ужасная из всех войн — война за существование. Как раз в это самое время бедствия Грузии достигают своего апогея — Шах-Аббас вторгается в Кахетию и опустошает ее из конца в конец. Для дагестанских лезгин наступает решительная минута: они пользуются смятением Грузии, спускаются с гор и занимают Джарскую область. Страна, залитая кровью, покрывается трупами, остатками разрушенных храмов, выжженными садами и пажитями. Кто мог, тот бежал и искал спасения за Алазанью; оставшиеся принуждены были принять мусульманство. Но это вероотступничество не принесло им пользы. Ингелойцы (новообращенные) сделаны были рабами и обложены данью. Та, лучшая и плодороднейшая часть Кахетии, Джарская область, была на целые века отторгнута от Грузии.

В это самое время, как рассказывают грузинские летописи, нахский эристав не только не противился завоеваниям пришельцев, но сам принял магометанскую веру и стал к тому же понуждать подвластный ему народ. В награду за это лезгины признали его эриставство независимым владением, и новый правитель стал называться елисуйским султаном. Омусульманившаяся страна скоро перестала напоминать собой что-либо христианское и окончательно укрепилась за Дагестаном. Так потеряла Кахетия другое эриставство,— и некогда сильное и могучее царство заключалось теперь в тесные границы одной Алазанской долины.

Завладев большей частью Кахетии, лезгины разбились на отдельные общества, но позаботились оградить свою независимость общим оборонительным и наступательным союзом. Так образовалось три союза: к первому, самому влиятельному и сильному принадлежали Джары, Катехи и Белоканы, ко второму — Джанихи, Талы и Мухахи; третий гез образовывало Елисуйское султанство. Кроме последнего, где власть являлась наследственной, все названные общества управлялись выборными старшинами, но дела, касавшиеся общих интересов союза, например, вопросы о мире и войне, решались не иначе, как целым джематом.

С отторжением двух эриставств, Кахетия, так щедро наделенная дарами природы, потеряла много; но и то, что осталось ей по правому берегу веселой Алазани, было прекрасно, в полном значении этого слова,— и недаром Кахетию издревле называли раем Иверии. Но этот маленький рай, заветным местом которого считался Телав, где была резиденция царя и где сосредоточивалась вся внутренняя жизнь кахетинцев, был похож на те виноградники, которые растут на лаве и пепле Везувия. Только Кахетии угрожали не подземные стихийные силы, а буйные соседи ее, набеги которых были столь же губительны, как и огненные лавы вулкана. Только одна Алазань отделяла Кахетию от ее исконных врагов, и эти враги были так близко, что мысль об обороне никогда не оставляла кахетинца, как не оставляли его кинжал и винтовка.

В таком положении были дела, когда русские войска заняли Грузию.

Обеспечение Кахетии составляло первую и существеннейшую обязанность русского правительства, но достигнуть, однако, этого возможно было лишь при условии, чтобы джарцы, сидевшие между горами и Алазанью, обратились в наши передовые форпосты. И вот в 1803 году русские войска вступают в джарские земли,— и джарцы в первый раз, подчиняясь силе меча, признают над собой главенство христианского народа. В то же время в Кахетии возникает ряд русских поселений, или штаб-квартир, которые, хотя и не представляют собой еще достаточно сильных опорных пунктов, чтобы оградить страну от вторжений, но способствуют защите ее расположением в них сильных резервов. Старый развенчаный Телав, с его исторической славой, и рядом — Сигнах с величайшей святыней Грузии — Бодбийским монастырем, где покоится святая Нина, составляли центры, вокруг которых группировались все оборонительные средства страны и куда, в случае опасности, сосредоточивались наши резервы. Верстах в тридцати от Сигнаха, по направлению на Муганлы, где исстари веков существовала переправа через Алазань, видны были развалины третьего города, называвшегося Кизиком. Но от этих развалин не веяло седой древностью, как от других развалин Иверии, потому что Кизик основан был только в XVII столетии одним из персидских наместников, по имени Бежан. Этот сатрап, опасаясь за собственную жизнь, покинул роскошный Телав, резиденцию кахетинских царей, и построил себе одинокий дворец в Кара-Агаче. Прошло немного лет, и около дворца вырос значительный город, который, с падением сатрапов, так же быстро исчез, как и возник, не оставив после себя никаких исторических памятников. Известно только,

что во дворце его жили персидские наместники и что отсюда разливались на всю Кахетию ужасы восточного тиранства.

На его месте, именно там, где стоял дворец, генерал Гуляков и заложил первое русское укрепление, названное Кара-Агач и послужившее впоследствии штаб-квартирой Нижегородского драгунского полка. С течением времени эта штаб-квартира обстроилась и в двадцатых годах, как описывает Гамба, представляла собой уже чистенькое, хорошо устроенное местечко. С удовольствием останавливался глаз, после грузинских мазанок и татарских саклей, на укромных русских домиках, вытянувшихся в одну широкую длинную улицу. Уютные избы с черепичными кровлями, с дверями и рамами из чистого ореха, весело смотрели своими светлыми стеклами и, как бы прячась друг от друга в тенистых роскошных садах, словно говорили о довольстве и привольной жизни своих обитателей.

За Кара-Агачем, все по тому же направлению к Муганлинской переправе, находилось другое укрепление, Царские Колодцы, по-грузински “Дедоплис-цкаро”, раскинутое на возвышенном плато и пользовавшееся чрезвычайно здоровым горным воздухом. Название это перешло на урочище от тех колодцев, при которых грузинские цари, еще со времен Давида Возобновителя, каждое лето становились сторожевым лагерем. Они защищали страну от лезгин, и вы услышите здесь много рассказов и преданий, которыми народ любит вспоминать боевую деятельность своих великих царей. Но из длинного ряда событий, одно оставило после себя такое глубокое и сильное впечатление, что народ и доселе видит в нем явное знамение Божьего заступничества и покровительства.

Есть в Грузии, верстах в двадцати пяти от Тифлиса, по дороге к Сигнаху, древний монастырь св. Антония Мартковского. Тринадцать столетий выдержали его каменные своды, не поддаваясь времени и величаво красуясь в зелени буковых деревьев и грецких орехов. Но и святой монастырь выпил свою горькую чашу. Это было в половине минувшего века, когда Кахетия и Картли соединились под одним скипетром царя Ираклия. Летом, когда грузины занимали обычную свою стоянку у Дедоплис-цкаро, сильная партия лезгин ворвалась в Картли со стороны Ганжи и ударила на монастырь. Иноки были перерезаны, драгоценные оклады с икон сорваны, утварь расхищена и самая обитель разрушена. С горестью в сердце принял Ираклий весть о гибели мартковской святыни и, бросившись наперерез, настиг их на берегу Иоры. Пятьсот лезгин, обремененных церковной добычей, прислонились к высокой горе, чтобы дать отпор грузинскому войску... И вдруг земля всколыхнулась. Этот подземный удар, слабо ощущенный в грузинском стане, опрокинул громадный утес, и пятьсот грабителей, как бы в наказание за свое святотатство, были погребены под массой осевшей земли и каменных глыб. Сами грузины были объяты ужасом. Суд Божий совершился въяве, и царь, пораженный чудом, праздновал это событие молебным пением мартковскому чудотворцу.

В те времена, о которых ведется рассказ, между Кара-Агачем и Царскими Колодцами тянулись сплошные дремучие леса, в самой чаще которых, на уединенном пике, стояли живописные развалины замка. Замок господствовал над всей Алазанской долиной и представлял одно из грандиознейших сооружений в целой Кахетии. Некогда он служил любимым местопребыванием Тамары, которая подолгу жила здесь летом и в знойные дни заставляла лезгин привозить ей лед с самых вершин снегового Кавказа.

При Ермолове Царские Колодцы были штаб-квартирой Ширванского полка; но так как во все время его начальствования полк находился в постоянных походах, то и родное гнездо его представлялось взору путешественника несравненно беднее и непригляднее Кара-Агача. Впрочем, как у ширванцев, так и у драгун, были в прекрасном состоянии пасеки,

огороды, конские заводы, в нижегородцы хвалились еще и рогатым скотом крупной талышинской породы [Быки этой породы отличаются от обыкновенных горбом между плеч и густой гривой.]. У ширванцев заведена была даже школа, где обучались грамоте до семидесяти рекрутов.

Кроме этих двух полков, в Кахетии,— но уже по дороге от Телава к Тифлису,— квартировали еще Грузинский гренадерский полк и батарейная рота Кавказской гренадерской артиллерийской бригады. Грузинцы стояли в Мухровани, артиллеристы — в Гомборах. И Мухровань, раскинутая на полугоре, в каменистой долине Йоры, и Гамборы, окруженные воровскими лесистыми балками, выглядели опрятно и весело. Чистенькие площади с небольшими деревянными церквями и ряд беленьких домиков с красными крышами радовали сердце русского человека в этой отдаленной глуши как что-то близкое, родное...

Благодаря таким оборонительным средствам, которые усиливались еще грузинской милицией, державшей кордоны по берегам Алазани, Кахетия пользовалась относительным спокойствием. Кровавых вторжений, с разгромом целых деревень и уводом в плен сотен и тысяч христианских семей, как это было в старые годы, уже не случалось; но от мелких разбоев и хищничеств не спасала никакая осторожность и бдительность кордонов. С ранней весны, когда деревья начинали одеваться листвой, и вплоть до ноября, когда глубокие снега заваливали горные проходы, лезгины из года в год принимались за свою обычную кровавую работу. И едва только солнце склонялось к закату, двери и ставни кахетинских домов закрывались наглухо. Как хищный зверь рыскал лезгин по опустевшим полям, выжидая добычи, и лучшее время летнего дня, очаровательный вечер, и самая ночь находились в их власти. Никто из поселян не смел выйти за ограду собственного дома, чтобы подышать прохладой, полюбоваться полным месяцем и звездами, так кротко и ясно мерцавшими на темной синеве южного неба.

Из длинного ряда происшествий, случившихся в двадцатых годах нынешнего столетия, расскажем одно, как наиболее характеризующее тревожное положение края.

В деревне Хошми, недалеко от Мухровани, жил один грузин по имени Чхеидзе, который любил ходить по лесам за дичью и мало думал о встрече с лезгинами. Это был тип отважного и смелого охотника. Однажды, возвращаясь домой, он лицом к лицу столкнулся с двадцатью лезгинами. Не раздумывая долго, Чхеидзе выстрелил из ружья и, положив на месте одной пулей двух человек, бросился в лесную чащу. Опасность придала ему силы. Преследуемый лезгинами, он летел с легкостью серны, прыгая через громадные камни, через кусты и овраги,— и благополучно ушел от погони.

Впоследствии узнали, что оба убитые им горца были известные в Дагестане белады и что лезгины за их кровь будут искать крови Чхеидзе, которого знали в лицо и могли высмотреть издали своими ястребиными глазами. Но Чхеидзе был осторожен,— и горцы перенесли свое мщение на его односельцев. Скоро из той деревни, где он жил, пропали среди белого дня двое мальчиков, игравших недалеко от церкви. В другой раз из двенадцати рабочих, посланных в лес, ни один не вернулся домой; жители, отправившиеся на розыски, нашли в лесу двенадцать обезглавленных тел с отрубленными кистями, которые лезгины, очевидно, увезли с собой. За один ловкий выстрел Чхеидзе погибло таким образом четырнадцать его земляков; но лезгинам и этих жертв казалось еще недостаточно.

Верстах в шести от Хошми стояла древняя церковь во имя святой Троицы, принадлежавшая к числу тех характерных развалин, которыми так богата Кахетия. Долго,

целые века стояла она в запустении, и могильный покой ее нарушался только один раз в году, на третий день Пасхи, когда стекались сюда со всех сторон богомольцы. Тогда под столетними сводами храма курился кадильный фимиам и развалины оглашались молитвенным пением. Обычай этот повторялся из года в год. Но никогда не собиралось на праздник много народа, никогда не было вокруг развалин такого оживления, как именно в описываемую нами эпоху. В числе наезжих гостей был один богатый поселянин, приехавший накануне праздника вместе со своим девятилетним сыном; его огромные буйволы, выпряженные из-под арбы, паслись невдалеке от церкви, и там же играл его сын с двумя своими одноклассниками. Стечение народа не позволяло даже думать о возможности появления вблизи какой-нибудь бродячей шайки лезгин, а потому все были поражены, когда под вечер дети, игравшие у церкви, внезапно пропали, можно сказать, на глазах у целого народа. Несчастный отец в глубоком отчаянии пал на колени и дал обет перед старой церковью восстановить ее из развалин, если Бог возвратит ему единственного сына. Но все поиски оказались напрасными. Грузины обшарили весь лес, все придорожные норки и вернулись с пустыми руками. Все недоумевали, откуда появились лезгины и куда они могли исчезнуть... А лезгины между тем находились тут же, посреди народа, приютившись со своей добычей возле самой церкви, в небольшой котловине, густо заросшей колючим кустарником. Грузины не раз проходили мимо, и никому не пришло в голову искать их так близко.

Всех горцев было тринадцать человек. Предводитель шайки был уже старик, но, как большая часть горских стариков, сохранял удивительную зоркость глаза, слух и силу руки. Он был бесстрашен, и вся его внушительная фигура дышала дерзостью и отвагой юноши. Его звали Азис. Он сам принадлежал к числу лучших лезгинских фамилий, а двенадцать человек, товарищей его по ремеслу, были все родные его сыновья. С ними Азис и выезжал обыкновенно на свои разбои.

Только под утро, когда все утомилось в грузинском стане, лезгины вышли из своей засады и к восходу солнца были уже в горах и в безопасности. Отсюда Азис отправил пленников дальше с одним из своих сыновей, а с остальными вернулся назад попытать новой удачи. Но детям сопутствовала счастливая звезда. Старый охотник, кахетинец Герсеван, давно уже следил за этой шайкой, и, как только дети остались под присмотром одного человека, он осторожно подобрался к лезгину и взмахом широкого кинжала снес ему голову. Так погиб первый сын Азиса,— первая жертва, принесенная стариком своей неудержимой страсти к хищничеству. Герсеван взял детей и возвратил их родителям. Счастливый отец исполнил данный Богу обет,— и старая церковь восстала из развалин.

Азис еще долго разбойничал в Кахетии. Он пережил всех своих сыновей, из которых одни были захвачены в плен и пропали в Сибири, другие пали в боях, а третьи были перерезаны наемными убийцами. Оставшись один как перст, Азис не хотел бросить своего ремесла и, как старый тигр, долго еще бродил в одиночку по лесам и селам Кахетии. Смерть постигла его также на хищничестве: он был убит из ружья тушинским мальчиком, которого хотел схватить и увести в горы.

Вот из таких-то мелких, но непрерывных, тянувшихся длинной вереницей событий и слагалась в то время вся жизнь кахетинца. В борьбе, длившейся десятки лет, конечно, бывали минуты, когда Кахетия переживала и более серьезную опасность. Но грозные тучи, заволакивавшие ее горизонт, обыкновенно рассеивались прежде, чем успевали разразиться над ней громом и молнией. Последнее восстание джарцев было подавлено Ермоловым зимой 1826 года,— и с тех пор Кахетия наслаждалась полным спокойствием. Джарцы, не обольщаясь более персидскими прокламациями, сидели смиренно и не только

смотрели спокойно, как провинции Ирана одна за другой переходили в руки России, но даже принимали некоторые меры к ограждению наших пределов.

А между тем защита Кахетии никогда не была так слаба, как именно в эти тревожные годы. Все силы, оставленные в ней под командой генерал-майора Зенича, состояли из двух резервных батальонов Грузинского и Ширванского полков, запасного эскадрона нижегородцев и шести орудий. Часть этих войск занимала Царские Колодцы, Мухровань и Гомборы, а остальные, вместе с донскими казаками и грузинской милицией, стояли на кордонной линии. Но было бы ошибочно представлять себе и эти два батальона какой-нибудь внушительной силой. В донесениях Зенича встречаются весьма интересные сведения о силе и численности нашей пехоты. Так, например, он пишет, что в трех ротах Грузинского полка, стоявших на передовой линии в Шильдах, Сабуи и Кварелях, налицо было только сто двадцать шесть человек, и из них семьдесят три слабых, которые не могли ходить по горам. В двух ротах Ширванского полка, оставленных в Царских Колодцах, могло выйти в строй двадцать девять человек, то есть по пятнадцати штыков в роте... И, несмотря на это, единственным несколько выдающимся случаем было нападение 10 сентября 1828 года в окрестностях Кара-Агача, когда партия человек в пятьдесят разграбила обывательский обоз, следовавший из Нухи к Сигнаху, и перебила аробщиков. Подозрение пало тогда на белоканцев. Зенич потребовал удовлетворения, и жители не только изъявили готовность выкупить пленных, но и вознаградили ограбленных кахетинцев.

Даже острый вопрос о хлебной подати прошел благополучно. Нужно сказать, что джарцы всегда уклонялись от уплаты подати хлебом, потому что за двойную и тройную цену сбывали его непокорным лезгинам. А между тем сбор именно хлеба имел для нас первостепенную важность, ввиду необходимой заготовки продовольственных средств на турецкой границе. И джарцы на этот раз не только поставили хлеб, но еще гораздо дешевле тех цен, которые существовали в Сигнахе. Мало того, генерал Раевский, зимовавший с Нижегородским полком после турецкой кампании 1828 года в Царских Колодцах, сам ездил к джарцам с небольшим конвоем и заставил их удовлетворить все претензии, которые годами копились у грузин. Даже небольшое Белоканское общество, имевшее у себя едва только шестьсот дворов, уплатило тогда до двадцати тысяч рублей. Девять известных разбойников выданы были головой, а их дома и сады сожжены самими жителями. Увлечение джарцев было так велико, что они, как милости просили позволения отправить свою милицию в состав наших мусульманских полков, сражавшихся в Турции. Казалось, что лучших отношений существовать не может,— как вдруг одно обстоятельство разом, точно мановением волшебного жезла, изменило все настроение наших соседей. Это была роковая весть об истреблении русского посольства в Тегеране. Джарцы заволновались. В них появилась уверенность, что мы не выдержим войны против двух противников, и они поспешили воспользоваться этим моментом, чтобы сбросить с себя самую тень зависимости. Началось с того, что джарцы отказались выставить милицию, а затем начался с их стороны бесконечный ряд грабежей и разбоев. В апреле, когда горы еще были завалены снегом и, следовательно, нельзя было сослаться на дагестанцев, какая то партия захватила на Алазани четырех драгун, ловивших рыбу. Команда, посланная в погоню, захватила в свою очередь одиннадцать встречных лезгин, и Раевский объявил, что они останутся заложниками до тех пор, пока джарцы не возвратят пленных солдат и не заплатят пятьсот рублей штрафа. Старая вражда вспыхнула с новой силой.

Турки, со своей стороны, вели усиленную пропаганду среди дагестанских лезгин, приглашая их вторгнуться в Грузию. Джары назначались сборным пунктом, и партии, спускавшиеся с гор, действительно наводнили собой джарские селения. В это-то самое

время Раевский с Нижегородским полком выступил в действующий корпус, и Кахетия осталась опять с теми же двумя батальонами, которые охраняли ее и в прошлом году. Но на этот раз положение дел было настолько опасно, что звание командующего войсками в Кахетии Паскевич возложил на генерал-майора князя Чавчавадзе, ознаменовавшего себя блистательными действиями в турецкую войну 1828 года.

Кахетия переживала тяжелые минуты сомнения и колебания. Одни известия следовали за другими, тревоги сменялись тревогами,— везде требовались войска, а войск не было. Князь Чавчавадзе напрасно просил о присылке к нему хотя одного батальона. Из Тифлиса могли уделить ему только часть картлийской милиции, которую он и растянул кордоном по всей Алазани. Пехота заняла старые крепости в Шильдах, в Сабуи, в Кварелях и Чеканах. В таком расположении русские войска ожидали неприятеля, который и не замедлил перейти в наступление. Восемнадцатого июня конная партия лезгин, человек в четырехста, атаковала пост, стоявший у переправы Урдо, а затем уже тысячные партии их, под начальством Алдаша и Бегая, двинулись в Тушетию. По счастью, поход этот был неудачен. Тушины наголову разбили лезгин и заставили их вернуться обратно. Тогда князь Чавчавадзе сам предпринял рекогносцировку к стороне Белокан, чтобы выяснить по крайней мере настроение тамошних жителей. Селение оказалось занятым трехтысячной партией, и русский отряд, состоявший всего в пятьсот конных грузин, вынужден был отступить к Сакобским хуторам. Лезгины по его следам атаковали Урдоский пост и захватили на нем в плен двадцать два человека.

Теперь в измене джаро-белоканских лезгин сомневаться было нельзя. Оказалось, что некто Хаджи-Сулейман, странствовавший до сих пор с турецкими прокламациями в горах Дагестана, поселился в Катехах и своей пропагандой волновал умы джарского общества. Князь Чавчавадзе потребовал его выдачи. В ответ на это явились старшины с просьбой оставить хаджи в покое как человека святого, занимавшегося только духовными делами. Чавчавадзе арестовал старшин и объявил, что будет держать их на гауптвахте, пока не пришлют Сулеймана. Джарцы вынуждены были уступить. Хаджи был арестован, но с дороги сбежал, и депутация, явившаяся из Джар, просила Чавчавадзе освободить старшин, ссылаясь на то, что их отсутствие и было будто бы причиной оплошности конвоя. Чавчавадзе освободил старшин, но зато арестовал самих депутатов и рассадил их по тюрьмам. Джарцы продолжали волноваться; на помощь к ним явились две тысячи горцев, которые, в виде резерва, заняли Анцух и Капучи; а за ними, в Джармуте, формировалось еще пятитысячное скопище, под предводительством таких отважных людей, как Гамзатбек, Шавдуг-Али и другие. По счастью для нас, горцы потеряли слишком много времени на сборы, а тут наступила ненастная осень, и скопища, сколачиваемые наскоро, без теплой одежды, без обуви и продовольствия, стали расходиться по домам.

Последним эпизодом, заключавшим события 1829 года, было нападение Алдаша и Бегая на Кварельскую крепость. Но обстоятельства и здесь не благоприятствовали лезгинам. Малочисленный кварельский гарнизон оборонялся с таким упорством, что дал возможность собрать на тревогу ближайшие войска,— и горцы отступили. Бегай попробовал было вторично напасть на Тушетию; но глубокие снега, завалившие горные проходы, заставили его вернуться обратно. Ранняя и снежная зима окончательно освободила Кахетию от угрожающей опасности. На плоскости осталось, однако же, несколько партий, которые, приютившись в джарских селениях, продолжали набеги,— и войска стояли на кордонах целую зиму.

Нужно было наконец выйти из этого неопределенного положения. Чавчавадзе просил позволения занять джарскую землю; но Паскевич отложил все предприятия до начала будущего, 1830 года. С джарцев должно было начаться покорение кавказских народов.

VI. ПОКОРЕНИЕ ДЖАРЦЕВ

Стоял февраль 1830 года. Войска, только что вернувшиеся из Турции, с разных сторон шли на Алазань, и на берегу ее, у монастыря святого Стефана (Степан-цминде), становились бивуаками. Погода была теплая; дороги просохли, но леса еще не оделись листвой, и горы были завалены большими снегами, не допускавшими значительной помощи со стороны Дагестана. Паскевич торопился воспользоваться этим обстоятельством, чтобы произвести экспедицию в Джары прежде, чем снега позволят лезгинам спуститься с гор, а зелень и чаща лесов доставят им средства к отчаянной обороне. Покончить с джарцами, как можно скорее, было необходимо для нас еще и для того, чтобы лишить их возможности, при дальнейших наших операциях в горах, помогать Дагестану и отвлекать наше внимание и силы тревогами в Кахетии. Наученный опытом, Паскевич уже не хотел полагаться на одни, более нежели сомнительные, обещания старшин, тем более что и 1830 год, подобно своим предшественникам, начался в Джарском обществе обычными происшествиями. Армянин из Сигнаха, Дато Маркаров, торговавший в Белоканах в товариществе с одним лезгином, приехал в это селение и остановился у своего кунака; но кунак предательски схватил его в своем собственном доме и продал в горы вместе с товарами. Когда от белоканцев потребовали выдачи преступника, они дали ему возможность скрыться и затем отказались от уплаты штрафа. В другой раз лезгины увезли с урочища Чиаухах четырех грузинских мальчиков. След привел к лезгинским стадам, пасшимся в долине, и так как пастухи отказались указать направление, взятое партией, то стада были арестованы.

Чавчавадзе писал Паскевичу, что общее настроение лезгин довольно тревожное. Действительно, большие приготовления, делаемые к экспедиции, не могли оставаться тайной и раздражали джарцев, чувствовавших, что для них наступает последняя роковая борьба. Джамат, собранный ими в Мухинском ущелье, послал просить помощи у своих дагестанских соседей. Но соседи в ней отказали. Одни ссылались на большие снега, которые препятствовали им пройти через вершины Кавказа; у других стада были на плоскости, и они боялись их потерять. Таким образом, джарцам оставалось рассчитывать только на собственные средства, которые в сущности были довольно значительны: они могли выставить в поле до десяти тысяч вооруженных людей, но лишь под условием единодушной решимости к защите целого союза. В дни общих бедствий случалось не раз, что народы вставали как один человек и, под давлением великой идеи, жертвовали всем, чтобы спасти свою родину. Дух единодушия разрастался тогда до колоссальных размеров,— и слабые одолевали сильных. Но ничего подобного не могли представить собой заалазанские лезгины. Когда последняя слабая надежда на успех аварской экспедиции, затеянной в их пользу Кази-муллой, рассеялась, в гезах обнаружилось колебание. Елисуйский султан первый отпал от союза [Сын елисуйского султана служил офицером в Эриванском полку и был убит на штурме Ахалцихе.]; за ним последовали Белоканы, потом другие селения,— и Джары остались одни. Чавчавадзе доносил Паскевичу, что по всей вероятности и Джары встретят русские войска с известием покорности, если мы не потребуем уступки Закатал, составлявших ключ к обладанию областью, которую народ решил оборонять до последней крайности.

Собственно Закаталы составляли только часть большого селения джар, раскинутого в глубоком ущелье. Это селение тянулось верст на восемь и представляло собой целый лабиринт извилистых улиц, где каменные сакли и густые фруктовые сады, окруженные заборами, образовывали целый ряд небольших крепостей, способных выдержать самый отчаянный приступ. Чем больше деревня углублялась в ущелье, тем чаще становились заборы, а пролежавшая между ними дорога — теснее и хуже. Все это заканчивалось, наконец, небольшим возвышением, на котором стояла каменная башня, а вокруг нее,

уступами, громоздились сакли, отделявшиеся от самых Джар высокой и крепкой стеной. Это то и были Закаталы. Лезгины называли их Зекер-Талы (Задние Талы), так как впереди Джар, в трех или четырех верстах, раскидывалось другое селение,— тоже Талы, служившее центром Тальского геза. Вот эти то Зекер-Талы, переделанные на русский лад в Закаталы, и считались оплотом, недоступным русским войскам, которые три раза занимали нижнюю часть Джар и ни разу не могли проникнуть в Закаталы. Даже бесстрашный Гул яков, гроза лезгин, доселе живущий в преданиях и памяти народа, не имел успеха и за попытку заплатил своей головой и поражением отряда.

Но Паскевич именно с Закатал то и намеревался начать покорение джарцев, желая уничтожить в понятии народа самую мысль о неприступности этой твердыни. С другой стороны, он был убежден, что решительный удар, нанесенный джарцам в Закаталах, разом прекратит сопротивление остальных обществ и даже вынудит к покорности ближайшие племена нагорного Дагестана.

Семнадцатого февраля, у монастыря св. Стефана на Алазани, окончательно сосредоточился весь русский отряд, назначенный к экспедиции. Здесь, под начальством генерал-лейтенанта князя Эристова, прошедшего большую часть своей боевой службы на границе Кахетии и Лезгистана, собрано было восемь с половиной пехоты [Грузинского полка — семь рот, Эриванского полка — шесть, Ширванского — десять, сорок первого егерского — шесть и Кавказского саперного батальона — четыре.], весь Нижегородский драгунский полк, пять сотен казаков и пятьдесят восемь орудий. Двадцатого числа к отряду прибыл фельдмаршал, а двадцать четвертого войска перешли Алазань у Муганлинской переправы: пехота и конница по мосту, а обозы и пушки были переправлены на трех огромных паромах.

Такого большого отряда еще никогда не видали лезгины. Невозможность сопротивления была так очевидна, что все старшины и представители народа в тот же день явились в русский лагерь и были представлены Паскевичу. Они повторили перед ним желание удержать за собой Закаталы.

Паскевич отвечал отказом. Тогда старшины объявили, что они готовы уступить и самые Закаталы, если только удостоверятся, что сохранят за собой все привилегии и право на владение ингелойцами. “Единственное мое условие с вами,— отвечал главнокомандующий,— это прощение виновных, если народ изъявит безусловную покорность, и конечное истребление тех, кто осмелится сопротивляться”. Он тут же объявил, что джарские земли отныне всецело войдут в общий состав Русской империи, и, отпустив старшин, дал им несколько часов на размышление.

Лезгины покорились безусловно. В тот же день старшины их снова явились в лагерь и остались в нем заложниками спокойствия и тишины народа. Но среди прибывших людей не было ни одного представителя джарцев. В Джарах тем временем шли еще горячие прения и шумный джамат продолжался весь день и целую ночь. Байгуши, которым терять было нечего, и масса людей, не надеявшихся получить прощение за прежние шалости, требовали боя; люди рассудительные стояли за мирное решение вопроса,— и дело между ними едва не дошло до кинжалов. Тогда выступил вперед старый Мамед-Вали, один из почтенных джарских старшин, и сказал народу: “Безумные! теперь ли затевать ссору, когда русские стоят на пороге вашего дома? Чего вы боитесь? Те, которые умели щадить жизнь и имущество жителей богатого Тавриза и Арзерума, не откажут и нам в великодушии. Вспомните, что первая пуля, пущенная из Джар, уничтожит нас поголовно”. В длинной речи он указал народу на ту счастливую будущность, которая, быть может, ожидает джарцев под управлением России, и сумел примирить обе

враждующие стороны. Двадцать шестого февраля представители народа с поникшей головой явились к Паскевичу; они поднесли ему хлеб-соль и повергли к стопам его ружье и шашку. Паскевич принял оружие как знак безусловной покорности и объявил следующие условия:

Весь Джаро-Белоканский округ отныне и навсегда присоединяется к России и входит в общий состав империи. Для разбора гражданских и тяжёбных дел народу предоставляется право руководствоваться своими адатами, но дела уголовные подлежат ведению общих русских законов. Мусульманам гарантирована неприкосновенность религии и богослужения, но зато они обязаны были вносить государственную подать, отбывать все земские повинности, принимать у себя русские гарнизоны и давать аманатов. Самый щекотливый вопрос относительно ингелойцев решен был Паскевичем следующим образом: ингелойцы обязаны были платить подати тем из владельцев, на земле которых жили, но размер этой подати определялся уже русским военным начальником, и никто из мусульман не мог произвольно увеличить налога. Лично ингелойцы получили свободу; они могли переходить куда пожелают, но дома, сады и земли должны были оставаться в пользу владельца до тех пор, пока ингелоец не заплатит ему десятилетнюю сложность приносимого дохода.

Так пала самостоятельность джарского союза. Он был присоединен к России под именем Джаро-Белоканской области, и военным начальником ее назначен был генерал-майор Бекович-Черкасский.

На следующий день, двадцать восьмого февраля, Ширванский полк, шесть рот сорок первого егерского, две роты кавказских саперов, три сотни казаков и десять орудий заняли Закатали. Вслед за ними въехал фельдмаршал и, лично ознакомившись с местностью, приказал поставить в Джарском ущелье крепость, которая могла бы держать в повиновении жителей и ограждать наши границы от вторжения хищных лезгин. К постройке ее приступили немедленно; дома и сады джарских жителей, входившие в черту крепостной эспланады, были куплены казной за высокую цену, и жители не могли надивиться, что русские платят чистое золото за клочок земли и за грудку камней, которые и без того принадлежали им по праву победителей. Окрестные леса были также вырублены, и вековые громадные чинары пошли на устройство деревянных оград, которые, на первый раз, признавались достаточными для защиты русского гарнизона. Третьего марта все войска разошлись по своим квартирам, и в Джарах остался один отряд князя Бековича.

С образованием Джарской области явилась наконец возможность изменить и кордонную линию, крайне тяжелую и неудобную для обороны. До покорения джарцев линия эта начиналась у Тионетского ущелья и шла по ту сторону Алазани до деревни Чеканы, откуда круто, почти под прямым углом, уклонялась на юг к деревне Велисцихе и, обогнув джарские земли, тянулась далее уже по левому берегу реки до Муганлинской переправы. Вся эта ломаная линия, имевшая протяжение более чем триста верст, была занята разбросанными постами, и, очевидно, не представляла ни на одном пункте достаточной твердости для ограждения Кахетии от набегов. Даже четыре роты, занимавшие Сабуи, Шильды, Кварели и Чеканы, по своему положению могли поддерживать посты только в верхней Кахетии, а вся остальная линия, по течению Алазани, уже выходила из круга их действий. Лезгины пользовались этим и, обходя наши резервы, вторгались в Кахетию правее их, около Сигнаха.

Теперь, когда все выходы из гор находились уже в наших руках и джарцы, привлеченные к отбыванию службы, занимали их своими постами,— кордонная линия прошла по

прямому направлению от Тионет через Боженьяны, Белоканы и Джары к Мухахам. Вся эта линия разделена была на две дистанции: лезгинская — занимала протяжение от Мухахи до Лагодех, а кахетинская — от Лагодех до Тионет, причем центральными пунктами в них назначены были Джары и Боженьяны.

Проводя новую линию, Паскевич задался разумной идеей заселить свободные за Алазанью земли русскими переселенцами и образовать из них новое линейное казачье войско, которое укрепило бы за нами наши приобретения. Нужно сказать, что как раз в это время был в полном ходу вопрос о переселении в Закавказский край восьмидесяти тысяч малороссийских казаков, которых думали поселить на персидской границе. Дело остановилось только за недостатком земель, так как под казачьи станицы требовалось около двух миллионов десятин, а такого громадного количества там отыскать было невозможно. Между тем с покорением джарцев открылась свободная полоса земли, лежавшая между Алазанью и юго-восточным хребтом Кавказа. Полоса эта, заключавшая в себе до семидесяти тысяч десятин, оставалась до тех пор в совершенном запустении, а между тем превосходный климат ее, плодородие почвы и изобилие леса представляли особые устройства для образования здесь оседлого населения. Паскевич и хотел воспользоваться этим обстоятельством, чтобы поселить здесь до шести тысяч казаков, которые, с одной стороны, совершенно прикрыли бы Грузию от непокорных лезгин, а с другой,— поселенные между Кахетией и джарскими владениями, служили бы наилучшим средством к скорейшему сближению русских с коренными обитателями края. Все это казалось, тем более удобным, что споров на эти места никто предъявить не мог, так как в течение полутора лет никто ими не пользовался, вследствие близкого соседства непокорных горцев. И кто знает — может быть и возникло бы тогда в этой части Кавказа новое казачье войско, а с ним вместе наступило бы и скорейшее умиротворение края, но этому помешали крупные события, заслонившие собой все нарождавшиеся вопросы и надолго изменившие наши планы и предположения. То был мюридизм, озаривший своим кровавым ореолом весь Дагестан на многие годы.

Первую весть о вооруженном движении мюридов Паскевич получил на Алазани; но это известие не отклонило удара, направленного на Джаро-Белоканы. Личность Кази-муллы, туманная и загадочная, еще не сложилась тогда в те определенные формы, которые могли бы встревожить полководца, только что победоносно окончившего две войны с сильными магометанскими государствами,— и Паскевич, оставляя в стороне дагестанские события, решил неуклонно и твердо идти к достижению раз намеченной цели.

Джары были покорены,— теперь очередь стояла за Осетией.

VII. ВОЕННО-ГРУЗИНСКАЯ ДОРОГА

Покорение Осетии, стоявшее на очереди после присоединения к России джаро-белоканских лезгин, тесно связывалось с вопросом о безопасности Военно-Грузинской дороги, служившей единственным путем, соединявшим Россию и Грузию. Боковых сообщений через Баку или Поти тогда не существовало, и потому охрана этого пути, как единственной коммуникационной линии, по которой двигались войска и ходили транспорты, составляла всегда предмет живейшей заботливости русских главнокомандующих.

До Ермолова дорога, начинавшаяся в Екатеринограде, тотчас по переезде через Малку, шла через Моздок, по правому берегу Терека, в самом ближайшем соседстве беспокойных чеченцев. Ермолов перенес ее на левую сторону и направил на Татартуб и Ардон. Расстояние выходило короче, но относительно безопасности дорога выиграла не много.

Военные посты, расставленные по ее протяжению, были не в состоянии вполне оградить ее от набегов, и чеченцы из-за Терека, а осетины из горных ущелий нередко прокрадывались небольшими партиями и нападали на проезжающих.

Почтового тракта по этому пути не было,— он прекращался у Екатеринограда, откуда до самого Владикавказа проезжающие нанимали лошадей и отправлялись один или два в неделю с конвоем, носившем название “оказии”. Теперь подобные путешествия отошли уже в область преданий; но вот как рассказывает о них Пушкин, посетивший Кавказ именно в описываемую нами эпоху.

“В Екатеринограде,— говорит он,— на сборном месте соединился весь караван, состоявший из пятисот человек или более. Пробили в барабан: мы тронулись. Впереди поехала пушка, окруженная пехотными солдатами. За ней потянулись коляски, брички, кибитки солдаток, переезжавших из одной крепости в другую; за ними заскрипел обоз двухколесных арб. По сторонам бежали конские табуны и стада волов. Около них скакали ногайские проводники в бурках и с арканами. Все это сначала мне очень нравилось, но скоро надоело. Пушка ехала шагом, фитиль курился, и солдаты раскуривали им трубки. Медленность нашего похода (в первый день мы прошли только пятнадцать верст), несносная жара, недостаток припасов, беспокойные ночлеги, наконец, непрерывный скрип ногайских арб выводили меня из терпения. Татары тщеславятся этим скрипом, говоря, что они разъезжают как честные люди, не имеющие нужды укрываться. На этот раз приятнее было бы мне путешествовать не в столь почетном обществе. Дорога довольно однообразная: равнина, по сторонам холмы. На краю неба — вершины Кавказа, каждый день являющиеся все выше и выше. Крепости, достаточные для здешнего края, со рвом, который каждый из нас перепрыгнул бы не разбегаясь, с заржавевшими пушками, не стрелявшими со времен графа Гудовича, с обрушенным валом, по которому бродит гарнизон куриц и гусей. В крепостях несколько лачужек, где с трудом можно достать десяток яиц и кислого молока...”

За Владикавказом нельзя было достать уже и этого. В горах не было ни постоянных дворов, ни маркитантов, и путешественникам приходилось запасаться провизией почти до самого Тифлиса. Самый Владикавказ, имевший важное стратегическое значение для края, был беден промышленностью, хотя и представлял собой небольшой городок с правильно разбитыми улицами и с четырехтысячным смешанным населением русских и горцев.

От Владикавказа начинался уже переезд через горы. Дорога верст пять шла по равнине, но потом исчезала совершенно в горных теснинах. Громады, которые, казалось, загораживали путь, с приближением к ним точно раздвигались, и Кавказ принимал путешественника в свое святилище.

Говорят, что тот, кто видел Кавказ, может умереть, не завидуя Швейцарии; но кто видел только Швейцарию, тот не имеет еще понятия о грозном величии Кавказа. Здесь нет очаровательных, ласкающих видов, нет голубых и зеленых озер, окаймленных вдали снеговыми вершинами. В горах Кавказа все поразительно, величаво и по большей части угрюмо. В Швейцарии первенство принадлежит ландшафту. На Кавказе впечатления, производимые красными пейзажами, меркнут перед образом возникающей тут же грозной горной картины. Самый Монблан уступает даже второстепенным кавказским горам, не говоря о Казбеке и Эльбрусе, которые превышают его почти на целую версту. Шум горной швейцарской Рейсы далеко не может сравниться со лвиным ревом Терека, и никакая Симплонская дорога не может стать в параллель с русским путем, проложенным в Дарьяльском ущелье.

До Балты, где теперь почтовая станция, а во времена Паскевича стоял казачий пост, природа сохраняет еще живописный и мягкий характер; множество звонких ручьев с холодной кристальной водой сбегает с гор на дорогу, самый Терек, разбегаясь в кустах, как бы прячется в зелени густых, тенистых садов, и вся картина обрамляется великолепной рамой, составленной из перспективы гор, зеленых, лесистых, блестящих под лучами солнца то белыми известковыми, то порфировыми, то черными шиферными скалами.

Но с каждым шагом за Балту ущелье становится уже, природа — угрюмее и диче. Горы достигают уже такой высоты, что огромные сосны, растущие на их вершинах, кажутся мелким кустарником. Стесненный Терек с ревом бросает свои мутные волны через утесы, преграждающие ему путь. Каменные подошвы гор обточены его волнами.

“Я шел пешком и поминутно останавливался, пораженный мрачной прелестью природы. Погода была пасмурная; облака тяжело тянулись около черных вершин... Не доходя до Ларса, я отстал от конвоя, засмотревшись на огромные скалы, между которыми хлещет Терек с яростью неизъяснимой. Вдруг бежит ко мне солдат, крича издали: “Не останавливайтесь, Ваше благородие, убьют!” Это предостережение с непривычки показалось мне чрезвычайно странным. Дело в том, что осетинские разбойники, безопасные в этом узком месте, стреляют через Терек в путешественников. Накануне нашего перехода они напали таким образом на генерала Бековича, проскакавшего сквозь их выстрелы”.

Ларс — это, собственно, замок со сторожевой башней, стоящей одиноко на выдавшемся голом уступе. Кругом его лепятся бедные осетинские сакли, едва приметные глазу. В старые годы, по всей вероятности, здесь было жилище какого-нибудь феодала, наводившего страх на целую окрестность. Отсюда он владел ущельем и собирал дань с проезжающих, если ленился их грабить. Но с тех пор, как гром русских пушек раздался в кавказских ущельях, пали все неприступные замки, истребились все гнездилища разбойников, и в ларской башне мирно обитало семейство Дударовых, принадлежавшее к лучшим фамилиям Осетии. Внизу, под самой скалой, стоял военный пост, и в нем размещались казаки да одна или две роты пехоты.

Теперь от фамильного замка Дударовых остались одни развалины, а на месте военного поста раскинулся поселок, где русские избы мешаются с целым рядом туземных духанов. Самая станция перенесена отсюда на несколько верст дальше, туда, где на берегу Терека лежит громадный камень, весом в несколько пудов, упавший с окрестных гор во времена Ермолова. Камень так и называется “ермоловским”; но на нем нет ни надписи, ни знака, которые могли бы удовлетворить любопытство путешественника.

Уже подъезжая к новому Ларсу, вы попадаете, как говорит Владыкин в своем путеводителе, точно в глухой переулочек, из которого нет другого пути, кроме обратного — так тесно сдвинулись скалы, рассеченные надвое, словно мечом, прядущим Терек. Глаз поражается причудливым очертанием этих голых, лишенных растительности скал, и тем не менее вся прелесть, весь ужас горной природы — еще впереди: вы только у входа в Дарьяльское ущелье, которое, как узкая щель, чернеет в нескольких саженях от крыльца почтовой станции.

Дарьял, или правильнее Дариол, по-персидски значит тесная, узкая дорога, и это название вполне характеризует путь, проложенный между двумя отвесными стенами утесов. Здесь так узко, что не только видишь, но, кажется, даже чувствуешь тесноту. Клочок неба, как лента, синее над вашей головой. Здесь волны Терека едва находят себе место, и на

протяжении нескольких верст, кроме дороги, высеченной в скале, нет ни пяди земли, где бы могла ступить нога человека. Но и эта неровная каменистая дорога была проделана только во время Ермолова. До него здесь не было никакого сообщения, и проезжающим приходилось лепиться по тропе, подходившей почти под самые льды Казбека. Следы этой тропы видны доселе, как видна и скала, прорванная в одном месте порохом в виде крытых ворот или арки, но до того низкой, что путешественники должны были снимать кузова карет или колясок и на руках перетаскивать их несколько сажень. Сколько терялось при этом времени на перетяжку рессорных ремней, на отвинчивание и привинчивание гаек; а случилось и так, что разобранный экипаж не умели собрать снова и бросали его, совершая дальнейший путь на дрогах или на грузинской арбе.

Мрачную обстановку Дарьяльского ущелья усиливает Терек. Как пойманный зверь, с яростью бьется и мечется он из края в край в этой гранитной клетке, и, падая с утеса на утес, увлекает за собой громадные скалы, и с грохотом катит их по каменистому руслу. Шум его, повторяемый раскатами горного эха, заглушает слова человека. “Дико прекрасен гремучий Терек в Дарьяльском ущелье!” — восклицает Марлинский. И еще диче, еще грандиознее, при неумолкаемом рокоте волн, кажутся стоящие кругом его гранитные стены, местами обугленные, точно обожженные огнем, закопченные дымом. Это действие весенних водопадов. Они низвергаются вниз с такой стремительностью, что увлекают за собой тяжелые обломки гранита, который, падая, выбивает искры, оставляющие на каменных глыбах следы огня и дыма. Ничего нельзя себе представить более дикого, мрачного и грозного, нежели природа Дарьяла. Солнце заглядывает сюда лишь на несколько часов; сильный ветер дует постоянно, то со снежных вершин, то из узких горных проходов; горизонт замыкается утесами печального серого цвета; по ним бродят облака и, спускаясь вниз, покрывают дорогу туманом. Нередко раздражаются грозы, сопровождаемые страшными раскатами грома, вызывающего падение каменных обвалов, срываемых сотрясением воздуха. И покатоги гор, и дно ущелья, и ложе Терека — все завалено обломками порфировых и гранитных скал.

И дик и чуден был вокруг
Весь Божий мир...

Только в одном месте громада утесов, как бы раздвигаясь, оставляет небольшую прогалину, на которой стоит небольшая крепость, выстроенная из черного и розового гранита. Эта крепость — новая. А рядом с ней, на выдавшемся голом уступе скалы, виднеются развалины неизмеримо более древнего замка, седого и мшистого, одетого, как ризой, плющом и повеликой. Это знаменитый замок Тамары. Он прирос столетними деревьями и зеленеет в цветах диких роз и тамариндов.

Теперь образованный север шлет одряхлевшему и усыпленному Востоку дары своего просвещения, плоды своей цивилизации и братскую любовь, а было время, когда образованный Восток древнего мира ограждал себя стенами и башнями по ущельям и высям гор от нашествия северных варваров. И этот старый замок некогда также сторожил грузинские пределы от вторжения скифов. Если судить по развалинам еще уцелевших башен и стен, по водопроводам, проложенным под закрытыми сводами, — то надо сознаться, что лучшего места для обороны найти было трудно. В этом тесном ущелье несколько сотен солдат могли остановить целую армию, с какой бы стороны она не подходила. Самое ущелье запиралось деревянными, окованными железом воротами, которые поставлены были здесь царем Мирманом за полтора столетия до Рождества Христова. Впоследствии и ворота, и замок разрушились; они еще раз возникли в XII веке при царе Давиде Возобновителе, — но затем уже навсегда отошли в область воспоминаний. Это факт исторический. Но народная легенда не может довольствоваться

летописью великого царя, ей нужны мифы,— и она видит в замке Давида волшебный дворец какой-то баснословной царицы Дарьи, передавшей свое, не знакомое истории, имя и самому ущелью. Народу нет дела до того, что по-персидски дария значит ворота. Он уловил знакомый ему звук, воплотил его в образ волшебной царицы и связал ее имя с мрачными развалинами, полными таинственности и суеверного ужаса. Позднее Дарья преобразилась в Тамару, как в имя более знакомое и близкое народу. Но это не та великая, историческая Тамара, которой полны грузинские летописи: та — идеал величия и силы; эта представляет собой миф, такой же таинственный и страшный, как и сама природа Дарьяла. Кому не известна поэтическая легенда, рассказанная Лермонтовым:

В глубокой теснине Дарьяла,
Где роется Терек во мгле,
Старинная башня стояла,
Чернея на черной скале...

От этого замка начиналась Грузия, и путь становился безопаснее, потому что по дороге лежали уже грузинские селения, бедные и малолюдные, но предпочитавшие упорный труд легкой наживе рыцарей большой дороги. Бедность и нищета являлась здесь поразительная. Земля не производила ни фруктов, ни винограда, и единственным источником пропитания жителей служили небольшие посевы ячменя и пшеницы; но эти посевы были так малы, что, например, в деревне Гвилеты, стоявшей у подножия Казбека, на двадцать дворов приходилось всего полдесятины пахотной земли, без пастбищ и сенокосов. И на этих-то скудных полях хлеб нередко пропадал на корню, потому что все мужчины и весь скот в самую страдную пору обыкновенно отбывали казенную работу. Натуральные повинности жителей были тяжелы и распределялись несоразмерно с населением. Жители бесплатно снабжали все посты по Военно-Грузинской дороге дровами, лесом для построек, ячменем и сеном, выставляли быков для частных проезжающих при перевале их через горы, переносили на руках почву во время снежных завалов или разливе Терека исправляли дорогу и перевозили казенные транспорты от Ларса до Тифлиса, за что платили им один рубль тридцать четыре с половиной копейки медью — и это почти за двести верст расстояния! Нужно сказать, что большая часть этих повинностей была унаследована нами от грузинских царей. Почему грузинские цари издревле обложили здешний народ податью гораздо большей, нежели какая была установлена в других частях Грузии, где и земли несравненно обширнее, и способы сбыта произведений легче,— объяснить трудно. Можно предположить только, что цари, устанавливая подать, принимали в расчет не количество и плодородие земли, а спокойствие и безопасность жителей. Грузия ежегодно разорялась лезгинами, турками и персиянами, а жители здешних горных теснин были недоступны неприятелю.

За Дарьяльской тесниной тотчас начинается Хевское ущелье; оно гораздо шире Дарьяла, и в нем более света и воздуха. Из-за гор уже начинает показываться белая шапка Казбека. Здесь переправа через Бешеную балку, самое имя которой достаточно характеризует этот поток, мгновенно превращающийся после дождя и во время таяния горных снегов в реку, превосходящую своим бешенством Терек. За Бешеной балкой снова долина,— и по ней разбегается Терек. Громады гор обступают его со всех сторон,

И между них, прорезав тучи,
Стоит всех выше головой
Казбек, Кавказа царь могучий,
В чалме и ризе парчевой...

Дорога идет у самой подошвы этой горы, мимо грузинской деревни с готической церковью и княжеским домом, выстроенным со всеми затеями восточной архитектуры. Эта деревня имеет историческое значение, так как в старые годы служила передовым форпостом, заслонявшим выход из Дарьяльской теснины. Она была пожалована грузинскими царями князьям Казы-бекам, выходцам Большой Кабарды, обязавшимся защищать дорогу от горских набегов. От имени князей, поселившихся у подножья исполинской горы, русские стали называть и самую гору Казбеком. Так, по крайней мере, объясняют происхождение этого названия, вовсе неизвестного соседним народам. Местные жители называют гору Бешлам-Корт, грузины — Мхинвари, а осетины Черпети-Чуб, то есть пик Христа.

Волшебный и полный поэзии мир окружает эту гигантскую гору, поднимающую свое чело в заоблачные пространства более чем на шестнадцать тысяч футов. Вековечные снега ее дают начало бурному Тереку и в солнечные дни горят и сверкают ослепительным блеском. На одной из заоблачных скал Казбека, как раз напротив военного поста, где теперь почтовая станция, чернеет старинная церковь или монастырь, называемый и Степан-Цминде и Цминде-Самеба. Божественная служба совершается здесь ежегодно только три раза, и тогда масса богомольцев со всех сторон приходит на поклонение святыне. Храм окружают могильные плиты, и из рассеявшихся кое-где каменных стен уже пробивается трава, свидетельница многих веков, протекших над его крепкими сводами. Внутри сохраняются еще некоторые старинные украшения, и как памятники прошлого величия Грузии стоят какие-то старые трофеи, — турецкие бунчуки, Бог весть кем и когда сюда занесенные. Вид со скалы, с высоты семи тысяч шестисот футов, на соседние горы и ледники Казбека — очарователен. Но еще более очаровательное и чудное зрелище представляет сам монастырь в час раннего утра, когда белые, разорванные тучи протягиваются через вершину горы, и уединенная церковь, озаренная первыми лучами солнца, кажется, плавает в воздухе, несомая облаками.

Высоко над семьею гор,
Казбек, твой царственный шатер
Сияет вечными лучами.
Твой монастырь за облаками,
Как в небе реющий ковчег,
Парит чуть видный над горами
Далекий вожделенный брег!
Туда б, сказав прости ущелью,
Подняться в вольной вышине!
Туда б в заоблачную келью,
В соседство Бога скрыться мне!

Многие полагают, что с этим монастырем связана та чудная легенда, которая рассказана Лермонтовым в его поэме “Демон”. Но это едва ли справедливо, потому что есть монастырь еще выше, еще неприступнее, на грозных скалах, поднимающихся уже на рубеже вечного снега.

Там у ворот его стоят
На страже черные граниты,
Пластами снежными покрыты,
И на груди их, вместо лат,
Льды вековечные горят.

Посещавшие этот монастырь говорят, что он несомненно был обитаем; там есть и кельи, высеченные в скалах, и могильные плиты, на которых грубые надписи уничтожены временем. Но была ли здесь церковь,— народ не помнит, и потому приходится верить поэзии:

Услыша вести в отдаленьи
О чудном храме в той стране,
С востока облака одне
Спешат к нему на поклоненье...

Самая вершина Казбека, по народному поверью, место святое, которого никто не может достигнуть, если не будет чист так же, как девственные снега Казбека. Арарат хранит на своей вершине ковчег. На темени Казбека разбит шатер Авраама, осеняющий вифлеемские ясли, в которых покоился божественный Младенец. У местных жителей сохранилось предание о том, как при царе Ираклии один благочестивый священник вызвался взойти на вершину и взял с собой сына. Старик погиб бесследно в ледниках Казбека, но юноша вернулся с куском неведомого дерева, с лоскутом шелковой материи и с золотыми монетами, приставшими к подошвам его бандулей,— это было то самое золото, которое волхвы, сопутствуемые звездой, принесли Спасителю в дар вместе со смирной и ладаном. Так рассказывают об этом старые люди. Через сто лет члены лондонского альпийского клуба, известные ходоки по горам, Фрешвильд, Мур и Теккер взялись опровергнуть мнение об абсолютной недоступности вершины Казбека и поднялись на нее 18 июня 1868 года. Сокровищ там они никаких не нашли, а вернувшись с пустыми руками, не поколебали веры туземцев в неприступность Казбека.

Несмотря на святость чтимого места, народные легенды населяют и Бешлам-Корт горными духами, которые стерегут его вершину и иногда показываются тем, кто охотится за турами.

За Казбеком дорога заметно начинает подниматься в гору. Быстро извиваясь, еще с ревом бежит бурный Терек в каменной раме утесов, но берега его уже не так угрюмы и дики. Подъезжая к бедной осетинской деревне Ачхоты, путник поражается шумом горного потока, мешающимся с ревом дикого Терека. Это вырывается из Гудошаурского ущелья Черная речка, по временам величественная и страшная не менее самого Терека. В сороковых годах по этому ущелью пробовали проложить почтовую дорогу в обход Крестового перевала. Дорога через Буслачир и Гудомакарское ущелье действительно выводила прямо к Пассанауру; но снежные завалы, еще более страшные на этом пути, чем на старой дороге, скоро заставили от нее отказаться.

Между множеством развалин церквей и башен, мелькающих по вершинам окрестных скал, резко выделяются на своих утесах Сион и Георге-цихе, лежащие друг против друга. Никаких преданий о них не существует. Но здесь, как и во всей Грузии, церкви сохранились как памятники от лучшей эпохи ее, а замки — от годин кровавых смут и народных бедствий. Бывали тяжелые времена и для бедных обитателей Хевского ущелья. Это были дни, когда междоусобная война, разгоравшаяся между эриставами Арагвы и Ксана, заливала кровью и освещала огнями пожаров весь длинный путь от старого Душета до теснин Дарьяльских.

Над хевцами являлись тогда властелины, но не было у них покровителей, и народ, заключенный в своих бесплодных горах, лишенный всякой промышленности, угнетенный хищными соседями, вынужден бывал для возделывания своих каменистых нив выходить на работу целыми селами с оружием в руках, а на ночь укрываться в каменных стенах, в

башнях и пещерах. Чтобы спасти себе жизнь, он должен был ютиться в орлиных гнездах, менять цветущие долины на каменные склепы в области вечных туч и туманов. Напротив, Господние храмы созидались в счастливейшие дни Грузии и ставились так высоко только во свидетельство соседним народам торжества христианской религии. Все эти храмы, поражающие величиём архитектуры и дошедшие до нас через целые тысячелетия,— памятники или Давида, или Тамары. Повсюду их громкие имена, их светлые лики.

Проезжая среди этих мрачных развалин, поражающих глаз все новыми и новыми впечатлениями, путник достигает станции Коби. Здесь перекресток трех ущелий, которые, сходясь, образуют довольно широкую, красивую долину. Справа, из Ноокаузского ущелья непрерывным каскадом вырывается Терек. Освободившись от горных теснин, плавнее бегут по долине его быстрые волны, как бы набирая новые силы для борьбы с твердым гранитом Дарьяла. Слева чернеет ущелье Ухат-дона, откуда несется шумный поток и, пересекая долину, сливает свои мутные воды с Терекком.

Окрестности богаты минеральными источниками; некоторые бьют фонтанами и своим кисловатым вкусом, и своими целебными свойствами напоминают Нарзан.

От Коби начинается уже перевал через главный Кавказский хребет. Дорога по крутому подъему поднимается прямо на Крестовую гору. На шестой версте, среди пустынной и безжизненной природы, где зимой царство вечных снегов, переезжают речку Байдару. Здесь, прислонившись к скале, стояли две небольшие осетинские сакли и висел колокол, в который звонили во время метели. Далеко разносился благовест посреди завывания бури и давал путнику весть о близком спасении в этой снежной заоблачной пустыне, готовой засыпать и похоронить его под страшными завалами.

От Байдары подъем еще продолжался две-три версты и наконец достигал вершины горы, где на высоте семи тысяч девятисот семидесяти восьми футов чернеет гранитный крест,— старый памятник, обновленный Ермоловым. Говорят, что первый крест воздвигнут был здесь царем Возобновителем как знамение его владычества над целым Кавказом; но предания относят его ко временам еще отдаленнейшим и утверждают, что здесь, на этом самом месте, Кир распиная непокорных скифов, и самая гора, вследствие орудия казни, названа Крестовой. Ермолов возобновил этот крест в память сооружения Военно-Грузинской дороги. И теперь любопытный путешественник прочтет на мраморной доске, врезанной в его гранитный пьедестал, следующую надпись: “Во славу Божию, в управление генерала от инфантерии Ермолова, поставлен приставом горских народов майором Кононовым в 1824 году”.

Спуск с Крестовой был еще труднее подъема. Теперь по этим диким местам проложено прекрасное шоссе; но при Паскевиче, да и гораздо позднее его, до самого конца пятидесятых годов, перевал через Крестовую был такой, что путешественники обыкновенно выходили из экипажа и шли пешком. Пушкин рассказывает, что перед ним проехал здесь какой-то иностранный консул: он велел завязать себе глаза, и когда его свели под руки и сняли повязку, он стал на колени и благодарил Бога, что очень изумило его проводников.

Спустившись с Крестовой, нужно было подниматься опять на Гуд-гору, составлявшую высшую точку перевала, около девяти тысяч футов. Она отделялась от Крестовой узкой долиной, известной под именем Чертовой. “Вот романтическое название! — восклицает Лермонтов.— Вы уже видите гнездо злого духа между неприступными утесами — не тут-то было! Название Чертовой долины происходит от слова “черта”, а не чёрт — ибо здесь когда-то была граница Грузии”. Но Лермонтов, однако же, едва ли прав в своем

заклучении. Граница Грузии была дальше, там, где стояли Дарьяльские ворота, а самое название произошло, как можно полагать вернее, именно от мрачных ужасов, окружающих долину, и частых несчастий, случавшихся здесь от снежных обвалов. Зимой, когда снега накаплиются на вершинах гор и над самой дорогой висят пласты их в несколько саженой толщиной, когда в зловещем безмолвии заоблачной пустыни здесь и там грохочут срывающиеся завалы и необъятные лавины снега, перелетая через дорогу, низвергаются в пропасть, сокрушая все, что встречается им на пути,— тогда умолкают в путнике все страсти, все помыслы и чувства, кроме благоговейного страха: здесь он сознает, в смирении, что близок к смерти, близок к Богу...

Величественная и грозная природа Кавказа, с ее необъяснимыми для необразованного ума явлениями, сделала горцев чрезвычайно суеверными. Пылкое воображение их населило горы бесчисленными таинственными обитателями и создало множество легенд, из которых расскажем одну, относящуюся собственно к Гуд-горе, получившей свое название от могучего горного духа, обитающего на ее вершине. В понятиях осетин страшный Гуд представляется в виде одушевленного существа со всеми человеческими желаниями и страстями, достигающими в нем, разумеется, размеров чудовищных. Человеку нельзя было безнаказанно увидеть горного великана. Находились смельчаки, которые взбирались на самую вершину горы, чтобы посмотреть на заколдованное жилище грозного духа,— и могучий Гуд показывал им все ужасы своего мрачного царства. Но никому из этих смельчаков не удавалось возвратиться в аул подобру-поздорову. Все они погибали, и только горные орлы да сам старый Гуд знают, на дне каких стремнин и пропастей белеют их кости.

В той самой Чертовой долине, которую переезжают, спустившись с Крестовой, есть и поныне аул, с которым соединена легенда, характеризующая наклонности горного духа. Вот что рассказывают старые осетины.

В глубоком ущелье, на самом дне его, там, где Арагва вырывается из горной расселины, стоит осетинский аул, называющийся Гуд. Со всех сторон скрывают его громадные горы, которые, кажется, вот-вот раздавят бедные сакли. Но проходят веча,— а горы стоят неподвижно; и только в далекой вышине их слышатся из аула глухие раскаты. То старый Гуд на своей недостижимой вершине забавляется, сталкивая в пропасть огромные снеговые глыбы.

В этом-то ауле, в самой крайней сакле, жила бедная осетинская семья, которую Господь благословил рождением дочери Нины. Не было ребенка красивее Нины в целой Осетии,— и старый Гуд пленился малюткой. Хотела ли Нина подняться на гору, тропа, ведущая туда, сама собой выравнивалась, а камни и скалы покорно складывались в удобную и пологую лестницу; искала ли Нина со своими подругами цветов и трав, Гуд собирал и прятал лучшие из них под сводами камней, распадавшимися тотчас при приближении малютки. Никогда ни один из пяти баранов, принадлежавших этой семье, не падал в кручу и не делался добычей дикого зверя. И не раз старый Гуд, опершись могучими локтями и каменные громады, долго, не отрываясь, следил за своей маленькой Ниной. Тихие слезы текли тогда по длинной седой бороде его и, скатываясь на камни, струились ручьями до самого подножия гор.

И говорили люди:

“То жаркие весенние лучи солнца растопили лед на самой вершине!”

Так прошло пятнадцать лет. Из хорошенького ребенка Нина сделалась замечательной красавицей; но она, как и прежде, не замечала заботливости старого Гуда и чаще и чаще заглядывалась на молодого соседа, красавца Сосико. Гуд стал ревновать. Он заводил в трущобы, когда тот с винтовкой гонялся за газелью, застилал перед ним туманом бездонные пропасти или засыпал его снеговой метелью. Но Сосико был отважен и ловок. Он счастливо избегал опасности, и ярость старого Гуда достигала тогда крайних пределов. В бессильном бешенстве, как шумный ураган, мчался он по своим далеким снежным пределам и на пути сталкивал в пропасть груды камней, разметывал снега, поднимал бурю, собирал грозные тучи, кидал молнии. Гуд шел по горам, трепетали внизу люди и спешили скорее в сакли.

“Старый Гуд разыгрался!” — говорили они.

А старый Гуд не терял надежды отомстить Сосико и разлучить влюбленных. И вот однажды, когда Сосико и Нина, в глубокую зиму, случайно остались в сакле одни и не могли наговориться между собой, Гуд сбросил на них огромную лавину снега. Сакля была погребена под обвалом. В первую минуту влюбленные даже обрадовались, потому что могли некоторое время оставаться одни; они развели очаг и беспечно, усевшись перед огоньком, предались радужным мечтам и ласкам. Но скоро голод предъявил свои требования. Отысканные где-то в углу две хлебные лепешки да небольшой кусок сыра утолили его не надолго. Прошел еще день, — и вместо веселого говора и звонкого смеха в сакле послышался ропот отчаяния: узники думали уже не о любви, а о хлебе. На четвертый день голодная смерть для обоих казалась неизбежной. Сосико, в мучительной тоске метавшийся из угла в угол, вдруг, в порыве дикого исступления, бросился к Нине и впился в ее плечо зубами...

В эту минуту послышались людские голоса, мелькнул свет и дверь, очищенная от снега, распахнулась. Нина и Сосико бросились к своим избавителям, но уже с чувством отвращения и ненависти друг к другу.

Обрадовался этому старый Гуд и разразился таким смехом, что целая груда камней посыпалась с гор в Чертову долину. Большое пространство ее и до сих пор еще густо усеяно осколками гранита.

“Вот как смеется наш могучий Гуд”, — прибавляют осетины, рассказывая эту легенду.

Взбираясь на Гуд-гору со стороны Крестовой, на протяжении какой-нибудь четверти версты, вам кажется, что вы поднимаетесь на самое небо, потому что, насколько может видеть глаз, идет все круче, все выше, и пропадает наконец в облаках, охватывающих наверху туманом и сыростью. Гроза разражается здесь уже под нашими ногами. Здесь-то, на вершине Гуд-горы, Пушкин написал превосходное стихотворение:

Кавказ подо мною. Один в вышине
Стою над снегами у края стремнины;
Орел, с отдаленной поднявшись вершины,
Парит неподвижно со мной наравне...

В ясные дни с вершины Гуд-горы открывается очаровательный вид на Койшаурскую долину. Мгновенный переход от грозного Кавказа к миловидной Грузии — очарователен. Светлые равнины, орошаемые веселой звонкой Арагвой, сменяют голые утесы, мрачные ущелья и грозный Терек, оставшийся далеко позади, в Коби. “Славное место эта долина!” — восклицает Лермонтов. Со всех сторон горы неприступные, красноватые скалы,

обвешанные зеленым плющом и увенчанные купами чинар; желтые обрывы, исчерченные промоинами; а там высоко-высоко золотая бахрома снегов; а внизу Арагва, обнявшись с другой безымянной рекой, шумно вырывающейся из черного, полного мглой ущелья, тянется серебряной нитью и сверкает, как змея своей чешуей. И все это вам кажется отсюда в уменьшенном, игрушечном виде, на дне трехверстной пропасти, по самому краю которой спускается опасная дорога.

Не так легко спуститься в очаровательный край, как отрадно обнимать его взором с заоблачной выси Кавказа. С вершины Гуд-горы дорога на протяжении четырех верст, вплоть до Койшаурского поста, спускалась крутыми зигзагами; она до того узка, что две почтовые телеги едва-едва могли разъехаться, а между тем с одной стороны высоко поднимались гранитные гиганты, образуя сплошную отвесную стену, с другой — дорогу очерчивала пропасть такая, что целые деревни осетин, живущих на дне ее, казались гнездами ласточек. В Койшауре был пост и почтовая станция. Отсюда предстоял еще один последний спуск с Койшаурской горы, — и вы уже в долине Арагвы.

В настоящее время и Гуд-гора, и Койшаурская станция остаются в стороне. С Крестовой спускаются прямо в Квишетскую долину, на станцию Млеты. Млеты лежат ниже Крестовой, почти на четыре тысячи футов, а между тем по этому единственному в свете спуску вы едете все время рысью, даже не тормозя экипажа. Страшные рассказы о тех опасностях, которые встречались здесь в былое время, теперь кажутся легендами. Но чтобы восстановить в воображении читателя старые образы, расскажем переезд через горы со слов одного декабриста, барона Розена, проезжавшего здесь в 1838 году.

В Коби семейство Розена прибыло утром восьмого ноября. Военный пост заключал в себе убогую саклю для проезжающих, бедный духан да несколько землянок для роты, которые здесь сменяются по очереди. Услужливый ротный командир, штабс-капитан Черняев — совершенный тип Лермонтовского “Максима Максимовича”, принес детям молока и очень сожалел, что помещение для них было холодное и тесное. “Впрочем, — сказал он, — если не поздно, то засветло успеем переехать через горы. Который теперь час?” Розен отвечал, что в исходе двенадцатый. “Так собирайтесь скорей, сейчас запрягут лошадей, а я и мои солдаты готовы”.

Лошадей запрягли в пять минут; штабс-капитан сел на своего коня, за ним тридцать шесть солдат двинулись на крутую Крестовую гору, поддерживая коляску, когда измученные лошади останавливались. Штабс-капитан часто подъезжал к экипажу и, подобно Максиму Максимовичу, рассказывал о старом времени, когда служил под начальством Ермолова. “Теперь еще вижу, — говорит Розен, — его усмешку, его кавказские замашки, его маленького рыжего коня, который спокойно и смело ступал по самому краю пропасти. Из под конских копыт выбивались камни и падали в бездну; тогда стук и гул от падения их раскатывался эхом по целой долине, а штабс-капитан спокойно покуривал трубку; и когда я упрашивал его не ехать по такому опасному месту, он, улыбаясь, отвечал: “Мы и наши кони привыкли к таким местам; случается часто мне одному ездить по этой дороге. Кажись, место просторное, а bestия рыжая все тянет к краю да к пропасти. И знаете, все как-то тут ехать веселее и виднее”.

Переехав Байдару и миновав крест, уже засыпанный снегом, начали спускаться с Крестовой. День был неясный, облака плавали внизу по Чертовой долине. Тучи другого яруса собирались вверху над головой, и скоро пошел пушистый снег большими хлопьями. Штабс-капитан заметил, что густой снег как будто убавляет свету, и повторил вопрос, который час? Часы показали то же, что в Коби: в исходе двенадцатый. Они остановились.

Штабс-капитан, стянув брови, заметил с досадой: “Часы нас обманули, но воротиться назад будет хуже”.

Стало смеркаться, когда путешественники приблизились к перевалу через Гуд-гору. Дорога пошла вниз зигзагом, под прямым углом, и очень круто. Солдаты веревками и цепями, укрепленными к дрогам и к задней оси, придерживали экипаж, который, сверх того, затормозили. “Посмотрите, как спускается коляска вашей супруги!” — сказал Розену штабс-капитан. Дорога, действительно, шла почти по отвесному склону; с одной стороны — утес, с другой — на один шаг от колес ужасная пропасть, которая поглотила уже много повозок и поклажи. Жена Розена держала на руках дочь и потом рассказывала, что всеми силами должна была упираться ногами в передний ящик, чтобы самой не выпасть из коляски или не выронить ребенка. Дорога была испорчена от дождей и камней. Коляска качалась. Штабс-капитан грозно крикнул: “Не качай коляски!” Один из солдат отвечал: “Темно, ваше благородие!” — “А что, вам свечи надо, что ли?”. Коляска перестала качаться,— ее спустили почти на руках.

До Койшаура добрались благополучно. Теперь оставалось спуститься версты три в Квишету. Штабс-капитан спросил команду: “Не устали ли ребята?” — “Никак нет, ваше благородие, рады стараться!” Однако с Койшаурского поста взяли еще двенадцать солдат, и уже в совершенной темноте стали спускаться все в прямом направлении. Штабс-капитан безмолвствовал; солдаты тихомолком ворчали: “Что он задумал ночью переправлять такие экипажи, да еще с маленькими детьми!”... Розен объяснил солдатам, что всех обманули часы, что нет еще беды никакой и что с таким начальником да с таким конвоем можно безопасно проехать по всему аду. В это мгновение зазвенела железная цепь под коляской. “Это что такое?” — спросил нахмурившись штабс-капитан. “Цепь перетерлась пополам, ваше благородие”. “Тем лучше,— сказал штабс-капитан,— теперь вам не на что надеяться, как только на самих себя”. Солдаты усердно схватились кто за веревку, кто за рессоры, кто за ремни, и в десятом часу вечера Розен уже был в Квишетах. В Квишетах переезд через горы оканчивался. Здесь была уже настоящая Грузия и, как волшебный призрак, манила к себе красками иного неба, очерками иных гор, мягкие контуры которых обвивались роскошной зеленью. “Это другая, какая-то райская область,— говорит А. Муравьев,— где звонкий ропот серебряной Арагвы сменяет перед вами те ужасы, которые страшным ревом своим навевал дикий Терек и голые, вздымавшиеся к небу утесы”. Здесь вы видите кругом прекрасные поля, белые домики, сады, ореховые деревья; по горам красиво раскиданы башни и замки. И между ними —

На склоне каменной горы,
Над Койшаурскою долиной,—
Стоит знаменитый замок Гудала, воспетый Лермонтовым. От замка остались одни развалины.
Все тихо. Нет нигде следов
Минувших лет; рука веков
Прилежно, долго их сметала,
И не напомним ничего
О славном имени Гудала,
О милой дочери его...

Теперь эти замки служат лишь украшением ландшафта; но, присмотревшись внимательнее, вы увидите, что они расположены в известном порядке, так что посредством сигнальных огней могли мгновенно извещать о нападении жителей целой долины.

В Квишетах жил окружной начальник; но почтовой станции не было, и от Койшаура ехали прямо в Пассанаур, небольшое местечко, уютившееся в горах, покрытых богатой растительностью. Следующая за Пассанауром станция — Ананур, памятный в истории горькой участью своих эриставов. Еще стоит на горе их опустелый зубчатый замок с двумя церквями, во вкусе древнего грузинского зодчества. В одной-то из этих церквей, в дыму и пламени, погибло семейство арагвского эристава.

В другой церкви еще совершаются богослужения, но все иконы на стенах истыканы кинжалами лезгин, которые помогли эристам ксанским разорить родное гнездо их единокровных братьев.

Мрачно смотрит Ананур своим запустевшим замком, и зрелище этих развалин — этот древний храм, эти остатки каменных стен с зубцами и башнями, руины дворца и угрюмо стоящие окрест горы, поросшие дремучим лесом,— все располагает в глубокой думе о старине, когда так много было пролито крови. Ананур, после мцхетского собора, принадлежит к интереснейшим памятникам грузинской древности; и так как с его руинами связано воспоминание о таком кровавом событии, которое было редкостью даже в те времена полнейшего варварства, то мы расскажем то, что сохранилось о нем в народных преданиях.

Во времена грузинских царей существовала должность эриставов, то есть правителей или главы народа. По ущельям Арагвы и Терека, начиная от ворот Душета до Дарьяльских теснин, находились владения эриставов арагвских, имевших свою резиденцию в Анануре. По реке же Ксану, который сбегает с гор Осетии бурным потоком и впадает в Куру у высокой скалы, где и теперь виден древний замок князей Мухранских, лежали владения эристава ксанского. Обе фамилии, как истые соседи, то ссорились, то мирились между собой, но в общем деле, касавшемся их родины, стояли крепко. Нужно сказать, что в начале прошлого века, при ослаблении власти царей и общем неуладии страны, грузинская аристократия была еще настолько сильна своим единодушием, что не раз возбуждала серьезные опасения в шахском наместнике, сидевшем в Гори. И вот, чтобы ослабить влияние знати, один из этих наместников задумал кровавое дело. Лучшие князья, тавады и азнауры Грузии были приглашены им в Гори. Говорили, что оттуда предполагается большой поход на Осетию, а в сущности их ожидали там наемные убийцы, которые в одну ночь должны были истребить все, что составляло силу и опору Грузинского царства. От прозорливости ксанского эристава, Шанше, не скрылась вероломная затея наместника. Будучи уже в Гори, он сообщил свои опасения Георгию, эриставу арагвскому, приглашая его бежать. Но когда тот пренебрег советом, Шанше бежал один и поднял оружие в горах родного ущелья. Это событие, расстроившее план наместника, спасло князей от гибели, но поселило окончательную рознь и вражду между двумя соседями, из которых один не поддержал другого.

Случаи взаимных оскорблений между ними случались все чаще и подогревали вражду, которая искала для себя исхода. Однажды брат ксанского эристава, Иоссе, поехал в Кахетию с молодой женой. Путь лежал мимо Ананура; а в Анануре на беду шел пир горой, и молодой Борзим, сын эристава, с высокой башни заметил красивую путницу, сопровождаемую лишь небольшой толпой слугителей. Отуманенная вином, молодежь решила похитить красавицу. Крикнули: “Лошадей!” — и через несколько минут на дороге шла уже кровавая свалка. Ксанцы бежали; сам Иоссе, преследуемый несколькими всадниками, едва успел ускакать, но жена его очутилась в плену и была отвезена в Ананур. Час спустя, красные шаровары, снятые с княгини, уже развевались над угловой башней в виде победного знамени. Это был позор, который мог омыться только потоками крови. Когда отпущенная наконец княгиня вернулась домой, старый Шанше дал клятву

истребить весь род эриставов Арагвы. Он пригласил на помощь к себе лезгин и вместе с ними осадил Ананур. Это было в 1737 году. Арагвцы, слишком уверенные в неприступности эриставского замка, встретили врагов язвительными насмешками, и красные шаровары как символ позора опять заменили собой башенный флаг. Шанше молчал; но он в глубине души прибавил к первой клятве другую — заменить шаровары головой эристава. Осада была продолжительна. Ананурцы две недели отбивались стойко и, может быть, отсиделись бы в своем неприступном логовище, если бы им не изменила женщина; она указала осаждающим место, где проведена была вода. Водопровод разорили, и гарнизон, измученный жаждой, не выдержал последнего приступа. Георгий, его жена и дети укрылись в церкви; но лезгины обложили ее зажженным хворостом, и все, что находилось в храме, задохлось в дыму и пламени. Только сыну Борзима, Утруту, удалось пробиться в замок Шеуповал, стоявший на высокой горе, в двух или трех верстах от Ананура. Там его настигли лезгины, и несчастный Утрут был сожжен живым, вместе со всем своим семейством. Рассказывают, что в последнюю роковую минуту некоторые женщины, не выдержав ужасных мучений, стали бросаться вниз с высокой скалы; одни из них убивались до смерти; других, которые еще дышали, дорезывали лезгины.

Крепость и старая ананурская церковь с тех пор остаются в развалинах. Трупы погибших были погребены в одном общем склепе, и над их могилой поныне стоит каменный балдахин, поддерживаемый четырьмя столбами. Под балдахином — плита, покрытая грузинскими надписями. Вахтуш, описывая Ананур, говорит: “В древности была здесь церковь малая, но в 1704 году Георгий эристав построил на высокой скале церковь большую, с куполом, и окружил ее каменной оградой. Он думал найти в ней твердыню, не доступную для врагов, но сделал ее на беду себе местом убиения себя и детей, и сродников”.

За Анануром, полным кровавых воспоминаний, следует Душет,— крайний предел бывших владений арагвских эриставов. Душет беден историческими памятниками, и даже крепость его построена не позже половины минувшего столетия последним эриставом Джимшером, происходившим, как говорят предания, из рода князей Челокаевых. В 1750 году Джимшер был убит в Млетах своими собственными людьми,— и с его смертью самое звание эриставов было упразднено. Округ обратился в уделы царевичей, а с утверждением в Грузии русского владычества на месте его образовалась “дистанция горских народов”, подчинявшаяся особому приставу.

За Душетом — начиналась уже Тифлисская губерния.

VIII. ОСЕТИЯ И ОСЕТИНЫ

От верховий Урупа и истоков Риона, вдоль главного хребта Кавказских гор, вплоть до ущелий Арагвы и Терека, по которым проходит Военно-Грузинская дорога, издревле обитает народ, известный у нас под именем осетин. Заняв середину хребта, там, где царственно возвышается снеговая вершина Казбека, они расселились по ущельям рек и по склонам гор,— на север до Кабарды, на юг до Имеретии и Картли.

Прежде весь осетинский народ занимал только северную покатость Кавказского хребта, изрезанного множеством ущелий. По именам этих ущелий назывались и самые жители. От этого произошло разделение осетин на несколько обществ, имеющих один язык, но некоторые оттенки в характере и нравах. В общем их можно разделить на четыре группы.

На севере, в суровых верховьях Урупа, в соседстве с Большой кабардой, живут дигорцы. Южнее их, по ущельям Ардона, расселились алагирцы; далее, на юго-восток, по рекам

Сиу и Фиаг-Дону, идут куртатинцы; а еще восточнее их — таугарцы, занимающие горы уже в окрестностях Ларса. Таугарцы отличаются от всех осетинских племен наибольшим умственным развитием. Они считают своим родоначальником какого-то наследника армянского престола, Таугара, бежавшего в их горы, и потому гордятся своим высоким происхождением. Существует даже предание, что таугарцы прежде были старшинами в осетинских аулах; а это дало некоторым мысль утверждать, что собственно таугарского племени нет, а есть только высшее аристократическое сословие осетинского народа.

Малоземельность была главнейшей причиной того, что осетины, с начала III века, постепенно стали переходить на южный склон хребта, где, разместившись по ущельям рек Большой и Малой Лиахвы, Ксана, Паца и их притоков, составили, так называемое, поселение южных осетин и, подобно северным, стали называться по тем ущельям, в которых обитали.

Природа Осетии угрюма и неприветлива. Три четверти года доступ к ней или совсем невозможен, или сопряжен с большой опасностью. Растительность бедна, климат суров. Там царство зимы. Взошедшее солнце тотчас погружается в багровый туман, предвестник сильного мороза, и метели свирепствуют в течение почти девяти месяцев. Лето так коротко, что хлеба никогда не созревают; осень ужасна, и самая весна принимает вид мрачной осени, потому что куда не обращается взор — везде одни льдины, покрывающие вершины скалистых гор; везде сугробы глубокого снега.

Когда весеннее солнце пригреет эти снега, с высоких горных вершин низвергаются грязные, глинистые потоки и в своем стремлении сносят леса и срывают утесы. У подошвы гор образуются новые наносные горы, — вода подмывает их, и они с грохотом засыпают долины.

Как сурова природа, так были суровы и условия жизни осетинского народа. Вечной опасностью грозили ему и стихии, посреди которых он родился, и соседи, которые его окружали. Вот почему в стране, где право сильного имело такое широкое применение, осетинские замки и башни, как птичьи гнезда, лепятся по вершинам скал и издали придают разбросанным вокруг них селениям такой красивый и оригинальный вид.

В домашнем быту, за крепкими стенами своих башен, осетины жили очень бедно. Утесы и горы их родины, непригодные почти к земледелию, не производят ничего, и в старые годы нужда достигала таких ужасающих размеров, что осетины сами убивали детей и немощных старцев. Голод заставлял их спускаться в долины. Люди зажиточные еще покупали себе хлеб у тех народов, которые жили на плоскости, но бедные отнимали его оружием. От этого развилось в народе неудержимое стремление к хищничеству, освященному преданием. Народная пословица недаром говорит: “Что осетин найдет на большой дороге, то ему послано Богом”.

Религиозные верования осетин чрезвычайно шатки. Высшие классы их исповедовали ислам; но зато все остальное население представляло собой самое грубое смешение забытой христианской веры и идолопоклонничества. Сидя у очага, с трубкой в зубах, осетин в бесконечно длинные зимние вечера любит говорить о том, как жили некогда старые люди, охотившиеся в вековых лесах, похищавшие красавиц и не боявшиеся колдунов. Расскажет он своим детям и о Вациле — лесном божестве, и о Пречистой Деве, благословляющей супружеское счастье, и о “Черном всаднике”, покровительствующем разбоям. Научит он их чтить развалины ветхих церквей как памятники когда-то исповедуемого здесь христианства, но научит почитать и святые леса, которым

благоговейно поклонялись его предки. Таков, например, небольшой ореховый лесок в Таугарском ущелье, выросший на голой, совершенно безлесной местности.

Не очень давно, когда народ принял уже магометанстве — говорит осетинское предание,— на месте этого леса стоял богатый и многолюдный аул. Но все его богатства были ничто в сравнении с одной его драгоценностью,— в нем жил святой человек, по имени Хетаг. Он знал все, что делается на свете, знал на земле причину и конец всех вещей, понимал разговоры небесных светил, и всю свою жизнь воевал с шайтанами, которые вынуждены были наконец бежать из аула, и только за сто агачей осмеливались показывать язык святому. Под эгидой такого мужа аул жил спокойно и наслаждался довольством и счастьем. Но рок и судьба ничем неотвратимы. “Что будет, тому быть непременно”,— сказал пророк, и слова его сбылись над аулом.

По мере того, как шли годы, слабел и дряхлел Хетаг, лишился он зрения и уже не мог воевать с шайтанами. Вот в эту-то пору дух Джехенема и наслал на аул какую-то могучую вражескую силу. Уже только одна гора отделяет ее от аула. Жители, бросая родные очаги, бегут в Алагир; но и в бегстве не забывают они благочестивого старца. “Хетаг!” — кричат добрые люди.— Спешите за нами в лес, иначе вы погибнете!” Хетаг вышел из дома и отвечал слабым голосом: “Дни моей бодрости уже миновали, силы покинули меня. Хетаг уже не поспеет в лес,— пусть лес поспеет к Хетагу!”

И вдруг зашумели деревья. С далеких алагирских высот отделилась часть орехового леса и с быстротой облака закрыла собой Хетага. Так этот лес стоит и поныне на том же самом месте, и люди называют его лесом Хетага.

Христианский культ не исчез, однако, совсем под влиянием магометанства, и в представлениях народа и св. Хетаг и Черный всадник нередко затемняются светлым, могучим образом Георгия Победоносца, спасающего путника от козней горного и лесного духа.

В Осетии, по северному склону Кавказского хребта, есть ущелье, замыкающееся высокой снеговой горой Мна. Дико и угрюмо смотрит оно своими черными шиферными скалами, и свирепая река Мна-Дона несется по дну ее, то роясь под снежными завалами, то с оглушающим ревом пробивая их плотные, слежавшиеся массы. Горные духи и тени погибших людей сторожат ущелья от любопытного глаза,— и только смелый охотник заходит сюда, преследуя по вечным снегам легкого тура.

Причудливы и странны очертания Мна. Точно громадный каменный столб венчает ее вершину, а от него, по склону снежной горы, тянется еще много-много таких же столбов, представляющих издали вид нагорного осетинского селения зимой. Народ говорит, что это и есть селение,— но только селение мертвецов, тени которых, витая вокруг столбов, диким воем и стоном наполняют окрестность. Очень давно, когда народ не забыл еще веры своих отцов и поклонялся Распятому, в соседнем Труссовском ущелье жил знаменитый разбойник Лоло, проклятый Богом за убийство двух своих братьев. Однажды Лоло, признав покровительство Черного всадника, с двумя такими же злодеями, как сам, спустился к ледникам Мна-Дона, чтобы достать добычу,— и добыча предстала перед ним в образе прекрасной осетинской девушки Хоры. Смело и беспечно пробиралась она по опасной тропе к летним загонам, чтобы напоить овец, принадлежавших ее отцу. Тихо было в ущелье. Тучи ползли по горам, и белое облако клубилось над снеговой вершиной Мна. Лоло тревожно огляделся кругом. На черном шиферном утесе, на вороном коне, в темном одеянии, точно окутанный сумраком ночи, стоял Черный всадник и распростертой рукой указывал путь дерзкому разбойнику. Лоло схватил несчастную девушку. Он уже

спустился с ней в глубокую пропасть, уже ступил на рыхлые снеговые арки — последнее опасное препятствие на его пути, как вдруг тучи раздвинулись, белое облако слетело с вершины Мна,— и Лоло окаменел от ужаса. На самой вершине горы, среди вечного снега, в страшном величии, стоял неподвижный всадник. Лицо его пылало гневом. Он был на белом коне, в блестящем рыцарском уборе и держал в руках живого дракона, связанного веревками, как знак победы над злыми духами.

Отпрянул перед ним Черный всадник и стремглав, вместе с конем, полетел в бездонную пропасть. Страшный гул, от которого всколыхнулась земля и ураганом взметнулась снежная пыль, пошел по горам,— и громадный утес рухнул на головы разбойников... Тихо опять все стало в ущелье, белые облака по-прежнему клубились на вершине Мна, а на снежной лавине стояла одна трепещущая Хора...

С тех пор тени погибших злодеев витают на вершинах Кавказа, в области вечных льдов, и часто, среди завывания бури, запоздалый охотник слышит их стоны и жалобы...

Историки относят осетин к древнейшим обитателям Кавказа. Мы не будем вдаваться в глубокую старину и разыскивать причины, почему осетины сами себя называют иронами, а кавказские соседи зовут их оссами. Эта история слишком мало известна, слишком темна, чтобы о ней сложились в народе какие-нибудь определенные образы. Целые тома исписаны об осетинах, но наука оставляет еще широкий простор догадкам и предположениям. Известно, однако же, что в ту, закрытую от нас седым туманом эпоху, когда Осетия переживала свою блестящую историю, она имела своих царей, вела обширный круг дипломатических сношений с соседними державами; дочери осетинских царей сидели на престолах Грузии, Абхазии и Византии; а принцы царственного дома занимали видное положение при дворах тогдашнего цивилизованного мира. Осетия имела свою многолюдную и, говоря относительно, блестящую столицу, находившуюся, как полагают, в Куртатинском ущелье, на реке Фиалдоне. Потом Осетия пережила эпоху феодализма. По всей стране, во многочисленных замках, засели феодалы, и когда народ страдал под игом тяжелого рабства, в этих рыцарских замках дни проходили в буйном веселье и в пиршествах. Джигитовка заменяла здесь средневековые турниры. Осетин, как всякий горец, жил полной жизнью только тогда, когда, вложив ногу в стремя и заломив ухарски папаху на затылок, взметнет пыль дороги своим горячим скакуном и огласит ущелье выстрелами потехи или разбоя.

Между феодалами шла ожесточенная борьба из-за власти, и слабые фамилии или исчезали, или подчинялись более сильным. Тогда победители стали величать себя в южной Осетии князьями, а в северной — алдарами. Такие отношения, составлявшие условия для жизни, подрывали основы патриархального быта и порождали кровомстителей. Обездоленные люди становились абреками, которые ставили целью всей своей жизни только убийства. По временам абреки собирались в шайки, и случалось, что те, во главе которых стоял предприимчивый и смелый вожак, завоевывали целые аулы,— и тогда начальник шайки, глава разбойников, сам становился феодалом. Некоторые фамилии, преследуемые кровавой мезьью, целые годы проводили замкнувшись в своих башнях, не смея выйти из них ни на шаг, чтобы подышать воздухом. И самые башни строились применительно к такому складу и к таким условиям жизни. Они обносились высокими стенами и строились в три этажа: внизу помещался скот, в середине, куда можно было попасть только по приставной лестнице, жили люди; наверху — был склад припасов; а еще выше, на самой уже вышке, стоял часовой, день и ночь зорко всматривавшийся в даль, закутанную зловещим туманом.

Но проходили века; пал феодализм, исчезло абречество, выродившееся в простое разбойничество,— и южная Осетия окончательно подчинилась Грузии. Большая часть ее попала тогда в крепостную зависимость грузинских князей Эристовых и Мочабеловых. И еще тяжелее, еще непригляднее пошла жизнь осетинского народа. Ни один осетин не смел показаться на базарах и в деревнях Картли, чтобы не быть ограбленным своим собственным помещиком. Богатые грузины стали строить в тесных ущельях укрепленные замки, мимо которых никто не мог пройти без опасения лишиться жизни или свободы. И эти страшные замки памятны народу доселе. В сырых и мрачных подземельях их нередко длинные годы томилась несчастные жертвы помещичьего произвола и в оковах оканчивали свое мучительное существование. Один путешественник, посетивший такую темницу в Ксанском ущелье, видел в ней заржавленные цепи, разбросанные кости и пожелтевшие черепа, в которых гнездились ядовитые змеи. Это был ветхий остаток страшной, но верной картины эриставского управления. Все это подвигало осетин на мщение и вызывало разбои, в которых страдательная роль выпадала уже на долю грузин.

Вот что случилось раз в старинные годы.

Это было в средней Картли, в бедной деревушке Зволетах. Теперь от этой деревни осталось только несколько разрушенных саклей да церковь, с двумя высокими камнями, воткнутыми в землю у самых дверей ее. Камни напоминают своим очертанием человеческие фигуры и привлекают к себе толпы богомольцев.

Во время оно,— говорят старые люди,— в этих Зволетах славилось семейство одного зажиточного грузина. Его звали Борзимом, а жену его Кекелой. Жили они счастливо,— и одно только огорчало их: пошел уже пятнадцатый год их супружества, а у них не было детей, и некому было передать им ни имени своего, ни богатства.

В одно прекрасное майское утро, когда Кекела стояла у порога своего дорбаза, любуясь просыпающейся природой, к ней подошел маститый старец, в нищенском рубище, с перекинутой через плечо сумой и протянул руку за милостыней. Кекела дала ему чашку муки, и нищий ушел, осыпав ее благословениями. Необычное добродушие, отражавшееся на старческом лице, и та теплота, с которой он дал ей свое благословение, внушили Кекеле мысль, не был ли этот странник одним из тех святых Божьих людей, которых Господь посылает по временам, чтобы обойти мир и испытать людские сердца и помыслы. Эта мысль волновала Кекелу несколько дней — и волновала не напрасно: через девять месяцев она родила близнецов, сына и дочку. Так прошло два года. Новорожденные росли, хорошели, и родители не могли на них нарадоваться.

Однажды, в самое заговенье, перед постом апостолов Петра и Павла, когда каждый грузин, как бы он ни был беден, готовится к хорошему обеду, в доме Борзима собралось много гостей и был роскошный стол. После обеда утомленная Кекела легла отдохнуть, и грезилась ей образы один другого страшнее и мучительнее. Привиделось ей, что их огромный дорбаз внезапно охватил огонь, и, несмотря на все усилия, он сделался жертвой пламени. Сны накануне Петрова поста бывают вещими,— и он предвещал беду, которая была уже недалеко. Наступил вечер,— и в семействе Борзима вдруг поднялась суматоха: их сын, Датико, оставленный неосторожной матерью на дворе позднее, чем следовало, пропал без вести. Сначала полагали, что дитя в деревне; но когда его там не оказалось, озадаченный Борзим с дюжиной молодых людей пустился искать его по зволетскому лесу, издавна служившему притоном осетинских шаек. Осмотрели каждое дерево, каждый куст и тропу, но ребенка не было. Этот случай сделался предметом разных предположений: одни говорили, что дитя похищено драконом, рабом св. Георгия, за то, что Борзим, беспощадно истребляя оленей в зволетских лесах, никогда не приносил в жертву святому

рогов убитых животных; другие полагали, что дитя поглощено землей, но большинство сходилось на том, что его увезли осетины.

Много воды утекло с тех пор из рек Иверии. Утихло родительское горе, и семья сосредоточила все свои заботы на единственной дочери Марте. Ей шла уже двадцатая весна, и не было отбоя от женихов. Но сердце Марты оставалось свободным. В это время появился в Зволетах какой-то пришелец, говоривший, что некогда он был увезен осетинами и теперь воротился на родину, о которой никогда ничего не слыхал, оставив ее ребенком. Молодые люди встретились, и искра любви, заронившаяся в их сердцах, скоро привела их к алтарю как жениха и невесту.

Наступил день свадьбы. Взоры всех присутствующих были обращены на эту чету, блиставшую красотой и молодостью; но все заметили, что оба они, опустив глаза, стояли задумчивые и бледные. Отошла наконец служба. Но едва молодые переступили церковный порог, как вдруг какая-то неведомая сила ударила в них, точно молния,— и они мгновенно превратились в камни, оставшись вечно стоять на тех самых местах, на которых застал их удар, как бы ниспавший с разгневанного неба. Господь не допустил совершиться греху кровосмешения. Этот пришелец был брат несчастной Марты, тот самый маленький Датико, которого увезли осетины.

Много у зволетцев сохранилось легенд об этом смутном времени, но рассказ о молодых супругах, превращенных в камни, более всех возбуждает к себе их участие.

Жизнь северной Осетии сложилась несколько иначе, нежели южной. Северные осетины успели сбросить с себя ненавистное иго грузин, но встретили врага, более опасного и беспощадного в лице кабардинцев, появившихся на Кавказе на исходе XIV века. В народе до сих пор еще живут воспоминания о тех временах, когда кабардинцы, завладевшие всей плоскостью до самого Ларса, не позволяли осетинам спускаться с гор иначе, как за огромную плату. Замкнутые в своих ущельях, выходы которых были заперты, осетины очутились в положении людей, отрезанных от мира, замкнулись в самих себя и одичали.

Таким образом, притесняемые с северной стороны кабардинцами, а с юга грузинскими и имеретинскими князьями, осетины при первом появлении в этой стране русских войск в царствование Екатерины, когда граф Тотлебен шел в Имеретию, встретили их как своих избавителей. То же самое повторилось впоследствии при занятии Грузии генералом Кноррингом. Русские отодвинули кабардинцев от гор и дали возможность осетинам спуститься в долины. Они восстановили даже их старые привилегии. Тогда существовал обычай, по которому со всех проезжающих от Ларса до Владикавказа брали денежную пошлину в пользу таугарских старшин — обычай, сложившийся еще тогда, когда при грузинских царях купцы, ездившие в Россию или на линию по торговым делам, вынуждены были для своей охраны нанимать проводников из таугарцев. Но когда дорога перешла во владение России и по ней учредилась линия кордонов, тогда проводники стали не нужны. Но чтобы не лишить таугарских старшин дохода за то, что через их земли прошла военная дорога, право на получение ими пошлин, от тридцати пяти копеек до десяти рублей, смотря по личности и средствам проезжающих, осталось во всей своей силе. Подать эту собирал комендант во Владикавказе и потом делил между десятью главнейшими таугарскими фамилиями.

Казалось бы, что все это должно привлечь осетин к России, и в первое время оно так и было в действительности. Но мало-помалу ошибки нашей администрации,— как выражается Паскевич,— невнимательность ближайшего начальства, происки беглых грузинских царевичей, чума и бунт, бывший в Грузии в 1812 году, ослабили наше влияние

над Осетией до такой степени, что она сделалась постоянным убежищем, для всех преступников, преследуемых законом. Открытого восстания не было; но случаи грабежей и убийств по всей Военно-Грузинской дороге, начиная от Татартуба до самого Душета, становились все чаще и чаще. Они усилились особенно с открытием персидской войны, когда в соседней Чечне появились персидские эмиссары.

Обнаружились попытки и к возмущению самих осетин. Несколько таугарских старшин из лучших фамилий, Шенаев, Тулатовы, Кундухов, Дударов и другие, ездили в Чечню, виделись там с известным муллой Кудухом и, возвратившись домой с карманами, набитыми персидским золотом, стали волновать народ. Поднять осетин им, однако же, не удалось. Большинство уклонилось от всякого содействия мятежникам, и на их зов явилось лишь несколько десятков байгушей, образовавших ничтожные шайки. Тем не менее, владикавказский комендант генерал-майор Скворцов, которому подчинялась Военно-Грузинская дорога на всем протяжении ее от Екатеринодара до Ларса, тотчас вызвал к себе таугарских старшин. Старшины заявили, что народ ничего общего с мятежниками не имеет и серьезных беспорядков в горах ожидать нельзя; но что возмущившиеся алдары настолько сильны и влиятельны, что всякое насилие со стороны старшин может повести лишь к междоусобице и распалить народные страсти, с которыми потом трудно будет управиться. Тогда Скворцов поручил старшинам, не прибегая к силе, действовать одними увещаниями, а сам между тем занял все выходы из гор небольшими караулами, усилил охрану мостов и увеличил конвойные посты на дороге. Это лишило осетин возможности действовать большими партиями, но для мелких оно не составляло преграды. Отличные ходоки по горам, осетины спускались на дорогу прямо с отвесных круч и появлялись всегда неожиданно. Так они ограбили нескольких грузин, убили оплошного донца, ехавшего от Казбека к Дарьяльскому посту, и, наконец, атаковали разъезд (из четырех казаков) между Ларсом и Владикавказом. Донцы пробились, но один из них был сбит с коня и попался в плен. В другой раз, 11 февраля 1827 года, на этой же дороге они захватили корпуса инженеров путей сообщения капитана барона Фиркса и увезли его в горы. Фиркс следовал с оказией, но, подъезжая к Владикавказу, отделился вперед и под самым городом наткнулся на партию. Денщик его успел ускакать и поднять тревогу. Когда из Владикавказа подоспели казаки, кроме свежих следов, где происходила борьба, не нашли уже ничего. Хищники так же внезапно исчезли, как и появились. На этот раз Скворцов, собрав таугарских старшин, категорически потребовал от них освобождения Фиркса. “Ваше дело,— сказал он,— добыть его оружием, выкупить, выкрасть,— но если в месячный срок он не будет доставлен, войска войдут в ваши горы, и тогда едва ли найдут возможным отличить правых от виноватых”. Угроза подействовала,— и Фиркс двадцать третьего февраля был привезен во Владикавказ самими осетинами.

Все это было, однако же, совсем не то, чего хотели и добивались персияне. Восстание, замкнувшееся в тесный круг придорожных разбоев, не могло оказать им существенной пользы, а чтобы поднять народ, алдары требовали денег и денег. Чеченский мулла Кудух вызвался передать им требуемую сумму. Как только Скворцов узнал, что свидание между Кудухом и таугарскими алдарами должно произойти на земле карабулаков, он тотчас распорядился устроить засаду, чтобы схватить или убить муллу при выезде его из Майортупа. Мулла, однако, никуда не поехал, а вместо него на засаду попала партия кабардинских абреков, ехавшая из Чечни на разбой к Военно-Грузинской дороге.

Десять ингушей, с прапорщиком Базоркиным, и четырнадцать донских казаков, с сотником Фроловым, сидевшие в засаде, в самую полночь слышали конский топот и, как ни темна была ночь, ясно различили шесть кабардинцев, ехавших по дороге. Впереди был — Крым-хаджи, uznанный по белому коню, знаменитому по всей Кабардинской плоскости не менее своего отважного всадника. Хаджи сопровождали известные

разбойники: Иджибекер и Исмаил, а остальные держались поодаль и не были узнаны. Кругом, среди погруженной в сон природы, все было так тихо и безмолвно, что даже тонкое чутье кабардинца не предугадало опасности. И вдруг, в глубоком сумраке ночи, как молния сверкнули ружейные выстрелы — и почти в упор грохнул и покатился раскатами залп двадцати винтовок... Трое передних всадников упали на землю. Когда казаки подбежали к своей добыче, Крым-хаджи, пробитый шестью пулями в грудь, лежал неподвижно; но спутники его, оба раненые, как дикие кошки, прынули в кусты и исчезли.

Эти кабардинские абреки, проживавшие в Чечне, являлись настоящим злом для края — и злом, с которым бороться было крайне трудно: абреки находили притон у мирных кабардинцев, а те все грабежи и разбои сваливали на своих соседей, осетин, репутация которых часто страдала самым незаслуженным образом. Между тем среди почетных осетин немало было людей искренне преданных России. Один из дигорских старшин по имени Татархан Туганов, красивый собой, ловкий и смелый наездник, в двадцатых годах лично был известен даже Ермолову именно за то, что слыл грозой абреков. Раз, преследуя какую-то шайку, Татархан увидел, что под одним из всадников лошадь загрузла в болоте. Наскакав, он узнал кабардинского абрека Кожохова и выстрелом и упор положил его на месте. Эта встреча оказалась роковой и для самого Туганова. Сестра Кожохова, известная в свое время красавица, была замужем за кабардинским уорком Хаджи-Кубатовым и с истинно женской ловкостью сумела заставить, чтобы муж явился мстителем за кровь ее брата. Однажды, когда Кубатов вернулся из гостей, жена отказалась принять его на своей половине и объявила, что не будет ему женой, пока он не исполнит голоса крови.

Кубатов собрал партию и отправился в наезд за головой Туганова. Татархана в это время не было дома: он был во Владикавказе, и партия целую неделю скрывалась в развалинах Татартуба, поджидая его возвращения. Наконец он приехал. В ту же ночь несколько подосланных абреков отогнали его любимый табун, и Татархан, пустившийся в погоню только с двумя нукерами, налетел на засаду. Кабардинский уорк не хотел, однако же, воспользоваться запальчивостью врага. Он еще раньше просил своих людей указать ему Татархана, которого никогда не видел, и когда тот поравнялся с засадой, Кубатов выехал один и преградил ему путь. В одну минуту сверкнули выхваченные из чехлов винтовки, грянули два выстрела, — и пуля сорвала у Татархана газыри с черкески, а под Кубатовым была убита лошадь. Уже в руках Татархана блеснула выхваченная шашка, как князь Тембот Кейтукин, выскочивший из засады, сильным ударом коня отбросил его в сторону. Этим мгновением воспользовался Кубатов, чтобы высвободиться из-под убитой лошади. “Пока я жив, да будет проклят тот, кто станет мне помогать!” — крикнул он Темботу и напал на Татархана. Их шашки скрестились. Тембот, однако, не выдержал. Видя, что Кубатов уступает противнику, он выстрелил из пистолета в упор, и Татархан был убит наповал. Кубатов отрезал у мертвого палец, на котором было серебряное кольцо с золотой насечкой, и повез его к жене как свидетельство исполненного обета.

В Урухском ущелье, верстах в восьми от Татартуба, по дороге к Ардонскому редуту, там, где в Терек впадает Белая речка, стоит курган и на нем три деревянные столба, обтесанные в виде грубых истуканов. Это могила Таитархана.

На одном из столбов находится русская надпись: “Здесь убит дигорский старшина хорунжий Татархан Туганов, славный и знаменитый воин. 1827 год”. Родственники его посадили на кургане сухое дерево, которое выражает мысль что родные с потерей его осиротели, как дерево без листьев. 1828 год прошел на Военно-Грузинской дороге сравнительно тихо. По крайней мере официальные данные упоминают только об одном случае, когда команда, посланная из Владикавказа на правый берег Терека для сплава леса, была атакована конной партией, и двое солдат захвачены в плен, а третий изрублен.

Но и это нападение было произведено не осетинами, а кабардинскими абреками, да, и кончилось оно сравнительно благополучно, так как мирные кистины, пропустившие через свою землю партию, выкупили и доставили пленных. Были случаи еще между Дарьялом и Ларсом, где также взяты в плен трое солдат, захвачено несколько грузин и разграблен вьючный обоз, но и это было делом только одного известного джерахосского абрека Годзиева, который разбойничал двадцать лет и с которым все давно уже свыклись.

Обмануло ли это спокойствие бдительность наших кордонов, подействовали ли на осетин турецкие прокламации, или просто они ободрились отсутствием войск, взятых с Военно-Грузинской дороги,— но только летописи 1829 гона представляют такой длинный ряд происшествий, который несомненно указывал уже на большее или меньшее участие целого народа в преступных предприятиях своих, алдаров. При таком обилии происшествий ссылаться только на одиночных абреков, вроде Годзиева, было невозможно. Годзиев, наконец, был даже пойман и, наказанный кнутом, сослан на каторжные работы, — а разбои не унимались.

Современные донесения не дают нам разгадки этого явления; даже искусные рассказы — и те не объясняют, каким путем сравнительно небольшое число мятежных алдаров могло получить такое преобладающее значение в народе и вытеснить из него все доброжелательные нам элементы. Многие ищут причины этого во взаимных распрях, начавшихся около этого времени у осетин, как между собой, так и с соседними кистами, галашевцами и карабулаками. Невозможность бороться одному какому-нибудь племени с целыми союзами заставляло каждое из них поочередно обращаться за помощью к русским, а русские наотрез отказывали в ней, стараясь примирять враждующих кроткими мерами и увещаниями. Но этих средств было недостаточно. Очевидно, что случилось нечто, чего опасались и о чем именно предупреждали Скворцова старшины, говорившие, что если разыграются народные страсти, то с ними мудрено будет управиться. А страсти разыгрались совсем не на шутку.

В числе таугарских старшин был один, на притеснения которого одинаково жаловались как осетины — дигорцы, так и чеченцы — галашевцы. Скворцов потребовал его во Владикавказ. Старшина не только не явился, но при помощи друзей выкрал своего сына, находившегося по Владикавказу аманатом, и бежал в горы. Его побег произвел некоторую сенсацию. Таугарцы заподозрили русских в желании арестовать старшину в пользу галашевцев. Галашевцы увидели в побеге старшины потворство русских таугарцам,— и обе стороны обратили на нас оружие. Дерзость таугарцев дошла до того, что они завладели почти всем путем от Ларса до Душета; а галашевцы из-под самых стен Владикавказа угнали казачий табун. Скворцов наложил денежный штраф на все ингушские и карабулакские аулы, мимо которых проезжали хищники, но жители отказались платить. Тогда из Владикавказа вышла небольшая колонна,— и штраф был собран силой. Но зато, когда отряд возвращался от Сунжи домой, ингуши заняли переправу на реке Камбелеевке и открыли огонь. Шайка была разогнана, но это не могло способствовать мирному улаживанию вопроса.

В такое-то тревожное время пришлось проезжать по этому пути принцу Хосров-Мирзе с персидским посольством. Естественно, были приняты все меры, чтобы по возможности обеспечить его путешествие, и, несмотря на то, принцу довелось-таки провести несколько неприятных минут под огнем неприятеля. Случилось это между Казбеком и Ларсом. Едва оказия миновала Казбекский пост, как впереди послышались глухие удары пушечных выстрелов. Скоро прискакали казаки с известием, что владикавказский отряд, высланный навстречу принцу, с боя занял Дарьяльское ущелье и что неприятель скрылся на правый берег Терека. Полагая путь уже безопасным, оказия двинулась дальше, но не прошла и

нескольких верст, как наткнулась на новые шайки. Полковник Ренненкампф тотчас выдвинул орудие, рассыпал по дороге стрелков, а между тем принц с несколькими казаками во весь опор поскакал к Ларсу; за ним гуськом пустилась вся его свита, и, по особому счастью, ранен был при этом один только нукер, державший на поводу верховую лошадь. Пехота стояла на месте и отстреливалась до тех пор, пока не прошли все экипажи и вьюки.

На другой день, около Ларса, осетины опять открыли из-за Терека огонь по конвою генерал-майора князя Бековича-Черкасского, который, однако, благополучно проскакал под их выстрелами.

Происшествия следовали за происшествиями. Выдающимся случаем в ту пору служила геройская оборона подпоручика Петрова, на которого ночью напала целая осетинская шайка под Анануром. Раненый в ногу, Петров один боролся с целой шайкой, изрубил одного из нападавших и в конце концов отбил. Чтобы уменьшить несчастные случаи, приказано было постам никого не выпускать под вечер и без конвоя. Ответственность за это возлагалась не только на посты, но и на самих проезжающих. Случилось однажды, что около Ларса был убит казенный денщик, ехавший на троечной телеге, и по произведенному следствию оказалось, что этого денщика перед закатом солнца случайно видел проезжавший по этому тракту хорунжий Донского войска Кисляков. И Кислякова судили за то, что он не только не вернул денщика, но даже не сообщил об этой встрече на первом казачьем посту.

За Владикавказом было еще опаснее, потому что там нападали осетины, кабардинцы, чеченцы,— и в целой массе происшествий трудно было уже разобраться, чтобы указать виновных. Около Владикавказа был захвачен в плен доктор Песоцкий, вместе с фармацевтом, а сопровождающие их три казака убиты; хищники отбили купеческий табун из-под самых пушек конвоя; четырнадцать донских казаков были атакованы близ Ардонского редута тремя наездниками. Отстреливаясь, казаки держались более часа, но, на их беду, нашла туча, и проливной дождь замочил кремневые ружья. Тогда, ожесточенные потерей лучших узденей, горцы ударили в шашки и изрубили казаков на куски. В другой раз тридцать человек погнались за двумя казаками; одного убили, под другим ранили лошадь; к счастью, он успел укрыться в дуплистый пенек, поверженный грозой возле дороги, и спасся, грозя ружьем нападающим; пули не могли пробить дерева, и он отсиделся до выручки.

Как только окончилась турецкая война и были покорены джарцы, Паскевич признал необходимость защитить Военно-Грузинскую дорогу от хищников и с этой целью сделать две небольшие экспедиции в горы. К исходу мая должны были собраться оба отряда: один в Цхинвале, на границе южной Осетии, другой во Владикавказе для действия против осетин северного склона Кавказского хребта и их соседей: ингушей, кисгин, галгаев и джерахов. Это была по счету третья или четвертая экспедиция, которая со времен Цицианова предпринималась в Осетию, но ни одна из них не имела ввиду прочного покорения этих народов. Довольствуясь временным прекращением набегов, мы сами были причиной того, что осетины получили чрезвычайно высокое мнение о неприступности своих гор и ущелий. На этот раз положено было привести осетин в безусловную покорность, подчинить их приставу, водворить среди них начала гражданственности и, таким образом, обеспечить сообщение Тифлиса с Россией и Имеретией. Этим Кавказ бесспорно обязан Паскевичу.

IX. ПОКОРЕНИЕ ЮЖНЫХ ОСЕТИН

Много выстрадала Картли от буйных набегов ее соседей, но ни один уголок ее не испытывал такой тревожной жизни, какой подвергалось Саобошио, имение князем Абашидзе. Здесь сходились границы Грузии, Имеретии и Ахалцыхского пашалыка,— этого притона хищных лезгин, служивших тамошним пашам за право безнаказанно грабить несчастную Грузию. Еще доселе в окрестностях Саобошио видны развалины квишетской башни, бывшей обычным местом для сбора лезгин, прокрадававшихся лесами Боржомского ущелья. Как грозный призрак вставала эта мрачная башня на пути странника, навевая ужас своими развалинами и своей дурной славой. Сюда свозили лезгины все, что Бог посылал им на проезжих дорогах, и отсюда же передавали полон и добычу в Ахалцых. Поселянин, окончив дневные труды, всю ночь должен был стеречь порог своей сакли и спать с ружьем над изголовьем. Окрестные князья и дворяне с закатом солнца запирались в башни, вместе со своими семьями и слугами. Но не всегда и эти крепкие башни служили им надежной охраной. Живы еще старики, которые помнят ту страшную ночь, когда лезгины взяли из замка князя Абашидзе двух его дочерей, из которых, впоследствии, одна сделалась женой аварского хана, а другая — хана карабагского.

Но вот отгремела турецкая война, навеки затих бранный Ахалцых, вместе с ним затихли и лезгины, грозные враги южной Картли. Но несчастная страна по-прежнему не имела покоя. У нее оставался другой, не менее страшный враг — осетины, наводившие ужас на северную часть Картли. Народные рассказы полны воспоминаниями об этой кровавой эпохе, и нужны были многие годы спокойного развития Грузии, под мирным кровом России, чтобы заставить эти рассказы или вовсе исчезнуть из памяти народа, или под влиянием времени принять иные, менее суровые и мрачные образы.

С окончанием турецкой войны донесения, получаемые Паскевичем с осетинской границы, не заключали в себе ничего важного, но показывали все то же тревожное состояние края, не далеко ушедшего от жизни времен грузинских царей, когда каждый, ложась спать, трепетал за жизнь и имущество.

В апреле 1830 года осетины из фамилии Акка-Кобис-швили напали в Горийском уезде на восемь имеретин и двух из них убили, а шесть увели в горы. Это было началом в обычной летописи “происшествий”, которая обещала продолжиться дольше и дольше, все в том же направлении.

Паскевич в это время готовился к отъезду в Петербург; но он сделал заблаговременно все нужные распоряжения к экспедиции в Осетию и поручал наблюдение за ней тифлисскому военному губернатору, генерал-адъютанту Стрекалову.

Шестнадцатого июня, в селении Цхинвалы, на самой границе южной Осетии, собрался небольшой отряд из одного батальона херсонских гренадер, двух рот Эриванского полка, двух донских сотен и четырех горных орудий; к ним скоро присоединилось до тысячи человек картлийской милиции, прибывшей сюда из разных мест Грузии, под начальством подполковника князя Тарханова. Распущен был слух, что Цхинвалы назначены местом лагерного сбора, а многочисленная милиция только усилит посты по картлийской границе.

Начальником этого отряда назначен был генерал-майор Павел Яковлевич Ренненкампф — один из молодых генералов, выдвинутых эпохой Паскевича. Ренненкампф прибыл на Кавказ в 1827 году полковником генерального штаба, и его деятельность в сфере

дипломатических сношений скоро обратила на себя внимание фельдмаршала; успешное же размежевание им границ между Россией и Персией и затем сопровождение персидского принца Хосров-мизы в Петербург доставили ему чин генерала.

Задавшись целью умиротворить Осетию, Паскевич желал добыть ее покорность не столько силой оружия, сколько политическим тактом, и потому остановил свой выбор на Ренненкампфе как на человеке, наиболее отвечавшем этому требованию. Общий план порученной ему экспедиции заключался в том, чтобы проникнуть в Кешельтское ущелье, лежащее в верховьях реки Паца, потом привести в покорность осетин, обитавших по большой Лиахве и ее притокам, далее, пройти через Маграндолетское общество за снежный перевал Конго и кончить экспедицию в Джимуре.

Все приготовления к походу делались с чрезвычайной скрытностью,— и скрытность была необходима, чтобы облегчить успех войскам, которым приходилось действовать в стране совершенно неведомой и замкнутой, где неприятель, пользуясь выгодами местности, мог на каждом шагу создавать перед ними бесконечный ряд затруднений. Наконец все приготовления были окончены: солдаты получили для ходьбы по горам железные подковы, вьюки были снаряжены, провиант запасен, штат проводников, преимущественно из обществ, питавших ненависть к кешельтцам, организован, и влиятельные князья, священники и жители, приглашенные Ренненкампфом участвовать в экспедиции, съехались в Цхинвалы,— ожидали только прибытия генерала Стрекалова, чтобы начать военные действия. Он осмотрел отряд девятнадцатого июня и приказал в тот же день занять селение Джавы, служившее ключом ко всем ущельям рек большой Лиахвы и Паца.

Во время смотра, когда небольшой русский отряд стройно маневрировал по горной долине,— за деревней, на высокой скале, чуть видимый глазу, стоял человек, с напряженным вниманием следивший за каждым шагом русского войска. Это был Акка-Кобис-швили — вождь осетинских разбойников, явившийся сюда из своего далекого ущелья. Он высчитал по пальцам русскую силу и затем, как дикий тур, прядая с утеса на утес, спустился в долину, там, где от сотворения мира не было никакой дороги. В долине он один-одинешенек бросился на грузинское стадо, разогнал пастухов и, выбрав самую тучную корову, угнал ее в горы.

“Я видел у Цхинвала русское войско,— сказал он товарищам,— оно идет на нас. Но я слишком голоден, чтобы рассуждать теперь о делах. Вот моя добыча,— быть может последняя добыча из Картли. Съедем ее, и потом посоветуемся, как отвратить опасность”.

Предложение было принято, и за шумным пиршеством сообщники Кобис-швили решили защищаться. А между тем русский отряд прибыл в Джавы и, оставив в них вагенбург, двадцать первого июня двинулся далее. Среди суровой и дикой природы, на каждом шагу развертывавшей все новые и новые картины, войска шли бодро и с песнями взбирались на утесы, в область снегов и туманов. Вот уже и Джавское ущелье едва чернеет внизу узкой трещиной, а дорога поднимается все выше по кремнистой горе, среди вековых лесов, на темной листве которых так рельефно выделяются угрюмые и закоптевшие башни. Быстрая Лиахва с грохотом катит где-то глубоко внизу свои мутные волны, а кругом обступают зияющие пасти бесконечных ущелий. К восьми часам утра войска достигли наконец перевала и стали спускаться в Кешельтское ущелье. Скоро завязалась перестрелка. В войсках появились убитые и раненые; число их стало расти, и солдаты с удивлением замечали в среде сражавшихся женщин. Однажды, когда казаки взбирались на голый утес, из-за камней вдруг выскочила молодая осетинка и, как разъяренная тигрица, обхватила первого попавшегося ей казака, напрягла все силы, чтобы вместе с ним низвергнуться в пропасть. Страшная борьба происходила на краю обрыва. Еще

мгновение — и осетинка совершила бы свой самоотверженный подвиг; но силы ее истощились: она выпустила свою добычу из рук и одна полетела в бездонную пропасть, где острые камни в куски изорвали ее тело.

Постепенно вытесняя неприятеля из одной деревни в другую, войска два дня находились в непрерывном огне и только утром двадцать второго июня достигли наконец высокой снеговой горы Зикара. Осетинские семьи успели уже скрыться за перевал, и перед войсками стояли одни вооруженные шайки. Рота херсонских гренадер смело двинулась на гребень крутого хребта, но, встреченная градом пуль и огромными камнями, остановилась. Солдаты укрылись за выдавшийся утес, и только благодаря этому потеря их оказалась ничтожной. В это время подошли подкрепления: рота эриванцев, вместе с милицией князя Тарханова, выдвинулась из Тхели-Цхальского ущелья, другая рота подошла к гренадерам,— и атака тотчас возобновилась. Взбираться пришлось на голый утес, и несмотря на огонь неприятеля, несмотря на то, что железные подковы, розданные людям, оказались никуда негодными, солдаты так смело поднимались все выше и выше, лепясь над самыми обрывами зияющих пропастей, что осетины наконец не выдержали — и выслали парламентаря. Бой тотчас остановили; но переговоры не привели ни к чему, так как кешельтцы, соглашаясь дать аманатов, требовали в залог одного из князей Мачабели, находившегося при русском отряде.

С восходом солнца, двадцать третьего июня, едва войска стали в ружье, как с гор опять посыпались камни. Со страшным грохотом рикошетировали они по отлогостям скал, сталкивались, дробились и своими обломками покрывали окрестность. Солдаты с изумлением смотрели на гору, к которой, казалось, нельзя было подступиться. В это время от свиты Ренненкампфа отделился капитан Нижегородского драгунского полка, князь Давид Осипович Бебутов [Брат известного князя Василия Осиповича. Впоследствии, в конце пятидесятых и в начале шестидесятых годов, был комендантом в Варшаве.], и, кинувшись вперед, увлек за собой солдат. Утес был взят, и неприятель отброшен на самую вершину Зикара. Положение осетин, загнанных таким образом в глубокие снега, в которых они тонули по пояс, было отчаянное, но и войскам держаться на утесах, покрытых сырым и холодным туманом, не было возможности. Ударили отбой,— и Ренненкампф отвел войска назад в Доудонастское ущелье.

Гора, так сказать, осталась в руках неприятеля; но тем не менее бой на Зикаре имел решающее влияние на судьбу кешельтцев. На следующий день в лагерь явились их депутаты, и большая часть деревень выслала своих аманатов.

Из всех кешельтцев не хотел покориться только упорный Акка-Кобис-швили, удалившийся за снеговой кударский перевал, да крепкий замок Коло, служивший опорным пунктом другой, не менее известной, кешельтской фамилии Беге-Коче-швили. Необходимо было покончить с этим разбойничьим гнездом,— и Ренненкампф двадцать шестого июня обложил Коло. В замке засело тридцать отчаянных головорезов, и не предложение сдачи — отвечали залпом. Прапорщик Бестужев [Декабрист: родной брат известного писателя Александра Бестужева (Марлинского).] тотчас придвинул горное орудие и принялся бомбардировать башню. Однако не только пробить брешь, но даже оторвать кусок от этой слежавшейся веками каменной глыбы оказалось невозможным. Ядра отскакивали как мяч, и в довершение всего, лопнул лафет — и орудие перестало действовать. Тогда Ренненкампф двинул на приступ херсонские роты. Гренадеры бросились, но были отбиты с потерей двадцати двух человек; в числе тяжело раненых находился и командир полка подполковник Берилев, которому пуля раздробила плечо; истекая кровью, он не пошел на перевязку и это послужило, впоследствии, причиной смертельного исхода раны.

Пришлось отложить атаку до ночи. Как только стемнело, охотники и часть грузинской милиции тихо подползли к воротам замка, чтобы сорвать их с петель. Это едва не удалось картлинскому дворянину Давиду Сулханову, но тяжелая рана вывела его из строя. Охотники отступили. Картлинцы еще держались некоторое время, и пока грузины стреляли по бойницам, один из них, Лаурсаб Пурциладзе, пытался подвести подкоп под самую башню; но, сложенный на извести, фундамент уходил так глубоко в землю, что работе оказалась тщетной. Отошли назад и картлинцы.

Наступила ночь. Мрачным силуэтом вырисовывалась на темном небе страшная башня, окруженная русскими бивуаками. Вдруг яркое пламя высоко взвилось над деревней и осветило окрестность. Разбойники, опасаясь ночного нападения, сами зажгли несколько домов, чтобы оградить себя от нечаянного приступа. Но никто из них не полагал, что это губительное пламя предзнаменует их будущую жестокую участь.

Генерал несколько раз посылал к ним увещания положить оружие, но всякий раз они присылали ответ, что скорее погребут себя под развалинами, чем примут какие-нибудь условия. Последний наш посланный был задержан и не вернулся назад. Чтобы положить конец этой неслыханной борьбе, команды, высланные из лагеря, в самую полночь приблизились к башне и обложили ее громадными кострами. Осетины открыли огонь, и поручик Писаревский, зажегший первый костер, был ранен пулей в голову; едва он упал, как один фанатик, выскочивший из башни через амбразуру, набросился на него с кинжалом. К счастью, унтер-офицер Пархомович успел вовремя заслонить офицера, и осетин был убит. Между тем от одного костра занялись другие. Яркое пламя, раздуваемое ветром, быстро поднялось до вершины замка, лизнуло его каменные стены и охватило все деревянные пристройки. Скоро затлели перекладыны крыши; балки стали валиться внутрь башни; но среди удушающего дыма и пылающего огня слышалось только монотонное пение предсмертной молитвы. Видя неминуемую гибель, осетины выкинули из окна окровавленную рубаху нашего парламентаря. “Вот кровь,— кричали они,— которую мы пролили заранее в отмщение за нашу кровь”. Толстые, окованные железом ворота долго сопротивлялись действию огня; но когда рядовой Немилостишев железным ломом сбил с петель одну половину — пламя тотчас охватило внутренность замка, и вслед за тем с гулом и треском рухнула вниз его тяжелая крыша. Сноп искр высоко взметнулся к небу — и все застлалось черным удушливым дымом. В этот момент десять осетин выскочили из башни, надеясь пробиться; девять из них были убиты, а десятый, сам Беге-Коче-швили, захвачен в плен; замок с остальными защитниками сгорел. И теперь только одни обугленные стены укажут любопытному путнику место, где тридцать человек со спартанской твердостью защищались около суток против полуторатысячного русского отряда.

Уничтожение замка и истребление в нем разбойничьей фамилии Коче-швили имело большое влияние на прочих осетин. Появление русских на вершине заоблачных гор сломило их упрямство и дикую энергию. Сам Акка-Кобис-швили признал невозможность дальнейшей борьбы и с петлей на шее, свитой из свежих древесных ветвей, явился в лагерь. Он стал на колени и прикрыл свою голову полой генеральской одежды. Это был знак, что он вручает свою судьбу его великодушью. “Именем главнокомандующего,— сказал Ренненкампф,— дарю тебе жизнь. Теперь можешь идти домой. Я отпускаю тебя на честное слово, что завтра, в эту же пору, ты будешь здесь вместе со всей твоей фамилией”. Акка дал обещание и сдержал его. Он привел с собой не только семью, но и двух пленных: имеретин, из числа шести, захваченных им весной. “А где еще четыре?” — спросил Ренненкампф. Их зарезал народ при вступлении вашем в Осетию,— отвечал Акка.

Вместе с Кобис-швили явились в лагерь и остальные кешельтские старшины, чтобы принести присягу и похвалиться грамотой, хранившейся у них со времен Цицианова, как свидетельство их давней преданности русским и кроткого поведения. Генерал, никогда не слыхавший о кротости кешельтцев, с любопытством развернул эту хартию — и усмехнулся. Это было прошение самих же осетин, которые домогались облегчить участь своих аманатов и пленных; а Цицианов, возвращая эту бумагу назад, положил на ней резолюцию: “Вы дерзнули грабить и убивать воинов Его Императорского Величества — подобную участь будете и сами иметь. Ждите вашего жребия”. Генералу стоило немало труда уверить безграмотных старшин, что в этой хартии нет даже намека на похвалу их кротости.

Смирив буйных кешельтцев и поставив над ними моурава, отряд пятого июля двинулся далее к маграндалетским осетинам, живущим в глубоких ущельях большой Лиахвы. Пользуясь неприступностью своих жилищ, маграндалетцы не платили никаких податей, не отбывали повинностей и никому не повиновались. Можно было ожидать с их стороны упорного сопротивления, тем более, что к ним не было даже дорог, а вели тропы, которые не раз были облиты русской кровью. Здесь именно в 1812 году отряд генерала Сталя понес большие потери и должен был вернуться обратно, — обстоятельство, сильно пошатнувшее тогда зависимость от нас Осетии, а нас заставившее быть осмотрительней. Эти тропы и теперь стоили не малых жертв отряду, у которого множество лошадей и вьюков сорвалось с круч в бездонные пропасти. Но маграндалетцы на этот раз не решились встретить наши войска на перевале. Погром кешельтцев уже лишил уверенности в себе остальные племена, и едва отряд стал на маграндалетской земле, как старшины явились с покорностью. То же самое сделали и жители боковых ущелий. Даже нарские осетины, обитавшие на северном склоне Кавказа, выслали сюда своих депутатов. Пользуясь этим, Ренненкампф отправил к ним генерального штаба штабс-капитана Ковалевского для собрания на месте подробных сведений об этих осетинах. Ковалевский, не колеблясь, отдал себя в руки незнакомых горцев и вместе с ними отправился в горы. Жители попутных деревень встречали его с непритворной лаской, и Ковалевский мог удостовериться в искреннем расположении их к русским. Нарцы сами просили даже о назначении к ним моурава, вызываясь выстроить ему приличный дом и давать от себя содержание. Во время этой поездки Ковалевский изучил дороги, сделал съемку горных ущелий и представил военно-статистическое описание пройденного края, которое составило ценный вклад в тогдашнюю военную литературу.

Спокойствие среди маграндалетцев водворилось быстро, но оно не обещало быть прочным, так как одна из влиятельнейших фамилий Рубишвили не хотела еще покориться. Ренненкампф приказал разрушить замок, покинутый ею в деревне Эдеси, и для захвата беглецов, скрывавшихся в ущельях малой Лиахвы, отправил роту херсонских гренадер со штабс-капитаном Андреевым. В то же время мало-помалу он начал подготавливать и экспедицию в Джимуру.

Отделенное от маграндалетцев высоким снеговым хребтом, племя это теснилось в самых верховьях Ксана и давало у себя приют даже таким преступникам, которых отвергали самые дикие общества. Из Джимурского ущелья множество троп вело к Арагве, на Военно-Грузинскую дорогу, и эти-то тропы служили путями для разбойничьих шаек, появлявшихся между Душетом и Койшауром.

Чтобы обеспечить по возможности успех экспедиции и лишить джимурцев возможности искать спасения в соседних обществах, Ренненкампф воспользовался двумя ротами сорокового егерского полка, возвращавшимися в то время из Турции. Он приказал, одной из них, с майором Забродским, запереть мятежникам Ксанское ущелье со стороны

Душета, а другой — с майором Челябиным, ущелье Гуда, со стороны Койшаура; пути на малую Лиахву сторожили херсонцы, со штабс-капитаном Андреевым.

Таким образом к одиннадцатому июля все главные выходы из Джимурского ущелья были заперты. Ренненкампф опасался, однако, чтобы джимурцы со всеми силами не устремились не один из этих отрядов, решил идти вперед, не ожидая уже развязки дел в Маграндолетском ущелье. Он оставил в нем небольшую колонну, а с остальными войсками поднялся на снеговой хребет Конго и появился в Джимуре.

Окруженные со всех сторон, осетины не осмелились сопротивляться и встретили Ренненкампфа хлебом-солью.

Но в самой середине Джимурского ущелья, на высокой, обрывистой скале, находилось селение Тоуган-Сопели, по имени обитавшей в ней фамилии Тогошвили. Старшие представители этой фамилии, два родных брата, Куджан и Соста-Мурад, были два истинных злодея, поражавшие своей кровожадностью даже угрюмых джимурцев. Летопись их злодеяний была так велика, что вооружила против них даже членов их собственной фамилии. Братья узнали, однако, о заговоре и в одну прекрасную ночь вырезали всю свою фамилию. С тех пор селение Тоуган-Сопели, где совершилось это кровавое дело, получило в народе страшную известность и обратилось в притон осетинских разбойников. При приближении наших войск один из братьев, Куджан, выслал в аманаты сына, но сам бежал в глубь Ксанского ущелья и укрепился на горе Голавдуре. Русские нашли селение пустым, и мрачный замок был разрушен до основания.

Джимурцы сами сообщили, где укрывались разбойники, и майор Забродский, стоявший в Ксанском ущелье, немедленно отправил на рекогносцировку часть грузинской милиции. Пробираясь лесом, грузины заметили в чаще вооруженного человека, которого приняли за часового,— и залп из ружей положил его на месте. Но когда грузины подбежали к убитому, то увидели молодую женщину, плавающую в крови. Признаков жизни уже не было; грузины сняли с нее оружие и, оставив труп в лесу, отправились дальше. Они принесли в лагерь известие, что шайка стоит на горе в совершенном расплохе. Тогда Забродский предложил жителям самим разделаться с разбойниками, но когда те отказались, он ночью напал на Голавдур со своей ротой и захватил всю шайку сонной. Только один из главнейших вожаков, Апанаси, вздумавший защищаться, был убит унтер-офицером Высоцким, сбросившим его в глубокую пропасть. Все остальные сдались. В числе пленных оказался сам Куджан-Тогошвили и та молодая осетинка, которую накануне считали убитой. Эта женщина с двумя пулями в груди и с раздробленным плечом имела силу и мужество пройти в ночь более десяти верст по страшным кручам и скалам.

Этим закончилась экспедиция Ренненкампфа. Войска наши проникли так далеко и прошли через такие места, где не только не была нога русского солдата, но куда не доходили даже грузинские цари, владевшие Осетией целые столетия. Чтобы судить о трудностях, перенесенных отрядом, довольно сказать, что солдаты иногда по несколько раз в день подвергались всевозможным атмосферным переменам, переходя то от чрезмерного жара к зимним морозам, то после стужи попадая в пространство, раскаленное сорокаградусным зноем. И все это переносилось бодро, с такой энергией, что в отряде, кроме раненых, не было ни одного больного. Государь пожаловал Ренненкампфу орден св. Анны первой степени и выразил особое благоволение войскам, участвовавшим в походе.

Так совершилось покорение южной Осетии, навсегда утратившей свою независимость. Главнейшие разбойники понесли достойное наказание. “Все они,— писал генерал Ренненкампф,— заслуживают казни; а так как расстрел не производит на горцев особенного впечатления, ибо они с малолетства привыкли обращаться с оружием, то я нахожу за лучшее, для страха другим, приказать их повесить”. Паскевич не согласился, однако же, с таким заключением, и, назначенная им, военно-судная комиссия приговорила из числа ста восемнадцати пленных только двадцать три человека к прогнанию сквозь строй и к ссылке на каторжные работы. В числе их был и знаменитый Куджан-Тогошвили. Опасение, что сын его, находившийся у нас аманатом, бежит и будет мстить за своего отца, заставило Ренненкампфа отправить в Сибирь и его, чтобы предотвратить в Осетии будущие беспорядки.

Но Осетия покорена была прочно. Жители сами усердно ловили разбойников и приводили их к русским. Так доставлены были два брата, Ахлов и Магомет Рубишвили, бежавшие из маграндолетского замка. Страх попасть в русские руки был так велик, что известный разбойник Саато Бедашвили, когда жители хотели его схватить, сам застрелил себя из ружья. В Осетии не было еще примера самоубийства, и смерть Саато, решившегося прибегнуть к такой отчаянной мере, поразила население ужасом. Осетия поняла, что для нее нет возврата к прошлому и что она начинает новую эру своей политической жизни.

Х. ЭКСПЕДИЦИЯ В СЕВЕРНУЮ ОСЕТИЮ

В то время, как генерал Ренненкампф громил южную Осетию, во Владикавказе собирался отряд для наказания северных осетин и ингушей, обитавших по обе стороны Военно-Грузинской дороги, на всем протяжении ее от Владикавказа до самого перевала через главный Кавказский хребет. Вправо — если ехать к Тифлису, жили осетины; влево — ингушские племена: галгаи, кисты и джерахи. Прочие ингуши, удаленные от Военно-Грузинской дороги и ютившиеся уже в низовьях Ассы, в ближайшем соседстве с чеченцами, не входили совсем в район военных действий отряда, так как экспедиция на их землю могла встревожить Чечню и вызвать вовсе нежелательные для нас осложнения.

Отряд, собиравшийся во Владикавказе, состоял из трех батальонов пехоты — два Севастопольского полка и один сводный [Две роты линейного батальона и две от егерских полков, тридцать девятого и сорокового.] и из двух конных сотен,— одной Астраханского войска, а другой Горского линейного казачьего полка. При отряде находились четыре кегорновые мортиры и четыре горные единорога, поставленные на двухколесные лафеты, устроенные на манер горских арб, но только с железными осями и оглоблями. Солдатам раздали бандули — род осетинской обуви для ходьбы по горам, а вместо ранцев они имели через плечо мешки с патронами и продовольствием. Казакам приказано было спешиться и отдать лошадей под выючный обоз, чтобы по возможности избавить отряд от наемных червадаров.

Начальником этого небольшого отряда был назначен генерал-майор князь Абхазов, человек, прослуживший тридцать лет в Грузии и отлично знакомый с местными условиями края. Князь Иван Николаевич Абхазов — грузин по происхождению, был одним из последних представителей славной цициановской эпохи. Он одним из первых грузин вступил на русскую службу и проходил ее в рядах семнадцатого егерского полка, под руководством таких учителей, какими был Лазарев, Карягин и Котляревский. Участник их бессмертных походов, Абхазов носил Георгиевский крест за штурм Ленкорани, и в чине подполковника уже получил в командование Грузинский гренадерский полк. С открытием персидской войны в 1827 году Паскевич назначил его управляющим мусульманскими провинциями за Кавказом, на место князя Мадатова. Это

назначение лишило его возможности участвовать в военных делах, против коротко знакомых ему персиян и турок, но зато спокойствием Нухи, Ширвани и Карабага в это тяжелое время мы были исключительно обязаны характеру главного действующего лица в них — Абхазову. Его стойкость, благородные правила, и ненарушимость раз данного слова привлекли к нему сердца всех мусульман и сделали, — как выражается Паскевич, — более, нежели все пышные обещания и все изгибы утонченной восточной политики его предместника.

Задача, поставленная теперь перед Абхазовым, заключалась в обеспечении Военно-Грузинской дороги от разбоев соседних народов. Соображая взаимное положение между собой этих племен, Абхазов решил устремиться сперва на восток, чтобы смирить ингушей, и затем уже обратиться к прочному покорению Осетии. Последнюю цель предполагалось хранить до времени в величайшей тайне, чтобы лишить осетин предлога помогать кистинам или джерахам. Но Абхазов смотрел на это дело иначе. Таугарские старшины приглашены были им во Владикавказ, и, когда в числе их явились даже такие лица, как Беслан Шанаев, — князь Абхазов с тем прямодушием, которое отличало все его действия, объявил, что русские войска, усмирив беспокойных ингушей, вступят в их землю, но вступят не для стеснения их привилегий, а, напротив, чтобы ввести среди них гражданственность, порядок и обеспечить права и собственность каждого. Речь эта имела такой успех, что сорок осетинских старшин тут же вызвались участвовать с русскими войсками в походе. Это обстоятельство настолько подорвало противную партию, что она не решилась уже открыто стать на сторону наших врагов, но, тем не менее, на совещании у Беслана Шанаева постановила встретить русских на пороге своей земли оружием.

Обеспечив себя со стороны таугарцев и поручив назрановскому племени наблюдать за дальними ингушами, Абхазов восьмого июля выступил из Владикавказа двумя колоннами: левая, под начальством подполковника Плоткина [Командир Севастопольского пехотного полка.] (батальон пехоты, астраханская сотня и четыре орудия) пошла к галгаем, правая, при которой находился сам генерал Абхазов (два батальона, сотня линейных казаков и также четыре орудия), — к Кайтукину посту, за которым начинались земли кистин и джерахов.

Девятого июля, как только колонна Абхазова перешла на правый берег Терека, тотчас же завязалась перестрелка. В джераховском ауле Калмикау засели кистины, пришедшие сюда из своего ущелья, и между союзниками не замедлила произойти серьезная распря. Джераховцы хотели положить оружие, а кистины выгнали их вон из их же деревни и объявили, что будут защищаться одни. Абхазов приказал начать атаку. Но едва войска тронулись вперед — кистины бежали и были горячо преследуемы, как осетинами, так и линейными казаками, до тех пор, пока страшная крутизна гор не остановила кавалерию. Тогда конницу сменили егеря, и кистины окончательно рассеялись. Слабое сопротивление неприятеля показывало, что дух горских народов уже подорван. И, действительно, едва отряд вступил в Кистинское ущелье, как большая часть населения изъявила покорность. Только немногие из фамилии Льяновых, да жители Обина отказались дать аманатов, и Абхазов решил наказать их оружием. Одиннадцатого июля войска, усиленные еще грузинской милицией, пришедшей от Казбека и истребившей по пути фамильный замок Льяновых, стояли уже перед Обином.

Все окрестные высоты были заняты неприятельскими скопищами. Но попытка кистин защищаться привела лишь к тому, что линейные казаки и осетины опять успели заскакать им в тыл, и неприятель, попав между двух огней, понес большие потери. Обин был сожжен, кистины смирились. В это самое время пришло известие, что левая колонна встретила сильное сопротивление у галгаев, и Абхазов немедленно двинулся туда на

помощь. Слухи оказались, однако же, преувеличенными. Дело заключалось в том, что Плоткин, встретив у деревни Бахчатура сильное неприятельское скопище, состоявшее из галгаев, галашевцев, алхонцев и других племен, не решился к ночи переходить овраг, прикрывавший фронт неприятельской позиции, и отложил атаку до рассвета; одиннадцатого же июля войска быстро овладели вершиной Сугулама, и галгаи тотчас выслали в лагерь своих аманатов. Плоткин привел их к присяге и теперь шел на соединение с правой колонной.

Легкость покорения ингушцев превзошла самые смелые расчеты Абхазова; даже незначительные сопротивления, встреченные войсками при Калмикау, в Обине и на Сугуламе, не изменили общей картины этого счастливого для нас похода. Через неделю войска уже возвращались обратно на Терек. Погода, до этого времени хорошая, теперь совершенно испортилась, начались туманы, пошли дожди, и дороги в горах так разгрязнились, что движение по скользким тропам, проложенным над кручами, сделалось крайне опасно. Войска шли медленно, небольшими переходами, принимая везде заявление покорности,— и если эта покорность не была чистосердечна и искренна, то все же она должна была надолго сдерживать хищные инстинкты населения. Носились слухи, что где-то собираются шайки, но о них мало заботились, полагая, что несколько фанатиков не могут изменить общего настроения народа. Так дошли до Обина. Здесь был назначен привал; но еще войска не успели разбить бивуака, как из селения вдруг раздались ружейные выстрелы — и трое солдат были ранены. Рота Севастопольского полка, посланная с одним орудием очистить деревню, ничего не могла сделать горсти кистин, засевавшей в крепкую башню. Тогда, не желая напрасно тратить людей, Абхазов приказал ночью подвести подкоп под самые стены,— и утром башня вместе со своими защитниками, взлетела на воздух. Замечательно, что предводитель шайки Маркуст Бекаев, известный своими наездами на Военно-Грузинскую дорогу, был выброшен взрывом из башни и найден живым под грудой развалин.

Этим эпизодом окончилась экспедиция на земле ингушцев. Отряд возвратился во Владикавказ и с торжеством вступил через триумфальную арку, поставленную на крепостном валу еще в память Гюллистанского мира, заключенного генерал-лейтенантом Ртищевым в 1813 году. На почерневшем от времени дереве надпись об этом событии давно уже стерлась, да и самая память о заслугах Ртищева постепенно исчезла вместе с воротами.

Из Владикавказа Абхазов отправил прокламации в Осетию, и прежде всего к таугарцам, приглашая их последовать примеру ингушей и покориться без сопротивления. Таугарцы отвечали отказом. Беслан Шанаев успел уже собрать до двух тысяч человек и, признанный единодушно начальником восстания, занял перевал из долины Терека в долину Геналдона. Его самонадеянность была так велика, что он не задумался атаковать целую бригаду двадцатой пехотной дивизии, следовавшую в это время из Ларса к Владикавказу. Бой произошел в ларской теснине двадцать пятого июля, и хотя нападение было отбито с большим уроном для неприятеля, но и войска имели убитых и раненых.

Абхазов увидел необходимость действовать решительно. Он выступил из Владикавказа двадцать шестого числа со всем своим отрядом и занял Ларс, откуда пролегал удобнейший путь в Таугарское ущелье. Сводный батальон с двумя орудиями, под начальством майора Шлыкова, был выдвинут вперед и занял крайние высоты над Ларсом, чтобы обеспечить дальнейшее движение отряда. Но батальон не успел еще стать на позиции, как был атакован двухтысячным скопищем Шанаева. Стрелковая цепь, выдвинувшаяся слишком вперед, сразу была опрокинута. Ближайшие роты смешались и,

видя, что два орудия не могут остановить натиска неприятеля,— в беспорядке побежали назад. Батальонного командира не было при батальоне.

Поражение Шлыкова могло иметь печальные последствия и для всего нашего отряда, тем более, что в это самое время сильная перестрелка послышалась и впереди, у самой Балты. Там осетины напали на обоз Нашебургского полка, следовавшего к Владикавказу, под прикрытием двух рот,— и овладели частью транспорта: несколько повозок было разграблено, два офицера и до двадцати солдат убиты и ранены. Вероятно, неприятель нанес бы обозу еще больший вред, если бы Абхазов промедлил выступлением из Ларса. К счастью, быстрое появление его на горах, на пути к Таугарскому ущелью, остановило успехи мятежников на обоих пунктах.

Три роты Севастопольского полка, высланные вперед, как только увидели беспорядочное отступление сводного батальона, проворно сбросили с себя мундиры и ранцы, и в одних рубахах с такой стремительностью ударили на таугарцев, что неприятель мгновенно был отброшен назад и скрылся в завалах. В это время подошли остальные войска Абхазова,— и Беслан Шанаев, не смея думать о защите, бежал за Геналдонский перевал. С его отступлением бежала и партия, державшаяся около Балты. Теперь ключ к Осетии находился в наших руках, и ворота в Таугарское ущелье стояли открытые настезь.

День, начавшийся для нас так неудачно, закончился полным торжеством русского оружия, показавшего насколько ничтожны перед ним все силы Осетии. Тем не менее, Абхазов, недовольный поведением в бою сводного батальона, вошел в подробное расследование всех причин, вызвавших неудачу. Причины эти, как оказалось, лежали в личных свойствах самого батальонного командира. Майор Шлыков принадлежал к числу тех нервных натур, которые, при всех своих прекрасных качествах, не могут быть терпимы в военной службе как люди безусловно вредные, не умеющие в виду опасности справляться с собой. Абхазов понял это своей прямой, честной душой и, обвиняя более всех самого себя в недостаточном знакомстве с характером своих подчиненных, ограничился, по отношению к Шлыкову, следующей оригинальной мерой.

Ходатайствуя о награждении отличившихся офицеров, он представил и наградный список майора Шлыкова, прописав в графе “за что представляется” следующую аттестацию: “Сорокового егерского полка майор Шлыков двадцать шестого на двадцать седьмое июля со сводным батальоном был послан занять первую высоту над Ларсом, но дурно исполнил это поручение. Он сам удалился от назначенного пункта и слишком удалил стрелков своих, которые, два раза подкрепленные пехотой и казаками и, наконец, горным единорогом и кегорновой мортирой, не могли остановить нападение и вынуждены были ретироваться в беспорядке. Здесь майор Шлыков не только не оказал храбрости, но закрылся против пуль шинелью — и в этом состояли все его действия и распоряжения”. Затем в графе “к какой удостоивается награде” значилось: “В награду за таковой подвиг, по мнению моему, он заслуживает при первом случае быть в жарком огне, и ежели и тут ему не удастся обратить на себя внимание начальства, и он на опыте повторит свою неспособность для полевой службы,— тогда должен быть уволен из оной на гражданскую или куда он изберет по своей способности”.

Паскевич, прочитав этот любопытный наградной лист, положил резолюцию: “Согласен. Употребить в первом деле против неприятеля”. Как прошло испытание и куда девался Шлыков впоследствии,— сведений нет; по крайней мере, имя его уже не встречается в дальнейших реляциях.

В тот же день войска заняли селение Саниб и стали бивуаком. Селение было пусто; но жители, успокоенные прокламациями Абхазова, мало-помалу стали возвращаться домой,— и первыми явились представители старейших осетинских фамилий Кондуховы и Есеневы. Абхазов объявил им прощение, но поставил условием выдачу мятежника Шанаева. Между тем все старшины и выборные окрестных таугарских аулов собраны были в лагерь и здесь, под знаменами Севастопольского полка, принесли присягу на верность Российскому государю. Только одна деревня Генал отказалась участвовать в этом собрании и за то была сожжена, вместе с полями засеянного хлеба.

Бой на высотах Саниба и затем слух о разгроме южных осетин решили участь и северной Осетии. Беслан Шанаев, добровольно сложив с себя звание народного вождя, явился к Абхазову с повинной головой. “Я ничего не могу обещать,— сказал ему Абхазов,— но буду ходатайствовать, чтобы тебе оставлена была жизнь”. Вместе с тем он потребовал от Шанаева вывести из гор тех жителей, которые еще не возвратились к своим домам, а самому на следующий день прибыть в деревню Кани и там ожидать решения своей судьбы.

Тридцатого июля весь отряд вышел из деревни Саниба и, переправляясь через бурные реки по мостам, устроенным уже самими таугарцами, прибыл в Кани. Здесь, на поляне, недалеко от той горы, где, по народным поверьям, обитает святой Нох-Дзуар и стоит его жертвенник — отряд был встречен Шанаевым с семью сыновьями и главными коноводами восстания. Все они тотчас были взяты под стражу, впредь до решения их участи фельдмаршалом.

Смирив таугарцев, отряд прошел в Куртатинское ущелье, разорил четыре аула и страхом дальнейшего возмездия вынудил жителей дать аманатов. Этому примеру последовали и жители Гизельдона. Теперь оставались непокоренными только две деревни, Кобани и Ламардон, которые не хотели и слышать о повиновении. Из этих двух пунктов Кобани обращала на себя особое внимание Абхазова. Она была расположена за Гизельдонским ущельем, обрамленным, скалами, сходящимися местами ближе чем на четыре сажени. Быстрый Гизельдон, прядая каскадами на протяжении нескольких верст, делает дорогу непроходимой даже для вьюков, а при таких условиях и пятьдесят решительных и отважных горцев, взобравшись на утесы, могли нанести отряду большие потери. Но обстоятельства изменились, как только гизельдонцы изъявили покорность. Они сами засели на скалы и охраняли ущелье во все время следования русского отряда.

Кобани покорились без выстрела; но даже и это не повлияло на буйных ламардонцев, которые продолжали готовиться к защите. Среди неприступных утесов и скал грозно возвышался старый осетинский замок, и далеко виднелись его закопченные башни, не раз в тяжелые дни выручавшие своих обитателей. Воображение невольно населяло этот замок толпами духов и привидений, но, в сущности, там жили только разбойники. Замок принадлежал фамилии Карсановых, всегда независимой, наводившей страх на целую окрестность и теперь не хотевшей входить ни в какие сношения с Абхазовым. Абхазов приказал партизанскому отряду из ста человек пехоты и двадцати пяти линейных казаков, овладеть Ламардоном,— и партизаны отважно исполнили свое назначение. Деревня была ими взята, замок сожжен, и башни взорваны: сами Карсановы успели бежать, но их оставили в покое, потому что с потерей имущества они утратили свое влияние и не могли уже быть для нас опасными.

Последний удар разразился над деревней Чеми, стоявшей на склоне горы, над самой Военно-Грузинской дорогой, которая далеко была видна с высоких башен. Башни эти —

вечный приют придорожных разбойников, были взорваны, а жители переселены на плоскость.

Так окончилась экспедиция Абхазова в северную Осетию. Не желая оставлять в земле таугарцев никаких памятников, принадлежавших русским, он вывез с собой бывший у них фальконет и чугунный столб, отбитый осетинами в Ларсе в то время, когда его везли в Тифлис для монетного двора еще во времена Гудовича.

Шестого августа отряд вернулся во Владикавказ и был распущен.

Страх, наведенный на осетин одновременным действием наших отрядов по обеим склонам Кавказского хребта, заставил их безусловно согласиться на все, что им было предложено. Главнейшие коноводы восстания были преданы военному суду и понесли жестокую кару. Двое из них, прапорщик Азо Шанаев и Бита Кануков как изменившие долгу присяги приговорены к смертной казни; десять представителей старейших осетинских фамилий, и в том числе сам Беслан Шанаев, сосланы в Сибирь на поселение; туда же послали и всех аманатов от тех племен, которые нам изменили, а малолетние из них были обращены в кантонистов. На этой мере особенно настаивал Абхазов, писавший Паскевичу, что бесполезно брать аманатов, если они при малейшей шалости горцев будут оставаться без наказания.

Народ потерял свое самоуправление и свои привилегии. Из всех земель, принадлежавших к владениям таугарцев, куртатин, джерахов, кистин и галгаев образовалось приставство, которое должно было внести в жизнь осетинского народа начало гражданского порядка. Пристав назначался из русских офицеров, а его помощники и старшины в аулах хотя и были туземцы, служившие по народным выборам, но никто из них не мог уже сменяться без воли русского правительства. “Я надеюсь,— писал по этому случаю Абхазов в своих прокламациях,— что с избранием вами помощника пристава положится конец гибельному кровомщению, поселяющему раздоры в ваших семействах. Правительство предоставляет себе карать нарушителей общественного спокойствия, и потому все убийцы должны быть представлены начальству, отнюдь не мстя их семействам. Я приказал разобрать прежние кровомщения и предписываю немедленно прекратить всякий иск крови.

Объявляю вам также,— писал Абхазов далее,— что всякий из вас, встреченный вооруженным на большой Военно-Грузинской дороге, будет арестован и представлен во Владикавказ для строгого наказания. Вам как подданным великого государя, нет никакого опасения ходить без оружия; но мера сия необходима для того, чтобы остановить гибельные намерения злоумышленников”. Таким образом все уголовные преступления судились уже по общим законам империи, а для разбора дел частных и тяжёбных во Владикавказе был учрежден особый суд, также с участием туземцев, но под председательством владикавказского коменданта. Наконец, самое главное, старинная привилегия осетин — сбор пошлин с проезжавших по Военно-Грузинской дороге, была отменена, а, напротив, они сами были обложены податью, состоявшей из одного барана, двух куриц и восьми фунтов сыра с каждого двора.

Внимательный обзор Военно-Грузинской дороги и ближайшее знакомство с характером горских народов удостоверили Абхазова, что путь от Владикавказа до Казбека никак не может быть прикрыт боковыми постами, так как хищники всегда найдут тропы, которыми будут пользоваться и проходить незамеченными мимо наших кордонов. Имея это в виду, Абхазов предложил поселить возле дороги четыре казачьи станицы: у Балты, Ларса, Чеми и Колмикау, с тем, чтобы запереть осетинам выход на плоскость и поставить их в положение, в котором они находились во время владычества в стране кабардинцев.

Недостаток земельных угодий, по мнению Абхазова, не мог служить препятствием к осуществлению этой идеи, так как ближайшие к станицам осетины должны были или выселиться на владикавказскую равнину, или смешаться с казаками, через что, как полагал Абхазов, скоро сольются в один народ и будут исполнять все повинности к которым будут призваны.

Большая часть осетин покорно подчинилась распоряжениям русского правительства; но были люди, которые не хотели примириться с установившимся порядком и втайне подготавливали новое восстание. Движение началось в деревне Кобани. Абхазов, внимательно следивший за настроением умов в Осетии, решил потушить пожар прежде, чем он разгорится, и для этого воспользовался самым суровым временем года — зимой, когда появление русских войск в горах считалось невозможным. Десятого декабря сто человек линейного батальона, выступив из Владикавказа, заняли Гизельдонское ущелье, под видом заготовки дров. Прибытие их не возбудило ни в ком подозрения, так как появление рабочих команд было делом обыкновенным, а между тем, на другой день к ним скрытно подошло еще сто человек, и весь отряд, подвинувшись вперед, стал в трех верстах от Кобани, закрывая собой вход в Гизельдонское ущелье. Не успели жители хорошенько сообразить в чем дело, как к передовому отряду явился сам Абхазов с целым батальоном пехоты и четырьмя орудиями: Кобани были тотчас заняты, и растерявшиеся жители покорно выслушали суровый приговор. Им велено было немедленно выйти из деревни со всем скотом и имуществом. Когда это было исполнено, деревня запылала с четырех сторон и гул, потрясший окрестные горы, возвестил о взрыве каменных башен, составлявших оплот и гордость Кобани. В тот же день отряд двинулся обратно, а вместе с ним потянулись и жители, переселяемые на плоскость, в окрестности Владикавказа.

С этой минуты Осетия не имеет уже более своей истории. Прошли годы культурного развития ее под кровом России и в своем течении настолько стерли самый след бытовой самостоятельности народа, что южные осетины окончательно слились с грузинами, а северные,— хотя и сохранили свои национальные черты, но сближение их с русской народностью идет чрезвычайно быстро. Былое время живет еще в воспоминаниях старых людей, но это время рисуется уже не в светлых, привлекательных образах, а в мрачных, обрызганных кровью картинах. Старики говорят: “Мы до тридцатого года не боялись Бога и проводили всю жизнь в грабежах и убийствах, а Абхазии разом все прекратил”. Его особенно уважает простой народ, первый почувствовавший на себе благие последствия мер, принятых русским правительством.

Время князя Абхазова служит для Осетии эрой. Самое имя его упрочилось в народе так глубоко, что когда осетин желает определить какое-нибудь событие, то говорит: оно случилось “до или после Абхазия”. Паскевич высоко ставил его деятельность. Оставляя Кавказ, фельдмаршал вызвал его в Польшу; но Абхазову не суждено было доехать до места нового своего назначения: он умер по дороге от холеры.

XI. НАЧАЛО БОРЬБЫ С МЮРИДИЗМОМ

Бой под Хунзахом, окончившийся полным поражением скопищ Кази-муллы, казалось, подействовал отрезвляющим образом на толпы, увлеченные его учением. Адепты тариката увидели теперь, насколько слабы и не подготовлены были средства к борьбе не только с могущественной русской державой, но даже с теми единоверцами, которые не пожелали признать провозглашенных Кази-муллой принципов. Вера в значение и правоту святого дела значительно поколебалась, и край видимо стал успокаиваться. Даже араканцы опять призвали к себе Сеида, выгнанного Кази-муллой, и просили у него прощения.

Сам Кази-мулла, покинутый своими последователями, укрылся в одинокой землянке, в стороне от Гимр, и стал проводить время в посте и молитве, по-видимому, не принимая более никакого участия в делах своей родины. Так, по крайней мере, всем казалось. Но в действительности Кази-мулла был не из тех людей, которые легко отказываются от раз задуманных ими планов. Окружив себя ореолом святой и подвижнической жизни, усердно охраняемый в своем убежище ревнителями веры, он зорко следил оттуда за всем, что делалось вокруг, и чутко прислушивался к малейшему движению в воздухе. Хорошо зная дух своего народа, он был убежден, что хунзахская неудача обратится в ничто при первом успехе, и настойчиво, с удвоенной энергией шел к намеченной цели.

Кази-мулла терпеливо выжидал благоприятной минуты. И вот одно обстоятельство, случившееся как нельзя более кстати, помогло ему наконец выйти из его невольного затворничества. Это было страшное землетрясение, которое продолжалось около месяца. Самые старые люди не помнили подобного грозного явления природы. По словам очевидцев трудно себе представить что-нибудь более ужасное: на всем пространстве, от Хунзаха до деревни Андреевой, земля колебалась и давала громадные трещины, дома рушились, люди гибли, и паника овладевала даже животными: метались испуганные стада, жалобно блеяли столпившиеся в кучу овцы, и выли собаки. Пораженные суеверным ужасом умы впечатлительных горцев видели в постигшем несчастье знамение Божьего гнева. Кази-мулла спешил воспользоваться грозными стихийными силами, и из его землянки раздался голос, призывавший всех правоверных горцев собраться двадцать седьмого февраля в Унцукуле для решения великого народного дела.

Не все, но многие старшины, муллы, кадии и простые люди из ближних аулов откликнулись на этот призыв, и Унцукуль к назначенному времени переполнился наезжими гостями. Кази-мулла явился в сопровождении Шамиля и двух-трех преданнейших мюридов. Потупив глаза, ни на кого не глядя, прошел он между сплошными стенами народа в мечеть, медленно поднялся по ступеням кафедры, и речь его полилась с тем пламенным красноречием, которое так увлекало слушателей. Он говорил о колебании земли как о явном знамении Божьего гнева, чаша которого уже переполнилась, учил народ со смирением переносить неудачи, ниспосылаемые свыше, укорял малодушных, пророчил в будущем близкое торжество ислама. “Кровь, оставшаяся на железе,— говорил он,— дымится и порождает ржавчину; кровь, пролитая вашими братьями и не смытая с хунзахских скал, вопиет о мщении. Берегитесь, чтобы она не покрыла ржавчиной ваши души. Как железо очищается растительными средствами, так спешите очистить ваши души и помыслы постом и покаянием. Готовьтесь к великой борьбе молитвой. Придет час, который мне будет указан свыше, и я разверну знамя газавата. Тогда горе тому, кто за ним не последует”...

Долго говорил Кази-мулла все в том же направлении, и растроганный народ в конце концов вынес убеждение, что виной неудачи под Хунзахом были его собственные сомнения и колебания в истинах тариката. Звезда Кази-муллы загорелась ярче прежнего и, когда он вернулся из Унцукуля, в числе его тайных последователей насчитывалось уже более двадцати тысяч семейств. Пропаганда шла чрезвычайно быстро.

Хунзахский бой впервые указал русским властям на ненормальное положение вещей в крае; но насколько оно имело серьезное значение, трудно было пока определить по тем запоздалым сведениям, которые получались в Тифлисе. С одной стороны выходило так, что Кази-мулла, разбитый и униженный, преследуемый народной враждой, должен скрываться по кутанам, не смея даже показываться на глаза своих соплеменников, а с другой,— что настроение умов в народе до того нам враждебно, что надо ежеминутно опасаться нового взрыва.

Фельдмаршал никак не мог разобраться в массе разноречивых сведений и, чтобы выйти из такого неопределенного положения, послал в Дагестан состоявшего при нем майора Корганова с секретным поручением разведать на месте об истинном положении дел и, если окажется нужным, схватить Кази-муллу, с уничтожением которого, как полагали, должна была пасть и самая секта.

Это была первая решительная мера, принятая русскими властями для разъяснения загадочного для них явления мюридизма. Вообще на этот вопрос до этого времени обращалось весьма мало внимания, и таким индифферентным отношением к делу только и можно объяснить ту непроницаемую тайну, которой облакались все действия Кази-муллы, известные десяткам тысяч людей, неустанно работавшим над одной и той же идеей. Эти люди, за исключением весьма немногих, были простые, малоразвитые горцы, имевшие самые смутные понятия о своих религиозных обязанностях, а потому Кази-мулле не трудно было овладеть их умами, тем более, что основная идея его стремлений вылилась в простой и удобопонятной форме — “газават русским”. В таком духе пропаганда росла и укреплялась в народе. А между тем еще не упущено было время остановить начинавшееся движение,— нужны были только разумные и энергичные меры, а для этого прежде всего ясное понимание дела. При таком положении вещей состоялось назначение Корганова.

Чтобы понять, в чьи руки попало тогда в Дагестане русское дело, имевшее столь важное значение для спокойствия края, ознакомимся прежде всего с личностью самого Корганова и с характером его предшествовавшей деятельности. Корганов — тифлисский уроженец, был человек умный, хитрый, вышедший в люди из ничтожества, благодаря только проницательности и той печальной роли, какую играл он по отношению к Ермолову в те дни, когда могущество последнего стало клониться к закату. Своей деятельностью Корганов с давнего времени приобрел в целой Грузии самое невыгодное мнение, и если все отдавали справедливость его уму, то в равной же мере все презирали его нравственные качества. Позднее, когда Паскевича уже не было в крае, генерал Панкратьев в своем донесении государю так охарактеризовал нравственный облик этого, в своем роде, замечательного человека. “Хотя генерал-фельдмаршал,— говорит он,— и считал полезным употреблять его (Корганова) к выполнению некоторых поручений как человека особенно хитрого и знающего здешние народы, но я со своей стороны полагаю, что дерзкая и ненасытная алчность этого чиновника к корысти и стяжанию делают его нетерпимым на службе, и особенно вредным в Закавказском крае, где поступки его вызывают нарекания на самое начальство и даже на русское имя”. И вот такой-то человек, которому среди грузин и русских не было другого имени, как “Ванька-Каин, является вершителем судеб Дагестана.

Корганов прибыл в Дагестан, облеченный таким доверием Паскевича и такими полномочиями, какими не пользовался ни один из командовавших на Кавказе генералов. Довольно, например, сказать, что эта загадочная личность, будучи всего в чине майора, распорядилась всеми войсками, расположенными как в Дагестане, так и на левом фланге, руководила военными действиями, арестовывала местных владетелей, договаривалась именем правительства с местными племенами, аттестовывала всех ближайших отдельных начальников и прочее и прочее. Впоследствии, когда по воле государя возник вопрос о том, кто дал Корганову такие полномочия и в чем они заключались, на него не могли ответить ни Панкратьев, ни Эмануэль, ни даже сам Паскевич, так как на самом деле никаких определенных полномочий дано ему не было, а все заключалось лишь в том нравственном доверии фельдмаршала, при котором каждое слово Корганова в глазах его было непреложной истиной [Сведения о деятельности Корганова в Дагестане заимствованы из официального дознания, производившегося по Высочайшему повелению генерал-адъютантом Панкратьевым. (Арх. Окр. Штаба Кав. воен. окр. Секретное дело особого дежурства 1830 г. № 36).].

Впрочем, не столько удивительно самозванное уполномочие Корганова, как поразительно беспрекословное исполнение требований его (например, даже об открытии военных действий) всеми второстепенными начальниками, не ожидавшими даже на то приказаний своих непосредственных начальников, точно личность Корганова с момента своего прибытия в Дагестан заменяла последних.

Объехав Казикумыкское ханство и Акашу, Корганов в конце февраля прибыл в Дженгутай и поселился во дворце мехтулинского хана. Дагестанские владетели, сразу угадавшие в лице Корганова любимца и наперстянка Паскевича, поспешили окружить его раболепством и угодливостью,— а это еще более увеличило фальшивость той роли, которую принял на себя Корганов, и дало ему повод действовать по отношению к самим ханам вполне самовластно и бесцеремонно. Чтобы иметь везде глаза и уши, он прежде всего пристроил к себе родного брата, прапорщика Грузинского полка, и привез с собой двух нухинских беков, которых посвятил во все свои секреты и которые часто самопроизвольно действовали именем своего принцепала. При таких условиях, когда все, опасавшееся гнева Паскевича, замкнулось в гробовое молчание, Корганову не трудно было устроить свою систему шпионства, тесно связанного с самым широким произволом и хищничеством, ставившим на первое место личные его интересы. Запуганные владетели, из боязни быть очерченными перед Паскевичем, старались задобрить Корганова, кто червонцами, кто ценными подарками, а кто и красивыми девушками, доставлявшимися к нему даже из сокровенных ханских гаремов. Сам Корганов, проводя время в кутежах и оргиях, обратил ханский дворец — как выражается Ибрагим-бек карчагский, один из молодых и преданных нам владельцев — в притон разврата, пьянства и картежной игры. Молва об этом шла по всему Дагестану и оскорбляла народную нравственность. Но все это не мешало, однако, Корганову, в минуты, свободные от разгула, производить деятельные разведки, стараясь проникнуть сквозь таинственную завесу, скрывавшую за собой нечто туманное и неразгаданное. Из Мехтулы он попытался даже действовать подкупом, чтобы от близких к имаму людей выведать тайны, которые были им вверены. Но суровые мюриды не хотели торговать своей совестью и не пошли на приманку. Тогда Корганов сделал решительный шаг и написал Кази-мулле письмо, стараясь разъяснить ему могущество, величие души и милосердие русского государя. “Правда,— писал он,— у вас в алкоране сказано, что вы не должны служить христианам, но пророк повелевает вам покоряться сильному, а вы со мной согласитесь, что вы много слабее Государя Российского”... Нет никакого сомнения, что мысли, изложенные в этом письме, были мыслями самого Паскевича, и будь проводником их иной человек, они, быть может, и произвели бы еще кое-какое полезное воздействие; но, к сожалению, душевные качества Корганова обрисовались в то время уже настолько рельефно, что горцы, где было можно, видимо от него сторонились.

Прождав напрасно некоторое время ответа на свое письмо, Корганов, вместе с Ибрагим-беком карчагским, отправился в Аварию, где он еще не был. В Хунзахе, во дворце Нуцал-хана, в это время шли празднества. Вернувшиеся из Петербурга депутаты привезли с собой георгиевское знамя народу, подарки членам ханского дома и бесконечные рассказы о величии и щедротах русского государя. Казалось бы, что это был наилучший момент для привлечения аварцев на нашу сторону; но, к сожалению, политические обстоятельства и здесь уже сложились не в нашу пользу. Авария была раздираема внутренними смутами, невольной причиной которых являлся все тот же совладелец в части Аварии — Сурхайхан, от которого честолюбивая ханша Паху-Бике никак не могла отделаться; с другой стороны, слух о намерении Паскевича пройти с войсками из Кахетии в Дагестан тревожил аварцев опасением, чтобы русские не утвердились навсегда в стране, столько веков гордившейся своей независимостью; а к этому прибавилось еще и личное раздражение их против самого Корганова. При таких условиях даже хунзахская победа не могла

восстановить того уважения к преданному России ханскому дому, которым пользовались некогда могущественные владетели Аварии; при общем недовольстве шарият свободно продолжал распространяться по аварским селениям и даже закрался в Хунзах, где образовалась партия, враждебная России, уже при самом дворе. Во главе ее стали ханша Гехили и старый Али-бек, воспитатель Нуцал-хана, имевший огромное влияние на своего питомца. Деятельность этой партии выразилась прежде всего в недружелюбных отношениях к Корганову. Суровый Али-бек взволновал народ и, опираясь на слух, что вслед за Коргановым идет русское войско, арестовал Ибрагим-бека в своем собственном доме. Вмешательство ханши Паху-Бике заставило его освободить дагестанского владельца; но зато угрозы Али-бека перешли на самого Корганова. Он велел сказать ему, что “если русские и прибыли сюда благополучно, то еще неизвестно, как они выедут из Аварии” Положение Корганова действительно становилось уже не безопасным. К его счастью, как раз в это время получен был давно ожидаемый ответ Кази-муллы, который, так сказать, позволял ему отступить из Аварии с честью. Кази-мулла писал, что удивляется, в чем могут обвинять его русские, когда он не сделал им никакого зла, и просил Корганова дать ему свободный пропуск в Мекку, где полагал окончить жизнь свою у гроба пророка. Корганов поспешил в Дженгутай, чтобы при помощи мехтулинского хана устроить свидание с Кази-муллой, и на пути едва сам не поплатился жизнью. Около Гоцатля за ним погналось человек триста конных аварцев, и если бы Корганов случайно не попал на брод через Аварское Койсу, то был бы истреблен вместе со своим конвоем.

В Дженгутае Корганова ожидало новое разочарование: он убедился, что Кази-мулла его обманывает и не только не думает о поездке в Мекку, но, напротив, укрепляет Гимры, ведет переговоры с чеченцами, и даже послал несколько мюридов в самый Хунзах, чтобы склонить упрямую правительницу Паху-Бике присоединиться к нему во имя религии. Ханша известила об этом Корганова. “Кази-мулла,— писала она,— желает со мной примириться, и если я успею уговорить его на свидание, то, угостив, надеюсь окончить его жребий. Когда же не успею я в сем предприятии, то есть у меня в Унцукуле десять человек приверженцев, да пять в Белоканах, на которых я могу положиться. Они несколько раз ко мне приезжали, предлагая свои услуги, и брались исполнить все предложения, какие только будут им сделаны, даже если бы они сопряжены были с опасностью для жизни”.

Вопрос шел только о деньгах, так как ханша просила сто туманов — тысячу рублей серебром. Корганову показалось, однако же, выгоднее отдать все предприятие в руки мехтулинского хана, которому можно было заплатить не червонцами, а двумя-тремя деревнями из числа шамхальских владений. Хан согласился и со своей стороны подыскал одного беглого казанищенского бека, Хасбулата, который обещал ему доставить Кази-муллу живого или мертвого. Хасбулат действительно отправился в Гимры, но там и остался, открыто перейдя на сторону имама. Дело, таким образом, получило полную огласку, и после того — как писала ханша Паху-Бике — не находилось уже ни одного человека, который взялся бы за это предприятие и за пятьсот туманов.

Раздосадованный неудачей, Корганов в оправдание себя постарался огулом очернить перед Паскевичем всех дагестанских владетелей. В этом отношении он был отчасти и прав, так как искренности действительно не было ни в ком,— все действовали прежде всего в своих видах и интересах. Нет сомнения, что все эти лица были нам преданы только потому, что это одно и обеспечивало их династические интересы; но в то же время, не видя над собой твердой руки, которая направляла бы их действия к одной определенной цели, они неохотно шли против общего течения и разными поблажками старались обеспечить свое положение и популярность в народе. Был, например, такой случай. Во

владениях Аслан-хана казикумыкского проживал в то время известный мулла Магомет ярагский, первый бросивший в толпу семена нового учения. Паскевич приказал арестовать его и доставить в Тифлис. Мулла был схвачен, но с дороги бежал, и Аслан-хан постарался не только выгородить конвойных, но и самого бежавшего. Он писал генералу Краббе, что сожалеет о случившемся, “ибо мулла Магомет сделал бы лучше, если бы сам явился к русским, которые убедились тогда бы, что этот человек есть образец добродетели, отказавшийся, подобно христианским монахам, от света, не желающий почестей и не делающий никому зла”... Нет сомнения, что побег ярагского проповедника произошел не без тайного участия самого Аслан-хана, но подозревать его в умышленном покровительстве мюридизму нельзя уже потому, что Аслан-хан был слишком умен, чтобы не понять, чем грозит ему самому новое учение, упраздняющее светских владетелей.

Невозможность заманить Кази-муллу в расставленные сети и еще большая невозможность наемным убийцам проникнуть в его убежище, сторожимое верными мюридами, заставили Корганова действовать несколько иными путями. Он остановился на мысли привлечь к ответственности весь койсубулинский народ, так как мятежные Гимры, одно из важнейших койсубулинских селений, служило родиной Кази-муллы и колыбелью его учения. Нужно было сыскать благовидный предлог. Как раз в это время койсубулинцы изъявили желание иметь своим правителем младшего сына шамхала Абу-Мусселима. Желание это в народе свободном и испокон веков управлявшимся своими старшинами, действительно было несколько странно и даже загадочно. Теперь, по близком изучении Дагестана, мы можем сознавать ясно, что койсубулинцы действительно были в трудном положении: с одной стороны, находясь в центре населения, охваченного мюридизмом, им необходимо было идти вслед за окрестными обществами по течению, а с другой — у них так же не хватало пахотной земли для половины народа, как и в других центральных племенах этой горной страны, которые только из-за куска насущного хлеба обрабатывали с величайшими усилиями свои голые скалы. Загородив от Дагестана своими отрядами Грузию, долину Терека, Кубинское и Ширванское ханства, куда искони дагестанский народ совершал свои набеги, чтобы пополнять недочеты в своем хозяйственном бюджете, русские тем самым отнимали у него необходимые средства к существованию. По этой причине нагорные жители, имевшие земельные угодья на плоскости, вынуждены были, при данных обстоятельствах, особенно дорожить ими. Дополнительные пахотные поля койсубулинцев были в пределах шамхальства. Отсюда понятно, что, в случае присоединения своего к мюридам, Койсубу лишалось этих полей. Им оставалось, таким образом, или привлечь к мюридизму самих шамхальцев, или же установить в своей среде ханство, с лицом во главе из шамхальского дома. В этом, вероятно, и заключался секрет желания их иметь своим ханом Абу-Мусселима. Если бы мы знали в то время, что мюридизм и Ханская власть взаимно друг друга исключали, то нам гораздо политичнее было бы исполнить желание Койсубу,— но не это нужно было Корганову. Койсубулинцам было отказано под тем предлогом, что вражда Абу-Мусселима к шамхальскому дому и его сношения с Кази-муллой не были тайной и служили плохим речательством за спокойствие в койсубулинском обществе. Отказ этот несколько взволновал койсубулинцев, а Корганов не замедлил воспользоваться этим случаем, чтобы потребовать от них покорности. Он рассчитал, что если в его руках очутятся аманаты, то уже не трудно будет заставить койсубулинцев выдать нам и самого Кази-муллу вместе с его сообщниками. И вот двести человек койсубулинских старшин, кадиев, мулл и эфендиев прибыли в деревню Эрпели и просили Корганова приехать туда же для личных переговоров. Но Корганов сам не поехал к нему, а командировал того же Абу-Мусселима. Эта порученность Абу-Мусселиму, которого сам же Корганов подозревал в сношениях с Кази-муллой, положительно подходила к деянию “подлития масла на потухающий огонь”, так как она не только облегчала заподозренные сношения Абу-Мусселима с приверженцами имама, но прямо их устраивала.

К прискорбию, судьба и здесь благоприятствовала Корганову: в то время, когда в Эрпиях придумывались и обсуждались примирительные основы предположенного соглашения, в руки Корганова попало воззвание Кази-муллы к чеченцам, в котором имам обещал выдвинуться навстречу к ним, на реку Кара-Койсу. Заручившись этим документом, Корганов счел себя вправе действовать смелее и стал забрасывать все и вся своими клеветами и наветами. Так, упуская из виду, что Кара-Койсу, будучи довольно значительной рекой, проходит сквозь несколько дагестанских обществ и в Авдии весьма приближается к Чечне, Корганов видел только, что Койсубу располагается на той же реке, а это, по его мнению, указывало прямо на готовность, будто бы, койсубулинцев содействовать имаму. Отсюда уже не трудно ему было прийти и к дальнейшему заключению, что, в свою очередь, койсубулинцы, так много хлопотавшие о ханских прерогативах для Абу-Мусселима, находятся в связи с шамхальцами и что во главе последних стоят жители пограничных шамхальских аулов — Казанищ, Эрпели и Караная. Таким образом, по его выводу, являлась необходимость как можно скорее разрушить заговор (которого в сущности не было), и Корганов решил не выжидать более конца переговоров, а начать военные действия прямо с захвата койсубулинских стад, ходивших спокойно и доверчиво на темирханшуринской плоскости. Ближайший русский отряд, на который можно было возложить это предприятие, был отряд полковника Ефимовича, оставленный бароном Розеном на кумыкской плоскости, около крепости Внезапной. Ефимович, по требованию Корганова, сделал в один переход семьдесят верст и, появившись у Копчугая, захватил до трех тысяч баранов; затем около пяти тысяч голов было отбито еще Ахмет-ханом, с его мехтулинской конницей; но остальные успели укрыться в горы.

Когда известие о разгроме стад дошло до Эрпели, то койсубулинские старшины, униженные в своем национальном достоинстве, отправились к шамхалу и потребовали от него объяснений, почему, когда они государю верны и ему, шамхалу, покорны и усердны, Корганов грабит их имущество и берет под стражу людей? Растерявшийся шамхал запросил об этом Корганова. Последний ответил, что он как лицо, уполномоченное фельдмаршалом, знает, что делает, и дальнейших объяснений не дал. Тогда койсубулинцы удалились, глубоко оскорбленные той ничтожной ролью, какую в их глазах играл наследственный валий Дагестана.

Отбитие стад прервало начавшиеся переговоры. Это был вызов, брошенный прямо в лицо койсубулинцам,— толчок, разрушивший последние преграды, еще сдерживавшие мюридизм в известных границах. Взрыв сделался неминуем. А Корганов точно не видел возможности подобного взрыва и продолжал развивать свои операции все далее и далее. Он гласно обвинил Абу-Мусселима в тайных сношениях с нашими врагами, которым, как мы видели, сам же содействовал, и решил занять Казанищи, а затем Эрпели и Каранай, чтобы удержать жителей этих селений от присоединения к койсубулинцам. Впрочем, это была только одна официальная сторона дела, фигурировавшая в донесениях Корганова. На деле же ему хотелось просто вызвать два-три выстрела со стороны казанищенцев, чтобы иметь предлог объявить их мятежниками; на это, по крайней мере, указывают те секретные наставления, которые были им даны по этому поводу мехтулинскому хану и Ибрагим-беку карчагскому. Оба они показали потом, при следствии, что, ворвавшись в селение, перевернули его, по приказанию Корганова, вверх дном и даже ограбили женщин, срывая с них и ценные украшения, и даже шелковые шальвары. Ни один из жителей не взялся, однако, за оружие; только старики явились к Корганову с жалобой — и были наказаны как клеветники, посягнувшие на честь русского войска. Он приказал пятерых из них заключить в тюрьму, а через три дня привел в Казанищи весь отряд Ефимовича и обложил жителей огромной контрибуцией — сорок голов рогатого скота и двести пудов хлеба в сутки.

Приглушенные Казанищи молчали. Эрпели и Каранай, ожидавшие себе такой же участи, поспешили отклонить грозу присылкой аманатов и тем связали руки Корганову. Они обязались прекратить всякие сношения с койсубулинцами и не снабжать их более ни хлебом, ни солью. После этого Ефимовичу в шамхальстве делать было нечего, и отряд его возвратился обратно в Андрееве.

Только теперь Корганов известил генерала Краббе, командовавшего войсками в Дагестане, обо всем случившемся и просил его иметь наготове особый отряд на случай, ежели бы койсубулинцы сами открыли военные действия. Краббе тотчас же приказал полковнику Мищенко собрать в Дербенте шесть рот пехоты с тремя орудиями и двинуться в шамхальство, где и занять селение Парауль, резиденцию шамхалов. Но пока войска собирались, случилось следующее обстоятельство.

Койсубулинцы, озлобленные вероломным захватом их стад, собрали народный джегат, на котором прямо поставили вопрос: идти ли на русских немедленно или выждать более благоприятного времени. После некоторых пререканий, решили предварительно узнать мнение аварцев, с которыми у них был тайно заключен оборонительный союз, на случай движения русских в горы. Гонцы поскакали в Хунзах, в свою очередь, народ разделился надвое: Нуцал-хан со своей партией совсем отказался от вмешательства в дела койсубулинцев; но большинство решило сделать попытку к примирению обеих сторон, а в случае отказа русских возвратить стада, примкнуть к койсубулинцам. Известие об этом, по-видимому, сильно озадачило Корганова. Войска, собиравшиеся в Дербенте, не могли подоспеть в скором времени, а потому, по его требованию, генерал-лейтенант барон Розен немедленно отправил с Кавказской линии отряд подполковника Скалона из батальона Московского полка и нескольких сотен моздокских казаков. Отряд этот вступил в шамхальство и в ожидании, пока на смену его прибудет Мищенко, расположился под Тарками.

Появление русских войск, в свою очередь, встревожило шамхальцев. В Казанищах у Абу-Мусселима стали собираться сходки для суждения о текущих событиях, а между тем жители, опасаясь вторичного разгрома, начали поспешно собирать стада и укладывать на арбы имущество, с целью переселения в более безопасное место. Чтобы предупредить этот побег, Скалой быстро вошел в Казанищи, а Ахмет-хан с мехтулинской конницей занял все пути, ведущие в Койсубулинскую землю. Тогда тревога жителей достигла высшей степени. Возникли зловещие слухи, что казанищенцы, доведенные до отчаяния, решились будто бы вырезать русский отряд и что первый выстрел с их стороны послужит сигналом к общему восстанию шамхальцев. Опасность в этом случае прежде всего могла угрожать самому шамхалу, а потому Скалой тотчас отошел к Параулу и занял около селения крепкую позицию; туда же явился Ахмет-хан со своими мехтулинцами и собралась таркинская и табасаранская конницы. Нападение, таким образом, было отвращено, а восьмого мая к Параулу стали подходить передовые войска полковника Мищенко: это были две куринские роты, с командиром полка подполковником фон Дистерло, который как старший принял начальство над всем собравшимся отрядом, и войска в третий раз двинулись к Казанищам. Но на этот раз селение было уже пусто — и все, что могло бежать, бежало из него по койсубулинским дорогам. Кавалерия понеслась в погоню; часть беглецов вернулась, но остальные, укрывшись в Эрпели и быстро возведя завалы, увлекли своей судьбой и все население. Владетель эрпилинский, князь Улу-бей, человек преданный России, едва успел сам бежать под защиту русских штыков, покинув в селении свою семью и имущество. Дела принимали серьезный оборот. Дистерло, владея материальной силой и не входя в рассмотрение предшествовавших явлений, обратился уже к самим эрпилинцам, требуя от них явки к нему старшин, назначив им для этого

двадцать четыре часа на размышление; в противном случае он угрожал, что селение будет взято приступом, и с жителями поступлено как с явными изменниками.

Между тем преувеличенные слухи о беспорядках, начавшихся в шамхальстве, заставили барона Розена послать туда же весь Бутырский пехотный полк, который, под командой полковника Дурова, явился под Эрпилями как раз в то время, когда истекал суточный срок, данный Дистерло. Прибытие сильного русского отряда погасило в жителях последние надежды на возможность сопротивления, и эрпилинцы явились с повинной головой.

Покорность эта, очевидно, была только вынужденной. Выдавая нам аманатов, жители в то же время обращали взоры и упования свои на Кази-муллу, и только уже от него одного ожидали себе правды и спасения. Но Кази-мулла все еще медлил. Он внимательно следил за развитием койсубулинского вопроса, видел пожар, занимавшийся над краем, и давал время ему разгореться, чтобы потом внезапным появлением отнять у русских все способы и средства потушить его. Мы сами усердно подготавливали почву, на которой уже появлялись первые всходы кровавого посева. Шамиль едва ли искренен в своих рассказах, когда говорит, что причина священной войны, объявшей Дагестан, заключалась вовсе не в тарикате, и даже не в тех личностях, которые руководили движением, а в вековой, воспитанной долгими страданиями ненависти народа к ханскому правлению. Когда русские, явившиеся властителями приморского Дагестана, не только не избавили народ от ханского произвола, а, напротив, укрепили ханскую власть, до того боязливую и шаткую, своими штыками и пушками, то население нагорного Дагестана само разорвало свои путы и устремилось на русских, обманувших его заветные упования. Таковы сказания об этом самого Шамиля. Но Шамиль, как кажется, не прав в своем заключении уже потому, что мюридизм, в том смысле, как его понимают, окреп и замкнулся именно в нагорной части Дагестана, где большинство населения составляло вольные общества, а в существующих ханствах власть не была так тяжела, как на плоскости; а во-вторых, если ханские земли и стали в первое время ареной кровавой борьбы, то только благодаря полному отсутствию с нашей стороны в Дагестане твердой энергичной власти и целому ряду таких грубых ошибок, которые в конце концов вызвали восстание жителей. Учение фанатиков бросило первые искры, мы стали их раздувать и произвели пожар, который потушить потом уже были не в силах. Позднее, когда фельдмаршал уехал из края, к этому же убеждению пришел и его преемник, генерал-адъютант Панкратьев, писавший государю, что преступные действия Корганова были одной из главных причин быстрого распространения мюридизма на плоскости. Трудно, повторяем, поверить, чтобы человек, не имевший, как Корганов, ни служебного положения, ни высокого чина, мог так самовластно распоряжаться судьбами Дагестана, да еще в такую трудную эпоху,— но на это есть достоверные свидетельства и старых людей, и официальных документов, скрепленных лицом, близко стоявшим к Паскевичу — генерал-адъютантом Панкратьевым.

Угрожающее положение, занятое койсубулинцами, державшее в напряженном состоянии весь край, убедило наконец Паскевича — не в ошибочности принятых им мероприятий и отсутствии нравственной системы действий, а в необходимости покончить все одним решительным ударом. Генерал-лейтенанту Розену приказано было принять начальство над всеми войсками, собранными в шамхальстве, войти в земли койсубулинцев и взять Гимры открытой силой. От этой экспедиции Паскевич ожидал умиротворения всего Дагестана.

ХІІ. КОЙСУБУЛИНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ (Поэт Полежаев)

Наступил май 1830 года. В Дагестане готовилась большая койсубулинская экспедиция. Три отряда, Скалона, фон Дистерло и Бутырский полк Дурова, уже стояли под Эрпилями; ожидали только прибытия с линии генерал-лейтенанта барона Розена, чтобы начать военные действия.

Розен выступил из Грозной с батальоном Московского полка и батальоном таругинцев, при которых находились восемь орудий и две сотни линейных казаков. Он прошел через Внезапную и пятнадцатого мая вступил в шамхальские владения.

В рядах Московского полка, с тяжелым солдатским ружьем, во всем походном снаряжении, шел известный русский поэт Полежаев. Это был молодой человек лет двадцати четырех, небольшого роста, худой, с добрыми и симпатичными глазами. Во всей Фигуре его не было ничего воинственного; видно было, что он исполнял свой долг не хуже других, но что военная служба вовсе не была его предназначением. Биография Полежаева, его произведения, носившие на себе печать несомненного и крупного дарования, и вообще все подробности, касающиеся жизни и деятельности этого талантливого человека, в свое время были помещены в наших журналах, и потому, без сомнения, известны читающей публике. Но тем не менее здесь, на страницах “Кавказской войны”, будет не лишним воскресить в памяти читателей образ поэта, честно прослужившего три года в рядах Кавказской армии и воспевшего в своих стихах дела давно минувших дней Кавказа.

Александр Иванович Полежаев, как известно, был побочным сыном богатого пензенского помещика и приписан к саранскому мещанскому обществу. Одиннадцати лет Полежаева отвезли в Москву в один из модных пансионов, а затем он поступил в Московский университет, где жизнь его протекала в кутежах и разгулах с товарищами. Нужно сказать, впрочем, что это была обычная студенческая жизнь того времени, и в этом отношении Полежаев ничем не выделялся из среды своих товарищей-студентов. Беда грозила ему с другой стороны, откуда он ее не ожидал.

В бытность свою в университете Полежаев начал писать и печатать свои стихотворения, которые сразу отвели ему не последнее место между поэтами пушкинской школы. К сожалению, не все его произведения были удобны к печати. В июне 1826 года, когда двор находился в Москве для торжества коронации, по рукам стала ходить рукописная юмористическая поэма его “Сашка”, заключавшая в себе множество строф очень нескромных, полных цинизма и смелых выражений. В другое время шуточная поэма, быть может, и не обратила бы на себя особенного внимания, но в половине 1826 года, в мрачное время, последовавшее за событиями четырнадцатого декабря, когда каждому слову придавалось распространенное значение и политический характер, дело приняло совсем другой оборот: поэма было доведена до сведения императора Николая Павловича.

Дальнейший ход дела, по рассказу самого Полежаева, был следующий:

Однажды ночью, часа в три, ректор разбудил Полежаева, велел ему одеться в мундир и сойти в правление. Там его ждал попечитель, который без всяких объяснений пригласил Полежаева в свою карету и увез к министру народного просвещения. Министр повез его в кремлевский дворец. Несмотря на то, что был только шестой час утра, приемный зал был наполнен придворными и высшими сановниками. Когда Полежаева ввели в кабинет государя, император стоял, облокотившись на бюро, и разговаривал с министром; в руке его была тетрадь. Он бросил на вошедшего испытывающий взгляд и спросил:

— Ты ли сочинил эти стихи?

— Я,— отвечал Полежаев.

— Вот! — продолжал государь, обратившись к министру. — Вот я вам дам образчик университетского воспитания, я вам покажу, чему учатся там молодые люди. Читай эту тетрадь вслух,— прибавил он, обращаясь снова к Полежаеву.

Волнение Полежаева было так сильно, что он не мог читать. Взгляд государя неподвижно остановился на нем.

— Я не могу,— сказал Полежаев.

— Читай.

Это вернуло ему силы, и Полежаев бегло дочитал поэму до конца. В местах особенно резких государь делал знак рукой министру. Министр закрывал глаза.

— Что скажете? — спросил государь по окончании чтения.— Я положу предел этому разврату, это все еще следы, последние остатки: я их искореню. Какого он поведения?

— Превосходнейшего, ваше величество,— ответил министр.

— Этот отзыв тебя спас,— сказал государь,— но наказать тебя надобно для примера другим. Хочешь в военную службу?

Полежаев молчал.

— Я тебе даю военной службой средство очиститься. Что же, хочешь?

— Я должен повинаться,— отвечал Полежаев.

Государь подошел к нему, положил руку на плечо и, сказав: “От тебя зависит твоя судьба, если я забуду, то можешь мне писать”, — поцеловал его в лоб.

От государя Полежаева свели к Дибичу, который жил тут же, во дворце. Дибич спал; его разбудили; он вышел, и, прочитав бумагу, спросил флигель-адъютанта:

— Это он?

— Он, ваше превосходительство.

— Что же, доброе дело, послужите, может быть дослужитесь и до фельдмаршала.

От Дибича Полежаева свезли прямо в лагерь и определили в Бутырский пехотный полк унтер-офицером с правами личного дворянства, приобретенными образованием.

С этого времени начинается новая жизнь Полежаева,— жизнь, к несчастью, полная суровых и непрерывных испытаний, которые окончательно сломили силы молодого человека и привели к преждевременной смерти.

Ошибкой было определение Полежаева в полк, стоявший в самой Москве, где все напоминало ему прежнюю бесшабашную жизнь и где он поминутно мог наткнуться и на товарищей, и на лиц, знавших его в ином положении. Очутившись в чуждой ему среде, с ее своеобразным складом жизни, выбитый из прежней своей колеи, Полежаев не имел в себе достаточно воли и нравственных сил, чтобы найтись в этих новых для него условиях, так как, очевидно, смотрел на свое определение, на военную службу, только как на суровое наказание за шаловливую вольность своей юношеской музы, а не как на возможность, примирившись со службой, продолжать свою жизненную дорогу на этом поприще. Личное свое поведение Полежаев, очевидно, относил к области своей собственной воли, а потому и в мундире солдата продолжал разгульный образ жизни студенческого бурша. Военное начальство смотрело, однако, иначе и, не имея возможности скрывать его поведение, аттестовало дурно. По всей вероятности, это и было причиной, почему два письма Полежаева к государю остались без ответа. Тогда Полежаев бежал из полка, чтобы лично подать новую просьбу. Одумался ли он и вернулся назад добровольно или был доставлен в полк как дезертир,— об этом говорят различно, но так или иначе, а Полежаев был предан военному суду, который, по принципам, не входил в рассмотрение психологических причин, вынудивших совершить проступок, а просто за самовольную отлучку определил разжаловать Полежаева в рядовые с лишением дворянского достоинства. Этот приговор, ставивший Полежаева уже под ферулу телесных наказаний, окончательно разбил надежды и жизнь молодого поэта. Неправы те, которые говорят, что ему, будто бы, не было более выхода. Выход мог бы быть в неуклонном, добросовестном исполнении обязанностей и в хорошем поведении; но, к сожалению, Полежаев впал в мрачное отчаяние, безрассудно наделал дерзостей фельдфебелю, снова бежал, был пойман и, по строгости тогдашних военных законов, подлежал уже действительно прогнанию сквозь строй и наказанию шпицрутенами. Он сознавал это и, ожидая приговора, решился даже на самоубийство.

Последний день
Сверкал мне в очи.
Последней ночи
Встречал я тень,
И в думе лютой
Все решено;
Еще минута —
И ... свершено.

Но от позорного и страшного наказания избавило его на этот раз великодушные императора Николая Павловича. Полежаеву вменили в наказание только долговременный арест и перевели из Бутырского полка в Московский, находившийся к той же бригаде. К этому времени и относится прекрасное стихотворение Полежаева “Провидение”:

Я погибал,
Мой злобный гений
Торжествовал.

Московским полком в то время командовал полковник Любавский, человек добрый и просвещенный, который принял живое участие в судьбе Полежаева. Но это уже запоздало. Полежаев, потерявший последние душевные силы, при недостатке характера и воли, неудержимо стремился вниз по наклонной плоскости. Напрасно говорят, что сослуживцы сторонились от него ввиду его прошлого. Не это прошлое, а настоящее поэта было тому причиной. Белинский недаром говорит, что Полежаев к своей поэтической известности

присовокупил другую известность, которая стала проклятьем всей его жизни, причиной ранней утраты таланта и преждевременной смерти. Да он и сам говорит о себе:

И я жил — но в жил
На погибель свою...
Буйной жизнью убил
Я надежду мою...
Не расцвел — и отцвел
В утре пасмурных дней;
Что любил, в том нашел
Гибель жизни своей.

Все это не могло не отражаться и на его произведениях. Особенность его поэзии состоит в том, что она почти всегда была тесно связана с его жизнью, а жизнь его представляла грустное зрелище талантливой натуры, подавленной дикой необузданностью страстей. Лучшие его произведения были не что иное, как поэтическая исповедь его безумной судорожной жизни. Можно удивляться только, как в светлые минуты душевного умиления Полежаев еще обретал в себе столько тихого и глубокого вдохновения, чтобы так прекрасно выразить одно из величайших преданий евангелия, “Грешница”, или написать “Песнь пленного ирокеза” и тому подобное.

В марте 1829 года, то есть на третий год солдатской службы Полежаева, четырнадцатая дивизия, в состав которой входил Московский полк, отправлена была на усиление Кавказского корпуса, по случаю турецкой войны, и таким образом Полежаев вместе с полком попал на Кавказ. В военных действиях ему, однако, не пришлось участвовать; только вторая и третья бригады посланы были в Грузию, а полки Московский и Бутырский расположились на правом фланге для обороны Кубанской линии. Полежаеву пришлось стоять в Александрии, между Пятигорском и Ставрополем, в местности, недавно служившей ареной кровавой деятельности Джембулата. Дымилась еще сожженная им Незлобная, лежали в развалинах казацкие хутора,— но туча уже пронеслась, и по Кубани царствовало сравнительное спокойствие. Вот как рисует перед нами картину этого затишья сам Полежаев:

Молчаньем мрачным и печальным
Окрестность битв обложена,
И будто миром погребальным
Убита бранная страна.
Бывало, бодрый и безмолвный
Казак на пагубные волны
Вперяет взор сторожевой:
Нередко их знакомый ропот
Таил коней татарских топот
Перед тревогой боевой.
И вот толпой ожесточенной
Врывались злобные враги
В шатры защиты изумленной —
И обагрjali глyбь реки
Горячей кровью казаки.
Но миновало время брани,
Смирился дерзостный джигит,
И редко, редко по Кубани
Свинец убийственный свистит.

Эрпилинский поход 1830 года был, таким образом, первым военным походом, в котором пришлось участвовать Полежаеву. Характер его в это время начал было во многом уже изменяться к лучшему, но безвыходное горе по-прежнему не покидало поэта. При этом и красоты степных безлесных пространств Северного Кавказа, вообще вдохновлявшего наших поэтов, далеко не привлекательны, почему и не восторгали собой Полежаева и не пробуждали в нем воображения, слишком охлаждаемого прозой жизни. Плодом похода его в Дагестан явилась, однако, поэма “Эрпели”; но литературное достоинство ее не велико: все произведение растянуто, стих местами вял, картины слабы, хотя и стенографически верны. Вот как, например, рисует Полежаев выступление из Грозной и личность начальника отряда, барона Розена, одного из славных участников войны 1812 года.

Едва под Грозною возник
Эфирный город из палаток,
И раздался приветный крик
Учтивых егерских солдаток:
“Вот булки, булки, господа!”
И чистя ружья на просторе,
Богатыри, забывши горе,
К ним набежали, как вода;
Едва иные на форштадте
Найти успели земляков,
И за беседою о свате
Иль о семействе кумовьев,
В сердечном русском восхищеньи
И обоюдном поздравленьи
Вкусили счастья сполна
За квартой красного вина;
Как вдруг, о, тягостная служба!
Приказ по лагерю идет
Сейчас готовиться в поход...

.....
Внезапно ожили солдаты
Везде твердят: “В поход, в поход!”
Готовы, “Здравствуйте ребята!”
— “Желаем здравия!” — И вот —
Перед войсками является Розен:
Его сребристые седины
Приятны старым усачам:
Они являют их глазам
Давно минувшие картины,
Глубоко памятные дни!
Так прежде видели они
Багратионов пред полками,
Когда, готовя смерть и гром,
Они под русскими орлами
Шли защищать Романов дом,
Возвысить блеск своей отчизны,
Или к бессмертью на пути
Могилу славную найти.
Далее поэт рисует картины самого похода:
За переходом переход:

Степями, аулами, горами
Московцы дружными рядами
Идут послушно без забот.
Куда? Зачем? В огонь иль в воду?
Им все равно: они идут,
В ладьях по Тереку плывут,
По быстрой Сунже ищут броду;
Разносит ветер вдоль реки
С толпами ратных челноки;
Бросает Сунжа вверх ногами
Героев с храбрыми сердцами,
Их мочит дождь, их сушит пыль...
Идут

Уже тарутинцы успели
Подробно нашим рассказать,
При том прибавить и прилгать,
Как в Турции они терпели
От пуль и ядер, и чумы,
Как воевали под Аджаром,
И, была украшенная с жаром,
Пленяли пыльные умы.

Всегда лежавшие на печке [Московцы в первый раз шли в дело; тарутинцы же побывали в Турции, где в аджарской экспедиции Сакена понесли огромные потери (см. пред.)],

Мы в разговоре деловом,
Прошедши вброд еще две речки,
К Внезапной крепости тишком
Пришли внезапно вечером.

.....

Когда из Грозной
Пошли мы, грешные, в поход,
То и не думали, не знали,
Куда судьба нас заведет.
Иные с клятвой утверждали,
Что мы идем на смертный бой
В аул чеченский не мирной.
Другие

Шептали всем, понизя тон,
Что наш второй батальон
Был за Андреевой нещадно
Толпою горцев окружен.
Все пели складно, да не ладно...

.....

Теперь, к Внезапной подходя,
Засуетились все безбожно,
“Да где ж второй наш батальон,
Ведь говорят в осаде он?”
— “Э, вздор, нагали об осаде;
Он здесь с бутырцами стоит;
Смотрите, ежели в параде
Он нас принять не поспешит”.

“Да если здесь, то верно выйдет”.
Идет наш первый батальон —
И что же? Только место видит
Где был второй
..... Но спать пора.
Как раз раскинули палатки,
И разрешение загадки
Все отложили до утра.

Наутро узнали, что второй батальон в отряде Скалона и Бутырский полк с Дуровым давно уже ушли в Дагестан, и, в ожидании кровавой развязки, поднятой койсубулинцами смуты, стоят под Эрпели. Обещая передать читателям весь ход тогдашних событий, Полежаев говорит:

Я расскажу вам в час досужими
Об эрпилинской красоте
И эпизод довольно нужный
Не пропущу о баранте,
Бяфир-кумыке, Казанищах,
Где был второй наш батальон,
И то что нам поведал он
Под сенью мирных балаганов:
Плененье горских пастухов
Со многим множеством баранов...
[Намеки на действия майора Корганова с отрядами Ефремовича и Скалона.]
Затем Полежаев переходит к описанию военных событий:
Вот наконец мы и пришли
Под знаменитый Эрпили.
Картина первая: на ровном
Пространстве илистой земли
Стоит в величии огромном
Аул тавлинский Эрпили.
Обломки скал и гор кремнистых —
Его фундамент вековой;
Аллеи тополей тенистых,
Краса громады строевой;
Везде блуждающие взоры
Встречают сакли и заборы,
Плетни и валы; каждый дом —
Бойница с насыпью и рвом.
Идут — и вид другой картины:
Среди возвышенной равнины,
Загроможденной с двух сторон
Пирамидальными горами,
Объяввших гордыми глазами
С начала мира небосклон,
Разбиты белые палатки...
Быть может, прежние догадки
Теперь решились: это он,
Второй наш добрый батальон!
Так он свободный, незапертый,
Как утверждали мы сперва.

Но вот еще здесь лагерь!.. Два!
И три! — Наш будет уж четвертый...

[Первые три лагеря занимались отрядами Скалона, фон Дистерло и Дурова.]

Но Полежаеву и на этот раз не пришлось участвовать в настоящем деле. А он ждал его, — потому что только бой и мог проложить ему путь к утраченной свободе, возвратить ему все, что было им потеряно.

Еще в то время, когда отряд проходил через Внезапную, барон Розен, желая ближе ознакомиться с положением дел, вызвал к себе салаватских и гумбетовских старшин, чтобы узнать об отношении их обществ к имаму. Старшины заявили, что Кази-мулла присылал к ним воззвания, но они отказали ему в содействии. В этом же роде отвечали и акушинцы; за спокойствие эрпелинцев, каранаевцев и казанищенцев ручался Корганов. Основываясь на всех этих заявлениях, барон Розен пришел к убеждению, что ему не придется иметь дело с поголовным восстанием горцев, и полагал возможный, не прибегая к оружию, покорить упрямых койсубулинцев силой одних увещаний.

Кази-мулла, предвидя опасность, заблаговременно удалился в Балаханы и оттуда обратился к ханше Паху-Бике, прося ее забыть кровавые распри и, во имя святого дела, противодействовать завоеваниям неверных. В этом его поддержали и другие общества нагорного Дагестана, которые, опираясь на древнюю славу Аварии, выражали желание выступить против русских, но не иначе, как под предводительством самого Нуцал-хана, и клялись, что будут жертвовать своими головами ради аварского дома. Дальновидная Паху-Бике не торопилась, однако же, с ответом. А между тем к четырем отрядам, уже стоявшим под Эрпели, подошел еще полковник Мищенко с апшеронскими ротами, и, таким образом, силы наши возросли до четырех тысяч штыков, тысячи всадников и двадцати шести орудий. Девятнадцатого мая барон Розен произвел первую рекогносцировку и личным осмотром убедился в трудности овладения Гимрами; за высоким и каменистым хребтом, в глубоком ущелье между громадными скалами, на дне страшной пропасти, лежало селение. Подъем на самую вершину горы был еще возможен, но спуск со скалистого, почти отвесного хребта представлял необычайные трудности. Пролегавшая тропа, пригодная только для одних пешеходов, была так крута и обрывалась такими ступенями, что орудия могли спускаться только на канатах, да и то лишь после усиленной разработки дороги. Во время рекогносцировки шла перестрелка. Но едва Розен возвратился в лагерь, как Сурхай-хан аварский представил ему письмо, полученное от койсубулинцев, изъявлявших готовность вступить в переговоры. Сурхай тотчас отправился в их землю, но вернулся ни с чем, так как требования барона Розена не согласовались с желанием койсубулинского народа; а условия, на которых они покорялись, не совместимы были с достоинством и интересами России. Тогда к койсубулинцам отправился опять Абу-Мусселим; но его поездка не принесла никаких результатов, несмотря на то, что он предъявил уже значительно смягченные условия и требовал аманатов не от всех койсубулинских селений, а только от Гимр, Унцукуля, Аракан и Иргоная. Высланные к нему навстречу трое койсубулинских старшин даже не допустили его в селение, объявив, что народ до тех пор не вступит в переговоры, пока поставленный на высотах русский отряд не сойдет обратно вниз, пока им не возвратят баранов и пленных и пока Абу-Мусселим в обеспечение всего этого не выдаст им в аманаты своего родного брата. Между тем Абу-Мусселим узнал, что койсубулинцы получили сильные подкрепления от соседних обществ и что на помощь к ним приближаются аварцы. Последнее подтвердил и Сурхай-хан, только что ездивший по приказанию Розена в Аварию. Он прибыл в Хунзах как раз в то самое время, когда там

происходило народное собрание, и слышал его решение идти на помощь к койсубулинцам.

Розен был крайне встревожен таким неожиданным оборотом дела. Он увидел, что положение его становится затруднительным, и попытался еще раз обратиться к койсубулинцам с новым увещанием. “Безрассудные! — писал он.— Будучи теснимы войсками русскими в ямах ваших, доколе можете продовольствовать себя? Голод и недостаток заставят вас раскаяться, но страшитесь, чтобы раскаяние не было поздно. Не думайте, чтобы ваши нужды не были нам известны: вы существуете и обогащаетесь продажей продуктов жителям Кизляра и покорных деревень; ваши каменные ямы не могут достаточно снабжать вас хлебом; ваши бараны не могут обходиться без пастбищ. Спешите исполнить немедленно предложения мои и не принуждайте принять мер, которые будут для вас губительны. Повторяю, войска не сойдут с высот, отряд останется на месте и что один выстрел с вашей стороны заставит меня стрелять по вас из пушек”.

Как бы в подтверждение этой угрозы на высотах явились две батареи, чтобы прикрыть рабочих, по которым гимринцы не переставали стрелять из-за завалов. В то же время нашлась возвышенность, с которой Гимры открывались на расстоянии пушечного выстрела, и Розен воспользовался ею, чтобы поставить третью батарею, специально предназначавшуюся для бомбардирования. Дула орудий, грозно смотревшие из амбразур батареи, не замедлили оказать влияние на уступчивость койсубулинцев. Снова поехал к ним Абу-Мусселим и, после долгих переговоров, успел склонить их на выдачу аманатов, но не прежде, как самому ему пришлось дать в заложники своего брата. Это было двадцать пятого мая. Наутро явились старшины из Гимр и Унцукули и принесли присягу на подданство, но выдать Кази-муллу решительно отказались, ссылаясь на то, что его нет в селении.

Восходит светлая заря,
В параде ратные дружины;
Койсубулинские стремнины
Под властью русского царя!

Таким образом главная цель экспедиции — захват Кази-муллы — не была достигнута, но этому, как кажется, Розен не придавал особого значения. Удовольствовавшись наружным миром, он не счел за нужное проливать русскую кровь для приведения в покорность одного человека, которого, Бог знает, удалось ли бы еще захватить,— и вернулся на линию. Это, как увидим, было большой ошибкой с его стороны, вызвав дальнейшие кровавые события, с которыми пришлось бороться уже не ему, а его преемникам.

Покончив дела с койсубулинцами, Розен четвертого июня распустил войска: полковник Мищенко пошел в Темир-Хан-Шуру, чтобы держать в спокойствии шамхальство. Бутырский полк отправлен был во Внезапную, а остальные войска вернулись на линию. Покидая Дагестан, Розен искренне обласкал Абу-Мусселима, оказавшего нам немало услуг, и уверил его в особом покровительстве фельдмаршала.

ХIII. ПОСЛЕДНЕЕ ЗАТИШЬЕ ПЕРЕД ВЗРЫВОМ

В июне русский отряд, окончив койсубулинскую экспедицию, возвращался на линию. В нескольких переходах от Грозной, на походе, его настиг курьер и вручил барону Розену предписание графа Паскевича. Паскевич писал, что если койсубулинцы не дали еще аманатов и не подписали условий, то не соглашаться на избрание ими в правители Абу-Мусселима, а самого его арестовать и отправить вместе с семейством в крепость Бурную

для жительства там под присмотром. Предписание это, очевидно запоздавшее, относившееся еще к тому времени, когда войска стояли под Гимрами, поразило Розена своей неожиданностью и резким противоречием со всем случившимся. Вникнув, однако же, в смысл его, он пришел к убеждению, что арестовать Абу-Мусселима следовало бы, конечно, в том только случае, если бы койсубулинцы продолжали упорствовать, но теперь, когда койсубулинский вопрос был уже так или иначе, но разрешен, и разрешен именно при небесполезном участии самого Абу-Мусселима,— арест его не имел бы никакого смысла. Розен счел дело оконченным и приказал оставить бумагу без последствия.

Но едва он возвратился в Грозную, как получил известие, что Абу-Мусселим уже арестован и посажен в крепость. Всякий поймет теперь положение, в каком очутился Розен и как начальник края, без ведома которого совершилось такое важное событие, и как правительственное лицо, воспользовавшееся услугами Абу-Мусселима и дружески успокоившее его относительно благоволения фельдмаршала. Разъяснения этой загадки пришлось ожидать не долго.

Еще в то время, когда готовилась экспедиция в Гимры, Паскевич отозвал было Корганова из Дагестана, потому ли, что считал его миссию оконченной, или потому, что до него дошли слухи о неблагоприятных поступках Корганова,— неизвестно; но дело в том, что Корганов умел устроить так, что после личного свидания с фельдмаршалом в Екатеринограде вновь получил разрешение вернуться в Дагестан и окончить возложенное на него поручение.

В это время столица шамхалов была облачена в глубокий траур. Старый Мехти скончался на пути из Петербурга, и в Тарках ожидалось прибытие тела покойного.

Шамхал выехал из Петербурга седьмого мая больной и дорогой умер в Новгородской губернии, на станции Зайцево. Причину его смерти медики отнесли просто к старости и болезням, усилившимся от беспокойного и непривычного путешествия в весеннюю распутицу. В Петербурге, однако же, поставлены были в затруднение, что делать с телом шамхала, так как казанский и уфимский мулла, призванный на совещание к директору азиатского департамента, объявил категорически, что магометанский закон запрещает перевозить вдаль мертвые тела, а тем более вскрывать их для бальзамирования, и что ни в Казани, ни в Уфе подобных обычаев не существует. С другой стороны, у нас опасались, что погребение шамхала в глухой деревушке вдали от родины произвело бы неблагоприятные толки и негодование в Дагестане, тем более, что покойник сам перед своей кончиной завещал похоронить себя в родовой усыпальнице шамхалов, вместе со своими предками, где мусульмане могли бы иногда по обычаю и помолиться над его костями. Поэтому решили отправить тело в Тарки, но положив его в свинцовый гроб, засыпав углем и заключив в наружный ящик, наглухо обмазанный смолой. Составлен был церемониал торжественного погребения, и войска, собранные в Зайцево, отдали последнюю почесть усопшему шамхалу как русскому генералу и владельцу одной из важнейших провинций Дагестана.

В это время, как Тарки готовились к печальному обряду похорон старого валия, русские власти не мешались в то, что делалось по народным обычаям, но полковник Мищенко зорко следил из Шуры за народным движением, потому что теперь возникал вопрос о наследовании, из-за которого доселе пререкались два родные брата. Объявление шамхалом Сулейман-паши прошло, однако, без всякого замешательства; по-видимому, Абу-Мусселим примирился со своим положением, и если мечтал еще о чем, то только о достижении в будущем титула койсубулинского хана. Не так, однако же, думал об этом

Корганов. Он уже заранее договорился с Сулейман-пашой содействовать ему в устранении Абу-Мусселима с дороги и в этих именно видах выхлопотал у Паскевича приказание арестовать его как главного виновника койсубулинской смуты. Но приказание это еще не было исполнено, как койсубулинская экспедиция окончилась, и интрига не удалась. Тогда в голове Корганова созрел новый план, который он и не замедлил привести в исполнение.

Возвращаясь в Дагестан, Корганов потребовал в Тифлис из корпусного штаба все копии с предписаний Паскевича на имя барона Розена, под тем предлогом, что многие из них могли быть не получены им своевременно. Бумаги были выданы за скрепой начальника корпусного штаба генерал-майора Жуковского. Корганов явился с ними в Шуру к полковнику Мищенко и в тот же день, одиннадцатого июня, предъявил ему предписание об аресте Абу-Мусселима. В то же время под рукой он дал ему заметить, что фельдмаршал весьма недоволен, что предписание это до сих пор не исполнено. Мищенко, напуганному гневом Паскевича, почему-то представилось, что Абу-Мусселим должен быть арестован в предупреждение беспорядков при вступлении во владение Сулейман-паши и, не сообразив запоздалость документа, тотчас приказал майору Ивченко, бывшему начальником в крепости Бурной, арестовать не только Абу-Мусселима и его жену, но и еще пятерых приближенных к нему лиц, на которых указал Корганов, но о которых вовсе даже и не упоминалось в предписании главнокомандующего.

И вот тринадцатого июня, когда в Тарки привезено было тело почившего шамхала, когда в мечети шел печальный обряд погребения и Абу-Мусселим как сын покойного, по обычаю, оплакивал своего умершего отца, Ивченко объявил ему приговор фельдмаршала. Абу-Мусселим и пять его друзей тотчас были арестованы и отвезены в крепость Бурную.

Самого Абу-Мусселима поместили еще в особом доме, но его приверженцев бросили прямо на гауптвахту, вместе с колодниками. В то же самое время жена Абу-Мусселима, знаменитая красавица Салтанета, дочь аварской ханши Паху-Бике, была задержана в Тарках в тот момент, когда собиралась выехать из шамхальства. Новая шамхальша, жена Сулейман-паши, не позволила, однако же, арестовать свою невестку и укрыла ее на женской половине дома, куда проникнуть, по обычаю, уже не мог никто из посторонних. Тогда явились посланные от майора Ивченко с требованием выдать Салтанету, и когда ханша отказала, то к дому ее приставлен был караул со штыками. Таким образом, как говорит справедливо Волконский,— совершился в полном смысле слова всенародный скандал, возмутительный и при том вовсе ненужный для русского правительства.

Крайне возмущенный поступком Корганова, Розен жаловался на него Эмануэлю и начальнику штаба — Жуковскому. Последнему он писал: “Поступки Корганова доказывают, что он уже знает о тех жалобах, которые на него поступили и желает непременно произвести в Дагестане возмущение, дабы сим закрыть свои поступки и выставить дагестанских владельцев непреданными нашему правительству... Арест Абу-Мусселима неминуемо произведет в Дагестане возмущение. Какое доверие теперь может иметь народ койсубулинский к нашему правительству, когда, после заключения с ним условий и присяги на подданство, Абу-Мусселим, через коего они покорились и у которого находятся их аманаты, арестован и посажен в крепость?”... Розен ставил вопрос прямо, что если вновь потребуется покорение койсубулинцев, то обойтись без военных действий будет уже нельзя, “ибо, лишившись в народе доверия, я не могу быть в сем случае более полезным”.

Командующему войсками в Дагестане Розен сообщил, что находит Мищенко наиболее виновным в неправильном аресте Абу-Мусселима и полагал удалить его от командования

отрядом, назначив на место его генерал-майора Ка-ханова, которому предписал “стараться лаской вновь снискать потерянное доверие горцев”.

Опасения Розена не замедлили сбыться. Койсубулинцы разорвали заключенный с нами мирный договор; аманаты их, находившиеся у Абу-Мусселима, бежали обратно в Унцукуль и Гимры. Мищенко потребовал от койсубулинцев выдачи бежавших, а сам между тем задержал их стада и пленных. Койсубулинцы заволновались; в Унцукуле собрался народный джегат, и было решено, что если русские не освободят Абу-Мусселима и не уйдут из шамхальства, то аманатов ид не давать и “вредить всячески”. К генералу Краббе они писали, что аманаты, выданные через Абу-Мусселима, если и будут возвращены, то только тогда, когда сам Абу-Мусселим их потребует.

С Мищенко они церемонились еще менее, выражаясь напрямик, что “так не поступают храбрые воины”. Словом, все, что с таким трудом было достигнуто Розеном, теперь окончательно рушилось. Койсубулинцы прервали с нами всякие сношения; акушинцы также были недовольны, ссылаясь на то, что Абу-Мусселим столько же полезен был русским, сколько необходим Дагестану; ханша Паху-Бике послала сказать койсубулинцам, что если дочь ее не будет освобождена, то она со всеми силами аварского народа присоединится к ним для действия против русских.

Эмануэля и Розена она укоряла в несоблюдении условий и писала к ним дерзкие письма. Первому она замечает не без иронии: “Клянемся Богом, творцом священной Каабы, что мы не понимаем сих гнусных поступков; мы удивляемся и думаем, что арест сей есть не воздание ли за многие наши услуги или за то, что мы не дали помощь народу койсубулинскому. Такого рода поступки не только не слышны в законах русского государя, но даже неприличны августейшему его престолу”.

Эмануэлю и Розену пришлось молчать, и даже на дерзости отвечать любезностями, так как ни тот, ни другой все-таки не решались освободить Абу-Мусселима без разрешения на то главнокомандующего.

Между тем, несмотря на целый ряд неблагоприятных для нас обстоятельств, порожденных в Дагестане арестом Абу-Мусселима, открытого взрыва пока не последовало. Но если этого не случилось, то мы обязаны были этим только ханше Паху-Бике, которая все еще не решалась открыто разорвать с нами связи. Это ли обстоятельство или давление, оказанное самим Абу-Мусселимом, с замечательной сдержанностью и терпением переносившим свое нежданное несчастье, только койсубулинцы выдали обратно аманатов. Но зато не только койсубулинцы, но даже весь даргинский народ, преданность которого доселе не подлежала сомнению, постановили на народных собраниях не верить более русским и силой оружия противодействовать движению их в горы, то есть распространению их власти.

Таковы были результаты ареста Абу-Мусселима. И ни Розен, ни Эмануэль, вполне сознававшие серьезные последствия этого ареста, не решались самолично отменить распоряжение Корганова. Майор Корганов на деле оказывался сильнее и полновластнее, чем генералы Эмануэль и Розен, занимавшие столь важные посты. И в этом все убедились, когда Паскевич возвратился из Петербурга.

Фельдмаршал приехал уже подготовленный письмами Корганова, а Корганов писал ему, что ханша Паху-Бике секретно сноится со всеми горскими народами, вызывая их на враждебные действия против русских, что Сулейман-паша, вступив в управление шамхальством, делает такие распоряжения, которые заставляют следить за его

благонадежностью, что андреевский пристав есаул Филатов, человек, заметим между прочим, своей грудью заслонивший Грекова и Лисаневича во время известной герзель-аульской катастрофы, интригует будто бы против нашего правительства, подобно тому, как интриговал Малахов в прошлую персидскую войну, и так далее, и тому подобное. Паскевич оправдал все действия Корганова. Он даже писал военному министру, обвиняя во всем Абу-Мусселима, и, чтобы оправдать своего любимца, явно уклонялся от истины и справедливости. Словом, пользуясь своим полномочием, Паскевич выгородил окончательно Корганова и все распоряжения его принял на себя. Самые хлопоты Абу-Мусселима о покорности койсубулинцев были приписаны им только честолюбивым стремлением получить звание койсубулинского хана, и что для этого он даже будто бы вновь вошел в сношения с Кази-муллой (чего никогда не было). “Получив достоверное известие через майора Корганова об этой новой измене,— доносил Паскевич,— я приказал арестовать Абу-Мусселима с главными сообщниками и содержать в крепости Бурной”. (На деле, как мы видели, это было не так, и самое предписание об аресте дано было при иных обстоятельствах и по иным мотивам). Но тем не менее Паскевич, прося довести обо всем этом до сведения государя, прибавлял, что “будет держать Абу-Мусселима под арестом впредь до совершенного покорения дагестанских горцев”. Что же касается Салтанеты, то она была им освобождена, с правом жить, где пожелает.

Борьбу с майором Коргановым осмелился поднять только старый генерал-лейтенант князь Эристов, знаменитый покоритель Тавриза, когда прибыл в Шуру двадцать восьмого июля к отряду Мищенко для командования войсками в шамхальстве. Эристову сразу бросился в глаза тот ненормальный порядок дел, который завелся в Дагестане благодаря вмешательству Корганова,— и столкновение не замедлило. Гнев старика Эристова прежде всего оборвался на молодом Корганове, который поспешил сообщить ему, что “якобы уполномочен рассылать повсюду лазутчиков, сноситься непосредственно с бароном Розеном, вникать во все дела шамхальства, держать владетельных особ в той готовности к службе государю, в какой они были доселе”, и так далее. Князь Эристов ужаснулся такому полномочию и дал знать Корганову, что не может допустить его ни к какому распоряжению. “Странно,— писал он ему,— что вам поручено о происшествиях здешнего края доносить генерал-лейтенанту барону Розену для местного соображения, тогда как войска, находящиеся в Дагестане, не подчинены его превосходительству, да и соображений вы никаких ему не в силах делать: в сем состояла обязанность командовавшего отрядом полковника Мищенко. Порученность, сделанная вам, превышает силы ваши, и ни место, ни чин не позволяют делать вам подобные доверенности”...

Быть может, старому Эристову, при его прямотушии и смелости характера, удалось бы наконец обуздать самовольство братьев Коргановых, по крайней мере поставить их в должные рамки, но через несколько дней Эристов был отозван в Тифлис, и Коргановы, оставшись при всех своих правах, еще целый месяц наводили ужас на Дагестан своими доносами. Двое владетелей, Ахмет-хан мехтулинский и Ибрагим-бек корчагский,— оба сражавшиеся в рядах наших войск под знаменами Паскевича в Персии и Турции, потеряли наконец терпение и подали жалобы “на его мошенничества”. Но на этот раз Розен поспешил оправдать Корганова,— так велика была сила временщика и известно пристрастие к нему Паскевича. Однако Паскевич признал более благоразумным отозвать наконец Корганова из Дагестана, но при этом он послал его на левый фланг Кавказской линии в распоряжение барона Розена, предупредительно вызвавшегося покровительствовать его любимцу.

Только отъезд Паскевича с Кавказа развязал всем руки и дал возможность восстановить истину и в настоящем свете выставить все поступки и действия Корганова. Генерал-майор князь. Бекович-Черкасский, временно командовавший войсками в Дагестане, первый

решил довести обо всем случившемся до сведения государя, и по высочайшему повелению назначено было наконец следствие. Оно то и выяснило прежде всего, что “богатство шамхала убедило Корганова обвинить Абу-Мусселима перед начальством”; было дознано также, что Сулейман-паша, желая избавиться от своего совместника в самую горячую минуту, подкупил Корганова и что арест Абу-Мусселима стоил ему не особенно дорого — всего только тысячи червонцев и кареты, которая почему-то особенно полубилась Корганову. Впрочем, с этой каретой произошел тоже своего рода скандал, так как Сулейман-паша, с чисто восточной наивностью, жаловался потом, что Корганов его обманул, ибо в обмен на его шамхальскую карету обещал дать свою, а прислал такую старую, что ее только и можно было, что подарить кизлярскому армянину.

Не все, однако, поступки Корганова были обнаружены формальным следствием; да его и нельзя было вести как должно на земле, не подчиненной русским законам, но и то, что было открыто, рисует перед нами полную картину разврата, хищничества и открытой измены русскому делу. Донося об этом для всеподданейшего доклада, преемник Паскевича, генерал-адъютант Розен, писал: “Корганов заслуживает примерного наказания, а потому я полагал бы удалить его вовсе от всякого рода службы и не делать ему впредь никакого доверия и поручения, и притом не позволять ему никогда возвращаться на Кавказ, где он может быть всегда вреден хитрыми своими происками”.

Так окончилась деятельность Корганова в Дагестане.

Кстати заметить, что еще с возвращением Паскевича из Петербурга, первого августа 1830 года, последовал целый ряд перемен в начальствующих лицах. Генерал-майор Краббе был отстранен от должности и, покинув Кавказ, уехал в Полтавскую губернию; на место его в Дагестан назначен был генерал-майор Каханов, командовавший до этого времени бригадой и четырнадцатой дивизии. Полковник Мищенко также отстранен был от службы, а командиром Апшеронского полка назначен полковник Остроухов. Но поводом для смещения Краббе и Мищенко послужили не современные обстоятельства, а беспорядки, относившиеся еще к Ермоловской эпохе.

В смутное время, когда вторжение персиян в наши пределы вызвало измену и возмущение жителей, Ермолов признал необходимым дать полномочие, как Краббе, так Мищенко, наказывать виновных смертью. Оба они широко воспользовались своим полномочием и в период начала персидской войны было казнено ими шестьдесят шесть человек: пятнадцать заколоты штыками, шесть засечены насмерть и сорок пять повешено. Сенаторская ревизия, производившаяся в крае, по желанию Паскевича пришла к убеждению, что над осужденными не было производимо ни суда, ни следствия и что поэтому очень может быть, не все из них достойны были казни. К этому прибавились еще обвинения в расхищении имущества казненных, на которое по местным обычаям имела право казна, но которого домогались ближайшие родственники осужденных, признавая приговоры над ними несправедливыми. На показаниях этих-то родственников, поголовно участвовавших в том возмущении, за которое поплатились казненные, сенаторы основали свои заключения, едва ли правильно уже потому, что оба сенатора были людьми гражданского склада понятий, не были знакомы ни с местными адатами властей края, права которых мы наследовали, ни с обычаями народа, ни с тем отчаянным положением, в которое измена ставила в те времена наши малочисленные войска на Кавказе. Но так или иначе,— а Краббе и Мищенко, оба боевые и лично дельные офицеры, созданные еще ермоловской школой, были преданы суду и удалены с Кавказа. Затем барон Розен, сдавший четырнадцатую дивизию генерал-лейтенанту Вельяминову (другу и сподвижнику Ермолова), был перемещен на должность командующего войсками в Джаро-Белоканской области и принял двадцать первую дивизию от князя Эристова, который в

свою очередь назначен был сенатором. Начальство над правым флангом Кавказской линии и двадцать второй дивизией получил генерал-майор Фролов, вместо Мерлини, зачисленного по армии, а гренадерскую бригаду, которой командовал Фролов, получил генерал-майор Гессе — известный сподвижник Паскевича в турецком походе.

С назначением новых начальствующих лиц кавказская война, и особенно дела в Дагестане вступают в новый фазис своего развития.

В краткий период вышеописанных событий Кази-мулла проживал в своей сакле почти затворником,— он ждал, пока брожение, им начатое, коснется каждого горца и охватит все население единством политическо-религиозных стремлений.

До мюридизма половина горцев была, как ныне дознано специальными исследованиями, плохими мусульманами. В жизни дагестанца свой, унаследованный от предков, адат более значил, чем шариат. Между тем адат как закон неписанный, бытовой и притом чаще всего разнообразный, по народности каждого дагестанского общества, не исключал возможности сближения с нами, потому что нередко был изменяем по приговорам обществ, тогда как шариат как учение, стройно организованное в писанных установлениях, подводило всех мусульман под одни и те же начала, чуждые иноплеменному и иноверному владычеству.

Таким образом мюридизм, призывая мусульман к строгому следованию шариата, тем самым с каждым днем все более и более отодвигал их от нас и способствовал развитию религиозных увлечений, совершенно подобных таким же экстазам, какими охватывались и сами христианские общества перед крестовыми походами. Тихо и незаметно шла его работа, сеть прядлась невидимо для глаза, но все теснее и крепче запутывала горцев в своих тенетах.

Если что и останавливало еще быстрое течение начатой пропаганды,— то это страшная холера, распространившаяся по целому краю, но в конце концов и это бедствие было истолковано не в нашу пользу. Холера показалась в Каракайтаге. Первой ее жертвой был донской сотник Левин; он ехал в отпуск на Дон, заболел дорогой и умер двадцать девятого марта на почтовой станции; тридцатого числа в Дербенте умер армянин, и в то же время дали знать, что выехавший из города персиянин с товарищем,— также оба умерли скоропостижно. С наступлением летней жары холера не только распространилась по шамхальской плоскости, но охватила горы и навела такую панику на койсубулинцев, что большая часть их, покинув аулы, забились в горные тущобы, прекратив всякое сообщение с плоскостью и никого не допуская к себе.

В Тарках она свирепствовала со значительной силой — четвертая часть жителей была поражена эпидемией, и ежедневно умирало до десяти человек. Гарнизон крепости Бурной, находившийся недалеко от Тарков, подвергся также болезни, и из двух рот Апшеронского полка лежало в лазарете сто двадцать человек, и не проходило дня без смертного случая. Присланы были медики, но несмотря на все принятые ими меры — в то время еще не вполне изученные, борьба с болезнью шла безуспешно, и она продолжала свирепствовать еще долгое время, пока сама природа не избавила край от этого грозного бича, распространявшего повсюду смерть и наполнявшего сердца ужасом.

Кази-мулла, однако, не дремал и незримо для наших властей не упустил воспользоваться складывавшимися для него столь благоприятно, с одной стороны, такими нашими действиями, как посылкой Корганова в Дагестан и арестом Абу-Мусселима, а с другой — холерой как выражением гнева Божьего за грехи правоверных. Словом, все это было для

Кази-муллы самым удобным материалом для возбуждения против нас местного населения, а случайная скученность последнего в горах представляла удобства для его зажигательных проповедей, не требуя особых сборов или сходок народа, и притом уже вовсе вдали от нашего надзора.

Кази-мулла весьма удачно воспользовался для своих целей также и удалением из-под Гимр русских войск, не разоривших во время последней экспедиции ни одного селения. Он указывал на это как на видимую руку Провидения и объяснил народу, что Бог, покровительствующий правому учению, возвещаемому народам его устами, ослепил врага и не допустил его спуститься в беззащитные Гимры. “Если мы видим такую явную помощь свыше,— говорил он,— то нам ли бояться славы русского оружия!”

В результате всего происходившего — койсубулинцы, акушинцы, аварцы, даже шамхальцы и мехтулинцы нас ненавидели. Имя Абу-Мусселима, все еще сидевшего в крепости, было на устах всех и выставлялось всеми, как образец бесправия, которого каждый мог ожидать от русских.

К этому же времени Казирмулла имел уже приверженцев и последователей в среде вольных демократических обществ Дагестана и даже успел склонить на свою сторону и таких выдающихся личностей, какими являлись в понятиях народа Гамзат-бек, Али-султан, старшина унцукульский и Улу-бей, владелец эрпелинский, из которых последний стоил сотни других людей. Это был доселе также один из самых преданнейших нам дагестанских владельцев, услуги которого в то время мы оценить не умели. Интриги и козни вооружили против него шамхала, который лишил его владений, и оскорбленный Улу-бей передался имаму. Так как шамхал пользовался, естественно, покровительством русских властей, то и все поступки его, неблагоприятные горцам, записывались ими на наш счет.

Влияние Кази-муллы росло с каждым днем, и число его последователей увеличивалось. Он это чувствовал и наконец решился прямо, с тем пламенным красноречием, которое так обаятельно действовало на массы, развить перед вполне подготовленными уже слушателями свой гигантский замысел — идти на Тарки, сокрушить сперва могущество шамхалов как изменников мусульманства, потом аристократию, также искони нам верную, и затем, привлекая к себе вольных чеченцев, освободить с ними всех мусульман из-под ига гяуров. Он внушал койсубулинцам мысль, что они призваны быть первым и главным орудием освобождения и торжества ислама и что им как шегидам (избранным) будет принадлежать и первое место в раю, и лучшая добыча на земле.

Умы койсубулинцев заколебались, и имам приобрел в лице их самых рьяных последователей своего учения. Сам Кази-мулла разом вырос в глазах дагестанцев — и на него все стали смотреть уже как на избранника Божьего. Появились рассказы о разного рода случаях, в которых Кази-мулла являлся окруженный ореолом сверхъестественных свойств. Так, в шамхальстве ходили слухи, что будто бы некоторые видели на небе всадников, мчавшихся на белых конях, бряцавших оружием и голосом, подобным раскату грома, призывавших Кази-муллу; рассказывали также, что будто бы имам расстилает бурку для вечернего намаза на бешеных волнах Койсу и, недвижимый водой, совершает молитвы. Русское начальство считало унижительным для себя нисходить до разъяснения этих нелепых слухов и не хотело придавать им того значения, которое они, между тем, имели в действительности, фанатизируя возбужденные массы народа.

К концу 1830 года настроение умов в Дагестане было уже настолько враждебно нам, что, казалось, достаточно было одной малейшей искры, чтобы край был объят пожаром, и,

кажется, только лишь зимняя стужа и бескормица для коней сдерживали еще взрыв уже вполне готового восстания.

XIV. ПЕРВОЕ ВОЗМУЩЕНИЕ ДЖАРЦЕВ

Мы покинули джарцев в тот роковой для них момент, когда 26 февраля 1830 года русский отряд вступил в Закаталы и Паскевич объявил Джаро-Белоканскую область на вечные времена присоединенной к русским владениям.

Первой заботой фельдмаршала было введение во вновь присоединенной области прочной администрации, в голове которой стал известный генерал князь Бекович-Черкасский. Перед новым начальником легла широкая и трудная задача умиротворить край, населенный свободным народом, не знавшим до сего другого закона, кроме силы и оружия, исполненного ненавистью к своим завоевателям. Никогда суждение о джарцах не будет правильным, если мы не будем принимать во внимание, что такое по существу сами джарцы.

Дело в том, что Дагестан, по крайней мере, еще во время арабов, явившихся на Кавказ в VII столетии, переполнился народом, и его поля, обрабатываемые с таким настойчивым трудом; не могли уже обеспечивать своими урожаями и половины его населения. Отсюда происходило вечное брожение в народе и исконные набеги его на окрестные страны с единственной целью пополнения своих дефицитов. Общее сознание неминуемости подобного положения страны до такой степени сознавалось еще в древности, что, например, дагестанское племя маскутов, жившее к югу от Дербента, на приглашение в IV веке армянских проповедников принять религию Христа, учащую никого не разорять, не грабить и ничего не красть, а трудиться руками, отвечало: “Это лукавство армянского царя, чтобы препятствовать нам опустошать Армению; чем же нам жить, если мы не станем грабить?”

По этой причине становится понятным, почему другая религия, мусульманство, основанная на силе меча и этим самым узаконивающая уже периодические набеги на соседей, особенно иноверцев, так по душе пришлась всем дагестанцам. Вскоре по принятии ислама и при ослаблении соседней Грузии лезгины перевалили через главный Кавказский хребет и заняли пространство от хребта вплоть до Алазани — то есть всю местность бывшей Джаро-Белоканской области. Этим они раз и навсегда овладели выходами из Дагестана в Закавказье, в которое и начались их бесконечные и чаще всего безнаказанные набеги. Значит, джарцы в буквальном смысле стали колонией дагестанцев, и колонией передовой, игравшей по отношению к своей метрополии ту же роль, как наше казачество по отношению к России. Как колония джарцы имели свои корни в самом Дагестане и туда каждый раз обращались за помощью в случае нападения извне. И такой взгляд на самих себя не изменялся, да и не мог измениться в понятиях джарцев до тех пор, пока сам Дагестан не пал окончательно перед нашим оружием. Затишье, наступившее в покоренных Джарах, не вселяло доверия, и князь Бекович как опытный, осторожный генерал, держал свой отряд сосредоточенным. Войска располагались лагерем в Закаталах, возле строящейся крепости, и только две роты были отделены: одна в Белоканы, другая — для охраны угалинской переправы.

Лично находясь в Закаталах, князь послал в Белоканы для наблюдения за их разбойничьим населением русского пристава, войскового старшину Мещерякова, и имел намерение сделать то же самое по отношению к другим вольным лезгинским обществам, лежавшим за главным хребтом — Анцух, Анкратль и Капучи, от которых ожидал аманатов.

Но в то самое время, как Бекович старался распространить наше влияние на общества нагорного Дагестана, та же самая цель занимала и Кази-муллу, ясно видевшего необходимость удержать эти общества от выдачи нам аманатов и тем сохранить в своих руках выходы в Закавказье. И вот в Дагестане койсубулинский вопрос был в самом разгаре, в Анкратле появился некто Ших-Шабан, один из самых рьяных последователей имама. Шабан, сам уроженец деревни Канады, лежавшей поблизости Анкратля, пользовался среди своих земляков славой ученого человека, и потому принят был с восторгом. Красноречивый проповедник, он с большим успехом повел дело пропаганды и в самое короткое время укрепил в глуходарах семена мюридизма. Анкратльцы первые отказали нам в повиновении, а к ним скоро присоединились и другие общества. Мало того, волнение проникло даже в самые Джары, где почва для того оказывалась вполне подготовленной. Старики говорят, что причиной этого были отчасти и сами русские, позволявшие себе бесцеремонное обращение с женщинами, а еще более грузины, имевшие с лезгинами свои давнишние счеты. Многие кахетинцы, пользуясь пребыванием наших войск за Алазанью, тайком прокрадывались в лезгинские деревни и вымещали на них старые обиды. Для прекращения подобных случаев Бекович учредил конные отряды по берегу Алазани, а к лодкам и паромам приставил караулы; но зло прекратить было трудно, так как многие жители Сигнахского уезда имели свое хлебопашество и скотоводство за Алазанью, а под этим предлогом переправлялись и те, у кого не было там никакого хозяйства. При таких условиях джарцам не легко было забыть свою прежнюю независимость, когда они, вольные, никем не стесняемые наводили страх на соседнюю Кахетию. Вот почему народ бросался жадно на каждый слух, дававший ему какую-нибудь надежду на избавление, и почему появление Шабана в соседнем Анкратле отразилось движением и среди джарского общества. Стали говорить, что Ших-Шабан приглашает всех присоединиться к святому делу освобождения отчизны и быть в готовности по первому зову стать под его знамена. Одно обстоятельство самым непредвиденным образом помогло Шабану в исполнении его задачи относительно джарцев. Однажды, когда джарский кадий заседал на совете старшин, вошел неизвестный глуходар и подал ему бумагу. Оказалась прокламация Шабана. Растерявшийся кадий собрал народ и, прочитав перед ними то, что писал Шабан, разорвал прокламацию на куски и истоптал ее ногами. Но народ уже знал ее содержание, разнес ее по своим домам, и, таким образом, опрометчивый кадий сам сделался проводником ее в населении. Джарскую молодежь охватила лихорадочная деятельность, и если порядок еще не был нарушен явно, то только потому, что нашлось несколько благоразумных и опытных старшин, которые употребили все силы, чтобы не допустить явного разрыва с русскими. А между тем Шабан, исполнив возложенное на него поручение, поехал обратно в Гимры, предупредив глуходар, что возвратится к ним перед праздником Курбан-байрам, приходившимся на двадцать пятое мая.

Известие о появлении в Анкратле нового фанатика, старавшегося зажечь возмущение в только что успокоенной области, заставило князя Бековича разузнать обстоятельнее о положении делу, и в Анкратль отправлен был белоканский старшина Мамед-Муртазали-оглы вместе с прапорщиком Сосия Андронниковым. Они уже не застали Шабана, и, может быть только поэтому глуходары приняли их радушно, обещая даже со временем выдать аманатов. Но едва они уехали, вернулся Шабан, и весь народ опять перешел на его сторону.

Как раз в это время Паскевич выезжал в Петербург и, озабоченный делами в Дагестане, послал туда князя Бековича, а управление джарской областью поручил генерал-майору войска донского Сергееву, одному из своих сподвижников по турецкой кампании.

Сергеев приехал в Джары двадцать седьмого мая, и первое, что его поразило,— это отсутствие в стране какого-нибудь укрепленного пункта на случай борьбы с восставшим населением. Крепость, о которой так хлопотал Паскевич, еще была в зародыше, а об устройстве кордонной линии даже не помышляли совсем. Между тем настроение жителей и отношение их к нам мало предвещали доброго. Как новый человек в крае Сергеев не мог уследить за всеми нитями развивавшегося заговора, но видел зловещие признаки его, выражавшиеся и в повсеместных сходках народа, и в отдельных случаях неповиновения русским властям, и в начинающихся разбоях.

Едва он прибыл в Белоканы, как пришло известие, что какая-то шайка, появившаяся вблизи Кварели, захватила пастуха, перешедшего со своим стадом черту пограничных постов, зарезала его и труп бросила в поле; потом под теми же Кварелями нашли другого грузина, убитого в саду; в Чеканах пропал без вести мальчик, в Бахриане угнали скот, и, наконец, под самыми Катехами лезгины сорвали обывательский пост, из которого только один человек успел бежать, чтобы доставить об этом сведения.

В Белоканах уже знали о громадных сборах в горах, делаемых Шабаном, а потому Сергеев поспешил вернуться в Закаталы, чтобы сделать распоряжение по обороне области. Гарнизон в Белоканах был усилен еще одной ротой, под начальством майора Бучкиева, который предпочел, однако, расположить свой отряд не в самой деревне, а в стороне от нее, в наскоро устроенном редуте, представлявшем собой, хотя маленькое и тесное, но, по своему положению у выхода из гор, весьма важное укрепление.

Бучкиев был еще на походе, как к Сергееву приехал белоканский старшина Муртазали с известием, что Шабан появился в Джурмуте и назначил деревню Рог-но-ор, находившуюся верстах в тридцати от Белокан, сборным пунктом для своего скопища. Дальнейшее намерения Шабана пока еще не выяснились. Дорога от Рог-но-ор разделяется: одна идет на Белоканы, другая на Кахети, третья в Закаталы, а потому трудно было решить, по какому из трех путей направится скопище Шабана. Еще не кончил свой рассказ старшина, как прискакал гонец от белоканского пристава Мещерякова; тот писал, что горцы уже в Рог-но-оре, что белоканцы волнуются, а джарцы намерены занять мугалинскую переправу и отрезать сообщение с Грузией.

Приближалась критическая минута. Теперь уже не оставалось сомнения в измене джарцев, и надо было немедленно принимать меры, чтобы неприятель не застал нас врасплох. Белоканы как передовой пункт были поспешно усилены еще одной ротой Ширванского полка; переправа у Муганлы также занята достаточно сильным отрядом, а в Закаталы потребовали из Царских Колодцев два дивизиона нижегородских драгун.

К двенадцатому июня все войска были уже на своих местах, и в тот же день, верстах в пятнадцати от Белокан, показались первые неприятельские разъезды.

Если бы Сергееву пришла мысль со всеми силами броситься на Рог-но-ор и внезапным ударом разгромить скопище, прежде чем оно окончательно приготовилось к действиям,— не было бы никакого восстания и в Джаро-Белоканской области. Так действовали сподвижники Цицианова: Котляревские, Карягины, Небольсины, Портнягины, Несветаевы, Гуляковы и другие — герои первой легендарной борьбы нашей с Персией; так действовал отчасти и сам Сергеев в Турции, не раз громивший многочисленные партии курдов и турок. Но замечательно, что боевые генералы, с безоглядной отвагой ходившие на турок, теряли голову и пасовали перед горцами. Правда, в тылу у них стояло вооруженное население, но то же самое не раз случалось и в Турции, а главное, надо было понять, что население это, видимо колебавшееся, еще выжидало, на чьей стороне будет

перевес, и не сразу решалось кинуться в омут восстания. Мысль об этом приходила в голову и Сергееву, даже делались распоряжения к внезапному ночному движению против Шабана; но вслед за этим приказания отменялись,— Сергееву казалось опасным идти через густые леса, и он предпочитал выжидать нападения на плоскости.

Такая нерешительность, чутко подмеченная жителями, ободряла дух населения, и первыми явно отложились от нас катехцы и белоканцы. На приказание выслать разъезды в сторону неприятеля даже преданный нам белоканский старшина Муртазали отвечал с удивлением, что “неприятель идет не на них, а на русских”. Катехцы поступили еще чистосердечнее. Когда Сергеев послал им приказание защищать деревню, катехский старшина Ибрагим-Цодор-оглы отвечал, что жители примут Шабана с хлебом и солью, потому что бессильны оказать ему противодействие. Ответ был вполне естественен. Если Сергеев считал опасным движение против Шабана с такими силами, которые Паскевич признавал достаточными для разгрома турецких армий, то что же могло сделать одно ничтожное селение?

Семнадцатого июня произошло первое столкновение с неприятелем, окончившееся для нас весьма неудачно. Посланный Сергеевым в Катехи конный разъезд наткнулся в двух верстах от этого селения на двести человек глуходар и был захвачен в плен. К ночи того же дня часть неприятельских сил заняла высоты над самыми Белоканами, и отряд Бучкиева увидел целые линии костров, венчавших собой вершины соседних гор. Прошло два дня, но ни с нашей, ни с неприятельской стороны, не было предпринято ничего решительного.

Девятнадцатого числа главные силы Шабана спустились с гор и, оставляя в стороне белоканский редут, потянулись к Катехам. Навстречу к ним Сергеев послал подполковника Платонова с казачьим полком и частью милиции, а дивизиону нижегородских драгун приказал расположиться в резерве. Платонов занял Катехи и даже двинулся дальше; но едва головная конница его втянулась в ущелье, как была встречена сильным перекрестным огнем, не устояла и в беспорядке ускакала назад. Эта новая неудача отразилась тем, что жители, собранные с подводами у Новых Закатал, все разбежались и постройка крепости остановилась.

Неудачные действия нашей кавалерии могли подорвать в населении доверие к силе русского оружия и поднять дух неприятеля. Поэтому двадцать первого числа Сергеев задумал со всем отрядом предпринять решительное наступление к Катехам, куда приказано было идти и майору Бучкиеву, оставив в белоканском редуте только одну роту. Наступление это остановилось опять самым неожиданным образом. В ночь на двадцать первое число к Сергееву явился джермутский старшина Дебир-Магома с письмом от самого Шабана, который выражал желание перейти на русскую сторону и вступить в наше подданство, если ему дадут приличное содержание. Такого неожиданного оборота дел никто не ожидал. Сергеев щедро одарил старшину и послал сказать Шабану, что готов ходатайствовать за него у фельдмаршала, если он обещает быть верным и усердным слугой. Мало того, сам Сергеев обещал на другой день приехать в Катехи, чтобы увидеться с Шабаном в ущелье Кифисдара и лично выслушать его желания.

Только впоследствии выяснилось уже, что вся эта комедия была разыграна Шабаном только для того, чтобы задержать Сергеева в Закаталах. Дело в том, что предписание, посланное Бучкиеву о выступлении в Катехи, было перехвачено горцами, и Шабан сообразил, что если Бучкиева захватить в лесах, то из русского отряда не спасется ни одного человека. Но для этого нужно было парализовать действия закательского отряда. И вот в то время, когда Дебир-Магома расточал перед русским начальником перлы своего

красноречия, Шабан в пламенной речи, обращенной к лезгинам, говорил о том паническом страхе, который должны почувствовать русские при виде победных знамен исламизма, и что Аллах в справедливом гневе ослепит гяуров, дерзнувших в безумной гордости воевать с самим хункаром. Оставив, таким образом, Сергеева в полнейшем заблуждении насчет своих мирных намерений, Шабан ночью бросился со всеми своими силами на белоканскую дорогу. В лесу, однако же, русского отряда не оказалось. К счастью для Бучкиева, он вовремя получил вторичное приказание, отменявшее движение, и рассвет двадцать первого июня застал его еще в Белоканах. Эта неудавшаяся попытка побудила Шабана, не откладывая, напасть на самые Белоканы.

Утром двадцать первого июня стоявшие в редуте заметили, что с гор спускаются густые массы лезгин. Дали об этом знать Бучкиеву. Бучкиев, как уроженец Кахетии отлично знал дух азиатских народов и приказал своим ротам молча, без тревоги стать в ружье и спокойно выжидать приближение неприятеля. В эти минуты шесть тысяч лезгин развернулись перед белоканским редутом. Впереди всех, с зеленым знаменем в руках, на белом коне и весь в белой одежде ехал Шабан. Тишина в редуте обманула его. Он гордо обернулся назад и сказал: “Смотрите, пророчество мое начинает сбываться”. Унылая песня мюридов огласила окрестность; за ней последовал отчаянный гик тысячи голосов — и вся масса, во главе со своим предводителем, ринулась на укрепление. Шабан, со знаменем в руках, первый подскочил ко рву и, спрыгнув с коня, с размаху воткнул свое знамя в землю. Моментально зареяли вокруг него и все остальные знамена. Тогда, по знаку Бучкиева, с редута загремела бешеная пальба, и укрепление потонуло в густых клубах дыма. Тысячи глуходар, пораженные внезапностью, повернули назад; другие кинулись на вал, но, встреченные штыками и прикладами, были сбиты и сброшены в ров. Не смея теперь бежать по открытому полю, они засели в густое просо и, дождавшись ночи, уже ползком и поодиночке, выбрались из-под наших выстрелов. Отбитое с большим уроном, скопище остановилось, однако же, в виду укрепления. Всю ночь слышался скрип бесчисленных арб, тянувшихся в неприятельский стан, и в редуте догадывались, что это жители свозили бревна, хворост и камни — все, что было необходимо для укрепления лагеря и осады редута. Было уже за полночь, когда лезгины, обратив арбы в подвижные мантелеты, стали под их прикрытием приближаться к редуту. Несколько раз кидались они на штурм и каждый раз, встречая отпор, обращались назад. Между тем начался рассвет. И вдруг, как громовой удару грохнул и раскатился по горам далекий пушечный выстрел — для всех стало ясно, что из Закатал идет сильная помощь...

Приготовляясь ехать в Катехи на свидание с Шабаном, Сергеев с вечера приказал приготовить к походу две роты Ширванского полка, дивизион драгун, сотню казаков и три орудия. На следующий день, когда ожидали письма от Шабана, прискакал испуганный грузин с известием, что Шабан со всеми силами кинулся на Белоканы. Сергеев был поражен, но не озадачен: войска уже были готовы, и только вместо Катех он форсированным маршем повел их к Белоканам. Пошли без привалов. Неизвестность, что случилось с нашим малочисленным гарнизоном, жутким чувством охватывала всех, от генерала до последнего солдата. Все сознавали, что надо торопиться; а тут, как нарочно, пошел проливной дождь, окрестность потонула в глубоком мраке, реки вышли из берегов и по дорогам образовалась такая грязь, что отряд мог подвигаться вперед только ощупью. Чтобы ободрить гарнизон, Сергеев на рассвете приказал сделать пушечный выстрел, и этот-то выстрел, гулко прокатившийся по горам, принес осажденным весть о близком спасении. Когда отряд Сергеева поднялся на последнюю высоту, перед ним развернулась вся белоканская равнина: безмолвно и мрачно стоял опустевший, покинутый своим населением, аул Белоканы; в стороне от него виднелся редут, еще закутанный весь облаками дыма, и во все стороны беспорядочными толпами бежали от него лезгины. Громким “ура” разрешилось то напряженное, томительное состояние духа, которое так

долго сдавливало грудь и туманило голову. Драгуны и казаки тотчас понеслись в погоню за бежавшими; за ними двинулась рота егерей — и преследование продолжалось двенадцать верст, пока неприятель не скрылся в горных ущельях.

Защита белоканского редута составляет один из доблестнейших подвигов кавказских войск. Сергеев свидетельствовал, что находившиеся в этом деле две роты Ширванского и рота сорок первого егерского полков в течение двенадцати часов, не сходя с валов, дрались с невероятным присутствием духа. “При осмотре редута,— пишет он в своем донесении,— я лично удостоверился в доблести гарнизона, так как вся земля против двух фасов, на которые неприятель несколько раз бросался с азартом, вся была покрыта неприятельской кровью, еще дымящеюся”. Подвиг Бучкиева, сумевшего удержать за собой передовой оплот Джаро-Белоканской области, был награжден орденом св. Георгия четвертой степени.

Ших-Шабан слишком поторопился с нападением на Белоканы и тем погубил так успешно было начатое им дело. Выжди он на Рог-но-оре — Гамзат-бек, уже прибывший в Джермут, мог бы без труда задержать наши войска в За-181

каталах, и тогда участь белоканского редута, быть может, и была бы иная. Теперь, напротив, все обстоятельства обратились против горцев. Поражение Шабана так повлияло на впечатлительного Гамзат-бека, что он распустил лезгин и сам уехал в Аварию. Когда Ших-Шабан в сопровождении пяти или шести мюридов прискакал в Джермут, где должен был встретить гоцатлинского бека, то там не застал уже никого.

Бой двадцать первого июня сразу подавил начинавшееся восстание. Джарцы притихли, и Сергеев воспользовался этим, чтобы открыть наконец областное правление, без которого правительственная организация не могла иметь надлежащей устойчивости. Церемонию он постарался обставить наибольшей торжественностью. Двадцать пятого июня, в день рождения императора Николая Павловича, и, следовательно, спустя всего четыре дня после разгрома шабановского скопища, все старшины и масса простого народа наполнили собой и недостроенную крепость, и ее ближайшие окрестности. Две тысячи наших солдат стояли под ружьем, пушки были заряжены. Молебствие совершено было под открытым небом, а затем все направились в дом, приготовленный для областного правления. Там, в обширной зале, стоял аналой и перед ним красовались портреты во весь рост государя, императрицы и графа Паскевича. Среди глубокой тишины на русском и на татарском языках прочтена была речь, в которой излагалась цель и значение для края гражданской администрации. После этого все члены правления, как русские, так и туземцы, были приведены к присяге “на должность” во время которой “для большей торжественности” гремел непрерывный ружейный огонь и пушечные выстрелы. Описывая благоговейное удивление жителей, Сергеев прибавляет наивно, что “умилительный вид русских чиновников располагал сердца лезгин к чувству доселе ими неиспытанному”.

С этой минуты только и начинается фактическое существование Джаро-Белоканской области.

Поражение Шабана не замедлило отразиться в благоприятном смысле для нас и в нагорных дагестанских обществах. Прежде других прибыли с заявлением своего раскаяния старшины из Джермута. Сергеев торжественно объявил им прощение и отправил к ним приставом прапорщика Сосия Андронникова. Получив об этом известие, Паскевич не одобрил действий Сергеева и сделал ему выговор, поставив на вид, что прощать бунтовщиков никто не может, кроме главнокомандующего. Этот выговор поставил Сергеева в такое положение, что когда вслед за джермутцами явились к нему с

изъявлением покорности жители Анцуха и Капучи, то он отклонил их заявление, ссылаясь на то, что не имеет разрешения начальства принимать покорность.

Паскевич опять сделал ему выговор и велел тотчас потребовать аманатов, а в Анцух отправить приставом князя Иосифа Вачнадзе.

Нельзя не сказать, что этой покорностью нагорных обществ мы были обязаны усердию белоканского старшины Мамеда-Муртазали-оглы, ездившего в горы. Постоянная вражда его с джарцами также сослужила нам немалую службу, заставив Муртазали направить всю свою деятельность на раскрытие главных виновников возмущения. Среди них оказалось до десяти почетнейших джарских старшин, и Паскевич приказал предать их военному суду, а аманатов от верхних дагестанских обществ, находившихся в Тифлисе, держать в метехском замке. Усердным хадатаем за тех и других является тот же Сергеев, опасавшийся, чтобы крутые меры не вызвали в крае новых волнений; он просил по крайней мере отложить исполнение приговора фельдмаршала до более благоприятного времени. Паскевич согласился отложить аресты, но только до первого января, причем велел объявить Сергееву, что так как вся область не может выставить более двух тысяч вооруженных людей, а отряд его состоит из трех тысяч солдат, то он не должен ничего опасаться, но, напротив, должен действовать смело и решительно.

Из этого соображения нельзя не видеть, что в данном случае Паскевич смотрел довольно поверхностно и, не признавая джарцев частью самого Дагестана, видел в них нечто совершенно отдельное и независимое от этой страны — ошибка, имевшая, как мы увидим в свое время, серьезные и важные последствия.

XV. ВТОРОЕ ВОЗМУЩЕНИЕ ДЖАРЦЕВ

Июньские события, кончившиеся поражением Шабана под Белоканами, являлись как бы прологом тех смут и волнений, которые еще долгое время нарушали спокойствие Джаро-Белоканской области.

Эта первая попытка хотя и не привела к желанному результату — освобождению от власти русских, тем не менее имела важное значение в глазах народа как пробный камень, показавший ему, какого возмездия он должен ожидать от русских за свою измену. Это возмездие, в видах успокоения жителей, ограничилось, однако, на этот раз только получением от них новых аманатов, и даже главные виновники восстания, вопреки предписанию фельдмаршала, не были арестованы.

Такая снисходительность Сергеева, являясь явной непоследовательностью в ходе общих распоряжений, принесла один только вред. Наружная покорность жителей, которой удовольствовался Сергеев, не могла служить гарантией дальнейшего спокойствия, — и его действительно не было. Глухое брожение шло по целому краю. Начались самые деятельные сношения с дагестанскими соседями, к которым джарцы взывали о помощи. Гонцы то и дело скакали в Канаду, в Джурмут, в Аварию и даже к койсубулинцам. Возбуждение было всеобщее; джарцы волновались сильнее других и даже называли день, назначенный для общего восстания; ожидали только появления дагестанцев.

Сергеев, действительно, вскоре получил известие, что тысячная партия конных лезгин уже стоит на границах Тушетии, под предводительством старого нашего знакомца Бегай. Бегай, впрочем, скоро переменял направление и бросился на кистов, с которыми имел какие-то счеты. Против кистов и их соседей джерахов готовилась экспедиция и с нашей стороны, а потому лишнее поражение их было для нас даже не безвыгодным; но с другой

стороны, присутствие близ наших границ такой многочисленной конной партии могло иметь связь и с новыми затеями дагестанцев.

Как бы в подтверждение этого от Сосия Андронникова пришло известие, что большие толпы лезгин, предводимых Гамзат-беком, идут на Джермут и остановились только в одном переходе: они ждали прибытия аварцев и жителей верхних глуходарских обществ, чтобы ринуться затем на Джаро-Белоканскую область и через нее прорваться в Кахетию.

Быть может, громовой удар и не замедлил бы разразиться над краем, но лезгины занесли с собой холеру, которая быстро разившись, захватила собой такой огромный район и навела такую панику, что горцы поспешно разошлись по домам,— и туча, на этот раз, как быстро собралась, так скоро и рассеялась.

Холера между тем проникла и в Джарскую область и делала свое опустошительное дело. Сильная смертность заставила Сергеева поставить войска на широких квартирах и прекратить крепостные работы. Вот этой-то минутой, когда войска, уменьшенные наполовину, стояли разбросанными по саклям, и решили воспользоваться джарцы. Снова гонцы их понесли в Дагестан, приглашая всех во имя Аллаха дать помощь угнетенным и побежденным единоверцам.

В закатальских мечетях, в домах некоторых старшин и почетных жителей — везде устраивались сходки и толковали о нападении на русских. К счастью для нас, между заговорщиками не было согласия. Одни, опасавшиеся упустить время, советовали ночью напасть на наш ослабленный отряд и вырезать его, не ожидая прихода дагестанцев; другие, напротив, требовали непременно подождать дагестанцев, не уверенные в своих собственных силах. Это дало Сергееву время собрать отряд снова на закатальских высотах, а больных поместить в самой крепости или в балаганах, наскоро огороженных завалами; караулы были усилены, часовые удвоены. Тяжелые минуты переживал отряд, которому день и ночь приходилось быть начеку, в ожидании нечаянного нападения. Но время шло, а никаких проявлений восстания не было,— Сергеев опять мало-помалу стал успокаиваться.

Так прошел август; холера ослабела, хлеба были убраны, а вслед затем начались и тревожные известия. Четырнадцатого августа партия лезгин кинулась на тушинское селение Чиго, но, встреченная ружейным огнем пограничного кордона, повернула назад. Тушинский пристав князь Челобаев, находившийся в пятнадцати верстах от места нападения, бросился наперерез хищникам, но те успели проскакать, и дело ограничилось только ружейной перестрелкой. В другой раз, первого сентября, лезгины напали уже под самыми Лагодехами на батальонного адъютанта Грузинского полка поручика Коханова, который вез с собой большую сумму казенных денег. Ехал он в сопровождении конвоя из местной милиции. Юзбаш селения Боженьян с несколькими грузинами скакал впереди и первый наткнулся на партию. Выдержав залп, грузины бросились в шашки и заставили хищников бежать, покинув на месте схватки восемнадцать бурок и множество хурджинов с провизией. Эти два случая, показавшие ясно, что в Дагестане, на наших границах, держатся шайки и что на глуходарские общества слишком полагаться нельзя, очевидно, служили только прелюдией к дальнейшим кровавым событиям — и они не замедлили. В половине сентября в Закатали разом прискакали два гонца — один из Анцуха от князя Вачнадзе, другой из Джурмута от Сосия Андронникова. Оба они извещали, что тринадцатого числа сам Гамзат-бек, сопровождаемый сотней отборных гоцатлинцев, прибыл в Мукрак и объявил призыв к оружию. Массы конных и пеших людей стали стекаться под его знамена. Встревоженные джурмутцы сами просили Андронникова выехать как можно скорее, не ручаясь за его безопасность. Гамзат-бек действительно

отрядил уже конный отряд захватить русского пристава — и если Андроников успел ускользнуть благополучно, то только потому, что сами джурмутцы, полюбившие добродушного князя, составили ему конвой из трехсот шестидесяти наездников, которые сопровождали его до самых ворот белоканского редута. В Джарии закипела тревога.

Тифлисский военный губернатор генерал-адъютант Стрекалов, командовавший, за отсутствием Паскевича, войсками в Грузии, не рассчитывая уже на Сергеева, сам прискакал в Закаталы, чтобы лично удостовериться в положении дел и принять соответствующие меры. То, что он увидел, должно было наконец убедить его, что гроза недалеко. Как раз в это время случилось происшествие, которое рельефно обрисовало перед ним и настоящее положение вещей и отношения к нам жителей: адъютант Паскевича князь Яссе Андроников, заведовавший кордонной линией, объезжая посты, заночевал около Катех в селении Мацехи; с ним было десять донских казаков и человек шестьдесят конной милиции. Ночью, когда все спало, сто человек лезгин налетело на деревню. Джарский конвой, не сделав ни одного выстрела, бежал — и казаки остались одни: пять из них было убито, остальные вместе с грузинским князем Баратовым, сопровождавшим Андроникова, захвачены в плен; сам князь спасся только благодаря хозяину сакли, который спрятал его на потолке; но все походное имущество его попало в руки неприятеля. Наскоро осмотрев деревню и не найдя Андроникова, лезгины сочли его бежавшим и удалились в горы.

Получив об этом известие, Стрекалов потребовал в Закаталы дивизион нижегородских драгун с двумя орудиями из Царских Колодцев, а между тем сам с ротой ширванцев двинулся в Мацехи. По всей дороге встречались ему вооруженные всадники, которые ехали то поодиночке, то целыми толпами. Проезжая по улицам деревни к дому, где ночевал Андроников, он видел также вооруженных людей, которые, казалось, чего-то поджидали и имели такой подозрительный вид, что при осмотре дома Стрекалов счел нужным приказать своему конвою принять все меры предосторожности. На другой день, во время сбора джемата, те же вооруженные толпы замечены были по всей долине, на которой стоял наш лагерь. Стрекалов заметил старшинам, что если эти люди имели правильное понятие о духе русского правительства, то никогда не явились бы с таким вооружением на призыв начальства. По поводу поступка с Андрониковым было произведено строжайшее следствие, выяснившее, что нападение произошло не без участия жителей, так как катехский старшина Рамазан-Тунуч-Мусалы-оглы в ту же ночь бежал в горы вместе с семейством; оказалось также, что пограничные караулы, содержимые мацехцами, стояли оплошно, а может быть, и с умыслом пропустили партию, и что конвой, сопровождавший Андроникова, бежал без выстрела. Стрекалов приказал арестовать и предать суду не только оплошный караул и конвойных, но и всех тех старшин, которых еще после первого возмущения приказывал арестовать Паскевич и которые до сих пор оставались на свободе.

Усилив отряд Сергеева дивизионом драгун и двумя ротами Грузинского полка, прибывшими из Мухровани, Стрекалов четырнадцатого числа возвратился в Тифлис. Для ограждения Кахетии поставили на ковалевской переправе через Алазань роту ширванцев со взводом артиллерии, а на урдобской — два эскадрона драгун с одним орудием, — под общим начальством командира нижегородского полка подполковника Доброва. На третью переправу, к монастырю Степан-цминде, где в феврале переходил Паскевич, направлен был весь казачий Александрова полк, за которым в резерве стала донская казачья батарея. Если бы всех этих сил оказалось недостаточно, Стрекалов имел в виду сформировать еще особый отряд и самому привести его на помощь к Сергееву.

События между тем шли вперед чрезвычайно быстро. Пятнадцатого сентября передовые толпы Гамзат-бека появились уже на горах, верстах в пятнадцати от белоканского редута, а ночью конная партия, отделившаяся от них, нагрянула на самое селение. Войска в редуте слышали выстрелы и крики, но не могли дать помощи, так как сами ежеминутно ожидали нападения, и партия, разграбив армянских купцов, ушла безнаказанно.

Гамзат-бек не пошел, однако, далее. Он послал сказать джарцам, что не спустится с гор, пока не увидит среди них дружного восстания и не получит аманатов. Участь Ших-Шабана научила его осторожности. Сергеев придвинул к Белоканам отряд подполковника Доброва — дивизион драгун и роту ширванцев с тремя орудиями, а к Катехам для наблюдения за неприятелем выдвинул батальон пехоты, также с тремя орудиями и казаками, под командой подполковника Платонова. Вместе с тем он потребовал, чтобы сблизились были войска и из Грузии; но последнее не было сделано своевременно, вследствие одного непредвиденного никем обстоятельства. В то время, как Гамзат-бек уже стоял на наших границах и из Белокан по вечерам можно было наблюдать за бесчисленным рядом его костров, озарявших окрестные горы,— вдруг из глубины Дагестана, от нескольких враждебных нам до сих пор обществ, явились депутаты с просьбой о принятии их в русское подданство. Объяснить этот загадочный факт было возможно единственно лукавой манифестацией, придуманной горцами; но, к сожалению, Сергеев и на это дело взглянул иными глазами. Обласкав старшин, он отправил их назад с богатыми подарками и стал поджидать аманатов. Он до того уверился теперь, что Гамзат-бек, не имея за собой поддержки в Дагестане, не осмелится спуститься с гор, что сам отказался от присылки войск из Грузии, находя свои силы слишком недостаточными, чтобы удержать в повиновении местное население. В этом самообольщении Сергеев даже не заметил, как жители Катехи, Мацехи и даже из Джар целыми толпами стали переходить в стан Гамзат-бека. Сергеев спохватился поздно, когда об аресте главных коноводов,— чего так добивался Паскевич и требовал Стрекалов,— нечего было уже думать, потому что мятеж кругом закипел в полном разгаре. Гамзат-бек между тем занял Катехи. Там он принял аманатов от всех отдалившихся от нас селений и затем отправил их в Дагестан, объявив жителям, что останется у них зимовать и приказал поставить укрепление в Старых Закаталах, возле мечети, где был убит генерал Гуляков. К решительным действиям он не хотел, однако, приступать, пока не подойдут к нему последние подкрепления, а в ожидании их разрешил производить частные набеги на плоскость.

Третьего октября партия человек в пятьсот действительно спустилась по Беженьянскому ущелью, против деревень Гавазы, Чеканы и Кучетаны. Деревни эти охранялись обывательским постом из ста кахетинцев, а в резерве стояло сорок гренадер Грузинского полка с горным единорогом, под командой двадцатидвухлетнего юноши, прапорщика Салтыкова. Пользуясь темнотой ночи, а может быть, и оплошностью пикетов, партия незаметно обошла караул и кинулась прямо на лагерь Салтыкова. К счастью, секрет вовремя поднял тревогу, и когда лезгины устремились к ружейным пирамидам,— гренадеры встретили их штыками. Завязался отчаянный бой грудь на грудь, а тем временем с поста успели прискакать кахетинцы и, в свою очередь, врезались в неприятеля с тыла. Один из них, дворянин Хсрулишвили тотчас изрубил байрактара и захватил лезгинский значок. Орудие, находившееся уже во власти неприятеля, также было отбито гренадерами. Тогда лезгины стали подаваться назад и через полчаса скрылись в Беженьянском ущелье [Салтыков получил за это дело две награды: орден Анны третьей степени с бантом и чин подпоручика.]. Эта ночь стоила нам двадцати четырех человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести.

Через пять дней после этого происшествия к Гамзат-беку подошли ожидаемые им подкрепления, и восьмого октября он со всеми силами перешел в Старые Закатали. Отряд

Сергеева, усиленный донским Леонова полком, прибывшим из Бенекичета, стоял возле новой крепости; сюда же двигались из Грузии еще два батальона эриванцев с четырьмя орудиями и остальные части Грузинского полка, под командой генерала Симонича. Стрекалов, опередив войска, сам прибыл в Новые Закаталы и принял главное начальство над собиравшимся отрядом.

Познакомившись с положением дел в Джарской области, Стрекалов пришел к убеждению, что прежде всего необходимо преградить лезгинам все дороги в зааланские места, а для этого построить ряд укреплений по пути к Белоканам и Талам. Этой мерой он думал держать неприятеля в строгой блокаде; но неприятель не стал дожидаться, пока его запрут в Закаталах, а сам двинулся вперед и заставил нас самих принять оборонительное положение.

Вечером восьмого октября раздались по нашей крепости первые неприятельские выстрелы; пальба шла всю ночь и весь следующий день; несколько пикетов было атаковано, и на одном из них казак поплатился жизнью. Десятого числа дело уже не ограничилось одними аванпостными схватками: лезгины, пробравшись густыми лесами к нашим кирпичным сараям, внезапно атаковали роту ширванцев, прикрывавшую рабочих. Тринадцатого — дело произошло еще серьезнее. В этот день из лагеря высланы были фуражиры, под прикрытием двух рот Ширванского полка с казачьим орудием, под командой капитана Фокина. Как только прикрытия стало расставлять цепь, — восемьсот конных лезгин вынеслись из леса и кинулись в шашки. Цепь была опрокинута, и горцы с налета врубались в ширванские роты... Бог знает, чем бы окончился для нас этот кровавый день, если бы не подоспела помощь. Во весь опор из лагеря прискакал Платонов со своими казаками и ринулся в пики. Отброшенные лихой атакой, горцы, однако, моментально оправались и возобновили нападение. Тогда из лагеря выслали еще две роты Ширванского полка с подполковником Овечкиным, — и только с их появлением неприятель отошел к Закаталам. Стрекалов доносил, что пространство, на котором происходила битва, было завалено телами лезгин; но для нас гораздо важнее было узнать, что из нашего небольшого отряда, выдержавшего короткую битву, выбыло из строя два офицера и шестьдесят восемь нижних чинов. Это свидетельствовало прямо, что неприятель смел, предприимчив, и что при дальнейшем развитии военных действий потери наши, в случае малейшей неосторожности, могут достигать значительной цифры. Действия Гамзата не замедлили отразиться на джарцах, и даже те немногие люди, которые еще сохраняли нам верность, теперь один за одним стали переходить на сторону Гамзата; даже ингилойцы, — эти омусульманенные грузины, не забывшие своего происхождения, вся будущность которых исключительно зависела от нашей победы, — объявили себя нейтральными и стали выжидать, чем кончится дело. Лезгины, рассыпавшись по лесам, препятствовали всем нашим работам, и, по справедливому выражению Сергеева, каждое срубленное дерево стоило нам потоков крови. При таком энергичном предводителе, каким оказался Гамзат-бек, нечего было и думать о блокаде неприятеля. Русский отряд, собственно говоря, сам очутился в блокаде, и чтобы разорвать эту пока тонкую, но каждый день все более и более густевшую сеть, оставалось одно средство — взять Старые Закаталы.

XVI. НЕУДАЧНАЯ ПОПЫТКА ВЗЯТЬ СТАРЫЕ ЗАКАТАЛЫ

К Старым Закаталам, находившимся в трех верстах от крепости, вели две дороги: одна, та самая, по которой шел Гуляков в свою последнюю предсмертную экспедицию, пролегла через самое селение Джары; другая вела со стороны Катех и имела важное значение, потому что по ней только неприятель и мог получать все продовольственные и боевые

запасы; другие пути пролегали под самой крепостью, и преградить их можно было незначительными отрядами.

Решаясь взять и уничтожить Старые Закаталы, генерал-адъютант Стрекалов должен был серьезно обдумать свое положение, так как необходимость оставить значительную часть войск для обороны крепости и лагеря позволяла употребить в дело сравнительно ничтожные силы. Назначены были две колонны: одна — батальон Ширванского полка при двух орудиях — должна была демонстрировать со стороны Джар, чтобы привлечь на себя внимание неприятеля, а между тем другая, главная — два батальона Эриванского полка, сорок саперов, четыре орудия скрытно выдвигаются на катехскую дорогу и отсюда ложбиной начинают приближаться к Старым Закаталам. Пятнадцатого октября, в девять часов утра, с крепостного вала грянул пушечный выстрел, и по этому сигналу обе колонны тронулись одновременно. Генералы Стрекалов и Сергеев поехали при главной колонне. “Любо было смотреть,— говорил один участник похода,— на строй эриванцев, только что возвратившихся из Турции. Полк был увешан георгиевскими крестами: оба батальонные командиры, Кошутин и Клюки фон Клугенау (впоследствии известные кавказские генералы), были люди бывалые, отважные, выросшие в опасностях; между офицерами не было ни одного, который поклонился бы пуле”. Сергеев весело балагурил с солдатами. Вся чуждая ему административная деятельность, требовавшая, по его выражению, “изворотов ума и политики”,— деятельность, к которой он не был подготовлен и которая таким тяжелым гнетом лежала у него на душе, теперь осталась позади,— и он очутился в родной, привычной ему сфере походной жизни. Тот, кто увидел бы его теперь на бойком коне, обгонявшем эриванские колонны, не узнал бы того осторожного, пожалуй, даже нерешительного генерала, которого видели в Джарах. На первую высоту, лежавшую за крепостью, войска поднялись без выстрела. Отсюда дорога втягивалась в леса, дремучей полосой простиравшиеся уже до самых Закатал. Опытным глазом окинул Сергеев эту мрачную чащу — и остановил отряд. Он полагал укрепиться здесь лагерем и отсюда, прорубая широкие лесные просеки, медленно подвигаться вперед к мятежному аулу. Стрекалов не разделял подобного взгляда, считая меру эту чересчур осторожной, и приказал Сергееву продвинуться вперед, стать в самом лесу и затем уже подвигаться просветами вплоть до неприятельского лагеря.

Трудно допустить, чтобы лезгины не знали о нашем приближении, а между тем, когда войска стояли уже на опушке леса,— в Старых Закаталах, как узнали впоследствии, еще шло народное собрание, и Ших-Шабан, незадолго прибывший в стан Гамзат-Бека, говорил зажигательную речь. Скорее можно предположить, что неприятель, сознававший для себя все выгоды лесного боя, нарочно не препятствовал нашему движению, стараясь заманить нас в места, памятные кровавыми событиями.

Между тем отряд, тихо подвигаясь по дремучему лесу, выбрался наконец на небольшую поляну. Здесь приказано было остановиться,— и Эриванский полк занял позицию по обе стороны лесной дороги: первый батальон, майора Кошутина, расположился влево на небольшой высоте; второй, майора Клюки фон Клугенау — вправо, на старом кладбище, при котором сходятся дороги от закатальской мечети и башни. Ближе чем на картечный выстрел, впереди этого кладбища виднелась небольшая прогалина, а за ней начинались сады, обнесенные каменными стенками, оба батальона, разделенные между собой неглубокой балкой, находились на расстоянии один от другого не более тридцати-сорока сажень. Позиция была неудобна и настолько сжата невылазной чащей леса, что батальоны не могли развернуться и в случае нападения должны были драться во взводных колоннах. Сергеев счел нужным доложить об этом Стрекалову; но Стрекалов нашел, что позиция по своей крепости не оставляет желать ничего лучшего, и приказал — Кошутину тотчас укрепить левый фланг позиции небольшой батареей, поставленной на высоте, а

Клугенау приступить к вырубке леса, чтобы очистить место для действия артиллерии. Но едва цепь, высланная вторым батальоном для прикрытия рабочих, продвинулась на лесную прогалину, как была осыпана ружейным огнем из густого кустарника. Командир полка, князь Дадриан, поскакал сам, чтобы удостовериться в степени опасности,— а в этот момент горцы выскочили уже из кустов и кинулись в шашки. Попавший как раз под натиск неприятеля, Дадриан едва не был убит, но, к счастью, его успели окружить солдаты; начальник же цепи, подпоручик Корсун, и вместе с ним тридцать нижних чинов были изрублены. Отрезанная от своего батальона, не успевшая даже сбжаться в кучки, цепь была разорвана, смята и обратилась в бегство. Горцы ударили на кладбище, но Клугенау, успевший поднять батальон в ружье, отразил дерзкий натиск,— и лезгины тотчас рассеялись. Цепь под командой штабс-капитана Потебни опять заняла свое место, а для поддержания ее выдвинули за кладбище роту штабс-капитана Гурамова; затем две неполные роты остались на самом кладбище в общем резерве, а остальные люди, под общей командой капитана Антонова, принялись за вырубку леса.

Было уже три часа пополудни. Скоро из цепи дали знать, что впереди, в садах, лезгины опять собираются в значительных силах. Дадриан сам поехал к Стрекалову, находившемуся при первом батальоне, чтобы получить разрешение отгеснить неприятеля, пока это еще представлялось возможным. Но Стрекалов, имевший известие от своих лазутчиков, что неприятель находится в ничтожных силах, отправил Дадриана назад с приказанием усилить работы, а сам, поручив войска генералу Сергееву, уехал между тем назад в Новые Закаталы. Дадриан передал приказание Клугенау. Еще усерднее застучали топоры, еще чаще под их ударами стали падать вековые чинары, а наваленный лес между тем все больше и больше уменьшал позицию и окружал карабинеров такой засекой, которая давала горцам возможность подкрадываться к ним незамеченными. Большая часть сил Гамзат-бека в это время стянулась уже против второго батальона и, прикрываясь засекой, скрытно окружила и цепь, и рабочих. Прошел час, другой — и вдруг, как по условному сигналу, несколько тысяч лезгин поднялось со всех сторон и ринулось в шашки. Что произошло тогда — описать трудно. И цепь, и резерв были моментально отрезаны от батальона и разобщены друг от друга так, что карабинерам пришлось защищаться поодиночке. Штабс-капитан Потебня, прокладывая себе дорогу с ружьем в руках, врезался в толпу неприятеля и был изрублен. Начальник резерва штабс-капитан Гурамов, не уступавший Потебне в отваге, один схватился с целой толпой лезгин и пал под их кинжалами. Лихие эриваицы почти все сложили свои головы возле своих начальников, и из ста пятидесяти восьми человек только четырнадцать успели добраться до кладбища.

Все это совершилось так быстро, что часть батальона, рубившая лес влево от кладбища в балке и вправо от него по скату горы,— была застигнута врасплох и не успела даже схватиться за ружья. Капитан Антонов был ранен, а рабочие или бежали, или гибли без отпора под ударами горцев. Клугенау, кинувшийся было на помощь к ним с последним резервом, сам столкнулся с тремя тысячами лезгин — и не мог пробиться. Орудия по третьему выстрелу умолкли: артиллерийский офицер, поручик Опочинин, был ране пулей в грудь, прислуга перебита, и оба орудия, вместе с зарядными ящиками, захвачены горцами. Отчаянные усилия Клугенау выручить пушки повели только к новым потерям. Сам Клугенау, оба ротные командиры, все фельдфебели и большая часть офицеров и унтер-офицеров или были убиты, или изранены. Солдаты остались без начальников.

Второй батальон почти уже не существовал, когда на помощь к нему подоспел подполковник Кошутин с двумя карабинерными ротами своего батальона; но их прибытие только без пользы увеличило число наших жертв, так как стесненная местность не позволила им даже развернуться. Кошутин, человек отчаянной храбрости, был ранен

одним из первых, и его солдаты, сбитые натиском, побежали назад. Увидев катастрофу, Сергеев двинул в бой последние две еще уцелевшие роты с тем, чтобы дать возможность остальным выйти из под ударов горцев,— но роты сразу попали в общий водоворот и были увлечены потоком общего бегства. Сергеев таким образом остался на батарее один с сорока саперами. Горцы без труда овладели ничтожным укреплением, взяли оба орудия и из сорока саперов осталось в живых только восемнадцать; но эти герои пробились сквозь сотни лезгин и вынесли на ружьях раненого генерала.

Остатки рот не попали уже на старую дорогу, а были отброшены в тесную улицу, где горцы, засев по обе стороны ее за глиняными стенками, безвозбранно расстреливали бежавших солдат. Поражение отряда было полное. В этот роковой для эриванцев день мы потеряли четыре орудия, одного генерала, обоих батальонных командиров, шестнадцать офицеров и более четырехсот нижних чинов. В числе офицеров здесь же убит был и подпоручик Литвинов — георгиевский кавалер, собственноручно взявший при штурме Карса неприятельское знамя.

Только в полутора верстах от места битвы князю Дадиану удалось наконец остановить оба батальона. Он дал им опомниться, привел в порядок и с барабанным боем повел вновь на неприятеля. Храбрый полк готов был новыми жертвами искупить свою минутную неудачу,— но в эту минуту прискакал адъютант Стрекалова с приказанием отступить в лагерь.

Возвращаясь из отряда Сергеева, Стрекалов заехал по дороге в батальон Ширванского полка, выдвинутый к Джарам, чтобы осмотреть его позицию. Но не прошло получаса, как сильная ружейная перестрелка, загоревшаяся в лесу, дала знать, что наша позиция атакована. Стрекалов приказал майору Бучкиеву с двумя ротами и частью конных драгун идти на помощь. Но Бучкиев не отошел и версты, как встретил офицера с известием, что Эриванский полк разбит, Сергеев ранен, орудия потеряны. Растерявшийся Стрекалов приказал всем отступать под защиту крепости. Напрасно князь Дадиан от имени полка два раза посылал просить позволения возобновить атаку; Стрекалов не позволил — и войска возвратились в лагерь грустные и убитые. Самолюбие эриванцев было сильно задето. Тридцатилетняя кавказская война представляла для них только длинный ряд блестящих побед, и в первый раз в лагере их, после кровавого боя, царило молчаливое уныние, не раскладывались бивуачные огни, не слышно было даже говора. На сердитых лицах солдат было отпечатано выражение затаенной злобы.

Страшная потеря, редко встречающаяся в кавказской войне, доказывала, что старый полк отступил не при первом появлении неприятеля, что встретил его со своей обычной отвагой и что если был побежден, то только многочисленностью и выгодным для неприятеля местоположением. Никакая тень укора не могла коснуться храброго Дадиана, которого все время видели впереди полка. Что же касается распоряжений, то они от него не зависели,— он исполнял только то, что было ему приказано.

“Сколь ни огорчительно такое происшествие,— писал Стрекалов в своем донесении Паскевичу,— но мы стоим здесь твердой ногой, и оно ничуть не имеет влияние на общий ход здешних происшествий. Желая сохранить ту славу полка, которую он приобрел под Вашим начальством, я доставлю ему случай оправдать доверие, которое Вы ему оказывали”... “Все дело,— говорит он далее,— произошло от самонадеянности и презрения к неприятелю”.

Государь был чрезвычайно огорчен подобным происшествием и, на основании первых донесений Стрекалова, во всем обвинял эриванцев. По этому поводу граф Чернышев

писал Паскевичу: “Государь император с крайним прискорбием и неудовольствием усмотреть изволил, что Эриванский карабинерный полк, столь отличавшийся в последней кампании, под личным предводительством Вашего Сиятельства, ныне, в деле пятнадцатого октября против лезгин, оставил вверенные ему орудия в руках неприятеля и, не внимая гласу начальников, обратился в бегство, будучи преследуем незначительным числом горцев. Не постигая, какие обстоятельства могли побудить русских солдат к столь постыдному бегству, Его Величество желает, чтобы Ваше Сиятельство сделали подробнейшее исследование сего происшествия и обо всем донесли Его Величеству”.

Как ни старался Стрекалов свалить вину на своих подчиненных, Сергеева и Дадиана, но из откровенных объяснений, данных последними, стало ясно, что причиной всего был один Стрекалов. Так именно взглянул на это дело и сам Паскевич. “Главнейшей причиной сего несчастья.— отвечал он Чернышеву,— генерал-адъютант Стрекалов: он раздробил отряд и завел его малыми частями в такие места, где невозможно было действовать”.

Военная неудача поразила Паскевича, но еще более он был поражен теми событиями, которые происходили внутри Джаро-Белоканской области. Весной, когда он уезжал в Петербург, ничто не могло предвещать, чтобы народ, без боя изъявивший покорность в сознании своего бессилия, так неожиданно и сильно ожесточился против русских. Причины этого могли скрыться, как полагал Паскевич, только в дурном управлении народом и “в худой дисциплине тамошних войск”. Ссылку Стрекалова на Старые Закатали как на гнездо мятежа и вечной ненависти к России Паскевич считал неосновательной. “С тех пор, как возведена русская крепость,— писал он Стрекалову,— Закаталы, удаленные от нее только на три версты, перестали быть тем важным и опасным пунктом, на который лезгины полагали некогда всю свою надежду”. Он указал ему на полную доступность закаतालского ущелья, если действовать на один из флангов неприятеля, со стороны Катех или Белокан, и на полную несообразность плана, принятого Стрекаловым — подходить вперед по ложине и рубить лес, давая неприятелю все средства обходить нас самих с флангов и с тыла. Система полевых укреплений у Белокан и Талов для прикрытия дорог, ведущих в Кахетию, также подверглась со стороны Паскевича строгому порицанию, “ибо,— как говорит он,— нельзя преградить путь людям, которые, не имея никаких тяжестей, могут всегда проходить свободно; а чтобы отнять у них средства к набегам, нужно занять Катехи и Белоканы, с потерей которых они лишатся средств к продовольствию”.

“Если бы,— пишет он далее,— приготовления к восстанию лезгин оставались скрытыми до самого вторжения Ших-Шабана, то этого нельзя бы было не поставить в вину Сергеева, который, будучи местным начальником, не знал о готовности народа поднять против нас оружие; но Сергеев не раз доносил о замыслах неприятеля и, следовательно, действия их не были так скрыты, как ваше превосходительство описываете; но меры, которые нужно было принять для предупреждения бунта, вами упущены, и ни один из злоумышленников до сих пор не арестован; а между тем, если бы это было исполнено вами своевременно, то второго возмущения не могло бы и быть, так как народ лишился бы главных своих коноводов”.

Все это было безусловно верно; но с другой стороны нельзя не заметить, что и действия самого Паскевича были не безупречны, потому что события в Джаро-Белоканской области являлись только прямым последствием событий, разыгравшихся тогда в Дагестане, и на которые Паскевич так мало обращал внимания. Там то нужно было вырвать главный корень волнений, а без этого рубка отдельных ветвей мятежа не предохраняла от прорастания новых.

Находя, что пора щадить бунтовщиков уже миновала, Паскевич приказал Стрекалову скрыть до основания все дома изменников, скот и имущество их отдать на разграбление ингилойцам и кахетинской милиции. Разорению и уничтожению должны были подвергнуться, впрочем, только те дома, которые препятствовали свободному сообщению через самые Джары, а остальные велено отдать в собственность грузинам, которые за то обязаны были их защищать. Главных виновников возмущения приказано было судить военным судом и расстрелять из них до двадцати пяти человек а остальных держать в Тифлисе, закованными в железо.

Таковы были суровые меры Паскевича, которыми он сразу хотел подавить в крае дальнейшее распространение вспыхнувшего возмущения.

XVII. ШТУРМ ЗАКАТАЛ И УСМИРЕНИЕ ДЖАРСКОЙ ОБЛАСТИ

После неудачного боя 15 октября, Стрекалов более чем когда-нибудь должен был стремиться скорее довести до конца экспедицию и взять Старые Закатали. Для выполнения этого предприятия находившихся в нашем распоряжении войск было, однако, недостаточно; стали ожидать новых подкреплений, а между тем приняли меры для обеспечения сообщений с Грузией. Войска на переправах были усилены, а в Адиабате, где находился большой продовольственный склад, учрежден был особый пост, под командой подполковника Платонова. В течение двух дней после роковой битвы, пока приводились в исполнение все эти распоряжения, неприятель нас не беспокоил; он, очевидно, сам понес большие потери и приводил в порядок расстроенное скопище. Только восемнадцатого октября в Старых Закаталах обнаруживаются признаки жизни, и Гамзат-бек высылает конную партию для захвата алиабатских складов, так предусмотрительно огражденных уже отрядом Платонова. Движение партии замечено было вовремя, и на помощь к Платонову послали еще роту Ширванского полка. Неприятельская партия, не решаясь с наличными силами сделать нападение, в свою очередь также послала за подкреплением, а в ожидании его остановилась близ Алиабата.

Лазутчики, действовавшие на этот раз чрезмерно энергично, известили Стрекалова, что в помощь алиабатской партии готовится к выступлению двухтысячное скопище джарцев. Известие это весьма встревожило Стрекалова, и он тотчас послал к Платонову еще две роты с командой драгун и двумя орудиями, под начальством капитана Луневича.

Оба подкрепления вышли почти одновременно, так что из нашего лагеря было видно даже простым глазом, как потянулись лезгины из Старых Закатал и как Луневич почти бегом торопился предупредить их в Талах. Это ему удалось — и роты в боевом порядке преградили путь к Алиабату. В то же время рота карабинеров двинулась из лагеря наперерез закатальской партии, чтобы отрезать ей отступление. Опасаясь попасть между двух огней, лезгины подались в ущелье и, убедившись, что дорога на Алиабат окончательно закрыта, вернулись в Закаталы.

А между тем гроза над Алиабатом все-таки разразилась. Передовая партия случайно была усилена другими шайками, рыскавшими по плоскости, и кинулась на наши продовольственные склады; но, к счастью, за полчаса до нападения, рота Ширванского полка успела прибыть в Алиабат — и все попытки лезгин ворваться в селение были отбиты. Во время самого боя подоспела колонна Луневича, и партия, попавшая под молодецкий удар драгун, рассеялась по окрестным лесам.

На этот раз Алиабат устоял; но, чтобы не подвергаться подобным случайностям на будущее время, склад перевезли в крепость, а пост уничтожили.

С двадцать третьего октября начали подходить ожидавшиеся подкрепления. Первым прибыл граф Симонич с Грузинским гренадерским полком, а за ним казачий полк Карпова; на следующий день штабс-ротмистр князь Яссе Андронников привел тысячу конных грузин, собранных в Сигнахском уезде; затем подошел конный татарский полк из Шекинской провинции, а за ним, с зурной и литаврами, явились две сотни тушин,—заповедная храбрость которых и непримиримая вражда к лезгинам делали их очень ценным приобретением для русского отряда. Прибытие подкреплений на этот раз заключалось еще двумя грузинскими ротами, пришедшими вместе с артиллерийским парком.

По мере усиления отряда являлась возможность начать и решительные действия против Старых Закатал. Наученный опытом, Стрекалов стал более осторожен и решил предварительно ослабить врага стеснением его продовольственных средств,— мера, на которую особенно указывал Паскевич. Ввиду этого он хотел прежде всего разобщить Закаталы с Белоканами и Ажарами, поставив укрепление на той самой высоте, где пятнадцатого числа разыгралась кровавая катастрофа. Но так как одного укрепления было еще недостаточно, а надо было отнять у самих белоканцев все способы доставлять продовольствие закатальскому скопищу, то решили предварительно поставить и самые Белоканы в такие условия, при которых мы, а не лезгины, могли бы распоряжаться судьбами их жителей.

С этой целью двадцатого октября из русского лагеря была направлена усиленная фуражировка в сторону Белокан, под прикрытием сводного батальона пехоты и всей грузинской конницы. Неприятель понимал, что дело идет о вопросе для него чрезвычайно важном, и вышел из Закатал со значительными силами. Грузинская милиция первая ударила в шашки, смяла лезгинскую конницу и захватила значок. Неприятель отошел назад и во время фуражировки держался на почтительном расстоянии. Войска между тем заняли Белоканы, и так как жители обнаружили попытки к сопротивлению, то часть селения была сожжена и разграблена. Но и эта жестокая расправа не сразу образумила белоканцев,— и вредная деятельность их была парализована окончательно только тогда, когда к ним поставили в виде экзекуции три роты Эриванского полка и телавских милиционеров.

В таком положении оставались дела до четвертого ноября, когда из Карабага прибыл сорок второй егерский полк,— последний резерв, которого ожидал Стрекалов, чтобы приступить к серьезной блокаде закатальского скопища. Вступление егерей, предводимых известным в то время полковником Миклашевским, было чрезвычайно эффективно. Сам Миклашевский ехал впереди полка, окруженный татарской свитой, в богатой одежде и на тысячных конях. Это все были молодые карабагские беки, которых Миклашевский взял с собой под видом доставления им случая к отличиям, а в действительности, чтобы отвлечь из края людей, которые могли быть опасны при начинавшихся волнениях в Персии. Надо заметить, что персидские дела в ту пору представляли для нас большой интерес, так как они косвенным образом оказывали влияние и на сопротивление джарцев. Вопрос о близкой междоусобице между двумя персидскими принцами — Аббасом-мирзой и Гассаном-мирзой, тревожно волновал наши мусульманские провинции, все еще тяготевшие к Персии. Присутствие в наших рядах Шекинского полка и множества карабагских беков, которые являлись как бы заложниками верности населения, оставшегося дома, ручалось теперь за спокойствие края, и можно было быть уверенным, что наши предприятия у Старых Закатал парализованы не будут.

В лагере грузинские гренадеры приготовили егерям достойную встречу. Егеря, прославленные защитой Шуши, и гренадеры, питомцы Котляревского, считались между

собой кунаками. Этот обычай куначества, присущий только боевым кавказским полкам, представляет собой прекрасный и достойный образец военного товарищества. На полях ли битв, на мирном ли бивуаке — куначество везде и всегда служит верным залогом взаимной помощи, дружбы и всяческих одолжений между частями, которые, побратавшись, называли себя кунаками. Встреча вышла самая задушевная. У грузинцев был приготовлен обед, и оба полка, смешавшись вокруг походных котелков, принялись за радушно предложенное угощение. Егеря не хотели остаться в долгу и, прощаясь с гренадерами, просили их на следующий день откушать у них хлеба-соли.

День пятого ноября начался совершенно спокойно; с утра из лагеря вышла к Катехам обычная фуражировка, под прикрытием двух рот Ширванского полка с двумя орудиями и частью казаков. Повел их старый и опытный подполковник Бучкиев. В лагере егерей готовилось гомерическое пиршество, и грузинцы уже собирались в гости к своим боевым кунакам,— как вот скачет гонец от Мамед-Муртазали-оглы с предупреждением, чтобы русские были осторожны, так как джамат в Старых Закаталах сегодня со всеми силами порешил напасть на фуражиров. И, действительно, как бы в подтверждение этого известия, со стороны Катех донеслись глухие удары пушечных выстрелов.

В лагере ударили тревогу. Но едва войска стали в ружье, как Бучкиев прислал сказать, что лезгины сделали нападение на прикрытые, но были отбиты; особенно, по его словам, отличились при этом две тушинские сотни, которые без выстрела врезались в толпу, атаковавшую цепь, и почти всю ее изрубили. Тем не менее две роты егерей, еще не отдохнувшие с похода, высланы были на подкрепление Бучкиева, а между тем Стрекалов, предупрежденный уже Муртазали о намерении Гамзата, выставил батальон эриванцев с двумя орудиями и кахетинской милицией в сторону Старых Закатал, чтобы преградить путь главному скопищу.

Не успели карабинеры расположиться на позиции, как неприятель показался из леса и повел атаку, стараясь обойти наш левый фланг, чтобы прорваться к фуражирам. Дали знать в лагерь, откуда тотчас выслали на помощь еще батальон сорок второго полка. В эту-то минуту случилось происшествие, которое едва не повлекло за собой катастрофу почти такую же, какую испытали эриванцы пятнадцатого октября под Закаталами. Дело в том, что грузинская конница, сбита сильными натиском лезгин, в беспорядке понеслась назад и смяла идущий к ней навстречу егерский батальон. Посреди общей сумятицы выручило всех хладнокровие и распорядительность графа Симонича; он успел с одной ротой броситься влево и, выбравшись на чистое место, образовал заслон, который на мгновение задержал неприятеля. Тогда, освобожденные от натиска, грузины рассыпались в стороны и дали простор батальону. Две головные роты, предводимые отважным Миклашевским, бросились в штыки и погнались неприятеля. В эту минуту прибыл Стрекалов с батальоном Грузинского полка, и прибыл очень кстати, потому что оправившиеся лезгины повели новую атаку. Из лагеря потребовали последний грузинский батальон,— но он не успел еще прийти, как Миклашевский во главе трех рот вторично кинулся на неприятеля и разбил его наголову. Этим окончился бой пятого ноября; фуражиры возвратились в лагерь, а вслед за ними отошли и остальные батальоны. День этот стоил нам трех офицеров и ста тридцати пяти нижних чинов выбывшими из строя.

С этих пор наступает последний акт борьбы за обладание Закаталами.

После двухдневного отдыха, Стрекалов заложил, наконец, редут на том самом месте, где была битва пятнадцатого октября и где сходились дороги от всех окрестных селений. В два дня укрепление было готово, вооружено и занято гарнизоном. Неприятель понял, что этот грозный редут предвещает ему безусловный голод — и упал духом. Лезгины и без

того давно уже кормились посменно, так как, с прибытием в наш лагерь значительного числа кавалерии, Гамзат не мог уже открыто добывать хлеб на равнине, а довольствовался тем, что приносили одиночные люди для небольшого числа своих товарищей. При таких условиях дальнейшая борьба становилась для лезгин немислимой.

И Ших-Шабан, и Гамзат-бек поняли теперь, что близится час, когда нужно будет или пасть на развалинах закатальской башни, или бежать в горы с разбитой славой. Эти ли причины или другие, не известные никому соображения понудили их вступить в переговоры, и посредником был избран тот же Мамед-Муртазали белоканский. Первый шаг к этому сделал Шабан, не только изъявивший личную покорность, но обещавший вывести из Закатал и распустить по домам тех лезгин, которых он привел из Дагестана. Стрекалов знал, что в неприятельском стане открылась большая эмиграция и потому отвечал: “Пусть Шабан явится, но я даю ему право ходатайствовать только за себя, но никак не за мятежных джарцев”. Сергеев сам ездил в Талы на свидание с Шабаном, и переговоры кончились тем, что Шабан действительно распустил свою партию, а сам явился в русский лагерь. С Гамзатом переговоры шли менее успешно, так как он требовал, чтобы вместе с ним получили прощение и джарцы; в этом ему отказали, и переговоры затянулись еще на несколько дней.

Между тем тревожные события в Персии заставляли Стрекалова как можно скорее покончить с Закаталами — и штурм старой крепости назначен был на тринадцатое ноября. Но накануне этого дня Гамзат-бек, вместе со своим братом и небольшой свитой, явился в русский лагерь и объявил, что сдается безусловно, ходатайствуя только за своих лезгин, которые требовали свободного пропуска в горы. На это условие Стрекалов согласился, и так как сам Гамзат-бек уже не желал возвращаться назад в Закаталы, то для вывода партии, простирившейся, как говорили, до трех тысяч человек, был послан один из приближенных Гамзата, некто Абдулла соградинский. Но, к удивлению, Абдулла явился на другой день с известием, что партия выйдет не иначе, как с самим Гамзат-беком, который только один может служить ручательством их безопасности. Тогда Стрекалов, оскорбленный недоверием лезгин, которые, будучи заперты, не имели другого выбора, кроме гибели или безусловного плена, а между тем еще предлагали условия,— приказал остановить переговоры, а Шабана и Гамзат-бека объявил военнопленными. Оба они были арестованы и в тот же день отправлены в Тифлис за сильным конвоем. Мера эта вызвала ропот во всем Дагестане; но так или иначе, а горцы лишились двух способнейших своих предводителей, и Стрекалов не стал уже откладывать взятие Закатал. Штурм был назначен.

Разделенные на три колонны, войска ночью с тринадцатого на четырнадцатое ноября направились по трем различным путям к одной и той же точке — закатальской башне. Средняя колонна, под начальством князя Дадиана, составленная из десяти рот Эриванского полка, карабагский конницы и четырех орудий, наступала по лошине на Старые Закаталы; левая, графа Симонича, шла со стороны Катех и состояла из четырех батальонов пехоты, грузинской милиции и шести орудий; правая, полковника Миклашевского, два батальона егерей, шекинский конный полк и два единорога,— направились по вьючным тропам за снеговой перевал, отделявший Закаталы от Тальского ущелья, чтобы атаковать неприятельскую позицию с тыла.

Утро было такое туманное, что войска подошли к Закаталам, не будучи замеченными. Бой загорелся в колонне графа Симонича, которая наткнулась почти в упор на неприятельскую позицию, ворвалась в селение, смяла неприятельские резервы и, по следам бегущей толпы, захватила закатальскую башню вместе с одним орудием. Бой уже шел по всему селению, когда подоспели эриванцы и, заняв все пространство от старой

мечети до дома старшины Чанка-оглы, овладели стоявшим здесь неприятельским лагерем и тремя остальными орудиями. Выбитые из Закатал, горцы массой кинулись по горным тропам к Тальскому ущелью — и там наткнулись на Миклашевского. Тогда толпа рассеялась в разные стороны, оставив в одном глухом, бездорожном овраге все свои семьи, рассчитывая, что русские не будут преследовать их в горы. Расчет этот оказался, однако же, не верен: войска действительно остановились, но хищные тушины, точно чутьем угадавшие добычу, разыскали несчастные семьи — и страшный овраг доверху завален был кровавыми трупами зарезанных жен и детей.

Так пали Закаталы, и свободе джаро-белоканских лезгин навсегда нанесен был смертельный удар.

Молва говорит, что после сдачи Гамзата джарцы не могли держаться и, конечно, положили бы оружие по первому серьезному требованию; но что Стрекалову нужно было взять Закаталы открытым приступом, чтобы на пролитой крови восстановить свою военную репутацию, сильно пошатнувшуюся после понесенного им поражения. Победа была легка — по крайней мере падение твердыни, перед которой войска стояли более месяца, стоила нам трех человек убитыми и семнадцать ранеными.

Загнанные в холодные снеговые ущелья, джарцы просили пощады, и Стрекалов обещал им помилование, если они немедленно выдадут главных зачинщиков восстания. Действительно, через два дня джарские старшины Оден-оглы и Мамед-Вали-Чанко-оглы добровольно явились в русский лагерь с повинной головой и были арестованы. Джарцам тогда дали знать, что они могут выйти из гор, но уже без предварительного обещания им помилования. Джарцы подчинились и этому ограниченному снисхождению, но зато разоренный и обездоленный народ перенес всю силу своей ненависти на своих предводителей, и одного из них, Сулейман-Нур-оглы, едва не закопал живого в землю — его отняли подоспевшие солдаты. Джары и Закаталы на глазах народа были сравнены с землей; прекрасные сады их пали под топорами солдат, а шелковичные и тутовые деревья пошли на выжигание угля.

Не считая более необходимым свое присутствие в области, Стрекалов двадцать четвертого ноября возвратился в Тифлис; войска были распущены, но в новой крепости, на всякий случай, оставлены были еще по батальону от полков Грузинского и Эриванского.

С отъездом Стрекалова, главное начальство в области снова перешло в руки Сергеева, который тотчас приступил к аресту главных коноводов и к освобождению ингелойцев. Но распоряжения эти были прерваны в самом начале новыми происшествиями. Буря народных страстей, вызванная несбыточными мечтами освобождения, не могла успокоиться сразу, несмотря даже и на закательский погром. Едва только русские войска были распущены, как белоканцы приютили у себя партию глуходар, во главе которой находился известный дагестанский разбойник Халы-Магома, и отказались от выдачи нам аманатов. Пришлось предпринять новую экспедицию. Приближение двух батальонов заставило глуходар бежать, но жители покорились только тогда, когда Сергеев, потеряв терпение в бесплодных уговорах, приказал заковать в железо четырех старшин и трех почетных обывателей. Все это не вознаграждало нас, однако же, за бегство Халы-Магомы, который, отодвинувшись в горы, стал скликать к себе толпы удальцов, не хотевших примириться с мыслью, что ворота Кахетии для них навсегда закрылись. Первым на призыв его явился старый Бегай, и толпа, приведенная им под сенью четырех значков, послужила ядром нового ополчения. Сергеев имел об этом подробные сведения через Муртазали, но считал их невероятными, так как глубокий снег, заваливший горные

проходы, исключал всякую возможность какого-либо вторжения. А между тем в Джермут подходили все новые и новые партии; прибыл наконец и богазский старшина Аличула-Магома, который принял формировавшееся скопище под свое начальство. В то же время за Богазским хребтом собирали партию дети Бегай и вместе с ними знаменитый белад верховий чантыаргунского района — Алдам. На плоскости также было неспокойно: жители селения Цаблуани, лежавшего верстах в пяти за Белоканами, бежали в горы, вслед за своим старшиной Джан-Вали, и присоединились к скопищу. Бежали туда и джарцы и катехцы.

Восемнадцатого декабря скопище Аличулы уже спустилось с гор и вступило в наши пределы. Одна партия отправилась в селение Гавазы для захвата анцухского пристава князя Вачнадзе; другая стала на дороге к Закаталам, чтобы преградить дорогу нашим войскам, а третья, при которой находился сам Аличула,— заняла Цаблуани. В Белоканы явились посланные с требованием, чтобы Муртазали дал в аманаты своих сыновей. Но когда Муртазали, вместо ответа, собрал шестьсот своих односельцев и расположил их возле своего дома,— суровый Аличула в ту же ночь с целым скопищем нагрянул на Белоканы, и люди, которым Муртазали доверил защиту себя и своей семьи, позорно бежали при первом его появлении. Очутившись лицом к лицу с трехтысячной партией, верный нам старшина, все еще рассчитывавший, что ему дадут помощь из редута, заперся в крепкой башне, находившейся в его дворе, и решил защищаться до последней возможности. Но Аличула не захотел даже тратить пороха, а тем более крови своих сподвижников: он просто приказал обложить башню хворостом и поджечь его со всех сторон. Громадным костром вспыхнул наваленный валежник, и когда раскалившиеся стены дали трещины, и огонь проник во внутренность жилища,— башня рухнула, и под ее развалинами погибли в пламени и сам Муртазали, и все его семейство. В редуте явственно слышались выстрелы и видели широкое зарево, стоявшее над селением,— но помощи не дали “по случаю ночного времени и неизвестности о числе неприятеля”.

Между тем скопище расположилось в Белоканах как дома, а на следующий день было усилено еще новыми партиями, прибывшими из Дагестана. Эти партии, с пятнадцатью распущенными знаменами, дерзко прошли под пушечными выстрелами из русского редута и с дикой песней: “Ля-илляхи-ил-алла” — соединились с Аличулой. Теперь наступила минута, когда осада грозила уже самому Белоканскому форту и с высоких валов его можно было наблюдать, как конные партии, рыская по окрестным селениям, сгоняли к Белоканам длинные ряды арб, нагруженных всевозможными осадными принадлежностями. Аличула очевидно торопился взятием форта; но русские войска с двух сторон, от Закатал и Царских Колодцев, уже двигались на помощь к атакованному гарнизону. Двадцать второго декабря оба отряда соединились под Белоканами и начался последний акт длинной и кровавой драмы 1830 года. К вечеру, после жестокого боя, половина селения перешла в наши руки; но в другой упорно еще держались лезгины, и выбить их оказывалось нам не под силу. Так наступила длинная декабрьская ночь. Густой, холодный туман темной пеленой прикрыл обе враждебные стороны и прекратил ожесточенную схватку. После страшной битвы вдруг наступила мертвая тишина — предвестница новой бури, готовой разразиться с первым лучом восходящего солнца. Но в глухую полночь неприятель снялся с позиции и вместе со всеми жителями вышел из деревни так тихо, что у нас заметили его отступление только с рассветом, когда Белоканы уже опустели.

Этим эпизодом и закончились тревожные события 1830 года в Джаро-Белоканской области.

Паскевич, получив донесение о поражении Аличулы, не мог, однако же, постигнуть, каким образом горцы могли отступить безнаказанно, а жители удалиться в леса, и главное,— как они могли вывезти имущество, когда селение взято было приступом? Он справедливо заключил из этого, что преследования или не было вовсе, или оно было слабо, и потому писал в своем предписании к Сергееву, чтобы на будущее время отнюдь не ограничиваться рассеянием скопищ, а преследовать их до последней возможности, “ибо,— как говорит он,— не стоит вовсе разбивать неприятеля и подвергать потерям наши войска, когда мы сами не пользуемся плодами победы”. Он даже не верил донесению Сергеева, чтобы лезгины могли потерять восемьсот человек, и впоследствии поручил его преемнику секретно удостовериться в настоящей потере неприятеля.

Недовольный действиями Сергеева, Паскевич отозвал его из Закатал, а начальником Джаро-Белоканской области назначил на место его генерал-лейтенанта барона Розена.

Новый начальник области прибыл в Царские Колодцы двадцать четвертого декабря, и первая обнародованная им прокламация заключала в себе акт об освобождении ингелойцев. “Каждый из лезгин,— гласила прокламация,— имевший до сих пор какую-нибудь власть над ингелойцами и ениселями, лишается отныне таковой навсегда, и племена сии впредь должны вносить в казну все подати, какие платили они до сего времени лезгинам”. Этот важный исторический акт был обнародован двадцать пятого декабря, и с ним воспрянула к жизни от глубокой трехвековой летаргии та часть омусульманившейся Грузии, которая так долго томилась в непробудном рабстве.

В таком положении застаёт Джаро-Белоканскую область 1831 год, начинающий собой новую эпоху кавказской войны.

Для полноты описанных событий остается сказать еще несколько слов о положении дел в соседней провинции, составлявшей некогда один из гезов вольного Джаро-Белоканского общества.

Мы уже знаем, что рядом с Джаро-Белоканской областью, между ней и Нухинской провинцией, в нагорной долине реки Гиши и притока ее Курмука, было расположено лезгинское владение, отличавшееся от других джарских обществ тем, что оно имело своих наследственных владетелей. Оно вело свое начало с конца XVI столетия, когда Шах-Аббас, в видах ослабления Грузии, образовал здесь особое султанство и передал его некоему ренегату Али, по имени которого оно и стало называться Али-султанством. Русские из этого названия сделали имя Ели-су, как стали называть и самую речку Гиш. Елисуйские султаны своей осторожностью и предупредительностью сумели сохранить свою власть до времени повествуемых событий, как в среде своих подданных, стремившихся к такой же социальной свободе, какую имели джарцы, так и в ряду наших мусульманских провинций.

1830 год начался в Елисуйском султанстве печальным событием: девятого января скончался старый владетель Ахмет-султан, современник князя Цицианова, первый из елисуйских султанов, признавший над собой главенство России. В мусульманских странах право наследства переходит не по первородству от отца к сыну, а по старшинству в роде — от старшего брата к младшему, и только в случае неимения брата сын может наследовать отцу, да и то только в том случае, если он рожден от законной жены равного происхождения. Покойный султан не имел братьев, а потому законным наследником являлся старший сын его, Имрам-ага; но это был человек слабый, не имеющий собственной воли, способный попасть под какое угодно влияние. К тому же он был женат на дочери Хамед-бека, убитого в деле с русскими, и находился во враждебных

отношениях к казикумыкскому дому. Последнее обстоятельство не могло не породить массу затруднений, так как дружеские связи с казикумыкскими ханами обуславливались тем, что елисуйцы в летнее время пасли свои стада в Казикумыке. Все это сознавал сам покойный султан и во время своих отлучек поручал управление страной второму сыну Мусса-аге, человеку хороших правил и преданному России. Это же остановило на нем и выбор Паскевича. Нарушение первородства не вызвало в народе никакого неудовольствия, потому что елисуйские султаны редко наследовали по праву, а назначение их зависело чаще всего от влияния сильных соседей или от местного джемата, голоса которого также приобретались деньгами или склонялись силой оружия. Народ давно привык к подобному порядку вещей и подчинялся ему беспрекословно.

Мусса-ага правил страной недолго, но успел оказать крупные услуги русскому правительству, удержав спокойствие в своем султанстве в то смутное время, когда соседняя с ним Джаро-Белоканская область была объята пожаром восстания. Елисуйцы не только исполняли все указания Сергеева, но высказывали не раз случаи замечательного самопожертвования при исполнении обязанностей, которые требовались от них во имя русского дела. Был, например, такого рода случай. Во время открытия управления Джаро-Белоканской областью, в Елисуйском султанстве появился беглец из Шекинской провинции, лезгин Мустафа-Кадано-оглы, известный своими разбоями. Можно было полагать, что его появление имело какую-либо тайную связь с происками Шабана или Гамзат-бека, а потому Сергеев потребовал немедленной его поимки. Мусса-ага послал за ним четырех своих есаулов, приказав им доставить Кадано живого или мертвого. Беглец был достигнут в деревне Бабурле, по дороге в Нуху, но, запершись в сакле, защищался с такой отвагой, что из четырех есаулов — трое пали под его ударами, и только последний убил его самого и захватил в плен его товарища.

К общему сожалению, Мусса-ага, еще молодой и полный жизненных сил, скончался после кратковременной болезни, двадцать пятого сентября 1830 года. Ему наследовал брат его, знаменитый Даниель-бек, человек умный, храбрый, с твердой волей, — человек, которому суждено было играть крупную роль в дальнейших перипетиях нашей борьбы с мюридизмом, но уже не в качестве елисуйского султана, а в качестве одного из ближайших советников и пособников дагестанского имама и тестя своего — Шамиля.

XVIII. ЧЕЧНЯ ПОСЛЕ ЕРМОЛОВА

После кровавого бунта 1825 года, Чечня, приглушенная Ермоловым, лежала в развалинах. Даже вторжение персиян в Грузию, — вторжение, охватившее такими несбыточными надеждами все мусульманское население Закавказья, отразилось на ней в такой слабой степени, что выразилось лишь одиночными разбоями и наездами на линию тех, для которых грабеж составлял уже единственный источник существования семей, обездоленных русскими погромами. Правда, выдвинулись опять на сцену забытые имена пророка Магомы, Бей-Булата, Айдемира и других, но все эти лица служили теперь лишь послушным орудием в руках персиян и ничего самостоятельного выдумать не могли. В крае ходили персидские прокламации, но до какой степени туго шла пропаганда, может служить доказательством следующий, не лишенный своего значения, случай.

В деревне Гельдиген жил один молодой чеченец, имевший богатую и знатную родню, на которую особенно старались воздействовать персидские агенты; юноша видел, что гельдигенцы не далеки от возмущения, и чтобы отклонить собирающуюся грозу, придумал следующую оригинальную меру: он просил начальника левого фланга генерала Лаптева захватить его в плен, и затем, вместо выкупа, потребовать от гельдигенцев аманатов. Лаптев со своей стороны поручился, что не употребит во зло его доверие. Когда все было

обдуманно, юноша отправился в одну из сунжеских деревень навестить родных, а на обратном пути, на условном месте, был окружен казаками и привезен в Грозную. Когда родные узнали о его захвате, они бросились хлопотать о выкупе; но Лаптев отверг все предложения и потребовал одного — аманатов. Волей-неволей пришлось принять это условие, и гельдигенцы, всегда стоявшие во главе кровавых движений, оставили в наших руках заложников своего спокойствия. Юноша был отпущен, а пример гельдигенцев заставил удержаться от восстания и их ближайших соседей.

Персидское золото также имело мало успеха, и на его призывный звон собирались лишь шайки бездомных удальцов, которым скучно было сидеть без дела. Но с осени 1826 года число этих шаек до того увеличилось и мелкие нападения стали повторяться так часто и с такой дерзостью, что нельзя было не обратить на это серьезного внимания.

Первое нападение было сделано пятнадцатого августа в окрестностях станицы Мекенской, Моздокского полка. В этот день два отставные казака, старые рыболовы, переправились на легком каюке на правый берег Терека и расположились под обрывом со своими рыболовными снастями. Место выбрано было удобное, и можно было считать себя вне всякой опасности, так как только густые виноградники скрывали от взоров станицу, и даже над непроницаемой листвой раскинувшихся садов был виден ярко горевший золоченый крест станичного храма, а в стороне виднелась и сторожевая вышка. Кругом господствовала полнейшая тишина, изредка нарушаемая звуками голосов, доносившихся сюда по воде из станицы. Благодушно сидели два старика, отдавшись своему любимому занятию, — как вдруг точно из земли выросли чеченцы и кинулись на оторопевших рыболовов. Один из казаков, Ларионов, первый заметивший опасность, бросился в воду и кое-как успел доплыть до берега, то товарищ его был схвачен и изрублен шашками. Выстрел сторожевого казака, видевшего всю эту картину, поднял тревогу. Но когда казаки прискакали на место происшествия, там, кроме изрубленного тела, никого уже не нашли. С этих пор на линии только и было разговоров, что о происшествиях. Там из-под самой станицы чеченцы увезли двух казачек, собиравших хворост, там пропали два казака, пасшие табун, там разбили мельницу и захватили четырех казаков, — а мельница находилась всего саженьях в семидесяти от мирного аула князя Темрюка Ахлова, откуда не дали помощи. В районе Гребенского полка ночной разъезд, осматривавший берег Терека, наткнулся на конную партию человек в двадцать и в перестрелке с ней потерял пять казаков убитыми и ранеными. Потом другая партия, переправившаяся выше Щедринской станицы, благополучно миновала казачьи посты и кинулась в степь. Первыми подвернулись ей две гребенские казачки, возвращавшиеся с поля, — их захватили; но тут поднялась тревога, и горцам пришлось как можно скорее убираться за Терек. На обратном пути им попался еще казак с несколькими женщинами; одну из них чеченец на скаку срубил шашкой, но с остальными возиться было некогда, и их бросили. Меняя поминутно направление, чтобы уйти от погони, партия переправилась за Терек верстах в пяти выше Амир-Аджи-Юрта и как раз наткнулась на секрет, заложенный из укрепления. Десять егерей дали залп; четыре наездника свалились, но остальные промчались мимо и, преследуемые по пятам мирными чеченцами, едва-едва убрались за Сунжу.

В отместку за этот неудачный набег горцы угнали из-под Ищорской станицы табун, принадлежавший Ельдарову, и подкараулили казачий разъезд близ Лафетовского поста так, что из шести казаков спаслось только двое.

Этот длинный реестр кровавых происшествий заставил Лаптева проследить внимательно, откуда набегают тучи. Было дознано, что жители некоторых аулов, истребленных Ермоловым, укрылись в леса и, не желая выселяться, бросили даже свои поля, засеянные

хлебом. Во главе этого общества отверженцев, живших только грабежом и разбоями, стоял карабулакский разбойник Астемир — друг и сподвижник Бей-Булата в событиях 1825 года. Его невидимая рука и направляла набеги на линию. Сам Астемир, со своей семьей, жил особняком, в дремучем лесу, у подошвы Черных гор; а верстах в восьми от этой труппы, на берегу Аргуна, стояло небольшое селение Узени-Юрт, служившее сборным пунктом для всех хищнических партий. Сама по себе деревня эта была немногочисленна, но ее население, беспрестанно увеличивавшееся притоком новых беглецов, росло так быстро, что в последнее время Астемир стал выезжать из него во главе уже двух и даже трехсот отважных наездников. В летнее время без значительной потери подступить к этому разбойничьему гнезду было невозможно, и Лаптеву пришлось терпеливо выжидать наступления глубокой осени, когда опавшая листва обнажит леса и сделает их доступными.

В самом начале 1827 года в Грозной получены были известия, что Астемир со своей конницей выехал в мирные аулы и что в Узени-Юрт почти не осталось мужского населения; Лаптев решил воспользоваться этой минутой, чтобы в отсутствие Астемира нанести удар его логовищу, и, быстро собрав отряд, в ночь на десятое января повел его на Уздени-Юрт. К рассвету войска стояли уже перед аулом. Вся конница отделилась вперед. Триста пятьдесят линейных казаков с двумя конными орудиями, под начальством майора Синакова, понеслись к селению, четыреста мирных чеченцев со своими князьями переплыли Аргун и должны были идти обходной дорогой, чтобы отрезать жителям отступление к лесу. Но как ни быстро скакали чеченцы, еще быстрее их несли всадник, с головой, окутанной башлыком, чтобы не быть узнанным. Это был один из изменивших нам лазутчиков. Он вскочил в аул и зловецким криком “урус!” поднял всех на ноги. Оторопевшие жители бросились за Аргун с такой поспешностью, что казаки, едва успевшие настигнуть хвост бежавших, схватили только трех женщин да убили и ранили человек пятнадцать; но остальные спаслись, так как чеченцы, замедлившие на переправе, не успели занять лесную опушку. Зато деревня Узени-Юрт, со всем имуществом и даже домашним скотом, была уничтожена до основания. Астемир явился слишком поздно, чтобы помочь узениюртовцам, и отряд без потери вернулся на линию. Внезапность набега, живо воскресившая в памяти горцев жестокие расправы Ермолова, уничтожила в самом зародыше и замыслы Астемира поднять против нас мирные аулы.

С уничтожением разбойничьего гнезда спокойствие на линии установилось быстро; но зато в глубине Чечни, в недрах ее вековых лесов, по-прежнему копошилась крамола и по-прежнему майортупский мулла вел свою пропаганду. Но пропаганда его долгое время оставалась гласом вопиющего в пустыне, потому что у муллы не было под рукой сообщников, на которых он мог бы положиться в трудном деле народного восстания. Бей-Булат отсутствовал, а Астемир, лихой рубака и смелый наездник, не был способен ни к какой политической роли. Дело подвинулось несколько вперед только тогда, когда в крае появился, наконец, давно ожидаемый фирман персидского шаха. Мулла-Магома торжественно читал его в Майортупе и на Мичике. “Ныне Божию милостью,— говорилось в фирмане,— Я шах Персии, Грузии и Дагестана, по окончании нашего армазана-уразы буду с войсками в городе Тифлисе и очищу вас от русского порабощения. Если же я не учиню сего, то не буду в свете шах Персии. К вам же по окончании уразы пришло с войсками Нух-хана, которого снабжу немалочисленной казной и награжу вас по заслугам примерно, в чем уверяю вас святым алкораном”. Впечатление фирмана было настолько сильно, что не будь чеченцы так приглушены Ермоловым,— 1827 год не прошел бы для нас без больших тревог и потрясений. Но теперь среди чеченцев не было главного — единодушия. Все дело ограничилось поэтому только народными собраниями, на которых обсуждался вопрос о восстании в случае появления Нух-хана с войсками на Сулаке, да небольшим набегом в окрестности Грозной, где чеченцам удалось зажечь

нефтяные колодцы. Обширная же программа, начертанная майортупским муллою, старавшимся вовлечь в восстание мирные аулы, не исполнилась. Лаптев выдвинул за Сунжу батальон пехоты с линейным казачьим полком,— и этого оказалось вполне достаточно, чтобы удержать порядок и спокойствие.

В таком положении были дела, когда на место генерала Лаптева, отозванного Паскевичем в действующий корпус, начальником левого фланга Кавказской линии назначен был генерал-майор Энгельгард, бывший до того комендантом в Кисловодске. При первом знакомстве с положением края, Энгельгард убедился, что общего восстания в Чечне ожидать нельзя; но он обратил внимание на то, что волнение не прекращалось среди засунженских чеченцев, благодаря тому, что в Галгае образовалось такое же опасное и вредное для нас разбойничье гнездо, какое представлял собой некогда Узени-Юрт под крылом Астемира. Сами галгаевцы в большинстве тяготились таким положением дел, вызывавшим внутреннюю неурядицу, но не имели средств управиться с буйными своими односельцами, которые, поселившись за Сунжей в глухих лесах, преимущественно на мельницах или небольших хуторах, избрали своим сборным пунктом деревню Самашки. Туда приезжал гостить известный закубанский князь Тембулат-Магомедов, вместе со своей шайкой, там находили притон беглые кабардинцы и жили знаменитые абреки Тара-Адзуев, Бакарад-Булатов и другие. Требовать выдачи их от жителей было бы мерой крайне несправедливой, потому что жители никогда не могли бы управиться со своими наезжими гостями, и потому Энгельгард решил захватить их хитростью.

Однажды летом, в самую страдную пору, сотня отборных моздокских казаков и столько же мирных чеченцев ночью подошли к Самашкам и, никем не замеченные, окружили поля, засеянные хлебом. Двести человек засело в засаду. Стало светать; из аула показался народ, идущий на полевые работы, а засада всех пропускала свободно, и жители, не чуя грозы, которая висела над их головой, принялась за уборку хлеба. Вдруг по условному сигналу засада поднялась, и все, что находилось на поле, оказалось оцепленным густой казацкой цепью. Так было захвачено почти все население Самашек, а вместе с ним попались в наши руки Тара-Адзуев и вся семья Бакара-Булатова. Но сам Булатов прорвался через цепь и, отстреливаясь, скрылся в лесу. Казаки отпустили домой всех самашинских жителей, а Тара-Адзуева и семью Булатова увезли с собой. Но предварительно они приказали показать себе поля, принадлежавшие тем галгаевцам, которые жили на мельницах, и выжгли их хлеб на корню. При зареве пожара самашинские жители продолжали работать на своих полях, “разумея,— как выражается Энгельгард,— что нами наказываются одни только злодеи”.

Нельзя сказать, чтобы подобные погромы, повторявшиеся время от времени, оставались для нас совсем безрезультатными. Уничтожение Узени-Юрта, захват кабардинских абреков, сожжение полей мятежных галгаевцев — все это приносило свою долю пользы, обуздывая грабежи и разбои, но, естественно, что они не могли изменить общего положения дел и настроения, господствовавшего в народе. Были другие факторы, которые управляли тогдашними событиями. Совпавший как раз с этим временем отъезд из края страшного для горцев Ермолова, значительное уменьшение на линии войск, ушедших на персидскую границу, наконец, то нервное ожидание, чем окончится война, затеянная Персией, так много обещавшей чеченцам в своих прокламациях — вот что волновало умы и угрожало создать нам целый ряд затруднений в недалеком будущем.

Летом, когда успехи русского оружия в Персии еще не обозначались громкими победами, когда стоял еще Сардарь-Абад и жребий войны не был известен,— вдруг по всей Чечне, от гор Дагестана до Военно-Грузинской дороги, пронеслась молва о появлении Бей-Булата. Он приехал из Персии с шестью товарищами. Знатные муллы, почетные чеченцы,

масса сподвижников его в кровавой борьбе с русскими встретили давножданного гостя на самой границе с хлебом и солью. На Бей-Булата возлагались все упования коноводов Чечни, и, действительно, физиономия ее мгновенно изменилась. Во все углы ее поскакали гонцы Бей-Булата, провозглашая общее восстание. И если общего восстания не последовало, то тем не менее масса хищнических шаек опять устремилась на линию.

У самого Амир-Аджи-Юрта появилась партия конных абреков, и в тот же самый день нашли двух солдат убитыми невдалеке от укрепления. Потом пропали два гребенские казака, шедшие из Щедринской станицы на Лафетовский пост, и только по следам, оставшимся на мокрой траве, можно было догадываться, что чеченцы, засев в густом лесу по обе стороны узкой дороги, где шли казаки, набросились на них сзади. Выстрелов никто не слышал, а между тем лужа запекшейся крови ясно свидетельствовала о происходившей здесь схватке.

Еще не успели наговориться об этом происшествии, как на заре седьмого августа поднялась тревога в Щедринской станице. Накануне был праздник Спаса Преображения, и казаки, прогулявшие всю ночь на станичном майдане, крепко спали, как вдруг набатный колокол поднял всех на ноги. Оказалось, что горцы напали на табун, ходивший в нескольких верстах от станицы. Двое сторожевых казаков были захвачены в плен, но третий вскочил на коня и, гикнув на табун, во весь опор погнал его к станице. Как ни трудно было ему уходить от четырнадцати конных чеченцев, но казак так искусно управлял своим табуном, что горцы сочли за лучшее бросить эту добычу, и при первом звуке станичного колокола скрылись за Терек. Табун таким образом был спасен, а к вечеру сбежал из плена и один из казаков, по имени Василий Гяуров. По его рассказу, он, улучив минуту, когда партия переправлялась через Терек, столкнул сидевшего позади его чеченца, а сам кинулся в воду и, как отличный пловец, вынырнул на таком расстоянии, что горцам ловить его было некогда, а стрелять они побоялись.

Через несколько дней, в ночь на двадцать первое августа, в дистанции того же Гребенского полка случилось другое происшествие, которое по своей дерзости уже выходило из ряда мелких хищнических нападений. Это было истребление Роговицкого поста, стоявшего над Терекком, как раз на половине дороги между двумя станицами, Червленной, и Щедринской. Обе станицы, составлявшие корень гребенского казачества, испокон веков славились своим молодечеством; но именно это-то молодечество и порождало в казаках такую беспечность, такое пренебрежение к опасности, от которых до полного расплоха был один только шаг. Широкий казачьей натуре был свойственен “шибок на авось”, и удалым гребенцам не раз приходилось расплачиваться за то своими головами. Но так у них велось уже исстари, и то же самое случилось в роковую ночь на двадцать первое августа. Несмотря на тревожное время, на Роговицком посту не соблюдалось никакой осторожности. Приказный да два казака под вечер отправились в станицу, еще один казак на охоту, и на посту осталось всего четыре человека, из которых один стоял на часах, а трое, забравшись в камышовый курень, позабыли и думать, что существуют абреки. Ночь была темная, ветреная. Разбушевавшийся Терек с грохотом катил свои волны, и под его немолчный плеск тихо, один за другим, выползли на берег двенадцать чеченцев, переплывших реку на тулуках в том месте, где обыкновенно лежал казачий секрет, и где его теперь не было. Осмотревшись кругом, они, как ночные шакалы, тихо подползли к посту и вдруг разом и со всех сторон зажгли его камышовую ограду. Часовой, стоявший на вышке, заметил опасность только тогда, когда яркое пламя внезапно осветило окрестность, и перед ним в дыму замелькали какие-то странные фигуры, бегавшие с горящими головнями в руках. На его крик выскочили еще три казака с ружьями, но в эту минуту уже занялся соломенный курень, и казаки были объаты пламенем; держаться среди огня было невозможно, и они кинулись спасаться через

горевшую ограду, кто в Терек, а кто в придорожные кусты; трое из них ушли благополучно, но четвертого настигла чеченская пуля и положила на месте, почти возле самой постовой ограды. Пожар между тем замечен был в соседних станицах; но когда прискакали казачьи резервы, пост уже догорал, а возле него не было ни казаков, ни хищников. Замечательно, что по другую сторону Терека, как раз против Роговицкого поста, мирные чеченцы содержали конный пикет, на котором в роковую ночь находилось четыре всадника. Люди эти видели, как загорелся пост, слышали крики и ружейные выстрелы, даже сами стреляли на голоса — и все-таки не могли уследить, где переправилась партия и куда она скрылась.

До сих пор нападения на линию производились лишь мелкими шайками, но вслед затем начались и более серьезные попытки, у которых осязалась рука самого Бей-Булата. Сперва он задумал отбить все русские стада, ходившие под крепостью Грозной; но когда высланная им партия была открыта мирными чеченцами и предприятие не удалось, тогда Бей-Булат выехал сам во главе семисот наездников с твердым намерением побывать в самой Грозной. Для этого он разделил свою партию на две части: одна, гарцуя перед самой крепостью, должна была выманить в поле и увлечь за собой гарнизон, а другая, скрытая за Сунжей, кинуться в это время на крепость и, пользуясь отсутствием войск, захватить и разграбить крепостной форштадт. Удайся Бей-Булату дерзкое предприятие — слава его имени пронеслась бы по целой Чечне и, без сомнения, привлекла бы к нему массу сторонников. Но на его несчастье в Грозной уже знали, чего хотел Бей-Булат, — и не вышли из крепости. Тогда Бей-Булат переменял свою тактику. Он приказал открыто готовить бурдюки для переправы через Терек и направил часть своей партии к Щедринской, рассчитывая, что бдительность грозненского гарнизона ослабнет. И, действительно, как только внимание русских обратилось в ту сторону, Бей-Булат в ночь на двенадцатое сентября внезапно кинулся на Грозную. Ружейный огонь и картечь с вала разметали дерзкое скопище, и оно искало спасение в бегстве. За темнотой ночи невозможно было судить о потере неприятеля, но, по всей вероятности, она была ничтожна, так как на другой день нашли только убитую лошадь, да перебитый картечью окровавленный чеченский пистолет. Партия, направленная к Щедринской, также потерпела неудачу и была разбита одиннадцатого сентября мирными чеченцами, встретившими ее под предводительством своего князя Устархана Куденетова.

Вследствие этих неудач Бей-Булат оставил в покое и Терек и Сунжу, намереваясь перенести свою деятельность на Кумыкскую плоскость; но слух о взятии Сардарь-Абада, падение Эривани и пленение Тавриза парализовали все его действия. Под влиянием русских побед кумыки и чеченцы притихли, и при Бей-Булате осталось не более восьмидесяти сторонников, представлявших собой уже не политическую силу, а простую шайку разбойников.

XIX. ЧЕЧНЯ ВО ВРЕМЯ ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЫ

Разгром Персидской монархии и затем быстрое движение русских войск в Турцию, взятие ими Анапы и Карса, громовым ударом поразили Кавказ и не могли не иметь самого благодетельного, отрезвляющего влияния на умы впечатлительных горцев. Напрасно теперь Бей-Булат и пророк Махома собирали народ на маиортупской поляне; напрасно они развешивали перед ним зеленое знамя Магомета, присланное будто бы из Стамбула, для призыва всех правоверных на помощь к хункару; им удалось опять только собрать лишь несколько разбойничьих партий, но население осталось спокойным и крайне недружелюбно встретило султанских эмиссаров. Никогда Восточный Кавказ не пользовался таким спокойствием и никогда население не выражало нам большей симпатии, как в 1829 году.

Эту благоприятную для нас перемену в народе Эмануэль относил к своей снисходительной, человеколюбивой политике и был уверен, что не только нам не придется более прибегать к оружию, но что даже сами чеченцы будут истреблять тех, которые не пожелали бы покориться. Эмануэль, конечно, поддавался в этом случае некоторому увлечению, вполне, впрочем, понятному, так как даже самые прозорливые люди того времени не могли предположить, чтобы под этой завесой спокойствия таился будущий взрыв и продолжительная буря.

Среди всеобщего затишья, один только Бей-Булат не мог и не хотел примириться с таким перерождением хищной чеченской природы и не терял надежды рано или поздно увлечь за собой народ в борьбу с ненавистной ему русской властью. Он стал выжидать благоприятной минуты, а между тем выдвинул на сцену двух знаменитых абреков Чабая и Умара, которым приказал наносить русским вред, какой только будет возможно. Чабай и Умар — оба служили представителями лучшего чеченского наездничества. Это были в своем роде знаменитые партизаны, которые с небольшой шайкой в пятнадцать-двадцать человек отчаянных головорезов держали некоторое время, в осадном положении весь левый фланг Кавказской линии. Рыская по всем дорогам, смело переправляясь через глубокие реки, проскользая среди наших постов и пробираясь в самые станицы, — они с невероятной быстротой переносились с места на место, не редко за целую сотню вёрст, и всюду производили пожары, грабежи и убийства. Только благодаря счастливому случаю, нам удалось наконец избавиться от этих опасных и беспокойных вожakov хищнических партий. В самый разгар своих походов, Чабай и Умар наткнулись верстах в семи от Амир-Аджи-Юрта на команду сорок третьего егерского полка, — и оба сложили свои головы. Дело происходило так. Команда из семидесяти человек, под начальством прапорщика Мостовского, послана была в лес для заготовки фашичника и только что принялась за дело, как один солдат, ходивший на Терек, прибежал с известием, что видел на берегу конную партию, которая готовит тулуки, очевидно, для переправы. Мостовский взял с собой шесть егерей и кинулся к берегу. Его появление было так неожиданно, что партия, состоявшая человек из пятнадцати, кинулась в камыши и стала уходить в разные стороны. Чабай, попытавшийся остановить беглецов, остался один против шести егерей. Тогда рядовой Лазарев, бывший впереди других, бросился на Чабая и, выдержав выстрел почти в упор, схватил его в охапку; оба упали и продолжали борьбу на земле, пока подлетел рядовой Конавчук и ударом штыка положил Чабая на месте. Тело смелого хищника осталось в наших руках и было привезено в Амир-Аджи-Юрт. Для устрашения других, Энгельгард приказал повесить труп перед крепостью, в расстоянии ружейного выстрела, чтобы его нельзя было похитить, и этим средством понудил чеченцев отдать за выкуп его нескольких русских пленных.

Возвратившаяся домой поодиночке партия не нашла среди себя и другого вожак — Умара. Он пропал без вести, и только уже впоследствии узнали, что тяжело раненный в ногу, он заполз в камыши и, не имея сил выбраться оттуда на дорогу, умер от голода.

Попробовал было Бей-Булат пустить еще шайку, под начальством старого разбойника Батала, но и та погибла от рук своих же единоверцев, не достигнув даже Терека. Она была встречена между Дадин и Джавгар-Юртами партией мирных чеченцев, под предводительством старшины Бек-мурзаева, и разбита так, что, по словам очевидцев, сто немирных чеченцев бежали перед шестнадцатью мирными, — до того сильна была паника.

Не в лучшем положении находились дела Бей-Булата и на Кумыкской плоскости, где пропаганда его встретила отпор в лице большинства древней кумыкской аристократии, смотревшей на Бей-Булата как на проходимца низкого происхождения, к которому старые княжеские фамилии не могли относиться иначе, как с презрением. Попытки Бей-Булата

действовать оружием отражались оружием же, и из множества случаев — два особенно выдвинулись по мужеству, оказанному в них кумыками. Так, однажды чеченцы отогнали табун кумыкского старшины Магомета-Баташева, который настиг их с несколькими кумыками и, несмотря на полное неравенство сил, так смело вступил в перестрелку, что остановил партию и дал время подоспеть соседним аксаевцам. В другой раз трое кумыков настигли двенадцать абреков, гнавших табун князя Али-Бека-Адилева. Двое кумыков остановились в нерешимости, но третий, Ассакаев, врезался в толпу, изрубил конного чеченца, двух опрокинул вместе с лошадьми,— и если не успел отбить табуна, то не дал и тела убитого им горца, которое привез с собою в аул. Горцы, впоследствии, выкупили труп за пять лошадей, и Ассакаев добровольно отдал их ограбленному князю. Паскевич, желая поощрить преданных нам кумыков, наградил Баташева золотой, а Ассакова серебряной медалями “За храбрость”.

1829 год открылся новым нападением на линию, в окрестностях Порабочевского селения, но и на этот раз партия едва успела спастись, окруженная казачьими резервами и пехотой, которую Энгельгардт держал небольшими частями по станицам. Постоянные неудачи обескуражили, наконец, и пылкого Бей-Булата. С тех пор, как жители деревни Курчали склонились на увещания коменданта Амир-Аджи-Юртовского укрепления, капитана Шпаковского, и сами привезли к нему русскую пушку, взятую еще при Ермолове,— он убедился, что поднять чеченский народ, стать во главе движения и стать народным кумиром, как это было в 1825 году, в кровавые дни смерти Грекова и Лисаневича, теперь невозможно; ограничить же свою роль предводительством мелких разбойничьих шаек, которые к тому же на каждом шагу терпели поражения,— ему не хотелось. Бей-Булату пришлось призадуматься над своим положением. Он вспомнил тогда, что русское правительство не раз делало ему выгодные предложения,— и теперь решил ими воспользоваться, избрав для этого посредничество шамхала Тарковского. Польщенный шамхал тотчас отправил в Чечню доверенное лицо с предложением, чтобы все почетные старейшины чеченского народа прибыли в Тарки и высказали ему свои условия, если только искренно желали мира и доброго согласия. 4 марта 1829 года в Тарки действительно прибыло сто двадцать чеченцев, а во главе их сам Бей-Булат со своим сыном. Депутация от имени народа выразила желание покориться русскому правительству, но с условием, чтобы их аманаты были приняты шамхалом и жили у него в Тарках, а не в Грозной; в обеспечение же договора Бей-Булат потребовал в заложники одного из родственников самого шамхала, и старый мехти отправил в Чечню Шахбаза, одного из двух побочных сыновей.

Подобный образ действий шамхала возродил, однако, между ним и генералом крупное неудовольствие, выразившееся в резкой переписке со стороны последнего, считавшего, что поведение шамхала в этом случае не совместимо с достоинством России. Он дал ему понять, что покорность Бай-Булата и чеченцев будет признана благонамеренной только тогда, когда они принесут присягу без всяких условий, и потому настойчиво потребовал, чтобы Шах-баз был возвращен из Чечни обратно. Если же Бей-Булат не пожелал бы покориться на общих основаниях, то Эмануэль предлагал шамхалу прекратить с ним всякие сношения, тем более, что в покорности Бей-Булата никто особенно и не нуждался.

Обиженный шамхал со своей стороны не хотел уступить Эмануэлю и жаловался на него Паскевичу, объясняя все дело только вопросом личного самолюбия начальника Кавказской линии, тогда как, по его мнению, в интересах России было безразлично, кому бы не покорились чеченцы — ему ли, шамхалу, или Эмануэлю. Главнокомандующий был недоволен возникшей перепиской и принял в этом деле сторону шамхала.

Он разъяснил Эмануэлю, что при настоящем положении дел, когда наши войска отвлечены турецкой войной, нам бесполезно иметь в Чечне две партии, которые, оставаясь обе покорными, поставлены будут своими междуусобными раздорами в необходимость воздерживаться от враждебных замыслов против русских. Вместе с этим он предложил Эмануэлю употребить все старания на то, чтобы отвлечь с Кавказа вредных людей, и с этой целью склонить Бей-Булата и шестьдесят старшин отправиться в Тифлис, откуда главнокомандующий намеревался взять их с собой в действующую армию. По этому поводу Паскевич писал Эмануэлю: “Одно отсутствие этих людей, которые будут у нас вроде заложников, должно удержать чеченцев от всяких враждебных покушений на линию, а между тем, обласкав Бей-Булата и старшин, я заставлю их быть приверженными к нам искренне, и тогда легче уже будет принять решительные меры против всего чеченского народа”.

В заключение главнокомандующий просил Эмануэля, при будущих сношениях с шамхалом Тарковским, оказывать ему возможное уважение не только как русскому генерал-лейтенанту, но и как владельцу важной провинции, и выражал уверенность, что, при свидании с шамхалом во время проезда его в Петербург, Эмануэль употребляет все средства, чтобы изгладить то впечатление, которое могли произвести на него последние сношения.

Эмануэль оскорбился. Он отвечал Паскевичу, что главнокомандующий напрасно придает Бей-Булату такое значение, которого он вовсе не имеет, ибо влияние его распространяется далеко не на всю часть покорной Чечни, и присутствие его в Тифлисе вовсе не защищает линию от набегов; без Бей-Булата найдется много отважных людей, которые примут на себя предводительство разбойничьими шайками и будут грабить по небольшим дорогам. Между тем выдача сына шамхала в аманаты Бей-Булату не только унижает достоинство могущественного правительства, но даже затмевает ту веру, которую у горских народов приобрели начальники на линии. Эмануэль рассказывает по этому поводу, что в 1827 году, когда ему случилось быть во Владикавказе, генерал Скворцов заявил, что старшины таугарского племени, обитавшего около Казбека, желали бы его видеть, но в обеспечение себя требуют аманатов. “Они должны верить священному слову начальника,— отвечал Эмануэль,— иначе я не могу их принять. Пусть уезжают в горы, а я найду их при надобности и в самых их ущельях”. Скворцов и другие генералы были убеждены, что джугарцы после такого отказа не явятся; но едва Эмануэль на другой день выехал в Ставрополь, как старшины догнали его в Урухе и на коленях просили прощения за выраженное ими недоверие. В другой раз беглый кабардинский князь Росламбек-Берисланов, желая прибыть к Эмануэлю в Ставрополь для объяснения по какому-то делу, так же просил для своего обеспечения аманата. Эмануэль велел сказать ему, пусть приедет на честное слово с тем, что если дело не исполнится по его желанию, то он может безопасно возвратиться в горы,— и Росламбек явился. Потерять такое доверие Эмануэль считал крайне невыгодным, а между тем пример Бей-Булата давал право и другим требовать за себя заложников. Что же касается шамхала Тарковского, то Эмануэль писал в заключение своего рапорта следующее: “Не только в отношениях к шамхалу как генерал-лейтенанту и значительному владельцу, но и ко всякому добромыслящему азиату я, по самому образу мыслей моих, никогда не выйду из границ, начертанных законом, а потому и не имею повода изглаживать никаких впечатлений, происшедших, якобы, из моих отношений к шамхалу, что не может никак соответствовать ни званию моему, ни месту, мною занимаемому”.

Напрасно Эмануэль в своих донесениях указывал Паскевичу на ту подпольную интригу, которую в данном случае вел шамхал, желавший только распространить свое влияние на чеченский народ и подчинить его своему управлению. Паскевич смотрел на дело иначе и

даже по желанию чеченцев назначил Шах-база посредником между народом и нашим правительством, предоставив ему право выдавать билеты для свободного проезда в наши владения. Подобная политика, по мнению Эмануэля, скорее всего могла вызвать общие беспорядки в Чечне, так как большинство народа, требовавшего сношений через шамхала, имела у себя только одну затаенную цель: вовсе не признавать никаких распоряжений, которые исходили бы от имени Эмануэля или Энгельгардта,— и русская власть, таким образом, становилась в крае бессильной.

В это-то смутное время Бей-Булат, в сопровождении ста сорока выборных наездников, прибыл во Владикавказ и явился к генералу Скворцову. Пестрая, полуоборванная, но с виду грозная толпа, составленная из отчаянных разбойников чуть не всей половины Кавказа, производила впечатление; но в этой толпе едва ли был хоть один человек, который явился бы с открытой душой и с честными мыслями служить интересам России. Слух о торжественном приеме Бей-Булата мгновенно облетел Чечню, и, ко времени отъезда в Тифлис, партия значительно увеличилась. Но из Тифлиса Бей-Булат повел в действующий корпус всего только тридцать два человека, а остальные, насытившись столичными удовольствиями, возвратились назад.

Русские войска в это время стояли уже в Арзеруме. Главнокомандующий принял Бей-Булата ласково, объявил, что забывает прошедшее в гостях и у него. “Потому-то мой отец и мой народ,— ответил Бей-Булат,— и прислали меня, чтобы я побывал у тебя прежде, чем ты вздумаешь заглянуть к нам”. Родожицкий, оставивший свои записки об этой эпохе, так рассказывает о своем свидании с Бей-Булатом.

“Во время парада, по случаю взятия Арзерума,— говорит он,— я нарочно ездил смотреть Бей-Булата, который со своими чеченцами стоял верхом на правом фланге сборного линейного казачьего полка, составляющего конвой главнокомандующего. Бей-Булат человек среднего роста, довольно полный, пожилой, с багровым лицом и темно-красной бородой; глаза небольшие, кабаньи, то есть быстрые, блуждающие и налитые кровью. В физиономии его не было ничего замечательного, кроме лукавства и скрытности; но, казалось, что этот человек весь налит был кровью и жаждал ее. Смотря на него, я вспомнил об убийстве Грекова и Лисаневича и удивился, как этот разбойник, будучи главным участником чеченского бунта, до сих пор существует. При Бей-Булате безотлучно находились два почетных товарища и молодой оруженосец, мальчик или женщина, в богатой одежде, с круглым щитом за спиной и с двумя пистолетами за поясом; он возил за Бей-Булатом трубку и кисет с лабаком. В Арзеруме, как Бей-Булату, так и двум его приближенным, отведены были особые квартиры, но остальным чеченцам приказано было расположиться в лагере вместе с казаками; однако недоверчивый и осторожный разбойник разместил всех своих сподвижников на трех данных ему квартирах”.

В то время, как Бей-Булат находился почетным гостем Паскевича, начатое им дело в Чечне продолжал Астемир, и продолжал пожалуй еще с большей энергией и отвагой, нежели сам Бей-Булат. Он еще сдерживал себя до тех пор, пока его братья, Кулай и Элдыхан, находились в Тифлисе, но когда они вернулись назад, Астемир тотчас соединился с кабардинским абреком Хетажуко-Гукежевым и ознаменовал свой первый набег таким кровавым делом, какого не было слышно в Чечне с самого 1825 года. Седьмого августа шайка, в числе ста шестидесяти человек, выехала на Военно-Грузинскую дорогу и между Ардоном и Урухом атаковала русскую команду из семнадцати нижних чинов. Шла ли команда врасплох или чеченцы смяли ее стремительным натиском,— не известно; но когда выстрелы подняли тревогу и с соседних постов прискакали казаки, на месте происшествия лежало семнадцать изрубленных

трупов, из целой команды не спаслось никого, кто бы мог передать подробности этого несчастного случая.

Успех был так заманчив, что шайка Астемира в течение нескольких дней возросла до трехсот человек и приготовилась к нападению на одну из терских станиц. К счастью, в это время прибыла на линию четырнадцатая пехотная дивизия, под командой генерал-лейтенанта барона Розена, присланная из России на усиление Кавказского корпуса, и два полка ее, Бутырский и Московский, были остановлены в окрестностях Георгиевска. Слух о сборах Астемира заставил Эмануэля тотчас передвинуть Бутырский полк к Мекенской станице Моздокского полка и расположить его лагерем. Узнав об этом, Астемир отказался от намерения напасть на одну из казачьих станиц, но решил попытать свое счастье в схватке с только что прибывшим русским полком, еще не знакомым ни с порядком линейной службы, ни с условиями кавказской войны. Астемир рассчитал в этом случае верно и шестнадцатого августа устроил засаду в камышах как раз напротив Пекенской станицы. Мирные чеченцы, державшие разъезды по правую сторону реки, ничего не заметили. Между тем, утром семнадцатого числа, из Бутырского полка послана была за Терек небольшая команда для кошения сена,— и первая кавказская служба бутырцев окончилась для них печальной катастрофой. Триста чеченцев, выждав минуту, когда половина косцов, с тяжело навьюченными возами, отправилась к Тереку и стала грузиться на паром,— вдруг выскочили из засады и кинулись на рабочих. Семь человек были захвачены в плен, остальные изрублены, а четыре мирные чеченца, приданные к команде для содержания разъездов, пропали без вести. Из всей команды спаслись только один унтер-офицер да два рядовых, спрятавшиеся в густую траву и в суматохе не разысканные горцами. Набег такой значительной партии не мог совершиться без участия мирных аулов, и даже без прямого содействия конных постов, которые не могли не знать о присутствии партии, сидевшей в камышах почти целые сутки. Исчезновение разъезда во время самого боя также наводило на мысль, что бутырцы стали жертвой измены, тем более, что целый ряд последовавших затем происшествий указывал на полное брожение в крае. Сам Астемир с этих пор редко предводительствовал в набегах, поручая их другим опытным вожакам, из числа которых особенной известностью пользовался в то время абрек Дадо-Аджакаев, беглец из шамхальства, сделавший своей ареной преимущественно Кумыкскую плоскость; там он подстерег на дороге и убил известного кумыкского старшину Магомета-Баташева, несколько раз нападал на андреевские стада и наконец в сообществе с другими абреками снял кумыкский пикет, стоявший на Ярык-су между двумя глубокими балками. Два кумыкские князя, Шемай-Амзин и Девлет-Гиреев с четырнадцатью узденями пустились в погоню; но горцы навели их на засаду и почти всех перебили. Шемай и Девлет — оба попали в плен и были проданы ауховцам. Замечательно, что после этого случая Дадо имел дерзость открыто явиться в Андреевой с билетом, выданным ему Шах-базом; его, однако же, арестовали и отправили в Грозную.

Последнее обстоятельство подняло целую бурю. Бей-Булат, успевший уже вернуться из Арзерума, жаловался Паскевичу, что Энгельгардт приказывает брать под арест всех тех чеченцев, которые появляются с билетами Шах-база, и что вследствие этого чеченцы угрожают разрушить мирный договор, ссылаясь, что если они заключили его, то только из уважения к шамхалу, и никогда не пошли бы на соглашение с Энгельгардтом, “поелику знают его свойства”.

Со своей стороны Энгельгардт, не желая навлекать на себя нареканий, требовал указаний Эмануэля, как поступать ему с теми чеченцами, которые, покорившись при посредстве шамхала, имеют аманатов в Тарках, а между тем хищничество их на линии и особенно на Кумыкской плоскости превосходит всякую меру. Он указывал на то, что в самое короткое время на линии произошло уже несколько случаев. Так, около Щедринской станицы,

партия шамхальских (как их называет Энгельгардт) чеченцев, окруженная казаками в прибрежном лесу, завела перестрелку, стоившую нам трех человек убитыми и одного раненым. В другой раз, у Новоучрежденного поста, подобные же чеченцы ограбили трех кумыков, ехавших на станичную ярмарку, а из четырех казаков, вызванных с поста для их прикрытия — так как дело было под вечер — два гребенца убиты из засады, а третий захвачен в плен. Наконец, в районе Моздокского полка погибли два казака, один пропал без вести, но другого нашли убитым, и возле него два чеченские трупа,— оба изуродованные страшными ранами: одному нанесено было одиннадцать шашечных ударов, у другого распорота кинжалом вся поясница,— видно, что старый богатырь продал свою жизнь недаром. По двум покинутым телам не трудно было разыскать виновных, и Энгельгардт доносил, что нападение опять сделано было теми чеченцами, которые имеют своих аманатов в Тарках.

Паскевич был крайне недоволен таким положением дел на линии и на жалобы Эмануэля отвечал, “что если бы Бей-Булат не был у него в Арзеруме с изъявлением покорности, то грабежи на линии со стороны чеченцев без сомнения производились бы еще в сильнейшей степени, ибо — как выражается он — несогласия начальствующих на Кавказской линии с генерал-лейтенантом шамхалом Тарковским, предложившим свое посредничество за Бей-Булата, не могли вести ни к чему хорошему”...

К сожалению, не только для Паскевича, писавшего это предписание, но даже для Эмануэля и Энгельгардта оставалось тайной то, что совершилось тогда в Дагестане; а между тем многое объяснилось бы им, если бы они только внимательно проследили за тамошними событиями. Все, что покорилося в Чечне через шамхала, естественно находилось в сношениях с Тарками, а Тарки явно уже приняли учение Кази-муллы, и, таким образом, пропаганда последнего начала пускать свои корни и среди чеченцев, подготавливая взрыв, который на долгое время вырвал из наших рук владычество над Восточным Кавказом.

Все это, однако же, стало ясным только впоследствии, а тогда все беспорядки приписывались исключительно отдельным личностям вроде Астемира, и на них-то время от времени падали удары русского оружия. Так было прежде, и то же самое случилось осенью 1829 года, когда Энгельгардт решил истребить деревню Иса-Юрт, лежащую за Сунжей и служившую обычным притоном Астемира. Исаюртовцы, отлично понимавшие русскую политику, отклонили от себя грозу тем, что выслали навстречу генералу старшин и аманатов, прося оградить их самих от Астемира. Не решаясь истребить деревню, искавшую у нас покровительства, Энгельгардт седьмого ноября повел отряд на Далги-юрт, окруженный со всех сторон дремучими лесами, в которых, по указаниям лазутчиков, и находились две крепкие башни, служившие жилищем самого Астемира и его товарища по разбоям, кабардинского абрека Хетажуко. Когда башни были взяты, Энгельгардт предложил Астемиру явиться с изъявлением безусловной покорности, угрожая в противном случае истребить его имущество. Астемир отвечал: “Я покорюсь, но с условием, чтобы от меня не требовали возвращения пленных и чтобы мне позволили воевать с карабулаками, с которыми я должен свести старые счеты”. Условия эти, разумеется, были отвергнуты, и отряд, разрушив башни и предав огню имущество Астемира, возвратился на линию.

Другой подобный же набег предпринят был в феврале 1830 года на Гудермес, где отряд полковника Ефимовича истребил деревню Кайбай, не раз замеченную в укрывательстве хищников; но когда войска подошли к другой деревне Елас-Хан-Юрт, то нашли ее готовой уже к обороне. Ефимович благоразумно воздержался от атаки, понимая, что

значительная потеря в людях, неизбежных при открытом нападении, никогда не вознаградит за истребление ничего не стоящего чеченского аула.

Это были последние военные действия в командование генерала Энгельгардта. В половине февраля 1830 года он был назначен комендантом в Кисловодск, а место командующего войсками на левом фланге Кавказской линии занял начальник четырнадцатой пехотной дивизии, генерал-лейтенант барон Розен.

XX. ПРЕДВЕСТНИКИ ВОССТАНИЯ

В начале 1830 года Чечня переживала тревожное время. Ей грозила участь попасть между двумя огнями: с одной стороны шли неясные слухи о приготовлениях Паскевича к большой экспедиции, грозившей Кавказу покорением всех его племен от Черного до Каспийского моря; с другой — народ волновал Кази-мулла новым, еще неизвестным учением, которое только в смутных отголосках доходило до гор и дебрей Чечни. Это было то время, когда Кази-мулла, во главе вооруженных мюридов, двинулся на сильнейшее самостоятельное владение Дагестана — Аварию, и тем как бы показывал, каким образом мюрид одним взмахом шашки делает два дела: богоугодное — утверждение веры, и земное — обеспечение или завоевание для себя независимости. Вся страна с трепетом следила за ходом аварской экспедиции и ждала, что за падением Хунзаха имам спустится с гор на Кумыкскую плоскость и понесет свои победные знамена на Терек и Сунжу. Сношения между Чечней и Дагестаном шли деятельно, и, благодаря своим аманатам, проживавшим в Тарках, чеченцы знали решительно все, что затевалось Кази-муллой.

Барон Розен, только что вступивший в командование войсками левого фланга, ясно видел необходимость оградить пределы Чечни от внешних вторжений и прекратить внутренние волнения, которые проявлялись уже в угрожающих формах. Поэтому при первом известии о сборе Кази-муллой шеститысячного скопища в Гимрах, он выехал во Внезапную, приказав следовать за собою форсированным маршем двум ротам сорок третьего егерского полка с двумя орудиями и двум сотням линейных казаков. Гарнизон небольшого укрепления, строившегося в Казииюрте, где находилась паромная переправа через Сулак, также усилен был двумя казачьими сотнями, а на линии сосредоточивалась целая бригада пехоты: полки Московский и Бутырский. Кроме того, из Закавказья уже следовали на помощь войскам левого фланга и остальные полки четырнадцатой дивизии, Тарутинский и Бородинский, с пешей батареей. Им приказано было расположиться на Тереке между Моздоком и Екатериноградом.

Но тучи так же быстро рассеялись, как и собрались. Не успел Розен доехать до Андреевой, как пришло известие о поражении Казы-муллы самими же аварцами, — и что еще хуже: о сотнях правозверных тел, покинутых мюридами в руках неприятеля. Такой неудачи никто из горцев, проникнутых глубоким убеждением в святости имама, не мог ожидать, — и событие вызвало в народе сильную реакцию: в первую минуту все отшатнулось от Кази-муллы и бросилось к русским с изъявлением раскаяния и покорности. Розен считал дело оконченным и, приняв аманатов от соседнего Салатовского общества, вернулся в Грозную, а небольшой отряд, оставленный в Андреевой, поступил под команду полковника Ефимовича.

При более внимательном отношении к делу, Розен, конечно, мог бы прийти к заключению, что всякое религиозное движение, подготовлявшееся в народе самым складом жизни, не могло исчезнуть при первой неудаче, как бы она не была тяжела, и что изъявления раскаяний, покорность, аманаты — все это было последствием только мимолетного страха, обуявшего толпу, но не искореняло ни самой идеи, пустившей уже

глубокие корни в душе каждого горца, ни силы проповедника, который при небольшой находчивости мог обратить в свою пользу первый представившийся ему благоприятный случай. И случай этот, как нарочно, не заставил ожидать себя долго. Это было страшное землетрясение, прошедшее полосой по всему Дагестану и захватившее Кумыкскую плоскость.

Само по себе стихийное явление это не представляло ничего особенного в крае, где исторические факты свидетельствуют о гибели целых городов со сотысячным населением, но уже, видно, так было назначено судьбой, чтобы это сравнительно ничтожное землетрясение сыграло политическую роль на руку Кази-мулле и его мюридам.

Вот что случилось во Внезапной.

Двадцать пятого февраля 1830 года, в час и двадцать три минуты пополудни, жители были поражены каким-то необычайным гулом, точно невдалеке скакала целая тысяча всадников. Никто не успел дать себе отчета, что это такое, как вдруг земля заколебалась и два подземные удара, быстро следовавшие один за другим, раздались так сильно, что крепостные верки моментально рассыпались, тяжелые пушки были сброшены в ров, казармы рухнули, и из-под их развалин стали раздаваться стоны людей, придавленных образовавшимися грудями камней и бревен. В Андреевой катастрофа отразилась еще сильнейшими бедствиями. За густым облаком пыли, поднявшимся над городом, долго ничего не было видно и только слышался зловещий треск разрушающихся зданий. Впоследствии оказалось, что в Андреевой разрушено было девятьсот каменных саклей и восемь мечетей; сорок человек жителей было убито, множество ранено и в том числе сам главный кумыкский пристав, князь Муса-Хасаев, придавленный обрушившейся саклей. В соседней деревне от высокой горы, у подошвы которой она стояла, оторвалась громадная глыба земли, саженей в двести, и засыпала целый овраг, похоронив в нем и стада рогатого скота, и отары овец. Каменные горы во многих местах дали трещины; из расселин земли выступила вода и образовала бешеные потоки, уносившие все, что попадалось им на пути; потом эти ручьи исчезали и на их местах появлялись узкие, бездонные щели, ползатянутые сверху песком и илом. В первые минуты паника была так велика, что солдаты из крепости и жители из города бежали в поле, и до трех часов ночи, пока удары следовали непрерывно один за другим, никто не осмеливался приближаться к стоявшим еще строениям, которые неведомая сила качала точно карточные домики. Только поутру высланные команды успели кое-как собрать и вынести из крепости покинутое имущество, ружья, амуницию и патроны. Землетрясение с небольшими перерывами продолжалось двадцать один день и кончилось только восемнадцатого марта. Все это время гарнизон Внезапной размещался в калмыцких кибитках, а жители частью разбрелись по соседним аулам, а частью ютились под открытым небом, несмотря на суровую зиму, державшуюся к общей беде дольше обыкновенного.

Сего печального явления
Мы не застали, но следам
Еще живого разрушенья
Дивились с горестию там.
Все было дико и уныло,
Все душу странника в тоску
И грусть немую приводило.
Громады камней и песку,
Колонн разбитых пирамиды,
Степные, пасмурные виды.

Туман волнистый над горой,
Кустарник голый, и порой
Как будто мертвое молчание...

Так говорил Полежаев, описывая в своей поэме “Эрпели” чувства, волновавшие его при виде развалин некогда богатого и цветущего Андреева.

Весьма любопытно, что обе стороны, и местные, и русские, сошлись на этот раз в одинаковом стремлении — истолковать это грозное, но до сих пор не разгаданное явление в свою пользу. Так горцы, убежденные, что все сверхъестественное, лежащее вне воли человека, предусмотрено в китабе — “книге книг”, обратились к своим улемам и шихам за разъяснением, какими грядущими бедами грозит им разгневанное небо? И вот в ушах смущенной и перепуганной толпы раздался тогда мрачный и зловещий голос маиортупского муллы, призывавшего всех правоверных к покаянию; он говорил, что страшное, испытанное ими колебание земли есть знамение Божьего гнева и что предотвратить кару можно только соблюдением святого шариата. В этом голосе Розен увидел уже симптомы приближающейся бури и, со своей стороны, поторопился принять меры к удержанию суеверного народа от ложных суждений и толков. К сожалению, он обратился к прокламациям, в которых старался уверить народ, что землетрясение ниспослано ему в наказание за его измену и неблагонамеренные поступки против русского правительства. Но это уверение было воочию неубедительно, потому что народ собственными своими глазами видел лежавшую в развалинах также и русскую крепость. Поэтому нельзя было не признать, что на этот раз, ввиду обоюдности несчастья, призывание к покаянию со стороны маиортупского муллы было более понятно народу, и даже кумыкская аристократия, издавна верная России, поголовно обратилась к усердному соблюдению шариата. Прискорбнее же всего для нас было то, что сам кумыкский пристав князь Муса-Хасаев, человек уже старый, под влиянием постигшего его несчастья, теперь оказался зараженным суеверным страхом до того, что даже должен был оставить свою должность. Он удалился в Аксай, где собирал народ и то и дело передавал ему свои сновидения, казавшиеся ему почему-то вещими, навеянными свыше. Волнение росло, и Розену пришлось обратиться к другому, более действенному средству, нежели видимо вытянутые увещания. Сформирован был новый отряд из восьмисот человек пехоты и трехсот линейных казаков с четырьмя конными орудиями, который, под начальством полковника Ефимова, расположился в районе между Внезапной, Таш-Кичу и Казиюртом, показывая готовность подавить малейшее смятение. За ним в виде резерва опять стали на линии полки Московский и Бутырский; сюда же, на линию, окружной дорогой, через Кубу и Дербент, направлены были из Грузии оба батальона Тенгинского полка, а через Кавказские горы шла целая бригада с ротой артиллерии, высланная из Гори. Это были те два боевые полка четырнадцатой дивизии, Тарутинский и Бородинский, которые уже были окурены порохом и искрестили горную Аджарию, под начальством генерала Сакена. Труден был поход их через горы в снежную зиму, при непрерывных метелях и обвалах. Бородинский полк употребил три дня, чтобы пройти расстояние в семнадцать верст от Койшаура до Коби, а в Тарутинском метель занесла часть обоза, который пришлось покинуть в горах и, сверх того, под снежным обвалом, упавшим между Крестовой и Коби, погребено было пять нижних чинов да один осетин-подводчик. С прибытием этой бригады на линию, численность войск левого фланга возросла до десяти батальонов пехоты,— сила, которую берега Терека едва ли когда-нибудь видели, и несмотря на это, тревожные слухи продолжали доходить до Розена со всех сторон. Лазутчик, посланный им в горы, возвратился с известием, что Кази-мулла принимал у себя чеченскую депутацию, во главе которой находился Авко, один из крупных деятелей восстания 1825 года. Этот экс-имам Чечни и настоящий имам Дагестана имели между собой совещания и

заклучили условие, в силу которого чеченцы обязались принять шариат, а следовательно и газават, то есть войну за веру.

Вернувшись домой, Авко оповестил народ, чтобы все собирались в Майортупе к четырнадцатому апреля. Народу съехалось так много, что майортупская поляна было буквально заставлена конными и пешими чеченцами. Среди гробовой тишины, когда все замерло, стараясь не проронить ни единого слова, Авко прочитал письмо, в котором имам сообщал чеченцам, что весной придет к ним на помощь с таким многочисленным войском, “голова которого будет в Андреевой, а хвост на реке Койсу”, и чтобы чеченцы к этому времени запаслись лошадьми и оружием. По всей Чечне закипели приготовления: все снаряжалось, закупало лошадей, исправляло оружие и заготавливало значки. Поддерживая в народе такое настроение, Авко время от времени напоминал ему о святости принятых им обязательств и о великости жертв, которых потребует от него религия. Так прошло две-три недели; наступила весна, и хотя до подножного корма было еще далеко, но нетерпеливый Авко уже кликнул клич,— и в один день около него собралось до четырехсот конных чеченцев. С этой партией он двинулся на Кумыкскую плоскость, распуская слух, что идет навстречу имаму. По мере следования к нему приставали жители попутных аулов, и скопище, быстро увеличиваясь, дошло до весьма солидных размеров. На Аксае, на месте старого Герзель-аула, Авко остановился и только тут объявил чеченцам настоящее свое намерение — воспользоваться сбором, чтобы разгромить город Андреев или отбить у кумыков стада. Но в толпе нашлось немало благоразумных людей, которые наотрез отказались от подобного предприятия в виду русских войск, стоявших наготове,— и скопище, обманутое в своем ожидании встретить имама, недовольное своим предводителем, разошлось по домам.

Вся эта сумятица закончилась в Кумыкских владениях одним эпизодом, замечательным по стечению в нем разом нескольких случайностей, невольно заставляющих призадуматься над судьбами, управляющими человеком. Нужно сказать, что в числе опаснейших для нас предводителей горцев, пользовавшихся в Чечне, подобно Дадо, всеобщей известностью, были абреки — Байрам, по прозванию Аульский, Пантюк-Исак и Ходокой-Абукер, кумык по происхождению, бежавший в горы из Андреева. Когда партия Авко разошлась по домам, они собрали к себе человек десять абреков и остались в кумыкской земле, не желая возвращаться с пустыми руками. Случай натолкнул их на трех так называемых горских евреев, ехавших без конвоя из Костека в Андреево. По-видимому, зверь бежал на ловца, но судьба, “кесмет”, как говорят чеченцы, распорядилась иначе. В то время, как растерявшиеся евреи позволили хищникам обезоружить себя безнаказанно, подводчик-кумык выстрелил из ружья, и пуля сразила наповал как раз Панткжа-Исака, стоявшего верхом у самой подводы. На этот одиночный выстрел прибежал случайно проходивший невдалеке кумыкский уздень, по имени Хасав, и, видя, что разбойников двенадцать человек и что самому ему бежать уже поздно, выхватывает винтовку, и выстрел, пущенный в толпу наудачу, кладет на месте второго предводителя, Ходокой-Абукера. Тогда озлобленные абреки кидаются на Хасава, но тот выхватывает огромный кинжал, и под его взмахом валится с седла и третий предводитель, у которого рука оказалась отрубленной по самый локоть. Горцами овладела ужасная паника, и десять человек побежали перед двумя почти невооруженными и пешими кумыками. Раненого Байрама и труп Абукера они успели еще подхватить на коней, но тело Пантюка осталось на месте и было доставлено во Внезапную. Кроме трех предводителей, никто не был ни убит, ни ранен, точно судьба нарочно устроила роковую встречу, чтобы для двух из них навсегда закрыть книгу жизни, а третьего привести в состояние совершенной безвредности. Много и долго говорили в Чечне об этом оригинально-замечательном случае.

Между тем Авко, вернувшись в Майортуп, оповестил чеченцев, что вновь соберет их после праздника байрама, приходившегося в том году на двадцать пятое мая. Ввиду этих слухов, Эмануэль приказал держать войска наготове, но Розену разрешено было действовать только в том случае, если чеченцы действительно пошли на соединение с Кази-муллой. Тогда Розен должен был преградить им путь и заставить вернуться назад, а затем опять отойти на линию и не предпринимать никаких наступательных действий. Эмануэль, уже посвященный в обширные планы Паскевича, находил так же, как и фельдмаршал, что для успеха в деле покорения Кавказа нужны были не частные экспедиции, а единовременное движение сильных отрядов в самую глубь неприятельской земли, и при том с разных сторон, чтобы разъединить горцев и лишить их средства подавать друг другу взаимную помощь.

Не отрицая, что в составе этого плана таились глубоко обманные черты, как, например, проложение линии от самого Телава через Хевсурию по реке Аргуну до Грозной,— что было исполнено только по прошествии двадцати восьми лет Евдокимовым, и то лишь отчасти,— общий недостаток этого плана все же заключался в полном незнании нами горного Кавказа, как в топографическом, так и в социально-политическом отношениях. Но судьба сама позаботилась избавить нас от тягостного сознания в столь крупной ошибке, как движение в горы, и послала целый ряд сторонних обстоятельств, которые помимо воли втянули нас в военные действия и создали ряд частных экспедиций, имевших целью, как говорят официальные документы, упрочить предварительно спокойствие в некоторых местах Дагестана. Последствием вот этих-то обстоятельств и были уже описанные нами действия Ефимовича, Скалона и Дурова в шамхальстве, а затем и самая койсубулинская экспедиция, отвлекшая внимание барона Розена от дел и событий, совершавшихся на левом фланге Кавказской линии.

Взглянем же теперь, что происходило в это время и по этому поводу в соседней с нами Чечне.

Как только Кази-мулла увидел, что койсубулинский вопрос близится к своему разрешению и русские войска уже подступают к Гимрам, он тотчас послал некоего Ших-Абдуллу в самое сердце Чечни — Ичкерия, чтобы поднять чеченский народ на помощь к койсубулинцам. Был праздник курбан-байрам. В одном из многочисленных аулов Ичкерии Ших-Абдулла совершил всенародное торжественное моление Богу об участии народа и своим красноречием и необыкновенной восторженностью дервиша произвел такое сильное впечатление, что ичкеринцы в тот же день повязали на свои головы белые чалмы и провозгласили Абдуллу угодником Божиим, шихом, а себя его последователями. С этих пор толпы народа стали ежедневно собираться на гору Кечен-Корт, чтобы слушать поучения Абдуллы и совершать жертвоприношения, предписываемые Кораном. Множество быков и баранов, приводимых религиозными слушателями, закалывались тут же, и мясо их служило обильной и бесплатной трапезой народу, быстро переходившему от молитвы к пиршеству и от пиршества опять к молитве и покаянию. Когда слушатели оказались уже достаточно наэлектризованными, Абдулла объявил волю имама, чтобы те, которые надели чалму, как знак своей принадлежности к высокому духовному ордену, исполнили бы и на деле последнее слово закона — газават неверным. На первый раз он потребовал от каждого дома по одному вооруженному человеку. Толпа собралась, хотя и несколько в меньшем размере, чем можно было ожидать,— потому что Ичкерия была весьма многочисленна; но делу опять помог Авко, явившийся сюда со своей четырехсотенной конницей. Состоялось совещание, на котором решено было отправиться на помощь к койсубулинцам ближайшей дорогой через Гумбет. Но гумбетовцы, опасаясь возмездия русских, восстали против такого решения и наотрез отказались пропустить их через свою землю. Тогда, по совету Авко, весь вооруженный сбор перешел в Майортуп,

чтобы усилиться новыми толпами чеченцев и затем уже проложить себе дорогу через Гумбет открытой силой.

Розен получил об этом известие под Гимрами. Все еще не придавая серьезного значения движению, начавшемуся среди чеченцев, он приказал только Бородинскому полку передвинуться из Наурской станицы поближе к Майортупу и стать в Таш-Кичу для наблюдения за скопищем, а кумыкской коннице расположиться по границе, для прикрытия своей земли от вторжения хищнических партий. В этом расположении обе стороны оставались до конца койсубулинской экспедиции, когда помощь чеченцев оказалась ненужной. Ших-Абдулла распустил свои партии и вернулся в горы, а Бородинский полк отодвинулся назад на линию.

Наступил август. Паскевич вернулся из Петербурга, и войска стали деятельно готовиться к большой чеченской экспедиции. Громадные силы, предводимые лично фельдмаршалом, должны были вступить в Чечню и, искрестив ее по всем направлениям, везде оставить свои укрепления и гарнизоны. Казалось, что близится уже последний час чеченской свободы, как вдруг одно обстоятельство разом разрушило все наши планы и соображения. Это была опять та внешняя, не зависевшая от воли человека сила, которую ни предугадать, ни предупредить было невозможно. Это была страшная холера, занесенная из Дагестана, которая, развившись в ужасающей степени, немилосердно бичевала и население, и войска, стоявшие по казачьим станицам; заболел даже сам начальник линии генерал-лейтенант Розен. Паника распространилась повсюду. Главнокомандующий, уже перенесший свою главную квартиру в Пятигорск как центральное место Северного Кавказа, убедился, что при таких условиях никакие военные действия невозможны, и отложил их до половины сентября, когда наступление холодов должно было если не прекратить, то по крайней мере в значительной степени ослабить эпидемию.

В это же время Паскевич занялся введением нового военно-административного деления Кавказской линии, которая образовала четыре вполне самостоятельные части: правый фланг, начинаясь от берегов Черного моря, шел по Кубани до Усть-Лабинской крепости и заключал в себе всю территорию Черноморского казачьего войска и часть черноморского побережья. Центр занимал пространство от границ Черноморья вверх по реке Кубани, а затем по Малке и Тереку до города Моздока; а от Моздока до Каспийского моря шел уже левый фланг, разграничивавшийся рекой Сулаком с шамхальским владением. Большая Кабарда подчинялась центру, а Малая и Кумыкская плоскость — входила в состав левого фланга. Четвертый отдел составлял Владикавказский округ, куда входила часть Военно-Грузинской дороги, от поста Ардонского (на север от Владикавказа) до селения Коби, лежавшего у перевала через главный хребет.

Центр, по своей обширности, также делился на три дистанции, из которых каждая имела своего отдельного начальника; первая дистанция простиралась от устья Лабы до впадения в Кубань реки Джегуты; вторая — от устья этой реки до Каменного моста на Малке, и третья — от Каменного моста по всей большой Кабарде до Военно-Грузинской дороги.

Это административное деление, с его техническими названиями “центра” и “флангов”, напоминая большую армию, действующую в поле, показывало прямо, что Северный Кавказ превращается в военный стан и что гражданское развитие его отодвигается в далекое будущее. Это и было причиной, почему в стране, служившей исключительно военным целям подряд тридцать четыре года, естественные богатства оставались под спудом и даже не развились до надлежащей степени наши прекрасные пятигорские воды.

Почти одновременно с этим новым делением последовало и новое назначение барона Розена, получившего двадцать первую дивизию, а на место его командующим четырнадцатой дивизией и войсками левого фланга назначен был генерал-лейтенант Алексей Александрович Вельяминов.

Пробегая в памяти минувшие события кавказской войны, невольно вспоминается то время, когда Вельяминов, один из выдающихся деятелей ермоловской эпохи, должен был покинуть Кавказ и искать службы в России. И вот, не прошло трех-четырёх лет, как тот же Вельяминов появляется опять на Кавказе, но уже облеченный безусловным доверием фельдмаршала,— так немногие годы войны радикально изменили взгляды Паскевича на предшествовавшую ему эпоху и на ее деятелей. Вельяминов, принадлежавший к числу тех людей, для которых почти не существует собственного “я”, а есть только долг, исполнение службы да готовность принести себя всецело на алтарь отечества, не колеблясь, принял предложение фельдмаршала и прибыл на Кавказ шестого сентября. Чеченская экспедиция была в это время отложена, но не отменена совершенно; войска стояли в боевой готовности, и их-то скученность служила главнейшей причиной развития между ними холеры. Вельяминов первый указал на это обстоятельство и настоял на том, чтобы все военные действия и даже намерения Паскевича — подготовить успех будущей кампании заложением большого укрепления при Казак-Кичу, на переправе через Сунжу, отложены были до весны будущего года.

Он позаботился как можно скорее расположить полки своей дивизии на широких квартирах, чтобы поправить их санитарное состояние, “а затем,— как он писал Эмануэлю,— будет время подумать и о военных действиях”.

Пока войска отдыхали, Вельяминов знакомился с положением края и приходил к убеждению, что в Чечне подготавливается нечто близкое к событиям 1825 года. Знакомые ему имена Бей-Булата, Авко и Астемира не сходили с народных уст; и если первый из них держал себя осторожно и не участвовал, по крайней мере явно, ни в каких народных собраниях, то нельзя было поручиться за то, чтобы он остался таким и в минуту решительного восстания. Надо сказать, что требование Ших-Абдуллы в Чечне оставило глубокие следы среди фанатизированного им населения. По его отъезде, сорок фанатиков отправились прямо в Ашилту, где находился в то время имам, и настоятельно потребовали, чтобы он посетил Чечню, в интересах проповедуемого им учения. Кази-мулла действительно на исходе августа появился в Ичкерии и мог убедиться собственными глазами, насколько чеченцы подготовлены к восприятию шариата.

Каждое слова имама, говорившего поучения, принималось народом восторженно, и экзальтация достигла наконец до того, что многие, бросаясь к ногам проповедника, рвали на себе одежду и терзали собственное тело. Весь путь от Беноя до Кишен-Ауха представлял собой одно триумфальное шествие. Кази-мулла ехал шагом, сопровождаемый ружейными выстрелами и пением “ла-ильяхи-иль-алла” целых тысяч народа, сбегавшегося, чтобы только поцеловать след святого человека. Из Кишен-Ауха Кази-мулла проехал в Зондак и Майортуп, где повторилось то же, что было в Беное и в Кишен-Аухе. Ревностнейшими апостолами его являются на этот раз новые лица, как, например, Хаджи-Ягья, ноенбердынский мулла Койсун и другие, впервые выступавшие на политическую арену и тем не менее уже начинавшие затмевать старые имена Авко и Астемира. Все они указывают народу на перенесенные им бедствия, угрожают в будущем еще большими карами и требуют, чтобы чеченцы, обратившиеся на истинный путь, надели чалмы или повязку около шапки, что в данном случае могло заменить им, хотя до некоторой степени, установленное путешествие в Мекку.

“Хотя сим только и ограничивается внушение мулл,— доносил Вельяминов,— но нельзя не проникнуть, что если бы удалось им и в самом деле подвинуть чеченцев к вооруженному восстанию, то повязка на шапке будет служить, без сомнения, условным знаком соединения магометан”.

Симптомы общего движения не замедлили обнаружиться и в более резкой, осязательной форме. Это было нападение, произведенное в Ханкальском ущелье, на команду, посланную из Грозной для заготовки дров. Команда была сборная и состояла из ста шестидесяти человек Московского и сорок третьего полков, под командой прапорщика Тихановского. Молодой офицер не принял, как надо полагать, должных мер осторожности, и потому цепь не успела разойтись и занять назначенные ей места, как чеченцы, сделав из леса залп, кинулись в шашки. К счастью еще, что под удар попали старые кавказские егеря, а не молодые москвичи, отошедшие со своим офицером значительно левее. Захваченная врасплох, но не потерявшая присутствие духа горсть егерей быстро собралась на голос своего унтер-офицера Соболева — старого ветерана, еще современника Грекова, и стала отбиваться штыками. Когда прибежали москвичи, а из-за Сунжи, со стороны Грозной, показались сильные колонны пехоты и конницы, которые вел сам Вельяминов — горцы уже рассеялись. Поле битвы осталось за егерями; но в короткий момент рукопашной схватки четырнадцать человек из них было изрублено, двенадцать ранено шашками и два захвачены в плен.

Вельяминов по достоинству оценил стойкую оборону егерей и тут же пожаловал Соболеву знак отличия военного ордена.

Другим, еще более крупным событием, отразившимся в Чечне опять-таки общим волнением, был сбор значительной партии в несколько сот человек, которую сам Астемир повел на карабулаков. Не лишнее заметить, что карабулаки, считавшие себя потомками древней чеченской аристократии, всегда держались в стороне от других племен и старались входить в родственные связи только с кабардинцами. Подобные отношения, вероятно, и были причиной, по которой остальные чеченцы относились к карабулакам почти с такой же враждебностью, как и к надтеречному селению Брагунам, в котором проживали потомки чеченских владетельных фамилий. Замечено, что в таких социальных взглядах на свое внутреннее устройство чеченцы сближались с шапсугами Закубанского края — племенем также исконно демократическим; к этому сходству надо прибавить еще и загадочное деление этих двух народов на Большую и Малую Чечню, и на Большого Шапсуга и Малого.

Сам Астемир по своему происхождению принадлежал также к карабулакскому племени. Какие обстоятельства заставили его покинуть родину и стать абреком — об этом нет никаких следов ни в официальных документах, ни в частных рассказах; а между тем ненависть его к карабулакам была так велика, что он однажды готов был изъявить покорность даже русскому правительству, лишь бы только это правительство не мешало ему сводить свои старые счеты с карабулаками. Когда Астемиру в этом было отказано, он решил расправиться сам. И вот в ноябре 1930 года огромная партия, в которой участвовало гораздо более мирных, чем немирных чеченцев, вошла в карабулакские земли и через несколько дней возвратилась назад с огромным количеством отбитого скота и лошадей. Замечательно, что мирные чеченцы на этот раз не думали даже и скрывать своего участия в набеге. “Сегодня,— писал генерал Вельяминов Эмануэлю,— я говорил об этом происшествии с тремя старшинами Атагинской деревни, и они уверены, что не сделали в этом случае ничего дурного, хотя и ограбили деревни нам покорные. Они уверяют, что карабулаки в разное время похитили у них гораздо больше, и, кажется, что, несмотря на значительное количество отбитого скота и лошадей, чеченцы не считают себя

вполне удовлетворенными, а потому едва ли за этим предприятием не последует вскоре еще подобное же на карабулак нападение”.

Паскевич и сам убедился наконец, что брожение, господствовавшее в Чечне, и в особенности соединение мирных и немирных аулов в одном общем набеге, отзывалось уже достаточной для нас опасностью, а потому разрешил Вельяминову, когда потребуют обстоятельства, не только подать помощь карабулакам, но и сделать частную экспедицию для наказания самих чеченцев.

Вельяминов начал с того, что наложил свою тяжелую руку на мирные надтеречные аулы, без участия которых не могло производиться никаких вторжений в наши пределы. Он потребовал от них деятельной кордонной службы, бдительности и карал за каждый прорыв неприятельской партии. Случилось, например, что в темную, сентябрьскую ночь чеченцы угнали десять штук рогатого скота из станицы Червленной,— и Вельяминов тотчас приказал отобрать от жителей двух деревень Брагуны и Нового-Юрта, мимо которых прошла партия, токе десять штук скота и возвратить его казакам. В другой раз чеченцы отбили в Ногайской степи косяк лошадей — и Брагуны опять поплатились точно таким же количеством голов, какое угнали чеченцы. Всякое воровство, всякий грабеж на линии отзывался на мирных немедленным возмездием, а были случаи, когда Вельяминов привлекал к ответственности и самих владельцев. Однажды казаки заложили секрет в каюке, выдвинутом на середину Терека, и подстерегли шестерых абреков, переправлявшихся на нашу сторону. Залп с каюка положил одного чеченца на месте, но казаки не успели захватить тела, потому что каюк сел на мель, а горцы, воспользовавшись этим, вытащили труп из воды и взяли с собой. Дело происходило на глазах мирного пикета, который по ту сторону Терека занимали в ту ночь жители Нового-Юрта. Казаки кричали с каюка, чтобы они ловили чеченцев, но пикет не сделал к этому ни малейшей попытки. На другой день, когда от ново-юртовцев потребовали ответа, почему они, находясь в таком близком расстоянии, не дали помощи и не отбили у хищников тела убитого, они отвечали, что сами ожидали нападения и потому не решились бежать на выстрелы. Вельяминов потребовал в Грозную владельца аула Шах-Гирея и засадил его в каземат. “По моему мнению,— писал он Эмануэлю,— за подобное поведение полезно владельцев не только подвергать строгому аресту, но, смотря по важности происшествия, можно иногда и владения лишить, ибо подобное поведение есть истинная измена”.

Мы увидим впоследствии, что тяжелое положение надтеречных аулов, вечно стоявших между двумя огнями, улучшилось только лишь тогда, когда в сороковых годах заложена была сунженская линия, совершенно отгородившая эти аулы от их немирных собратий.

Другое положение дел помнил на линии генерал Вельяминов. Принадлежа к числу тех людей, которые всецело приносили свою жизнь на пользу отечества, он и в отношении других требовал того же самопожертвования, которое считал нормальным в каждом человеке, и из подобных взглядов не исключал даже горцев, принявших покорность. Вот почему он не хотел разыскивать причин, которые заставляли мирных уклоняться, так или иначе, от исполнения долга, а требовал от них того, чего должен был потребовать по своему характеру — безусловной верности. В этом убеждении он находил необходимым не выжидать уже исполнения общего плана Паскевича, а тушить пожар там, где он начинался. Он хотел показать и немирным чеченцам, говоря восточным изречением, “что у человека не должно быть двух языков и двух сердец” и что шатание между Кази-муллой и русским правительством может им дорого стоить.

Таким образом экспедиция была им решена, и войска получили приказание готовиться к походу.

Стремясь обеспечить успех, Вельяминов нашел необходимым обратиться к услугам опытного вожака-лазутчика, которому мог бы доверить свои сокровенные планы. Но так как ни одного чеченца он не допускал к себе, то выбор его остановился на уряднике Моздокского казачьего полка Семене Атарщикове,— личности, прошедшей не бесследно в укладе быта нашего линейного казачества. Это был человек известный на левом фланге всем, от мала до велика,— человек, соединявший в себе все достоинства и все недостатки типа, созданного самой жизнью казака-порубежника. Смолоду он имел много кунаков среди немирных чеченцев, якшался с ними, вместе ездил отбивать ногайские табуны, переправлял во время чумы бурки на русскую сторону, вел ожесточенную войну с карантинной стражей, и за свои деяния ему не раз доводилось прогуливаться по “зеленой улице”. Однажды за какую-то чересчур уже крупную шалость, которая в глазах начальства показалась просто изменой, ему пришлось пройти сквозь строй через тысячу человек четыре раза. Но Семен Атарщиков, с его железной натурой, выдержал и это испытание. Быть может, другому давно бы уже быть на виселице, но Атарщикова спасала необыкновенная храбрость, удасть, сметливость и, наконец, та безусловная готовность, с которой он в равной степени бросался и на дурное, и на хорошее рыцарское дело. Когда, в критические минуты жизни, ему грозила петля, он выкупал свою голову, привозя из гор головы каких-нибудь известных разбойников, или оказывал услугу в качестве проводника, так как при своих опасных поездках изучил Чечню лучше любого чеченца. Вот этого-то человека приблизил к себе Вельяминов, доверил ему то, чего не доверял самым близким людям, и Атарщиков провел его отряд из конца в конец, предохранив от потерь и всяких случайностей.

XXI. ВЕЛЬЯМИНОВСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

В декабре 1830 года положение дел в Чечне представлялось в следующем виде:

Не решенная борьба Астемира с карабулаками, державшая обе стороны в напряженном состоянии, продолжала волновать народ близкой междоусобицей, которая, при развивающемся в стране религиозном брожении, могла быть для нас крайне опасной. Сам Астемир утвердился в одном селении, Дзулгай-Юрт, недалеко от Грозной, и отсюда производил свои опустошительные набеги на карабулаков. Обстоятельства усложнялись еще появлением известного Ших-Абдуллы, поселившегося также недалеко от Грозной и видимо старавшегося возжечь среди населения Малой Чечни тот же религиозный пожар, которым несомненно была уже объята Большая. С ним прибыло десять помощников-шихов. Все это были аскеты, суровые представители тариката, для которых вся цель жизни заключалась только в посте и молитве. И действительно, придя в незнакомую им дикую чеченскую землю без всякого оружия, с одним Кораном в руках, они избрали себе место в дремучих лесах по берегам речки Рошни, вырыли там землянки и стали разносить из них “глаголы вечного Бога” по всем окрестным селениям. На чеченский народ, склонный и без того к суевериям, ничего не могло подействовать так сильно, как окружавшая их таинственность. Вековые темные леса, занесенные снеговыми сугробами, бедные подземелья, напоминавшие скорее логовище дикого зверя, чем подобие человеческого жилья, и посреди всего этого суровые, вечно молящиеся азреты,— вот та картина, которая заставляла народ тысячами стекаться на поклонение к этим убогим землянкам. Зато какими заманчивыми, светлыми красками святые отшельники рисовали перед слушателями блаженства загробной жизни, где ожидали правочерных прекрасные гурии, где уготованы были для них все наслаждения! И чтобы достигнуть этого, требовалось не суровое подвижничество, которое не всякий мог снести на своих раменах, а привычная, знакомая народу война с ненавистными русскими...

Понятно, до какой степени все это разжигало народные страсти. Вскоре вся Малая Чечня заколебалась; в каждом селении народ подразделился на две партии, из которых одна смело и запальчиво стала заявлять себя сторонницей шариата. Вельяминов увидел, что если оставить дело в таком положении до весны, когда вековые леса Чеченской плоскости оденутся листвой и экспедиции станут для нас губительны,— то можно потерять и тот остаток народа, который мы еще имели основание считать до известной степени на нашей стороне. Из числа этих сторонников главную роль играл Бей-Булат, к которому Вельяминов относился, однако же, с большим недоверием. Бей-Булат чувствовал на себе строгий, испытующий взгляд этого человека, и, чтобы рассеять собиравшиеся тучи, сам отправился в Грозную. Он старался уверить Вельяминова, что со времени возвращения своего в Чечню всячески удерживал чеченцев от вторжений в наши границы и что кроме одного случайного нападения в Ханкальском ущелье,— они были покойны. Бей-Булат предлагал дать в аманаты даже своего единственного сына, но просил не обвинять его в случае обыкновенных разбоев, так как за весь чеченский народ поручиться нельзя. В подарок Вельяминову он привез с собой турецкое ружье, богато испещренное кораллами, которое просил его принять на память. Вельяминов принял, потому что поднесение подарков не представляло собой в то время какого-либо исключительного случая, а практиковалась на Востоке как деяние, входившее в число соответственных жизненных адатов. Разрешив Бей-Булату отправиться к Паскевичу, который находился тогда в Пятигорске, Вельяминов относительно этого ружья писал между прочим, фельдмаршалу: “Для собирателей антиков оно может представлять еще какую-нибудь цену, но для меня ни на что неудобно. Со всем тем я считаю неприличным в теперешних обстоятельствах не принять его в подарок, во-первых, потому, что это было бы оскорбительно для Бей-Булата, а во-вторых, недоверчивость его оттого увеличилась бы. На обратном пути его нужно бы было отблагодарить, но у меня на сей раз нет никакой собственной вещи, которая была бы на это и прилична, а потому не позволите ли одарить его золотыми часами, находящимся в числе экстраординарных вещей”.

“Я согласен на предлагаемый вами Бей-Булату подарок взамен ружья, которое он привез к вам,— отвечал Паскевич,— а ружье прошу вас оставить у себя на память командования вашего войсками на левом фланге Кавказской линии”.

Несмотря на эту, по-видимому, дружескую встречу, Вельяминов имел причины жаловаться на Бей-Булата, так как его участие в наших делах имело уже чересчур пассивный характер. Оно не только не прекращало вражды Астемира к карабулакам или широкой пропаганды Абдуллы, Авко и других проповедников нового ученья; но даже не могло удержать чеченцев от постоянных грабежей на линии. Как раз в это же время до Вельяминова стали доходить слухи о каком-то религиозно-политическом союзе Чечни с дагестанскими мюридами, к которому стала склоняться даже ханская Авария. Вельяминов решил, что далее откладывать экспедиции нельзя и что наказание нужно начать с Малой Чечни, из которой пожар легко мог перебраться к соседям — в Кабарду и в Осетию.

Восемнадцатого декабря в Грозной собрались четыре полка пехоты: Московский, Бутырский, Тарутинский и Бородинский, сводный батальон сорок третьего егерского полка, пять сотен линейных казаков и двадцать два орудия. Вельяминов не любил ходить с небольшими силами. Его принципом было всегда быть сильнее своего противника — и в этом заключалась тайна его успешных походов. Как только стемнело, войска двинулись на Дзул-гай-Юрт, где жил Астемир, рассчитывая захватить аул еще до рассвета. Переправа через Сунжу отняла, однако же, так много времени, что Вельяминов бросил обоз под прикрытием Тарутинского полка, а сам с казаками и с батальоном егерей пошел вперед, приказав остальным полкам по мере переправы догонять его форсированным маршем.

До Дзулгай-Юрта оставалось еще версты три, когда движение отряда было открыто чеченскими пикетами. Времени терять было нельзя. Казаки с двумя конными орудиями пустились во весь опор и, вскочив в аул, закрытый еще предрассветной мглой, кинулась прямо к сакле Астемира,— ее указал один из дзулгай-юртовских жителей. Астемира в сакле уже не было,— он при первой тревоге вскочил на коня и скрылся в соседнем лесу, но его семья — малолетний сын, дочь, внук и двоюродная сестра попали в руки казаков. Кроме их взято было в плен тридцать девять человек да человек двенадцать изрублено. Остальные, укрывшись в лесу, завязали перестрелку. Казаки спешили, раскинули цепь и удерживали неприятеля до прихода Вельяминова с егерским батальоном. Егеря оттеснили чеченцев, а затем прибыл Бутырский полк и занял деревню. К вечеру собрался сюда весь отряд и стал лагерем на большой поляне, лежавшей впереди селения.

Система, которой Вельяминов строго держался в своем чеченском походе, настолько оригинальна, что о ней не лишнее будет сказать несколько слов. Он обыкновенно намечал себе пункт, к которому неуклонно шел с целым отрядом, а затем, достигнув его, тотчас располагался лагерем и ставил укрепленный вагенбург, откуда войска поочередно высылались небольшими колоннами для истребления соседних аулов. Когда окрестность была опустошена, отряд переходил на новое место, опять устраивал лагерь, и опять колонна за колонной шла по всем направлениям. Таким образом достигались две цели: войска, вводимые в бой по очереди, приобретали практику и опытность в лесной войне, а вагенбург или укрепленный лагерь служил резервом для наших войск и угрозой для окрестных горцев, удерживая их от подания помощи своим соседям. В результате выходило то, что войска везде встречали слабое сопротивление и несли ничтожный урон. Нельзя не пожалеть, что этот способ ведения войны впоследствии был позабыт, и войска, двигаясь в чеченских лесах большими отрядами, растягивавшимися на несколько верст, всегда несли огромные потери.

Устроив лагерь, Вельяминов двадцать первого декабря взял с собой Московский и Бородинский полки с двенадцатью орудиями и двинулся на запад к аулу Китер-Юрту.

На пути встретило его несколько горцев, которые объявили, что целая половина деревни населена мирными, и просили позволения указать их жилища в широко раскинувшемся ауле. Вельяминов согласился. Но когда войска приблизились, все население дружно встретило их жестоким огнем; тогда казаки бросились вперед и захватили ворота, но после жаркой схватки были оттеснены — и воротами вновь завладели чеченцы. К счастью, в это время подошла пехота; двенадцать орудий дали залп, а затем Бородинский полк с барабанным боем двинулся вперед и вошел в селение, которое тотчас же предано было пламени. В следующие два дня Бутырский и Таругинский полки сожгли деревню Пхан-Кичу, а затем Вельяминов, удостоверившись из показаний лазутчиков, что один из покорных нам аулов, Даут-Мартан, перешел на сторону Ших-Абдуллы и дал убежище разогнанным шихам, двинул против него в самый сочельник батальон егерей с полковником Сарачаном. Даутмартанцы, рассчитывая, что поведение их неизвестно Вельяминову, спокойно оставались в домах, как вдруг на рассвете были окружены войсками. Жители успели бежать, но все имущество их осталось добычей отряда.

Вечером егеря возвратились в вагенбург, а в самый день Рождества Христова войска сняли лагерь и двинулись целым отрядом к большому аулу Шелхичи, лежавшему на Ассе. По пути сожгли еще две непокорные деревни: Един-Юрт и Даут-Юрт, истребили громадные запасы заготовленного сена, а затем окружной дорогой через Казак-Кичу и Алхан-Юрт возвратились в Грозную. Здесь Вельяминов дал войскам отдохнуть два дня, а потом принялся рубить просеку и расчищать дорогу между Алдами и Грозной, чтобы приготовить себе обеспеченные ворота к югу. Как только работы окончились, отряд в

ночь с четвертое на пятое января 1831 года двинулся вверх по Аргуну и стал лагерем у Чах-Кери, нынешней крепости Воздвиженской. Отсюда седьмого января Бородинский полк занял селение Мартан-аул, а бутырцы овладели Джарган-Юртом. Оба эти аула разделялись широкой полосой дремучего леса, который полки прошли из конца в конец, чтобы разыскать укрывшиеся в нем чеченские семьи.

В лесу было темно, сыро, холодно и царствовало то величавое безмолвие, от которого веяло на душу чем-то таинственным. Но на всем протяжении дремучего бора нашли только двух пастухов, от которых узнали, что семьи заблаговременно удалились в горы; поэтому войска, не теряя времени, двинулись дальше и в тот же день успели истребить еще один аул Енгели.

Это было последнее наказание, испытанное Малой Чечней. Восьмого января Вельяминов перешел через Аргун и стал на правом берегу его у деревни Малой Атага. Отсюда начиналась Большая Чечня. Перед войсками лежала широкая, лесистая равнина, роскошная по своей природной растительности и всегда игравшая роль житницы Большой Чечни и ядра ее населения. Здесь находились знаменитые аулы: Майортуп, Герменчук, Автуры, Шали и Гельдиген,— испокон веков служившие при всех политических событиях камертоном, под который подлаживался весь чеченский народ. Поэтому удар Вельяминова направлен был правильно; но нельзя сказать, чтобы он по самому характеру страны мог быть для нее чересчур опасен: пересеченная местность давала жителям все средства скрывать свои семьи, а сожжение нехитрого чеченского жилища не представляло собой особенного бедствия. Чеченская сакля,— будет ли она в виде турлучной землянки или бревенчатого амбара, бывает готова в несколько дней, а что касается хлебных запасов, то они до того обильны, что истребить их до последнего зерна не представлялось возможным. Словом, заранее можно было предвидеть, что, кроме раздражения народа, едва ли эта экспедиция могла принести более существенные результаты.

На другой день по устройстве обычного лагеря, Вельяминов отделил из него полки Московский и Тарутинский, которые сожгли непокорную деревню Узекен-Юрт, а затем весь отряд двинулся и дальше и десятого января раскинул свой стан на знаменитой шалинской поляне.

Здесь простояли два дня, истребили в окрестности аул Бесенбер, со всеми прилегавшими к нему хуторами, а затем, обойдя Шали, перенесли свой лагерь под Герменчук, или “Гребенчук”, как называет его сам Вельяминов. Какое название правильное — об этом пусть скажут последнее слово ученые исследователи; но несомненно, что последнее название звучит знакомым нам именем “гребней” и наводит на мысль — не сидели ли здесь когда-нибудь гребенцы, как назывались те стародавние терские казаки, которых воеводы Ивана Грозного застали на притоках Сунжи? Недаром и один из притоков Сунжи поныне носит загадочное имя русской реки — Урус-Мартана. Как только войска раскинули свой лагерь в самом сердце Большой Чечни, тотчас явились депутации от Автуров, Гельдигена и Майортупа с предложением принести покорность и выдать аманатов. Но эта поздняя и вынужденная покорность вовсе не входила в виды Вельяминова, понимавшего необходимость жестоко наказать эти аулы, и может быть, поэтому-то он поставил перед ними такие условия, которые, по мнению горцев, были невыносимы. Эти условия заключались в одном только пункте — выдача всех, находившихся у них, русских пленных и беглых. Но первых не могло быть у них много, потому что чеченцы, не терпя искони в своей среде аристократии, не придерживались, к чести их говоря, и рабства, а потому, по захвате наших пленных, всячески старались поскорее от них отделаться — разменом, выкупом или перепродажей в горы. На беглых же они смотрели с точки зрения национального гостеприимства как на отдавшихся под

покровительство их очагов, а потому никогда не выдавали их даже и впоследствии. Но Вельяминову не было никакого дела до тех или других воззрений чеченского народа, и он прямо и категорически потребовал то, что входило в прямые интересы России. Да и в самом деле,— в чем же могла выражаться покорность народа, если бы в стенах его аулов продолжали томиться русские пленные и укрывались дезертиры? Тем не менее эти требования были отвергнуты, и Вельяминов решил наказать аулы оружием.

Оставив по своему обыкновению вагенбург при Гермен-чуке под прикрытием Бутырского полка, Вельяминов пятнадцатого января повел остальные войска на Автуры, более других рассчитывавшие на свою неприступность. Действительно, при приближении к густому лесу, войска встречены были сильным огнем. Вельяминов тотчас послал приказание Бутырскому полку присоединиться к отряду, а между тем остановил войска и приказал артиллерии очистить опушку. Когда это было исполнено, егеря с майором Пантелеевым кинулись вперед и, проложив себе дорогу штыками, ворвались в Автуры. На помощь к ним двинулся Московский полк с полковником Любавским. Бой загорелся жаркий, и только к вечеру Автуры были окончательно заняты. Между тем весь вагенбург под прикрытием трех пехотных полков еще двигался по лесу. Неприятельская конница пыталась было отбросить казаков, следовавших в арьергарде, чтобы прорваться в обоз,— но картечь рассеяла толпы ее, и вагенбург прошел благополучно.

В этом лесном бою мы потеряли четырнадцать человек ранеными,— а потому Вельяминов справедливо заключил, что при дальнейшем движении на Гельдинген надо ожидать еще более жаркого дела. Шестнадцатого января погода была ненастная; Вельяминов переждал густой туман, под завесой которого неприятель мог действовать гораздо смелее, и двинулся на Гельдиген только семнадцатого числа. Неприятель встретил нас опять в густом лесу и завязал сильную перестрелку. Несколько раз приходилось Вельяминову выдвигать вперед артиллерию, чтобы ослабить огонь неприятеля, и действительно, едва картечь осыпала лесные чащи — выстрелы смолкали и наступала тишина; но едва цепь трогалась с места, как перестрелка гремела с удвоенной силой. Чтобы не терять времени и не держать войска под огнем, Вельяминов приказал идти через лес форсированным маршем; тогда начался целый ряд рукопашных схваток, и стрелкам Тарутинского полка пришлось особенно жарко. Несколько пар даже было отрезано от цепи. Один из солдат, по имени Ефимов, был окружен целой толпой чеченцев, изранен шашками, но положил на месте трех человек и пробился к своим. Это был молодой солдат набора 1828 года, которому еще в Аджарии рота присудила знак отличия военного ордена; тогда начальство отказало ему в кресте за его молодостью,— теперь он заслужил его вторично.

Наконец лес был пройден, войска перешли овраг, пересекавший дорогу под самым аулом,— и Бородинский полк двинулся на приступ. Судя по началу, можно было предвидеть жаркую схватку; но, к удивлению всех, гельдигенцы уступили аул без боя. В этот день мы потеряли одного офицера и сорок нижних чинов,— потеря еще не бывала в отрядах Вельяминова.

Предав огню Гельдиген со всеми его запасами, войска девятнадцатого января двинулись к Маиортупу. На пути — опять тот же священный, заповедный лес, те же нападения чеченцев и кровавые схватки на штыках и шашках. Чем далее в глубь чеченской плоскости, тем сопротивление неприятеля проявлялось сильнее, и тем значительнее становились наши потери. Особенно серьезное дело произошло на кулиш-юртской поляне, где стрелки Московского полка, захваченные в глухом овраге, выдержали шесть бешеных атак, но наконец были смяты и стали подаваться назад. Минута наступила критическая. К счастью, Вельяминов не дал окончательно пошатнуться стрелкам и двинул

на помощь к ним весь второй батальон Московского полка; с его прибытием нападение было отбито, но в то же время бой разгорелся в арьергарде, где Бутырский полк был атакован свежими толпами пеших чеченцев. Цепь была прорвана, но командовавший ею прапорщик Краснопольский, оставшийся во фронте, несмотря на две тяжелые раны пулей и шашкой, быстро восстановил порядок, а подоспевшая рота штабс-капитана Орловского окончательно отразила нападение.

Только вечером весь отряд стянулся к небольшому аулу Анто-Юрт и стал на ночлег. Этот переход стоил нам трех офицеров и более шестидесяти нижних чинов убитыми и ранеными.

С рассветом двадцатого числа войска вышли на маиортупскую равнину, истребили окрестные аулы, а двадцать первого января та же участь постигла и сам Маиортуп с его роскошными садами и плантациями. Этот аул был крайним пунктом нашего движения. Отсюда войска повернули назад и через землю мичиковцев двадцать шестого января вышли обратно на Сунжу.

Таким образом, вся плоскостная Чечня, пройденная насквозь до Кочалыковского хребта, была предана Вельяминовым огню и мечу. Безусловное опустошение страны не могло не произвести на чеченцев должного впечатления, и хотя Вельяминов понимал, что эта вынужденная покорность не может быть ни прочной, ни долговременной, но задача его экспедиции и не заключалась в окончательном покорении страны русскому владычеству. Та цель, которую он преследовал, лучше всего выражается собственными его словами в донесении фельдмаршалу:

“Во всяком случае,— писал он,— теперь можно ручаться, что чеченцы на некоторое время не примут участия в предприятиях горцев ни на Дагестан, ни на Джарскую область. Покушения их должны ограничиться только хищничеством на Тереке или в землях кумыкских, но и там, надеюсь, они не будут иметь значительных успехов”.

Оставайся Вельяминов на левом фланге, он, может быть, успел бы поддержать спокойствие в Чечне; но спустя два месяца дивизия, которой он командовал, выступила в Россию,— а вслед затем мюридизм, зажегший своим фанатизмом всю приморскую часть Дагестана, увлек за собой в общий водоворот и чеченцев.

Зловещие признаки близкой и неизбежной борьбы в Дагестане обнаружались еще в январе, когда распространились первые слухи, что в Гимрах и в Унцукуле на крышах некоторых саклей появились красные знамена — точно служившие призывом для общего сбора мюридов. Лазутчики утверждали настойчиво, что с наступлением магометанского поста, “уразы”, нападение сделано будет на Казанище, где стоял небольшой русский отряд, под командой майора Ивкова. Опасность казалась настолько серьезной, что сам Паскевич приказал отправить в шамхальство еще батальон Апшеронского полка с четырьмя орудиями, а Вельяминову предписал в случае надобности поддержать Казаницкий отряд войсками с Кавказской линии.

Вельяминов получил предписание двадцать седьмого января в то время, когда, закончив чеченскую экспедицию, стоял на Сунже. Видя, что до уразы остается только несколько дней, он не стал терять времени на пустую разведку, а на следующий же день поднял отряд и выступил с ним в Тарки, полагая, “что лучше сделать даже ненужное движение, чем подвергнуть опасности войска, находившиеся в Дагестане”.

В Тарки с Кавказской линии вели две дороги: одна — по левому берегу Терека, через Кизляр и Казийурт, другая — по правую сторону, через Амир-Аджи-Арт, Андреево, Кастек и Кумтер-Кале. Обе дороги представляли большие неудобства, как по дальности расстояния, так и по отсутствию воды; а главное, они пролегли по таким открытым местам, на которых зимой свирепствовали страшные метели. Торопясь на помощь, Вельяминов избрал третий кратчайший путь, по которому русские войска еще никогда не ходили. Он двинулся из Андреевой не на Костек и Кумтер-Кале, а переправился через Сулак в Чир-Юрте, и вышел прямо на Кафыр-Кумык, в десяти верстах от Казанища. Таким образом Вельяминова выиграл три дня, и первый указал Паскевичу на возможность учредить хорошее сообщение между Кавказской линией и Северным Дагестаном. Он требовал только постройки постоянного моста через Сулак и придавал ему такую важность, что писал Паскевичу: “Предприятие это будет достойно Вашего Сиятельства, и чир-юртовский мост будет вечным памятником начальствования вашего над здешним краем”.

В Тарках Вельяминов узнал, что тревога вызвана фальшивыми слухами, но как человек осторожный решился выждать, что будет дальше, полагая не без основания, что затишье могло произойти и от быстрого прибытия его отряда. В этом он даже не ошибался, потому что приготовления в горах шли деятельные, но только они закутались еще более густой, непроницаемой завесой, сквозь которую не мог проникнуть даже такой светлый и пытливый ум, каким обладал Вельяминов. Простояв в Тарках более месяца, он, наконец, поднял отряд и четвертого марта выступил с ним обратно на линию. Открывая шамхальство и даже Мехтулу, Вельяминов находил, впрочем, что если бы мятежники и на самом деле вторглись в одно из этих владений, то для нас, кроме пользы, ничего не могло бы произойти, так как дало бы нам основательную причину действовать решительно. О неудачах русского оружия ему старому ермоловскому сподвижнику, не приходило в голову,— и то, что произошло впоследствии, было для него совершенной неожиданностью.

А между тем, едва Вельяминов возвратился в Грозную, как Кази-мулла вторгся в шамхальство и занял Чумкескент, сделавшийся впоследствии предметом упорной борьбы и стоивший нам столько крови и жертв. Но Вельяминову уже не пришлось быть деятелем в этих, начинавшихся тогда, исторических событиях.

Еще в декабре 1830 года, по случаю восстания в царстве Польском, Государь настоятельно потребовал возвращения в Россию четырнадцатой дивизии для присоединения к четвертому пехотному корпусу. Паскевич задержал ее на несколько месяцев, чтобы дать возможность Вельяминову закончить чеченскую экспедицию, но затем должен был немедленно отправить ее в Рязанскую губернию. Государь полагал, что одной двадцатой дивизии в полном составе действующих и резервных ее батальонов будет достаточно Паскевичу, чтобы довести до конца начатое покорение Кавказа, и потому разрешал оставить на линии — и то на короткое время — только первую бригаду генерал-майора Таубе. Вельяминов получил об этом предписание в Тарках, и необходимость как можно поспешнее изготовить к походу вторую и третью бригады была одной из причин, заставивших его поторопиться с возвращением на линию. Насколько Паскевич ценил деятельность генерала Вельяминова и насколько потеря такого достойного сотрудника была для него чувствительна — это лучше всего выражено в собственноручном письме его, которым он прощается с Вельяминовым.

“Командование Ваше левым флангом Кавказской линии,— писал он двадцать шестого марта,— совершенно успокаивало меня относительно безопасности столь значительного пространства Кавказской области. В течение полугода с лишком я с особенным

удовольствием видел во всех Ваших действиях одни только неусыпные попечения и ревностное желание споспешествовать спокойствию края и обузданию непокорных воинственных обитателей Чечни, столь опасных набегами и дерзостью своих предприятий. Обязанный Вам признательностью, я был уверен, что Вы своим усердием и познаниями будете в полной мере содействовать мне и в приведении на левом фланге к концу общих предначертаний о покорении горцев.

Но ныне, когда по Высочайшей воле отбытие Ваше с четырнадцатой дивизией в Россию неизбежно и должно последовать в столь короткое время, мне приятно изъяснить перед Вами мой образ мыслей во всем, что касается служения Вашего в Кавказском корпусе. С прискорбием признаю необходимость лишиться в Вас достойного сотрудника и не могу не сетовать, что обстоятельства во второй раз удаляют Вашу полезную службу из округа, вверенного моему начальствованию. Лестно было бы для меня дальнейшее пребывание Ваше в этом крае, но священная воля Государя указала непременно возвращение Ваше в Россию с полками четырнадцатой дивизии”.

Вот что отвечал на это Вельяминов!

“Сколько для меня лестно письмо Вашего Сиятельства, которым изволите одобрять мою кратковременную службу в крае под Вашим начальством, столько же неприятно обстоятельство, подавшее к оному повод. Признаюсь откровенно, что гораздо приятнее было бы для меня отправлять здесь под Вашим руководством несколько знакомый мне род службы, нежели внутри России заниматься по мирному положению единственно управлением дивизии; но так угодно Государю-Императору, и мне остается только свято исполнить волю Его Величества”.

С отъездом Вельяминова начальство над левым флангом Кавказской линии принял командир первой бригады генерал-майор Таубе. Но это командование продолжалось слишком короткое время и протекло большей частью в Дагестане, чтобы дать какие-нибудь положительные результаты относительно общего спокойствия на линии; в Дагестане же действия его были весьма неудачны и послужили одной из главнейших причин, почему борьба, начатая у Чумкескента, захватила собой все протяжение от Каспийского моря до Военно-Грузинской дороги. Эта борьба потребовала с нашей стороны чрезмерных усилий, и когда Эмануэль был ранен, Вельяминов в третий раз является на Кавказ,— но уже в крупной роли командующего войсками на линии.

XXII. ЗАТИШЬЕ НА КУБАНИ (Эмануэль)

Оставим на время Дагестан с его новым ученьем, породившим нескончаемые внутренние распри, и перенесемся на отдаленные не менее Дагестана воинственные берега Кубани.

В то время, как Терек, Сунжа, малая Чечня, Качкальковский хребет и ближайшие к нему дебри Ичкерии заселены были русскими авантюристами, перекочевавшими с берегов Дона и Волги, где политика Ивана Грозного мешала развернуться их удали,— Кубань до 1783 года оставалась для России terra incognita. В этом году в первый раз засверкали на солнце штыки русских батальонов, предводимых Суворовым, и Кубань впервые опоясалась лентой русских редутов и укреплений. Грозные тучи, наносившиеся из-за Кубани, теперь стали разбиваться об эту живую изгородь. С этих пор, в течение почти полувека, Кубань представляла спорный рубеж, переходить через который одинаково опасно было для обеих враждебных сторон. По правому берегу реки тянулись русские форты и казачьи станицы; за левым берегом, частью на плоскости перед входом в ущелья

рек, частью в самых ущельях и неприступных горных теснинах, находились аулы враждебного нам народа, известного под общим именем черкесов или адыге.

Экономическому быту, как тех, так и других, не позавидовало бы обездоленное население самых бедных русских губерний. Ни о каком правильном хозяйстве не могло быть и речи. Казаки, на обязанности которых лежала охрана русской земли, отвлекались от него поголовными ополчениями. Горцы, ревниво оберегавшие свою независимость и право жить за счет своих соседей, только и думали о том, как бы разорвать сковавшую их цепь. Те и другие не выпускали ружья из рук; у тех и у других плуг был заброшен. Но казаки имели за собою мирное население земледельцев, как бы служившее для них продовольственным базисом. У горцев после того, как цветущие колонии великих итальянских республик отошли в область воспоминаний, не было ничего, кроме жалкой Анапы, с ее контрабандной торговлей свинцом и невольниками. Земледелие было для них только ничтожным подспорьем, а главные средства к жизни доставляла торговля рабами и красивыми женщинами, которых они через посредство анапских факторий сбывали за хорошие деньги в Константинополь и другие большие города Европейской Турции и Анатолии. Но чтобы добыть этот живой товар, нужно было жить грабежом и набегами на русские земли.

Естественно, что при таких условиях война должна была вестись — с нашей стороны оборонительная, со стороны черкесов наступательная. Но время от времени, когда среди казаков являлись лихие вожди, противные стороны менялись ролями: казаки переходили в наступление, черкесы искали защиты в обороне. В результате получалась картина далеко не утешительная. Пылали аулы и станицы, подвергались грабежу и разорению даже далеко отстоявшие от передовых линий мирные хутора, угонялись табуны и стада, вытаптывались нивы, уводились в плен женщины и дети, безжалостно умерщвлялись немощные старцы. Огонь и меч не щадили ничего, и страна, щедро наделенная природой всеми ее дарами, представляла печальную картину опустошения и нищеты. Но картина эта казалась печальной для непосвященных и будет казаться такой, конечно, для историка. Но для тех, кто набрасывал ее огненными и кровавыми штрихами, она имела увлекательную прелесть. Из средства — война очень скоро стала целью и, так сказать, воспитала людей для войны же. Сильные ощущения, которыми она сопровождалась, становились потребностью. Без тревог, в бездействии обе стороны скучали. Добыча, для которой предпринимались набеги, отходила на задний план, и стимулом отчаянных предприятий начинали служить удаль и наездничество. Под вечной войной закалялись силы, креп дух и создавались те мощные характеры, которые увлекали за собой в эту пучину других.

В таком положении застают дела на Кубани 1826 год. С этого времени, почти накануне турецкой и в самый разгар персидской войны, до 1828 года наступает вдруг период затишья, совершенно случайно совпавший с опалой, постигшей на Кубани начальника Черноморского войска маститого Власова. Но затишье это было какое-то странное, неискреннее — под ним скрывались элементы новых и еще более бурных столкновений. Это не было даже перемирием, это был перерыв, искусственно созданный бестактной политикой Де-Скасси, председательствовавшего в миссии торгово-политических сношений с горцами. Его политика, стремившаяся к дружественному сближению между собой всех горских племен, путем развития у них торговли и цивилизации,— торжествовала. Министерство иностранных дел, совсем незнакомое с пограничными кавказскими делами, усердно его поддерживало и указывало на наступившее затишье как на результат удаления из края генерала Власова. Никто не видел опасности, которая грозила успехам русского оружия в случае объединения закубанских горских народов. А эта опасность между тем была велика и близка.

Но затишье, как мы уже заметили выше, только случайно совпало с отзыванием Власова. Причины его крылись в обстоятельствах, не имеющих ничего общего ни с боевой деятельностью этого генерала, ни с военными действиями предшествовавших лет. Внимание горцев было отвлечено в это время в другую сторону — опасностью, которую они совсем не предвидели. Это было серьезное недоразумение, возникшее между ними и оттоманской Портой. Дело в том, что Турция, готовясь к войне с Россией за освобождение Греции, сообразила, каким богатым для нее контингентом послужат воинственные черкесы, если власть ее над ними будет не номинальная, как это было прежде, но действительная, абсолютная, какую признавали над собой все другие подвластные ей мусульманские народы. К утверждению этой власти она и начинает стремиться в эпоху великого греческого вопроса. Случай к тому не заставил себя ждать. В начале 1825 года один из влиятельнейших шапсугов Бесленей Аббат, с несколькими другими почетными лицами, явился в Константинополь просить у турок защиты против русских. Придерживаясь мудрого правила ковать железо, пока горячо, Порта с жадностью ухватилась за этот случай и не только приняла все черкесские племена под свой верховный протекторат, но и назначила пашой в Анапу одного из кавказских уроженцев, бывшего трапезундского правителя, известного своими административными способностями, Хаджи-Хассан-Чечен-оглы, с такими полномочиями, каких до него никто не имел.

Полномочия эти касались, однако, только деталей, относительно же главной задачи, возложенной на него, он был снабжен инструкциями, в которых выразилось незнание турецким правительством народного духа закубанских племен. Так, например, от них требовали присяги на подданство султану или дани для содержания анапского гарнизона. Черкесы признавали султана как преемника калифа главой религии, но отказались принести ему присягу даже и в этом ограниченном смысле, а относительно покорности ему как светскому властителю не хотели и слышать. Этого они не смогли понять. Под светской властью они совершенно основательно разумели право вмешиваться в их внутренние дела. Что же касается дани — она в их глазах равносильна была потере независимости, отстоять которую они рассчитывали именно при помощи Турции. Теперь Турция сама посягала на эту независимость. Таким образом, между народом и правительством, присланным Портой, сразу началась глухая борьба, — и первые попытки оттоманского правительства утвердить свое владычество над закубанскими племенами, встречено было отпором.

Как раз в это самое время, в июне 1826 года, командующим войсками на кавказской линии назначен был генерал-лейтенант Эмануэль.

Личность этого нового деятеля мало известна в среде русского общества; но некогда имя Эмануэля занимало почетное место в рядах русской армии. Устные предания, столь любопытные, столь способные питать в молодом поколении доблесть и геройский дух отцов, исчезают все более и более. Теперь уже не остается свидетелей достопамятной эпохи наполеоновских войн; они отошли в вечность, и с ними в вечность канули их деяния.

К числу людей, выдвинутых этой эпохой, по всей справедливости надо причислить и Эмануэля, биография которого не только не лишена интереса, но даже в некоторых отношениях поучительна. Признательность соотечественников должна пережить обычное забвение могилы и сохранить для потомства главные черты его жизни и службы.

Георгий Арсениевич Эмануэль был не чужд нашей славянской крови, так как его прапрадед, некто Дабо, вышел из Черногории и поселился в Банате. Затем, когда Банат

присоединен был к Венгрии, один из потомков Дабо, Арсений, причислен был к венгерскому дворянству и, по имени своего отца Эмануила, принял фамилию Эмануэля.

2 апреля 1775 года у этого Арсения, в г. Вершице, родился сын Георгий. Ребенок обнаружил с раннего возраста призвание к военному ремеслу; все игры его были военные: он собирал своих сверстников, производил с ними эволюции и водил их в воображаемые битвы. Но скоро эти детские забавы нашли себе применение в суровой действительности.

В 1788 году турки внезапно вторглись в Банат, и жители Вершица бежали, не успев захватить в поспешности одного орудия. Молодой Георгий, которому тогда было только тринадцать лет, не последовал общему примеру и остался в городе, вместе с товарищами своих детских игр. Они решились защищать свою родную Вершицу. И вот, как только турки замечены были с высокой городской колокольни, во всех церквях ударили набат и со стены грохнуло забытое жителями орудие. Турки, вообразив, что город занят гарнизоном, обошли его стороной, и, таким образом Вершица оказалась обязанной своим спасением находчивости юного Эмануэля. Этот первый успех решил его судьбу: он поступил волонтером в сербский корпус Миалевица и участвовал с ним в войне против турок, а потом против французов на Рейне. Там, в сражении при Ландау, он был жестоко ранен штыком в живот и четырнадцать дней пролежал без движения и пищи. Смерть уже витала над его головой, но молодость — ему шел восемнадцатый год — одержала верх, и Эмануэль выздоровел. Явившись в отряд, он снова был ранен осколком гранаты в правую руку и затем, при защите Вейсенбургских линий, картечью в ногу. Покрытый почетными ранами, украшенный золотой медалью, высоко ценившейся в то время в Австрии, он возвратился в Вену и был зачислен императором в венгерскую гвардию с чином подпоручика. Это было особое отличие, так как банатские дворяне не пользовались тогда еще привилегией служить в рядах императорской гвардии. Эмануэль составил исключение: его тяжкие раны и заслуги, о которых свидетельствовала золотая медаль, давали ему право на видную служебную карьеру. Но Эмануэль был беден; служба в гвардии была ему не по средствам, и когда австрийское правительство отказало ему в денежной помощи, он вышел в отставку и решил искать счастье вне своей родины.

В марте 1797 года он прибыл в Москву, где тогда находился двор по случаю коронации императора Павла. Однажды, во время развода на Кремлевской площади, государь заметил видного и стройного молодого человека в венгерском мундире и послал узнать, кто он и зачем приехал в Москву? Эмануэль отвечал, что он был офицером венгерской гвардии, а теперь желает служить русскому императору. Ответ понравился Павлу, и государь послал Шувалова узнать, по какой причине Эмануэль оставил австрийскую службу. “Этого,— отвечал Эмануэль,— я не могу сообщить никому, кроме государя, если ему будет угодно меня выслушать”. После развода Эмануэля провели прямо в кабинет государя, где он с откровенностью юноши рассказал историю своей жизни. Рассказ его тронул Павла, и Эмануэль в этот же день был принят поручиком лейб-гвардии в гусарский полк. С этого же дня начинается его быстрое служебное повышение. Через три года, на двадцать пятом году своей жизни, он уже был полковником и шефом Киевского драгунского полка. Подобные случаи в царствование императора Павла никого не удивляли; но справедливость требует сказать, что Эмануэль, выдвинутый судьбой, заплатил своему новому отечеству целым рядом боевых заслуг.

В кампанию 1806 года в сражении под Пултуском он ранен был пулей в ногу, и потом при Гейльсберге пулей же в руку. Но раны только закаляли его энергию, и он так быстро оправлялся от них, что успел еще принять участие в кровопролитной фридландской битве. Из этого похода Эмануэль возвратился с анненским крестом на шее, с Владимиром в петлице и с золотой саблей “За храбрость”.

В отечественную войну Эмануэль оказывает особое отличие в бою при Шевардинском редуте, где предводимый им Киевский полк отбил французскую батарею. В этом бою под Эмануэлем были убиты две лошади и сам он ранен пулей в грудь навывлет. По счету это была уже шестая рана.

Когда подвиг Эмануэля поступил в кавалерственную думу, то дума не сочла нужным даже обсуждать его и прямо назначила Эмануэля кавалером ордена св. Георгия 4-й степени. За отличия же в разновременных делах, от Москвы до Немана, он получил чин генерал-майора.

Кампания 1813 года дает ему новые случаи к отличиям: под Кацбахом он отбивает семь орудий и берет более тысячи пленных, потом уничтожает французскую дивизию генерала Пюто и, наконец, под Рейхенбахом, с двумя полками разбивает наголову шесть французских конных полков на глазах самого Наполеона. В день Лейпцигской битвы он не выходил из огня: подле него убиты любимый ординарец его поручик Бутлер и неразлучный с ним штаб-трубач Киевского полка, возивший за ним его зрительную трубу. Неприятельское ядро, сразившее трубача, разбило вдребезги и трубу Эмануэля.

На третий день битвы, когда союзные войска штурмовали Лейпциг, генерал со своим конвоем, состоявшим из восьми казаков и трех офицеров [Штабс-капитан Кнобель, поручик Зельмиц и князь Голицин.], отправился в город узнать, куда отступает неприятель. Только что он выехал на площадь, как увидел двенадцать французских кирасиров, ехавших рысью. Их остановили и объявили пленными; потом наткнулись на новую толпу бежавших французов, взяли в плен генерала Дювенана и, подвигаясь все дальше и дальше, выехали наконец к берегу Эльбы. Мост через нее уже был разрушен, и по уцелевшему бревну перебирались два какие-то офицера. Эмануэль повелительным тоном приказал им вернуться. Они вернулись, и один, распахнув шинель, показал свои ордена: это был граф Лористон, бывший посол при С.-Петербургском дворе. Эмануэль принял от него шпагу и приказал дать ему казачью лошадь. В эту минуту к мосту подошел французский батальон, и Эмануэль не заметил сам, как очутился среди неприятеля. В таком положении только присутствие духа могло спасти его самого от плена. Чувствуя, что здесь раздумывать нельзя, Эмануэль крикнул батальону: “*Bas les armes!*” (клади оружие.) Батальон заколебался. Не давая ему опомниться, Эмануэль выхватил саблю, оглянулся назад и громким голосом скомандовал: “*Марш-марш!*” Полагая, что в тылу у них появилась русская кавалерия, французы положили оружие. Майор Ожеро, брат известного маршала, и с ним пятнадцать офицеров подошли к Эмануэлю, чтобы вручить ему свои шпаги. Эмануэль возвратил их назад на честное слово. Во время странного шествия, когда Эмануэль ехал во главе четырехсот французов, положивших перед ним оружие, Лористон обратился к нему с вопросом: “Кому я имел честь отдать свою шпагу?”

“Русскому генерал-майору,— отвечал Эмануэль,— командиру трех офицеров и восьми казаков”.

Нельзя не прибавить, что громадная победа, одержанная в этот день, была ознаменована таким множеством трофеев, что прекрасный подвиг Эмануэля не был даже замечен. Напрасно Эмануэль выходил с представлением о награждении трех бывших с ним офицеров георгиевскими крестами. Блюхер отказал на том основании, что они, занесшись так далеко, сами должны были быть в плену, а не других брать в плен.

С переходом за Рейн, Эмануэль в корпусе графа Сен-При участвует первого марта в деле под Реймсом. Малочисленные русские войска, внезапно атакованные самим Наполеоном, понесли поражение; Сен-При получил смертельную рану, и Эмануэль, приняв от него

начальство, успел задержать французов настолько, чтобы дать возможность отступить остаткам разбитого корпуса. Передавая подробности этого боя, Скобелев, в известной переписке русского Инвалида говорит: “Уныние овладело всеми, и только один Эмануэль, духом неустрашимости вознесшись превыше опасности, действовал как прямой герой и, подобно орлу с полета, блюл общую пользу. Много было в корпусе генералов старше его чином, но ни один из них и не подумал оспаривать у него старшинство в этом случае”.

Через несколько дней Эмануэль был уже под стенами Парижа и преследовал французские войска, очистившие столицу. Последняя стычка произошла двадцать пятого марта у города Ла-Ферте-Але, и последние выстрелы, закончившие собой эпоху наполеоновских войн, прогремели в отряде Эмануэля.

За обе кампании Эмануэль получил Георгия на шею, анненскую ленту, Владимира 2-го класса и чин генерал-лейтенанта. По возвращении в Россию, он командовал четвертой драгунской дивизией, и в этом звании его застаёт назначение на Кавказ.

Таково было прошлое нового начальника линии.

Эмануэль прибыл в Ставрополь 22 сентября 1826 года, в самый период затишья на Кубани. Но наступило это затишье не вдруг. “Кубань вечно с кровью течет”,— говорили старые люди, раздумчиво следя, как мутные, желтые воды ее, клубясь и пенясь, неслись к далекому лону Черного моря. И слово их было верным отражением действительности. Если и случалось на берегах Кубани затишье, то оно было только временным, и затем горячая кровь опять перемешивалась с холодной водой быстрой реки. Даже зима с ее суровыми морозами, в которые легко одетый горский витязь неохотно надевал холодную кольчугу, не всегда служила оплотом для наших станиц, потому что крепкий лед, сковывавший Кубань, представлял слишком заманчивый мост, чтобы не воспользоваться им для быстрого налета. Все это оправдывалось на верхней Кубани в самом начале 1826 года, когда 17 января, в районе кавказского линейного казачьего полка, появился темиргоевский вождь Джембулат с партией.

Джембулат перешел Кубань в трех верстах от станицы Тифлисской и потянулся на север к казачьим хуторам, раскинутым по верховьям речки Бейсуги. Секрет вовремя заметил неприятеля и выстрелил. Тревога подхвачена была соседними станицами. Казачьи офицеры Гречишников с тифлисской, Бабалыков с казанской и Чуйков с ладожской сотнями понеслись к хуторам наперерез Джембулату. Набег темиргоевцев не удался. Джембулат повернул назад, преследуемый казаками, которые не могли, однако, нанести ему вреда, так как густая цепь метким огнем своим держала их на почтительном расстоянии. Джембулат почти без потерь дошел до Кубани, но здесь ожидала его засада,— переправа была занята пешими казаками, подоспевшими из Тифлисской станицы. Партия смешалась. Пользуясь этой минутой, все три сотни, скакавшие по пятам Джембулата, врубались в толпу и сбросили ее с крутого берега в реку. Лед не выдержал и обломился. Многие всадники пошли ко дну; другие торопились уйти, но казаки, быстро обогнув обрыв, настигли и рубили бегущих. Пятьдесят тел, множество хороших лошадей и ценного оружия досталось казакам в добычу. Этой неудачи долго не могли забыть в горах, и Джембулат поклялся отомстить Тифлисской станице. Через три года он сдержал свое слово.

Набег Джембулата имел еще свое особое значение для казаков Кавказского полка, станицы которых не запомнят нападений со стороны горцев с тех пор, как полком начал командовать Дадымов. Но Дадымов погиб в минувшем году, и горцы в короткое время уже другой раз пытались проложить себе путь к полковым хуторам, рассчитывая, что

вместе с Дадымовым исчезла и доблесть старых украинцев. Но заветы Дадымова свято хранились в полку, да и майор Васмунд, заменивший Дадымова, оказался достойным его преемником.

Весело возвращались казаки по своим станицам. И как только перед ладожской сотней показался церковный крест, горевший в утренних лучах восходившего солнца, казаки по обыкновению затянули песню про своего любимого, безвременно погибшего командира Дадымова. Эта песня, как и все почти народные русские песни, быть может, не имеет литературных достоинств, но в ней бездна поэзии; она согрета чувством и заменяет надгробный памятник, который не могло сокрушить даже само время, так как она и до сих пор поется потомками тех, которые ее сложили.

Во горах то было, во крутых горах —
Как за речкою то было — за рекою Белою,
Как сизые ли то орлы — со лесов орлы солеталися,
Так князья горские из гор соезжались.
Собрались-то князья, они, на высок курган,
Думали князья думушку единую;
Передумавши, князья сделали сражение,
Как ни малое оно было, ни великое — всего ровно пять часов,
На шестом-то часу стали тела разбирать.
Во сражении том убили майора Дадымова;
Положили тело его на черную бурочку,
Отнесли его во станицу Ладожскую.

Здесь кстати сказать несколько слов о характеристике этого не забытого до нашего времени героя кавказского линейного войска.

Еким Макарович Дадымов был родом осетин православного вероисповедания и как представитель своего времени и сословия совмещал в себе много и светлых, и темных сторон. Рассказывают, что он дружил с нашими непокорными соседями, и даже был кунаком самого Джембулата. Грозный темиргоевский князь не раз приезжал на Кубань видеться с Дадымовым и проводил с ним по несколько часов в приятельских беседах или в пиршествах под открытым небом. Эти приятельские связи не остались без влияния и на самый ход военных событий. Джембулат, как говорят, обещал не тревожить станиц и хуторов кавказского полка, которым командовал Дадымов, а Дадымов со своей стороны должен был смотреть сквозь пальцы и даже вовсе не видеть проделок своего приятеля в районах других, соседних полков. К подобным договорам нельзя конечно относиться строго и обсуждать их с точки зрения абсолютного права, потому что в них отражался дух времени и нравы тогдашнего казачества; они существовали и до Дадымова, и после него; даже начальство знало о них и только делало вид, что ничего не знает. К тому же эти стороны выкупались действительными боевыми заслугами Дадымова. Джембулат и при таких договорах должен был вести дела в соседних районах весьма осторожно. Ему могли сходить только те похождения, о которых русский кунак его узнавал от лазутчиков. Но едва у соседей зажигался маяк и сигнальная пушка возвещала тревогу, Дадымов налетал как снег на голову, и горе было кунакам, не успевшим уклониться от его удара. А уклониться было трудно, потому что лошади в кавказском полку и день и ночь стояли оседланные. Расплоха там никогда не бывало. При первом ударе набатного колокола Дадымов выскакивал на площадь и стрелял из пистолета — это был условный сигнал, по которому казаки со всех сторон собирались на тревогу. Нередко бывало, что неловкая шайка его кунаков вся погибала под его же ударами. И черкесы никогда не относили

подобных погромов к вероломству Дадымова, а обвиняли неловкость вожаков, не сумевших покончить дела без шума и тревоги.

Дадымов погиб, как известно, в деле под Тлямовым аулом 18 августа 1825 года. Дело было очень жаркое; орудия переходили из рук в руки. И вот в один из таких моментов, когда пример начальника решает участь битвы, Дадымов врезался в толпы неприятеля и был изрублен. Казаки бросились выручать его, но было уже поздно: он вынесен был из боя покрытый смертельными ранами и на руках своих казаков скончался. Красивое лицо его было так обезображено ударами шашек, что его не решились показать семейству, и жена видела только гроб, в котором проносили его на кладбище.

Набег Джембулата семнадцатого января был последним крупным военным происшествием на линии. Одиночное появление хищников в наших пределах продолжалось по-прежнему, но открытая вражда горцев ничем особенным о себе не заявляла; о ней можно бы было совершенно забыть, если бы в начале 1827 года спокойствие не нарушилось двумя событиями, о которых в летописях края сохранились воспоминания. Одно из них таинственное, загадочное, случилось в первых числах апреля, в те неустановившиеся дни, когда зима еще не решается покинуть землю, а весна приближается робко, медленными шагами. В такое-то непогодное время в окрестностях Бекешевской станицы появилась партия. Прекрасно вооруженная, одетая в кольчуги и шлемы, двигавшаяся медленно и стройно, она казалась видением средних веков. Кто ею предводительствовал, куда направлялась она, какая была у нее цель? — осталось неизвестным. Партия была открыта на правом берегу Кубани. Но пока казаки со всех окрестных постов и станиц скакали на тревогу, она так же таинственно исчезла, как неожиданно и появилась. Ногайцы, сидевшие аулами на том берегу реки, видели, однако же, как партия, перейдя обратно Кубань, потянулась в лес, начинавший одеваться свежей листвой. Казаки пустились в погоню. Ночь, и без того темная, в лесу казалась еще темнее; снег пополам с дождем слепил глаза и затруднял преследование. Иногда казакам казалось, что они окружали таинственного неприятеля, но когда пары сближались, в кругу никого не оказывалось. Так никому и не удалось даже увидеть загадочных всадников. И если бы присутствие их не обнаруживали ружейные выстрелы, от которых время от времени падали казаки, их действительно можно бы было принять за видение. Не только лазутчики, но даже сам известный ногайский батырь Генартук Лафишев, участвовавший в погоне вместе с казаками, не мог узнать, даже впоследствии, были ли то абадзехи, темиргоевцы или беглые кабардинцы.

Другое происшествие, также довольно загадочное, случилось три недели спустя, в окрестностях той же Бекешевской станицы. На поезд генеральши Корсаковой, направлявшейся в своем старомодном дормезе к Пятигорским минеральным водам, сделано было нападение. Повар и камердинер генеральши, ехавшие впереди в особом экипаже, были убиты; кучер, лошади и дорожные сундуки — исчезли бесследно. Генеральшу конвоировала целая сотня казаков, но замечательно, что ни в этой сотне, скакавшей за дормезом, ни на соседних постах — нигде не слышали выстрелов; пикеты спокойно оставались на местах, точно на большой дороге не происходило ничего особенного; даже о самом происшествии узнали только тогда, когда передние казаки наткнулись на два трупа, брошенные поперек дороги. Тотчас дали знать в Бекешевскую станицу; оттуда выехала новая сотня, но и она никого и ничего не открыла.

Эта последняя тревога и несколько мелких предшествовавших ей случаев, бывших вдали от передовой линии и даже в окрестностях самого Ставрополя, побудили нового начальника линии генерала Эмануэля приступить к обозрению края. Результатом этой поездки явился проект о новом устройстве кордонной линии, сущность которого

заклучалась в следующем: Эмануэль предполагал оставить передовую линию по Кубани так, как она есть, а дальше вести ее через большую Кабарду до Минарета. Минарет соединить кратчайшим путем с Назраном, а оттуда по Сунже и Судаку выйти к Каспийскому морю. Таким образом все старо-казачьи поселения, раскинутые по Тереку, обращались уже во вторую, или резервную, линию.

Такую же вторую линию Эмануэль предполагал образовать и за Кубанью, где лежали обширные, никем не охраняемые пространства, представлявшие горцам свободный доступ к нашим мирным селениям. Страх вражеских нашествий отражался на жителях, лишенных даже права под карой суровых законов носить оружие, так сильно, что часто по одним ложным слухам о вторжении горцев, целые деревни разбегались, и край пустел на долгое время. Подобный случай был даже на глазах самого Эмануэля в 1827 году, отличавшимся еще сравнительной безопасностью. Поэтому вопросу об учреждении резервных линий Эмануэль придавал большое значение и на нем основывал даже дальнейшие успехи русской колонизации.

Другой замечательной стороной проекта Эмануэля была мысль о привлечении самих кавказских горцев к отбыванию на новых линиях кордонной службы наравне с казачьими войсками,— иначе, мысль о присоединении их в состав казачьих земель о разделении на полки и сотни. Это предложение, отвечавшее по своему внутреннему смыслу всему историческому быту горцев, заслуживало внимания, и, может быть, в искусных руках, благотворно отразилось бы на самом ходе кавказской войны — и, что еще важнее, на будущей судьбе кавказских народов.

Проект, грандиозный по своим размерам, требовал для осуществления своего таких же расходов, а потому и был отложен на неопределенное время. Только спустя двадцать лет начинают приводиться в исполнение некоторые из предначертаний Эмануэля, свидетельствуя во всяком случае о верном военно-политическом взгляде его и о его дальновидности.

Но между тем, как Эмануэль, увлекшись теорией, разрабатывал свой, проект, на практике дела начали усложняться. В соседстве с его районом между закубанскими народами происходило сильное брожение. С одной стороны анапский паша настаивал на выселении мирных аулов с левого берега Кубани внутрь страны, с другой — волновались сами черкесы, недовольные новым образом действий турецкого правительства. Эмануэль взглянул на это выселение горцев с точки зрения опытного администратора. В его глазах это был первый шаг к объединению закубанских племен и к образованию из них довольно сильного вассального государства Турции, которая могла бы найти в нем надежный оплот, в случае неприязненных столкновений с Россией. Не говоря уже о том, что всякая связь русских с черкесскими племенами была бы порвана, мы лишились бы возможности получать какие бы то ни было сведения о положении дел за Кубанью и вынуждены были бы, продолжая придерживаться пассивной обороны, действовать ощупью. Чтобы не дать развиваться такому, не нормальному для нас порядку вещей, Эмануэль решился энергично противодействовать политике Порты. Он написал анапскому паше письмо, требуя приостановить распоряжения, клонившиеся в ущерб обоим правительствам, так как заселение левого берега Кубани мирными аулами, преграждая доступ непокорным горцам в наши пределы, устраняло тем самым всякие недоразумения между двумя соседними государствами. В то же время он предписал кордонным начальникам внимательно следить за поведением мирных, и, в случае попытки к переселению, преследовать их как изменников русскому правительству.

В наших правительственных сферах Тифлиса смотрели, однако, на это дело иначе. Распоряжения Эмануэля не только не были одобрены Паскевичем, но главнокомандующий, напротив, усмотрел в них то, чего совсем не было — угрозу представителю соседней державы. “Иное дело,— писал он Эмануэлю,— грозить мелким владельцам нескольких аулов; иное — начальнику, поставленному от дружественной державы. Первые много если разграбят несколько дворов, тогда как неудовольствие другого способно вызвать разрыв между двумя государствами. И как ни сильно российское оружие, а безвременный разрыв с Турцией при нынешней войне (персидской) может быть гибелен для здешнего края”.

Таким образом Эмануэль не нашел поддержки в высшей администрации. Но у него неожиданно нашлись союзники в лице самих закубанских народов: шапсуги, выведенные из терпения настойчивостью Чечен-Оглы, открыто восстали против турок и даже обложили Анапу. Паша очутился в блокаде. Поставленный в безвыходное положение, он — как это ни покажется странным — обратился за помощью к русскому главнокомандующему; прося его для усмирения черкесов закрыть на линии все меновые дворы и прекратить торговые сношения. Паскевич отвечал находчиво и даже остроумно. “Содержание вашего письма,— начинает он,— меня весьма удивило. В то время, как миллионы разных народов покорствуют блистательной Порте, доверенная от Порты особа, высших достоинств, встречает непокорность в горсти каких-то шапсугов — почти невероятное дело! Но если это в самом деле так, то вы, почтеннейший друг мой, верно найдете средства, приличные вашей власти, обуздать непокорных, не подавши им повода думать, что без посторонней помощи вы бессильны заставить их узнать в вас своего повелителя. Запрещать же им со своей стороны торговлю, мену и вообще сношения с русскими, я не имею власти, да это было бы не совместно с достоинством моего Государя. Другое дело, если бы Закубанские горцы, помимо вашей воли, вздумали напасть на наши границы, тогда, без сомнения, командующий войсками на линии генерал Эмануэль, по обязанности доброго союзника вашего, должен внушить им уважение к Турецкому правительству силой оружия”.

Этими-то запутанными обстоятельствами и объясняется то наружное затишье в 1825 году, о котором упоминалось выше. Вместо того, чтобы тревожить наши границы, закубанские народы устремили все свое внимание и силы на борьбу против Турции. Положение паша становится до того шатким, что он обращается к своему правительству с требованием: или прислать войска для усмирения горцев, или позволения оставить свой пост. Порта откликнулась на заявление своего наместника, и в мае в Анапу прибыли турецкие войска, которые и разместились по аулам непокорных нам закубанских обществ. На линии прошел даже слух, что турки будут строить на Кубани крепости, под благовидным предлогом удерживать в повиновении горцев, а в сущности — чтобы на случай войны иметь опорные пункты для вторжения в наши пределы.

Почти одновременно с усилением турок в Анапе, русские войска на Кубани были ослаблены, так как три полка, Тенгинский, Навагинский и Кабардинский, охранявшие линию, были отозваны в Персию. На место их прибыли из России резервные батальоны двенадцатой пехотной дивизии, под начальством генерал-майора Антропова, и хотя численный состав войск остался тот же, что был прежде, но старые, закаленные в боях полки заменились — неопытными и необстрелянными. С ними то и пришлось Эмануэлю встретиться на Кубани, стоявшую уже у порога, турецкую войну.

XXIII. ПЕРВЫЕ ШАГИ ЭМАНУЭЛЯ НА КАВКАЗЕ

В то время, как отношения между Россией и Турцией заметно обострялись и дипломатические переговоры клонились к окончательному разрыву,— на линии, и даже далеко за ее пределами, тревоги стали повторяться чаще. В марте 1828 года, еще до объявления войны, на большом почтовом тракте, верстах в восьми от Павловской станции, сделано было нападение даже на почту. Почтальон с эстафетой, ямщик и тройка почтовых лошадей были уведены в горы, почта разграблена. Из четырех конвойных казаков двое прибыли на место происшествия уже после развязки, а из двух остальных — один был убит, другой ускакал на ближайший пост дать знать о случившемся. Следствие выяснило, что партия состояла из восьми человек, преимущественно беглых кабардинцев, но что между ними находились и кабардинцы наших мирных аулов. Последнее обстоятельство, по крайней мере в глазах современников, являлось прямым последствием тех послаблений, которые допущены были генералом Эмануэлем. При Ермолове кабардинцы, ввиду известной склонности их давать у себя приют закубанским хищникам, могли жить только на плоскости, под строгим надзором наших войск. Но как только Эмануэль отменил это право и кабардинцы стали селиться в горах,— измена и набеги за Кубань кабардинских князей стали явлениями почти обыденными.

В числе мирных кабардинцев, участвовавших в последнем нападении, был молодой князь Магомет Атажукин,— сын известного Темир-Булата, оказавшего в начале нынешнего столетия большие услуги русскому правительству. По смерти отца молодой Атажукин бежал за Кубань вместе с отошедшими от нас кабардинцами, но скоро, раскаявшись, вернулся на родину, был прощен и даже назначен членом народного кабардинского суда. Беспокойный и тщеславный характер юноши не мог мириться, однако, с такой прозаической деятельностью,— и в результате явились сношения с закубанскими князьями, а затем и участие в разграблении почты. Атажукина арестовали. Некоторое время он даже содержался в тюрьме, но потом, когда ему возвратили свободу за круговой порукой всех кабардинских князей, он снова бежал за Кубань и, предводительствуя уже большими партиями горцев, сделался грозой линии. В тридцатых и сороковых годах печальная, но громкая известность Атажукина достигла своего апогея. Его история и романтическая смерть — впереди.

Вторая тревога случилась уже по тракту на Ставрополь, между Кумой и небольшой речкой Карамыком, недалеко от деревни Сабли — и тоже до объявления войны. Местность около этой деревни вся изрезана предательскими балками, а между тем для ограждения жителей здесь содержалось только несколько слабых казачьих постов, которые по своей разбросанности и малочисленности никого оградить не могли. Главное зло — воспрещение иметь огнестрельное оружие, все еще ревниво охраняемое местной администрацией, продолжало тяготеть над крестьянином и лишало его самообороны. Ружье и пистолет, без которых даже казачий ребенок не выходил из дома, в крестьянской деревне, стоявшей рядом с казачьей станицей, считались контрабандой. От этого на всем протяжении от Екатеринограда до Георгиевска и далее, почти до самого Ставрополя, редко где можно было увидеть засеянное поле. Официальные отчеты того времени объясняют это малолюдством страны, а причину малолюдства среди природы, сторицей вознаграждавшей труд земледельца,— не объясняют ничем. Впрочем, все понимали, что на этом пути, служившим ареной черкесских набегов, плуг и коса могли существовать только рядом с мечом. Без меча не могло быть ни косы, ни плуга. И как бы в доказательство этого случилось именно то происшествие на речке Карамык, о котором упомянуто выше.

В чудное апрельское утро 1828 года крестьяне деревни Сабли шли на полевую работу, как вдруг среди белого дня точно из земли выросли перед ними десятка два вооруженных всадников. То были черкесы. Перепуганные крестьяне остановились как вкопанные. Во всей толпе их было только одно контрабандное ружье,— и только владелец этой драгоценности один из всех и не потерял присутствия духа. Он выстрелил и положил на месте одного черкеса. Смелый крестьянин был тут же изрублен, ружье его досталось неприятелю, но, благодаря минутному замешательству, произведенному выстрелом, опомнившиеся крестьяне успели разбежаться, и горцы захватили только шесть мальчиков. Откуда взялась эта партия — следствие не выяснило; но молва приписывала и это нападение мирным кабардинцам.

Это было, впрочем, последнее нападение перед другими, более важными и быстро надвигавшимися событиями: двадцать шестого апреля Турция объявила войну России.

Весть о разрыве, быстро облетевшая оба побережья Черного моря, произвела на закубанские народы сильное впечатление. Мысль о защите верховных прав и интересов султана менее всего, однако, занимала горцев: им представлялось только, что русские войска, отвлеченные внешней войной, будут слабее охранять границу и что добыча будет доставаться им с меньшими потерями, нежели прежде. Положение Кубанской линии при таких обстоятельствах не могло не озабочивать генерала Эмануэля. Он начал принимать деятельные меры предосторожности. Крестьянам разрешили наконец приобретать оружие, свинец и порох. Селения, лежавшие вблизи наших границ, укреплялись. Один путешественник, проезжавший через Солдатское перед самой турецкой войной, видел у ворот ее даже две, Бог весть откуда взятые старые пушки, из которых нельзя было стрелять, но при которых всегда находился мужицкий караул, вооруженный дубинами. Казаки по станицам и войска по своим квартирам день и ночь были на страже. Осторожность сделалась лозунгом всего края.

Не довольствуясь этими мерами, Эмануэль обратился к жителям мирных аулов с прокламацией, в которой убеждал их не тревожиться надвигающимися событиями, оставаться на своих местах и пребывать верными русскому правительству. Прокламации, казалось, подействовали. Первое время мирные аулы действительно не трогались с мест; они даже прислали к генералу Эмануэлю депутации с заявлением своих верноподданнических чувств, просили не покидать их в годину бедствий и защищать от посягательств турок. Прокламации Эмануэля проникли даже в непокорные нам общества, и там, так же, как и в покорных, произвели, по-видимому, благоприятное впечатление. Казалось, что все черкесские племена, кроме абадзехов и беглых кабардинцев, убедились, что за протекторатом России не скрывается никаких корыстных видов в ущерб их свободе, и стали относиться с большим доверием к ней, нежели к туркам. Эмануэлю оставалось только успокоиться. Мало знакомый с характером горских народов, он был обманут наружной тишиной, царившей в горах, и пришел к заключению, что за Кубанью в пользу турок нельзя ожидать никаких серьезных движений. В таком духе он и отправил свои донесения главнокомандующему. Не так взглянул, однако, на дело опытный и дальновидный Паскевич. Несмотря на успокоительные донесения, он поспешил усилить Эмануэля Навагинским пехотным полком и предоставить ему право задержать на линии возвращавшуюся из персидского похода вторую уланскую дивизию.

Нельзя не сказать, что события, предшествовавшие объявлению войны, странно противоречили этому успокоительному тону донесения Эмануэля. В последних числах марта, когда еще разрыв между Россией и Турцией не был совершившимся фактом, командующий войсками получил сведения от ногайских князей, в верности которых не было причины сомневаться, что темиргоевцы, под начальством своего отважного

предводителя Джембулата, замышляют нападение на мирные аулы, с тем, чтобы переселить их в горы. Замысел этот они предполагали привести в исполнение шестого апреля, по окончании рамазана, приходившегося в этом году на первые весенние месяцы. Действительно, после праздников, которым предшествовал великий мусульманский пост, на Уруп съехались на совещание все закубанские князья, с Джембулатом во главе, прибывшим с партией в восьмисот человек. Не известно было только, имеют ли они намерение действительно броситься на мирные аулы, как сообщали ногайские князья, или же пойдут на помощь к Анапе, угрожаемой русскими войсками. Начальник правого фланга генерал Антропов, во время извещений о съезде закубанских князей, решился внезапным нападением захватить их врасплох и тем предупредить враждебные замыслы их против России.

В ночь на первое мая из Невинномысской станицы и Прочного Окопа скрытно выступили два летучих отряда. Оба они в условленный час должны были сойтись на Урупе. Сам Антропов выехал с прочноокопскими казаками и руководил общим ходом экспедиции. Как ни было осторожно движение наших отрядов, оно не могло укрыться от бдительных глаз покорных нам прикубанских жителей. Из всех мирных аулов зорко следили за сотнями наших линейных казаков, пронесившихся мимо них легкими ночными тенями. К тому же отчетливо отдавались в ночной тишине и грохот мчавшейся по камням и кочкам артиллерии, и конский топот. Была глухая полночь. В попутных аулах огни везде были потушены; казалось, что жители покоились глубоким сном и мало заботились о том, какая судьба постигнет их немирных одноплеменников. Но это только казалось. Едва отряд проносился мимо, как горцы садились на приготовленных уже лошадей и во весь дух, опережая войска окольными тропами, мчались на Уруп предупредить заговорщиков.

Ночные движения, тем более, двумя отрядами, вообще удаются редко — один вечно опоздает, потому что трудно рассчитать с математической точностью время, в которое они должны сойтись на условленном месте, и еще труднее предвидеть случайности ночных движений. Но на этот раз, по-видимому, все благоприятствовало успеху. Едва Антропов прискакал к Урупу, как с другой стороны его появились невинномысские сотни, которые вел подполковник Кареев. Оба отряда разом вскочили в аул, в котором происходило совещание — но в нем никого не застали. Удар пришелся по воздуху. Князья, вовремя предупрежденные, имели возможность разъехаться прежде, нежели услышали шум скакавших отрядов. Никаких признаков поспешного или беспорядочного бегства замечено не было. Только вдаль, у самой опушки леса, маячил одинокий черкесский пикет. Отряд, не достигнув цели, повернул назад и возвратился на линию.

Так окончилась ночная экскурсия генерала Антропова.

Не успело донесение об этом дойти до сведения Эмануэля, как по всей верхней Кубани поднялась тревога: мирные темиргоевские аулы князей Шумафа и Тау-Султана Айтековых начали переселение в горы и потянулись к верховьям Белой. Примеру их последовали другие, более мелкие владельцы, и в несколько дней левый берег Кубани опустел на значительное расстояние.

Прежде, нежели мы перейдем к описанию дальнейших событий, необходимо бросить беглый взгляд на внутренний политический строй закубанских племен и их взаимные отношения. Все они делились на две группы: к первой принадлежали шапсуги, натухайцы, убыхи и абадзеи, имевшие у себя республиканский образ правления; другую составляли темиргоевцы, кабардинцы, бжедухи, бесленеевцы, махашевцы и иные, управлявшие родовыми князьями. Во главе этих последних народов, по рыцарской отваге, по благородству чувств и даже благовоспитанности, стояли темиргоевские князья. От них

перенимались моды, дворянские обычаи и даже манеры всеми закубанскими племенами,— и это главенство досталось им по наследству от предков.

Предание адыгского народа говорит, что у знаменитого Инала (потомка Кеса, родоначальника всех черкесских князей) было четыре сына: Темрюк, Беслан, Капарт и Зеноко. Инал при жизни разделил все свои владения на четыре удела и раздал их в управление своим четырем сыновьям, которые стали родоначальниками нынешних черкесских племен: от Темрюка произошли темиргоевцы, от Беслана — бесленеевцы, от Капарта — кабардинцы, и только одни шапсуги не приняли названия четвертого сына Инала, Зеноко. Сам Инал остался жить среди темиргоевцев. Но Темрюк, которого черкесские песни называют человеком “железного сердца”, скоро восстал на отца, лишил его власти и объявил себя одного князем над всеми князьями. Братья не признали его гегемонии; но Инал, которого народ причисляет к лику святых, смирился с судьбой и, умирая, завещал сыновьям почитать темиргоевского князя — “князем над князьями”, в память того, что сам он, властвуя над всеми черкесами, имел пребывание среди темиргоевцев. Князья Болотоко — прямые потомки Темрюка, и потому ни одна из княжеских фамилий за Кубанью не пользовалась до позднейших времен таким значением и влиянием, как эта фамилия. Древность ее свидетельствуется, между прочим, двумя народными поэмами, дошедшими до нас из глубокой старины и составляющими перлы черкесской поэзии. Одна из этих поэм, “Кыз — Бурун”, составлена длинными размерами наподобие гекзаметров и поется закубанскими горцами с аккомпанементом трехструнного инструмента. В поэме рассказывается о том, как князья большой Кабарды хотят посадить для княжения над бесленеевцами одного из своих князей, тогда как у бесленеевцев еще остался наследником малолетний потомок Беслана. Обе стороны вооружаются. Бесленеевцы как слабейшие приглашают к себе на помощь все закубанские черкесские племена и крымского хана. Здесь в поэме описываются все народы, участвовавшие в союзе, и перечисляются все княжеские и дворянские рода их. Бой происходит у Кыз-Буруна в Баксанском ущелье. Кабардинцы укрепляют свою позицию опрокинутыми арбами. Темиргоевцы разбрасывают арбы и врываются в укрепление. Победа остается за закубанскими черкесами, и кабардинцы отказываются от своих притязаний. Таково окончание поэмы.

В другой исторической песне описывается взятие Дербента (Демир-Хану). Здесь было все лучшее черкесское дворянство, и князья Болотоко отличились такой храбростью, что крымский хан дает этой фамилии титул “черного хана”, — другими словами, он передает им все свои права и прерогативы там, где не управляет народом лично. У черкесов поэма эта имеет такое же значение, как у нас родословные дворянские книги. И те фамилии, о которых не упоминается в песне, не могут считаться коренными дворянскими фамилиями.

В то же время, к которому относится описываемое событие, темиргоевцы делились на две части, управляемые членами одной и той же фамилии. Одна часть, обитавшая в верховьях Лабы и имевшая во главе своей Джембулата, питала непримиримую вражду к России; другая, сидевшая по левому берегу Кубани, напротив, была сторонницей русского протектората и дорожила своим положением.

Пока управлял прикубанскими темиргоевцами старый князь Мисост Болотоко, среди них господствовало согласие. Но едва умер старик, как его молодые преемники, Шумаф и Тау-Султан, поддались влиянию враждебного нам Джембулата и бежали со всеми подвластными им аулами в горы.

Получив об этом известие, Эмануэль сам прибыл в Усть-Лабинскую крепость. Здесь он узнал, что бегство темиргоевцев сопровождалось вероломным убийством нескольких

казаков, случайно находившихся у них в аулах, что они истребили паром, с целью замедлить наше преследование, и, наконец, атаковали команду черноморских казаков, возвращавшуюся домой, причем офицер и несколько казаков были убиты. Этого бы конечно не случилось, если бы казаки, зная в лицо многих темиргоевцев, не приняли их за мирных, чем они и были в действительности до этого времени. Эмануэль решил преследовать мятежников с тем, чтобы настигнуть их прежде, нежели они успеют проникнуть в непокорные нам земли. Тотчас сформированы были два отряда: один выступил из Прочного Окопа под командой генерала Антропова, другой — из Усть-Лабы под личным начальством самого Эмануэля. Отряды должны были действовать по обоим берегам Лабы, а затем, соединившись в ее верховьях, напасть на самого Джембулата.

Колонна Эмануэля [Отряд Эмануэля составляли: рота Навагинского полка, пеший полк черноморских казаков, три конные полка черноморцев, сотня Кавказского линейного полка и четыре орудия.], переправившись через Кубань девятнадцатого мая, попала сразу на след бежавших аулов и сразу же уклонилась от первоначального направления в сторону. Следы привели ее к берегу Белой; но тут они затерялись в дремучем лесу, и войска вынуждены были приостановиться.

Десять линейных казаков вызвались идти на разведку. Пробираясь ползком по густому лесу, они увидели большой аул, принадлежавший также одному из темиргоевских князей — Хеаoley Айтекову. Чем ближе подползали к нему казаки, тем явственнее видели свежие следы, проложенные арбами; трава везде была примята прогнанными стадами, а перед аулом, на небольшой поляне, толпилось так много народу, что не оставалось сомнения в присутствии здесь бежавших аулов. Казаки все высмотрели, но когда они вернулись к отряду, в лесу сгущались уже сумерки.

Несмотря на поздний час вечера, Эмануэль приказал немедленно атаковать изменников.

Десятый конный Черноморский полк и сотня линейцев, во весь опор промчавшись через лес, выскочили на поляну; но на поляне никого уже не было. Отдыхавшие на ней аулы успели подняться, и казаки увидели только хвост обоза, втягивавшийся в лесную опушку. Передовые сотни, оставив аул в стороне, пустились в погоню; они доскакали до леса, но, встреченные в упор убийственным залпом, были опрокинуты. Сменившие их новые сотни потерпели ту же неудачу. Черноморцы отступили.

В это время на поляну стала выходить пехота. Рота Навагинского полка направлена была на аул, а пеший Черноморский полк двинулся к лесу, чтобы сменить свою расстроенную конницу. Те и другие имели, однако, не более удачи, чем наша кавалерия. Едва навагинцы подошли к аулу, как, осыпанные градом пуль, подались назад. Сам Эмануэль кинулся к роте. “Навагинцы! Вперед, в штыки!” — крикнул он громко. Рота бросилась, — но после упорного боя успела овладеть только крайними саклями. Потери, понесенные ею при этой вторичной атаке, заставили Эмануэля прибегнуть к другой, более суровой мере: он приказал зажечь аул. Охваченные со всех сторон быстро распространявшимся пламенем, черкесы стали выбегать из аула и направляться к лесу, где в это время кипел отчаянный бой между черноморцами и беглыми темиргоевцами. Появление их в лесу неминуемо поставило бы наших казаков между двух огней, а потому Эмануэль спешил всю конницу и приказал ей занять опушку леса, чтобы преградить доступ к нему новому противнику. А в лесу между тем положение черноморцев с минуты на минуту становилось серьезнее. Несколько раз порывались они пробиться через толпу к обозу, но черкесы, окружившие свои семейства, стада и имущество, стояли крепко и отбивали атаку за атакой. Спустилась ночь, черная, непроглядная, освещаемая только заревом пылавшего аула и молниями ружейного огня, беспрестанно вылетающими из мрака неподвижно стоящего леса.

Картина была новая для Эмануэля, местность незнакомая — а при таких условиях исход боя мог быть роковым для отряда, и еще более для самого генерала, на котором лежала страшная ответственность. Он приказал ударить отбой. Перестрелка, постепенно затихая, скоро совершенно смолкла, и последние пары черноморцев выступили из леса. Отряд остановился ночевать у развалин сожженного им аула.

За ночь темиргоевские аулы ушли так далеко, что преследовать их на другой день было немыслимо. Отряд вернулся на прежнюю дорогу, которая должна была привести его к Лабе на соединение с прочноокопским отрядом. Но дорога эта перехвачена была неприятелем. Едва войска выступили с ночлега, как передовая цепь, встреченная стремительной атакой, была опрокинута. Горцы неслись по ее следам и рубили бегущих. На выручку к ней бросился десятый конный полк. Он в свою очередь опрокинул горцев и отомстил им за поражение цепи и за свою вчерашнюю неудачу... А впереди опять тянется лес, опять начинается нескончаемая перестрелка с невидимым неприятелем. Бой при такой обстановке был тоже явлением совершенно незнакомым Эмануэлю, привыкшему видеть неприятеля и знать, с кем он имеет дело. Там, в европейской войне, бой был его родной стихией; здесь все было для него ново — и местность, и люди... Лес прошли с большими затруднениями. Навагинская рота, посланная вперед, несколько оттеснила неприятеля с дороги, и только тогда явилась, наконец, возможность провести кавалерию через это страшное место без особого урона.

Бой окончился ночью и на следующее утро уже не возобновлялся. Отряд спокойно достиг небольшой речки Гиого и сделал привал в виду высокого холма, на котором среди дикого и пустынного пейзажа стоял какой-то каменный памятник. Проводники говорили, что это могила верного нам темиргоевского князя Бейзрука Айтекова, убитого на этом месте непокорными горцами еще во времена Глазенапа. Памятник, воздвигнутый русским генералом, стоит никем не тревожимый, потому что черкесы питают суеверное благоговение к могилам своих усопших князей, к какому бы политическому лагерю они не принадлежали. С привала Эмануэль послал казаков отыскивать броды на Лабе; но бродов не оказалось. Наступила пора половодья; Лаба разлилась и бушевала с такой силой, что всякие сообщения через нее прекратились. Русские отряды сошлись; они видели друг друга, но подать один другому руки не могли — их разделяли пенистые волны бушующей реки. При отряде Антропова были складные паромы, но если они годились для переправы через небольшие горные речки, то пуститься на них через Лабу нечего было и думать — Лаба одним ударом волны превратила бы их в щепы.

Это неожиданное препятствие дало экспедиции совершенно другой оборот. Так как напасть на Джембулата в его горных тущобах соединенными отрядами не представлялось никакой возможности, то Эмануэль решил ограничиться одной демонстрацией, чтобы отвлечь внимание горцев от нашей линии и заставить их думать о защите своих аулов.

С этой целью колонна его двадцать четвертого мая выступила к верховьям Белой; но не прошла она и нескольких верст, как снова наткнулась на неприятеля. Горцы, засев в лесу, встретили авангард ружейным огнем и открыли по нем канонаду из фальконета. Колонна находилась еще шагах в шестистах от леса, а люди падали уже, поражаемые фальконетными пулями. Эмануэль вызвал вперед казачье орудие, и по третьему выстрелу и фальконет, и стоявший с ним рядом зарядный ящик были взорваны. Лес огласился криком нескольких сот голосов, весьма похожим на тот страшный гик, который предшествует атаке холодным оружием. К цепи тотчас же придвинуты были резервы, чтобы дать отпор неприятелю. Но неприятель и не думал бросаться в шашки; в его скопище происходило нечто необыкновенное: горцы толпами выскакивали из леса,

суетились, бегали и, как было заметно, уносили убитых и раненых. Надо было полагать, что взрыв зарядного ящика нанес им большие потери. Пользуясь минутой замешательства, навагинская рота бросилась вперед и заняла опушку. Неприятель покинул лес, и густые толпы его до самого вечера тянулись по направлению к Белой. Эмануэль счел задачу оконченной, и этим небольшим походом ограничилась вся его демонстрация.

На следующий день отряд пошел обратно к Кубани. Двигаясь назад между Лабой и Белой, войска прошли мимо аулов, заселенных исключительно армянами, которых не тронули, потому что и они со своей стороны ко всему происходившему вокруг них относились совершенно безучастно. По религии и по стремлению обогатиться посредством торговых оборотов, эти армяне ничем не отличались от армян наших закавказских провинций, но одевались они по-черкесски, ездили на отборных лошадях и имели оружие, которому позавидовали бы многие горские витязи. Даже в домашнем быту они переняли многие черкесские обычаи, но все это не сделало их ни храбрее, ни воинственнее. Они, как и евреи, думали только о барышах и наживе и селились по всем, самым отдаленным местностям Кавказа, лишь бы мимо этих местностей пролегали бойкие торговые дороги. Так же как евреи, они пользовались в горах всеобщим презрением и если в своих коммерческих предприятиях заходили так далеко, что подвергались насилию и грабегам, то никогда не рисковали жизнью. Черкес считал оружие, которым хотя бы случайно был убит армянин, оскверненным, и потому никогда не обнажал его ни против еврея, ни против армянина. Войска, незнакомые с этими особенностями, были весьма удивлены, встретив армянские поселения там, где до сих пор почти каждый шаг доставался им с боя.

Как только отряд миновал армянские деревни,— впереди тотчас завязалась перестрелка: Эмануэлю в четвертый раз пришлось прокладывать себе дорогу оружием. На этот раз черкесы искусно пользовались придорожными курганами и из-за них, с подсошек, встречали и провожали войска меткими выстрелами. Но вот отряд миновал курганы. За ними началась ровная, открытая степь, столь заманчивая своим простором для казака и черкеса. И те и другие, не выдержав, пустились джигитовать, точно вызывая друг друга на одиночные состязания. В числе других принял вызов и какой-то уздень, весь с головы до ног закованный в панцирь. Это был, как оказалось впоследствии, один из приближенных людей к Тау-Султану. Но он не успел еще оправиться в седле, как наскочивший казак выстрелом в упор положил его на месте. Уздень пошатнулся в седле. Мертвая рука его затянула поводья, и испуганный конь, взвившийся на дыбы, сбросил труп, тяжело звякнувший о землю своей кольчугой. Казаки тотчас окружили убитого, чтобы овладеть его дорогими доспехами. Потеря оружия — позор для черкеса. Десятка три горцев в свою очередь бросились к телу, и над распростертым трупом завязалась отчаянная схватка. К горцам подоспела еще помощь; казаков также поддерживали ближайšie звенья цепи. Почти весь конвой Эмануэля, ординарцы и вестовые, устремились туда же. Несколько раз тело переходило из рук в руки и в конце концов осталось за казаками. Еще раз попытались горцы выручить его и уже всей массой ринулись в шашки, но картечь смешала их и рассеяла.

Даже последнюю часть пути до Кубани отряду не суждено было пройти беспрепятственно. Черкесы следили за ним, не отставали от него и весь следующий день провожали хотя незначительной, но продолжительной перестрелкой, которая смолкла только тогда, когда к арьергарду подъехали два узденя, держа высоко над головой бумагу. Их приняли как парламентариев. Они объявили Эмануэлю, что присланы от темиргоевских князей, которые просят позволения явиться к нему для личных объяснений. Эмануэль сказал, что будет ожидать их на этом самом месте. И, действительно, отряд простоял целый день; но князья не приехали, так и оставив загадкой, для чего именно

потребовалось им задержать отряд на целые сутки. Двадцать девятого числа войска вернулись, наконец, на Кубань и были распущены.

С такими же ничтожными результатами, но без всякой потери, вернулся на Кубань и генерал Антропов. Он два дня простоял на Лабе, на том самом месте, где его оставил Эмануэль, и два дня употребил на переговоры с бесленеевскими князьями, в надежде образумить их и заставить отказаться от враждебных действий против русских. Дети бесленеевских князей действительно были у нас аманатами, но даже и это не привело переговоры к желаемой цели. Два узденя, прибывшие в лагерь Антропова, объявили, что бесленеевцы, по всей вероятности, будут действовать против русских заодно с абадзехами, но что князья во всяком случае придут сами для личных переговоров с генералом. Еще два дня простоял Антропов в ожидании их приезда; но так же как темиргоевские князья к Эмануэлю, не приехали и бесленеевские князья к Антропову. Дальше ждать было нельзя — в отряде не было уже продовольствия, и Антропов вернулся на Кубань.

Так окончились экспедиции обоих отрядов. Неудачи их отозвались вредно для нас во взглядах обеих воюющих сторон: горцы стали смелее, в войсках поколебалось доверие к своим предводителям. “Эх, не то бывало при Алексее Петровиче”, — громко рассуждали между собой казаки и солдаты, вспоминая походы Вельяминова, Власова, Кацырева и Бековича. Мог ли и сам Эмануэль спокойно взирать на будущее, когда тотчас по возвращении из экспедиции он получил сведение, что та самая туча, которую он собирался рассеять, по его же следам быстро направляется к нашей окраине. Он сознавал, что потерял много времени, еще более людей — и пошатнул свою славную, боевую репутацию.

XXIV. СЕЛО НЕЗЛОБНОЕ

Прежде, нежели Эмануэль возвратился из своей бесплодной погони за отложившимися от нас темиргоевцами, в Ставрополе пронеслась молва, что по следам его идет на линию Джембулат с сильной партией. Эмануэль ничего не подозревал и получил об этом известие только по прибытии в Ставрополь. Какая цель была у Джембулата — этого никто не знал, кроме нескольких закубанских князей, бывших на совещании с ним у верховий Урупа.

После войны, после набегов и хищнических нападений на больших дорогах, совещания эти составляли самое любимое развлечение праздных горцев, в особенности знатнейших из них, у которых для обработки полей были рабы, а для ухода за лошадьми — нукеры. На совещания горцы съезжались с самых отдаленных пределов своей земли, проводили в них дни, недели, случалось, даже целые месяцы. Каждое общество выставило своих представителей, обязанных отстаивать его интересы. Происхождение, удалство, родственные связи, даже ученость уступали здесь место талантности оратора. Талант и красноречие — это были два качества, которые, помимо славы наездника, давали средства возвыситься над толпой и управлять ее судьбами. Быть “языком народа”, как быть руководителем и вожаким набега, — две ступени, выше которых не поднимались любимые вожделения горца. Самое место для подобных совещаний избиралось или возле какого-нибудь кургана, или на поляне, освященной обычаем. Старшины, голоса которых уважались так же, как голос эфенди и отважных наездников, обсуждали вопрос и потом передавали решение народу. Если народ соглашался с постановлением, то один из эфенди составлял “дефтер” (акт), на котором присутствующие прикладывали печати или пальцы, омоченные в чернила. Исключением служили только военные предприятия, которые сообщались народу без излишних подробностей, во избежание измены; и здесь народ

имел решающий голос в выборе предводителя, если тот, кому звание это принадлежало по рождению, был слишком молод или неопытен.

На последнем совещании, происходившем под председательством Джембулата, решено было сравнивать с землей все ногайские аулы, сидевшие по Кубани, а жителей выселить в горы, и таким образом обнажить всю Кубанскую линию, оставив ее при одних станицах и казачьих постах. О выборе предводителя в этом случае не могло быть и речи: смелый и обширный план должен был привести в исполнение сам Джембулат как вождь первенствующего племени и как человек, заявивший себя отвагой, находчивостью и распорядительностью. Джембулат действительно был достойным потомком своего прапрадеда Инала. С неустрашимостью он соединял необыкновенный дар красноречия, пронизательный ум, железную волю, скрытность и замкнутость азиата. Суровый в общении, даже мстительный, он мог быть при случае и великодушен. Про него ходили целые легенды, и народные барды славляли его подвиги в своих песнях.

Совещание его с князьями, происходившее в верховьях Урупа, окончилось почти одновременно с неудавшейся экспедицией Эмануэля и Антропова. Джембулат, собрав конный отряд в две тысячи всадников, все время двигался почти на хвосте у Эмануэля, стараясь отвлечь его внимание от того, что происходило в тылу. Ни одним словом не обмолвились о Джембулате и мирные аулы, мимо которых проходил Эмануэль и которые знали все, что происходило в горах. Первые известия о приближении горцев к нашим владениям получены были в Прочном Окопе четвертого июня. Антропов тотчас собрал отряд и быстрым движением за Кубань успел заслонить ногайские аулы между Урупом и Зеленчуком. Внезапное появление войск несколько озадачило неприятеля. Но партия не разошлась по домам: она только переменяла направление и двинулась к верховьям Кубани, возбуждая общее недоумение относительно дальнейших своих целей. Утром шестого июня горцы перешли Зеленчук и явились на высотах левого берега Кубани против Баталпашинской станицы. Это была штаб-квартира Хоперского линейного казачьего полка, которого в это время не было дома, — он находился в отряде Антропова, и станица охранялась только четырьмя сотнями донских казаков, под командой подполковника Радионова.

Открытое появление неприятеля на берегу Кубани подняло тревогу на линии. С высот, на которых стоял Джембулат, хорошо было видно, как собирался малочисленный отряд Радионова. Джембулат долго наблюдал за ним, так же, как и казаки со своей стороны не спускали глаз с Джембулата. Можно было подумать, что обе стороны соображают, как должна была произойти между ними встреча. Эта немая сцена продолжалась около часа. Наконец к Радионову подошла пехота с четырьмя орудиями. Тогда Джембулат опять потянулся вверх по Кубани, а по одному с ним направлению, но противоположным берегом, пошел и Радионов со своим небольшим отрядом. Некоторое время противники могли видеть друг друга, но встретившаяся на пути высокая гора Учкул заслонила от нас партию. Не желая терять ее из виду, Радионов послал вперед донского есаула Попова со сборной сотней донских и хоперских казаков. Есаул Попов принадлежал к той категории полумифических героев, которую в наше время можно считать почти вымершей, представители ее и тогда были уже довольно редки. Попов не думал о смерти, когда шел на неприятеля, а думал только о том, чтобы достигнуть цели, для которой был послан. В душе его жила уверенность, что пока он жив, цель будет достигнута, — и эта уверенность делала его грозным противником, каким всегда бывает человек, для которого нет выбора между победой и смертью.

Пока отряд взбирался на крутую гору, Попов уже достиг ее вершины и вдруг очутился над самой Кубанью, которая во всю ширину была запружена переправлявшейся партией.

Человек восемьдесят всадников, сверкая на солнце кольчугами, уже выезжали на берег. Попов рассчитывал, что успеет изрубить их прежде, чем остальные справятся с быстрым течением Кубани,— и прямо с горы бросился в шашки. К несчастью, расчет его оказался не верен. Завидев скакавшую, сотню, почти половина партии разом вынеслась на берег — и Попов столкнулся с восемьюстами отборных панцирников. Сотня мгновенно была опрокинута. Напрасно Попов старался остановить бегущих. Не более сорока человек вернулись на его благородный зов, и с этой-то горстью он снова ринулся в сечу. Думал ли он задержать неприятеля, рассчитывал ли, что Радионов успеет поддержать его целым полком — неизвестно. Но прежде, чем Радионов узнал о его положении, случилось то, что должно было случиться. Из тридцати пяти-сорока казаков двадцать семь были мгновенно изрублены; остальные, окружив своего безумно отважного начальника, схватили за повод его лошадь и силой увлекли его из боя. Отряд еще был на полугоре, когда прискакала разбитая сотня. Попов с перерубленной пополам головой и с пулей в боку, весь залитый кровью, остановился возле Радионова, хотел ему что-то сказать — и упал мертвым. Одним героем в рядах Донского войска стало меньше.

Радионову ничего не оставалось более, как отступить к Баталпашинску, оставленному им без всякой охраны. Джембулат между тем, не тревожимый больше войсками, открытый, но не остановленный Радионовым, спокойно продолжал движение к каменному мосту на Малке. В голове его созрел уже новый, еще более обширный план, заключающийся в том, чтобы проникнуть в Большую Кабарду, поднять в ней общее восстание и перебросить театр военных действий с Кубани на Терек и Сунжу. Много лет спустя план этот повторился при других обстоятельствах и уже другим человеком — Шамилем: только Шамиль намеревался привести его в исполнение с противоположной стороны, то есть, он шел от Терека и Сунжи в ту же Кабарду и отсюда рассчитывал перенести свое оружие на линию Кубани.

Шествие Джембулата по русским пределам сопровождалось даже некоторой торжественностью. Впереди, в ярко зеленой чалме и белом бурсуне, ехал турецкий сановник, которого все называли Магомет-ага. За ним везли большое красное турецкое знамя. За этим большим знаменем следовали пять других знамен меньших размеров, принадлежащие пяти владетельным закубанским князьям. Почти наравне с представителем Порты, но несколько поодаль от него, ехал Джембулат. Поступаясь наружно своим высоким званием, он обращался с турецким сановником настолько почтительно, насколько это позволял ему суровый и гордый нрав. Двухтысячная партия, следовавшая за ними, также представляла незаурядное явление: почти половина ее состояла из представителей знатнейших закубанских фамилий, рыцарские доспехи которых — дорогие шлемы, кольчуги и налокотники — горели и сверкали пол лучами июньского солнца.

Но прежде, нежели пройти в Кабарду, Джембулату в тот же день предстояло еще одно столкновение с русскими. На пути стояла станица Бургустанская. Там уже знали о появлении Джембулата и встретили его пушечными выстрелами. Джембулат тотчас отошел из-под выстрелов и в нескольких верстах от укрепления расположился на дневку — обстоятельство тем более удивительное, что места, через которые он проходил, не были ни горными трощами, ни хищническими тропинками: это была большая дорога из Западного Кавказа в Восточный, дорога, слишком хорошо известная русским,— и по ней-то неприятель двигался так же спокойно и открыто, как по своим внутренним, никому неизвестным путям сообщений. Казалось, что все способствовало успехам Джембулата. И тем не менее, цель его не была достигнута. Ему не пришлось перенести театр военных действий с берегов Кубани на берег Терека и Сунжи, и даже не удалось поднять Кабарду, хотя почва для этого была подготовлена и одного появления его было достаточно, чтобы

все в ней пришло в волнение. Случилось, однако, обстоятельство, которое расстроило все планы Джембулата: русские войска, возвращаясь из Персии, шли по Военно-Грузинской дороге, и присутствие их отнимало у кабардинцев всякую возможность к открытому восстанию. При таких условиях успех вторжения был не верен, и Джембулат отказался от него так же быстро, как быстро на него решился. На заре восьмого июня он перешел Подкумок и вместо Кабарды двинулся в самый центр русских поселений — в окрестности Георгиевска.

Не известно, угадал ли Антропов намерение противника, или же он действовал по вдохновению, но, возвратясь поспешно из-за Кубани, он еще шестого июня приказал подполковнику Радионову с его полком и четырьмя орудиями стать на Куме в Бекешевской станице, а майору Канивальскому с Хоперским полком занять Кисловодск. Таким образом, дороги к Георгиевску и Ставрополю были прикрыты; но зато оба наши отряда простояли все седьмое число, когда Джембулат дневал у Бургустана, в совершенном бездействии.

В таком положении были дела, когда Эмануэль, встревоженный вторжением неприятеля, сам выехал из Ставрополя и восьмого июня прибыл в Баталпашинск. Участь этой станицы не могла не беспокоить его. Баталпашинск, построенный на правом берегу Кубани,— важный стратегический пункт, значение которого понимали даже турки, когда в конце прошлого столетия пытались пробиться через него в наши владения на Тереке. В Баталпашинске никто, однако, не мог сообщить Эмануэлю ни о направлении, которое взял неприятель, ни о результатах его преследования. Недовольный медленными движениями отрядов, Эмануэль послал им приказание тотчас разыскать Джембулата и стараться отбросить его в Кабарду, навстречу выступившим оттуда отрядам. Но Приказание это не застало уже ни Радионова, ни Канивальского.

Восьмого июня, на заре, с высот, на которых стоял отряд Канивальского, заметили партию Джембулата, двигавшуюся к каменному мосту. Канивальский не решился, однако, выйти навстречу с одним казачьим полком и отступил к Горячим Водам, чтобы скорее соединиться с Радионовым. Этим движением он потерял горцев из виду, а горцы, воспользовавшись его ошибкой, опять переменили направление и двинулись к волжским станицам по дороге, теперь уже никем не наблюдаемой. К сожалению, известие об этом у нас получили поздно, только под вечер, когда неприятель прошел уже Этоцкий пост; и хотя Радионов и Канивальский, присоединив к себе еще донскую сотню Грекова полка, вызванную из Константиногорска, тотчас пошли за неприятелем, но наверстать потерянное время было уже невозможно. Ночь наступила темная. Следы, начавшиеся от Этоцкого поста, скоро исчезли. Отыскивая их, казаки сбились с дороги и долго блуждали по степи, как вдруг в стороне, по направлению к Марьевской станице, послышались глухие удары пушечных выстрелов. Едва отряды повернули в ту сторону, как встретили майора Казачковского, скакавшего туда же с двумя сотнями волжских казаков и конным орудием. Он шел из Кабарды вместе с батальоном сорокового егерского полка, но, заслышав канонаду, бросил пехоту на дороге и поспешил вперед с одними казаками.

Теперь отряд собрался достаточно сильный, чтобы дать отпор неприятелю. Но как ни быстро двигались наши войска, еще быстрее увеличивалось расстояние между ними и Джембулатом. На самой заре они убедились наконец, что пришли слишком поздно. В предрассветной мгле за Марьевской станицей поднимались от земли густые облака черного дыма, и сквозь них вырезывались огненные языки огромного пожара. Горело село Незлобное. В Марьевской казаки узнали мимоходом, что горцы ночью подходили к станице, но, встреченные пушечным огнем, повернули назад и кинулись к Незлобному.

Большая деревня эта, имевшая более ста дворов и до шестисот жителей, не была укреплена даже простой колючей оградой. Горцы напали на нее врасплох, перед самым светом, когда все еще спали. Прежде всего они зажгли деревню со всех четырех концов. Пожар, раздуваемый ветром, быстро охватил соломенные крыши, и деревня проснулась под страшные крики: “Пожар!”. Многие из жителей, не разувая, в чем дело, выскакивали из домов и попадали прямо в руки неприятеля. Оружия у крестьян не было; защищать их было некому. В деревне стояло ремонтное депо второй уланской дивизии; но небольшая команда улан не могла отстоять даже самой себя и пала, защищая свой пост. Восемь человек Белгородского полка были изрублены, четверо были захвачены в плен, и только одному, израненному, удалось бежать в Георгиевск. Все ремонтные лошади и весь обывательский скот достались в добычу неприятелю. Имущество все было разграблено. Горцы врываются в дома, и в них повторялись те же страшные кровавые сцены, что и на улицах: молодых вязали и забирали в плен, стариков и старух резали или бросали в огонь; дети, отторгнутые от матерей, гибли десятками, и на них никто не обращал внимания. Из шестисот жителей только сто сорок мужчин и девяносто женщин успели спастись благодаря не совсем еще рассеявшимся утренним сумеркам; из остальных трехсот семидесяти человек не спасся никто; но сколько было убито и сколько забрано в плен, сведений собрать было невозможно.

Посреди этой дикой, раздирающей сердце картины только старый священник и дьякон — одни не потеряли присутствие духа. Они не уподобились тому наемнику, который не радеет об овцах и бежит при виде грядущего волка, а напротив, душу свою положили за свою паству. Не заботясь о личной безопасности, предоставив промыслу Божьему печься о своих семьях, оба они бросились в церковь, чтобы спасти святые Дары, — и оба на пороге святого храма, так сказать, на своем духовном посту, пали под ударами неприятеля. Несчастные семейства их были взяты в плен и погибли без вести. Воспоминание о достойном пастыре и дьяконе сохранилось донныне, но имена их, к сожалению, не дошли до потомства. Пожар не пощадил и церкви. Она сгорела вместе со своей святыней, и то, что спаслось от огня, было расхищено горцами.

Когда войска приблизились к Незлобной, печальное и потрясающее зрелище представилось их глазам. Неприятеля уже не было на месте катастрофы, селения также не существовало. Там, где за час перед тем на предрассветном небе вырезывались дымовые трубы скромных крестьянских изб и торчали высокие колодезные журавли да конусообразные стога сена — теперь на просторе бушевало огненное озеро, и над его волнистой поверхностью, подобно маяку, высилась, охваченная сверху до низу огнем, колокольня. Но вот рухнула и она. Целым снопом вырвались из пламени белые искры и тотчас же в нем затонули. На одной из улиц, куда с великим трудом пробрались казаки, валялись обгоревшие, обуглившиеся трупы жителей. Некоторые из них до того были обезображены огнем, что невозможно было определить, какому возрасту и полу они принадлежали. Имущество все погибло, и то, что не было расхищено горцами, стало жертвой пламени.

Удовольствовался ли Джембулат разгромом Незлобной, или он замыслил новое нападение, — из положения, занятого им утром девятого июня, ничего нельзя было заключить. Джембулат имел достаточно времени, чтобы отступить, избежав встречи с нашими войсками; но он не отступил, а, напротив, остановился на высокой горе и занял позицию верстах в пяти за Марьевской. Отсюда до Горячих Вод один переход, и посетителям наших минеральных групп могла угрожать серьезная опасность. Впоследствии, по прошествии многих лет, горцы рассказывали сами, что они рассчитывали смять казачьи отряды и затем снести с лица земли новый, только что зарождавшийся тогда городок Горячеводск. Радионов тотчас повернул на неприятеля. К

сожалению, наши отряды от Незлобной пошли эшелонами и растянулись на значительное расстояние. Впереди с двумя сотнями волжских казаков и конным орудием скакал майор Казачковский — офицер испытанной храбрости. При этих же сотнях находились Два других доблестных офицера: войсковой старшина Страшное и сотник Селивантьев, два богатыря, слывшие грозой чеченцев, у которых имена их пользовались общей известностью. За Казачковским с донским полком и четырьмя орудиями следовал сам Радионов, а еще далее — майор Канивальский вел свой Хоперский линейный казачий полк.

Сближаясь с неприятелем, волжские казаки приняли несколько влево, чтобы очистить место для следующего эшелона. Радионов тотчас выдвинул четыре орудия: но как только они открыли огонь, горцы начали резать пленных — и артиллерия принуждена была замолчать. Не видя другого исхода, Радионов поджидал только Канивальского, чтобы начать решительную атаку. Но Джембулат, видевший со своей возвышенной позиции растянутое положение наших войск, не стал выжидать нападения, а сам со всеми силами ударил на волжцев. Майор Казачковский вынесся вперед с конным орудием, но только что обдал неприятеля картечью, как в тот же момент и сам он, и пушка — все было поглощено нахлынувшей массой всадников: Казачковский был изранен, прислуга перебита, орудие опрокинуто вверх колесами, и две тысячи горцев насели на две сотни волжских казаков прежде, чем те успели выхватить шашки. Войсковой старшина Страшное и сотник Селивантьев были изрублены первыми. Казаки не устояли, дали тыл — и тела двух богатырей остались в добычу неприятелю.

Между тем на помощь волжцам уже скакал весь донской полк Радионова. Джембулат, не имевший уже более противника с фронта, быстро повернул на него свою партию, и обе стороны столкнулись на полном карьере. Закипела отчаянная рукопашная свалка. Старики, которых еще не мало в волжских станицах, рассказывают, что при ударе о панцири казачьи пики разлетались в куски и донцы оставались безоружными. Сам Радионов, человек гигантского роста и замечательной силы, был впереди. Его окружило человек десять горцев; он долго отбивался, нанося своей богатырской рукой смертельные удары, но наконец выстрел в упор ранил его в шею. Он пошатнулся в седле, а в этот момент другой горец одним ударом шашки, ударом феноменальным, отрубил ему ногу; нога упала на землю, и тогда упал с коня и Радионов. Горцы обступили его и изрубили в куски. И так, менее нежели в четверть часа, казаки лишились трех богатырей, составлявших лучшее украшение донского и линейного войск. Полк Радионова бежал в беспорядке; орудие, потерянное Казачковским, осталось в руках неприятеля.

В это время к полю битвы подоспел Канивальский со своими хоперцами. Канивальский, потерявший неприятеля из виду, был одним из главных виновников всей катастрофы, — и ему нужно было загладить свою ошибку, он и загладил ее достойным образом. Нисколько не смущаясь неудачей первых двух отрядов, не обращая внимания на подавляющее численное превосходство неприятеля, он развернул полк и так стремительно кинулся в шашки, что партия Джембулата дрогнула и обратилась в бегство. Орудие было отбито назад. Хоперцы неслись на плечах неприятеля и рубили его. Поражение горцев было бы полное, если бы казачьи лошади, изнуренные большими переходами, не начали останавливаться. Тогда преследование прекратилось. Остановился и Джембулат. Устроив свое скопище, он начал отступать в таком грозном порядке, так гордо и самонадеянно, что наша вторая атака уже с расстроенными силами могла бы, пожалуй, только повредить успеху первой. Отступая, неприятель жег все, что попадалось на пути: казачьи посты, отдельные хутора, скошенный хлеб, скирды сена. По дороге, — здесь и там, казакам попадались залитые кровью трупы, по преимуществу детей и женщин, в которых узнавали незлобинских жителей. По всей вероятности, это были больные или усталые,

затруднявшие собой быстрое отступление горцев. Казаки продолжали идти по следам Джембулата, но едва ли пришлось бы им нанести горцам новое поражение, если бы сам Джембулат случайно не наткнулся на батальон, отставший ночью от Казачковского. Батальон встретил неприятеля в упор таким бойким батальным огнем, что озадаченные горцы бросились в сторону, — и в этот-то момент вторично насели на них казаки. На этот раз преследование продолжалось двадцать пять верст и прекратилось только тогда, когда измученные лошади окончательно стали.

Джембулат между тем, не останавливаясь, скакал всю ночь, торопясь занять Баксанское ущелье — единственный путь, по которому горцы могли, хотя с огромным риском, выйти из наших пределов. Он знал, что пехота с разных сторон Кабарды двигалась к тому же ущелью, чтобы отрезать ему отступление, — и шел так быстро, что когда утром десятого июня Канивальский прискакал к Баксану, — партия Джембулата, далеко оставившая за собой нашу пехоту, уже миновала ущелье и поднималась на перевал к земле карачаевцев.

Далее преследовать было немыслимо, и отряды возвратились домой.

О потере неприятеля, понесенной в наших пределах, положительных сведений не было, но за разорение Незлобной он заплатил своими лучшими наездниками. Здесь были убиты кабардинские князья: Султан-Аслан-Гирей, Аслан Росламбек и Дженгот Аша; тяжело ранен Гаджи-Мурза-Бек-Хамурзин и другие. Русским вторжение Джембулата обошлось слишком дорого. Не считая убитых, погибших в пожаре и взятых в плен несчастных жителей села Незлобного, у нас выбыло из строя убитыми: два штаб-офицера (Радионов и Страшнов), два обер-офицера (Попов и Селивантьев) и восемьдесят шесть казаков; ранены: майор Казачковский, сорок два казака; и восемь человек пропало без вести.

О геройском поведении Казачковского в деле девятого июня с похвалой отзывались сами черкесы. Окруженный неприятелем, он получил множество ран, из которых каждая должна была свести его в могилу: так, например, у него перерублены были все левые ребра и концом шашки разрезаны легкие и даже желудок. Два оставшиеся в живых конно-артиллериста успели вырвать его из рук неприятеля и, схватив за повод его лошадь, вместе с ним помчались за бежавшими казаками. К несчастью, при этом общем бегстве лошадь Казачковского была ранена пулей, бросилась в сторону и выбила его из седла. Горцы сочли его, однако, убитым и проскакали мимо; но Казачковский имел еще силу проползти несколько шагов и притаиться в кустах. Там и нашли его после дела с едва заметными признаками жизни. Общественное мнение и большинство медиков, бывших на Горячих Водах, приговорили его к смерти, но, к великому удивлению всех, штаб-доктор Шлиттер поставил его на ноги, хотя здоровье никогда уже более к нему не возвращалось. Для службы, которой он служил украшением, Казачковский был навсегда потерян.

Смерть Радионова также оплакивалась всеми, и посетители Горячих Вод, обязанные ему главным образом избавлением от опасности, приняли на себя все расходы по его погребению. Похороны его отличались особенной торжественностью, и весь город проводил его гроб до самой могилы. К сожалению, в преданиях не сохранились указания о месте его погребения, и путник может быть двадцать раз прошел по его забытой могиле, не подозревая, — что ступает над прахом одного из богатырей великого кавказского эпоса.

Поход Джембулата в русскую землю замечателен в том отношении, что он двигался с сильным конным отрядом по большим открытым дорогам с ночлегами, привалами и даже дневкой, среди угодий одного из наших укреплений. И тем не менее, мы не видим никаких серьезных мер, которые были бы приняты для охраны и даже Горячих Вод с их пришлым и коренным населением. Кроме двух слабых казачьих полков, в поле не было

никаких войск, а между тем под рукой находилась целая уланская дивизия, которая в один-два перехода могла бы перенестись к Георгиевску. Поразительная апатия замечалась повсюду. О разгроме Незлобной в Георгиевске, например, должны бы были узнать не позже, как через полтора часа, когда прибежали туда спасшиеся от истребления жители. Пожар этого огромного села вспыхнул перед зарей, в то время, как ночная тень еще не успела покинуть землю, и зарево далеко видно было на темном небе,— и несмотря на все, из Георгиевска, этого административного центра, находившегося всего в десяти верстах от места катастрофы и охраняемого довольно сильным гарнизоном, не было подано никакой помощи. Комендантом этой крепости был в то время майор Глухов, человек преклонных лет, больной, лишенный той военной энергии, которую сохраняет человек даже и в позднем возрасте. Еще седьмого числа Глухову доставлены были положительные сведения о вторжении Джембулата, и он не мог также не знать о направлении, по которому двигалась партия, так как еще накануне жители Бабукова аула бежали под защиту крепостных орудий. Это должно было служить Глухову предостережением. И он действительно принял все меры к защите,— но только Георгиевска, вовсе не думая об его окрестностях и пролегающих мимо него дорогах. Таким образом, Георгиевск, этот важный опорный пункт всей кабардинской линии, оставался зрителем того, что происходило у него почти перед глазами.

Как бы в укор предосудительному бездействию Глухова, почти под самым атакованным селом происходил другой эпизод, героем которого был человек тех же преклонных лет, как Глухов, но далеко не одинаковой с ним энергии. Это был майор Ашлов, старик, прослуживший в одном майорском чине с лишком двадцать четыре года. Возвращаясь с линии, куда он был командирован от Владикавказского гарнизонного полка за покупкой ремонтных лошадей для полкового обоза, он остановился у большой дороги, в двух или трех верстах от Незлобного. Там его и застала ночь на девятое июня. Команда его, при ста сорока семи ремонтных лошадях, состояла всего из восьми гарнизонных солдат. Он видел все, что происходило в Незлобном, и, не имея возможности помочь населению, решил по крайней мере спасти свою команду и вверенный ему казенный интерес. Заслышав вовремя конский топот и догадавшись, что идет та самая партия, вести о которой разнеслись уже по линии, он тотчас приказал тушить огни, собрал лошадей и в то время, как неприятель предавался грабежу и убийствам, осторожно провел свой ремонт на таком близком расстоянии от горцев, что если бы понимал их язык, то мог бы расслышать каждое слово. За эту распорядительность, которую нельзя не назвать подвигом, старик произведен был наконец в подполковники, просидев в майорском чине без малого целый юбилейный период.

Переполох, поднятый нападением Джембулата на Незлобную, распространился далеко по линии; паника охватила даже всю нижнюю Военно-Грузинскую дорогу, и проезжающих стали задерживать на станциях. Вот что рассказывает один из них, которому довелось провести роковую ночь на девятое июня в Екатеринограде. “Рано поутру,— говорит он,— я был разбужен грохотом барабанов и воплями женщин. Я выскочил на улицу и вижу — телеги, на которых везут убитых и раненых казаков. Рассказывают, что три тысячи черкесов, в числе коих была целая тысяча панцирников, напали на Незлобную, что казаки, подоспевшие на помощь, дрались как львы, но должны были уступить многочисленности. В Екатеринограде все пришло в движение. И старые и малые высыпали на улицу; женщины рыдали над убитыми. Барабанщики ходили по улицам и били тревогу. Казаки седлали лошадей. Все ожидали, что черкесы двинутся дальше и дойдут до Екатеринограда. Казаки, собравшиеся, уже готовились выступить, как дали знать, что черкесы ушли. Казаков распустили и занялись погребением убитых, тела которых были преданы земле на станичном кладбище со всеми военными почестями. Вечером вступил в станицу Белгородский уланский полк, возвращавшийся из Персии. Всю уланскую

дивизию также остановили на линии, и сюда же форсированным маршем прибыл с Кубани Навагинский пехотный полк.

На следующий день новый переполох в станице. Опять ударили тревогу. Пришло известие, что черкесы вернулись и напали на Прохладную, верстах в семнадцати от Екатеринограда. Казаки поскакали к Прохладной; за ними двинулись уланы — и охранять станицу остались только старики, женщины и дети. Весь день только и говорили, что о черкесах; ночь также провели в страхе, ежеминутно ожидая нападения. Наконец, под утро вернулись казаки и уланы, не встретив даже неприятеля. Известие о нападении на Прохладную оказалось ложным”.

Не безынтересен также рассказ другого проезжающего, задержанного близ Павловской станицы на казачьем посту, где помещалась почтовая станция. Из рассказа этого видно, до какой степени после оплошности, допустившей разгром целого селения, на линии и по дорогам стали осторожными.

“Перед вечером в ожидании ужина,— рассказывает он,— я сидел с трубкой у ворот станционного дома и слушал рассказы ямщиков о черкесах. Начинало смеркаться, как вдруг в тиши вечернего воздуха послышался конский топот и из лощины выехало человек десять всадников. Впереди ехал кабардинский князь, юноша лет семнадцати, на белом коне и в белой папахе. Урядник остановил его. Князь объяснил, что едет со своими нукерами в Георгиевск с дозволения кордонного начальника, и показал билет. Несмотря на это, и даже на то, что у всадников не было другого оружия, кроме кинжалов, урядник указал им луг для пастьбы лошадей возле самого станционного дома, а князя из предосторожности задержал на посту аманатом. Князь рассказывал мне, что вся его родня бежала за Кубань, где была перебита русскими, и что он, оставшись единственным представителем своей фамилии, наследовал от них значительные владения.

Слух о разгроме Незлобного дошел до Тифлиса в преувеличенном виде; рассказывали, что горцы уничтожили целую казачью станицу. Известие об этом появилось даже в местной газете и вызвало забавный протест со стороны одной воинственной матроны, старой гребенской казачки Василисы Сафроновой. Вот что писала она своему сыну, служившему в Тифлисе, в конвое графа Паскевича:

“Вчера Пантелеич приносил от станичного газету и читал, что черкесы разграбили какую-то казачью станицу и никто ее не защищал. У нас на Тереке ничего не слыхать об этом, да Пантелеич говорит, что и на Кубани верно того не случилось — у него там свояк, так написал бы. На сборе, говорят, порядочно досталось газетчику от наших казаков, да и поделом ему — не пиши вздору. Ну, статочно ли дело, чтобы казаки свою станицу отдали! Ты, чай, знаешь, Миша, кто у вас в Тифлисе газету пишет: сходи к нему, узнай, какую станицу разграбили черкесы? Пантелеич говорит, что эту газету в Питер посылают, так попроси газетчика, чтобы наших голов не срамил и не позорил. Коли сам не знает, так бы рассказал ему, как чеченцы хотели напасть на нашу станицу. Было это за год, как француз в Москву приходил. Чеченцев было больше двух тысяч, а у нас и с бабами столько не было — да — никто не испугался. Как ударили сполох, все казаки пустились к Тереку, а мы, бабы, похватали ружья да и себе туда же. Прибежали — а чечня уже в Тереке. Казаки наши, не думая долго, туда же и пошли резаться с ними в реке, а мы, бабы, ну с берега стрелять. Ты, Миша, помнишь, что и мать твоя на свой пай двух застрелила. Вот с того самого времени бусурманы не смеют и близко подходить к нашим станицам.

Да вот еще, покойная мать, а твоя бабка — царство ей небесное! — рассказывала: она была еще девкой, как Моздокский полк пришел с Волги, а на другой год Кабарда напала

на Наурскую станицу. Бусурманы подбежали под самый тын и залегли; казакам нельзя стрелять, а кто выкажет через тын голову, тому и пуля в лоб. Тут, Миша, кабы не бабы, бусурманы зажгли бы тын и всем пришел бы конец. Да бабы ну скорее кипятить воду да лить ее через тын на бусурманские головы. Не улежали, собаки, а как пустились бежать, тут наши казаки на них и насели. Видишь, Миша, мудрено им брать наши станицы.

Пантелеич просит тебя узнать потихоньку, что этот газетчик, военный или нет. Казаки наши что-то говорят, что он не мудрой за какие-то редуты. Но это не наше дело, Миша: Бог с ним, пускай пишет на свою голову, только бы не позорил честных людей”...

Письмо гребенской казачки характеризует нравы и время. Много лет прошло с тех пор, нравы изменились, но дух линейного казачества остался тот же, прогресс только облагородил его, но в понятиях о боевой чести не произошло даже перемены. Старое село Незлобное давно забыто,— все забывается на свете! И прежде, нежели над пеплом его стали вырастать новые домики, время осушило слезы, залечило раны, а над могилами павших девятого июня героев — выросла трава...

XXV. НА УБОРКЕ ХЛЕБОВ

В то время, когда над линией грозой проносилось имя Джембулата и, охваченное пламенем пожара, доживало свой век богатое село Незлобное,— на одной из окраин Кавказа, на восточном берегу Черного моря, происходило событие, которое могло иметь важные последствия для нашего отечества. Там, 12 июня 1828 года, Анапа сдавала свои ключи русскому генералу, и Турция теряла в ней последнюю опору свою на Западном Кавказе.

Нельзя не сказать, однако, что падению Анапы у нас придавали чересчур преувеличенное значение, полагая, что с утратой этого пункта, через который производились все религиозные, политические и торговые сношения с Турцией, горцы немедленно или же в ближайшем будущем принесут покорность; но ожидания эти не оправдывались прошлым. Анапа уже два раза была в наших руках. В первый раз ее взял Гудович, во второй Пустошкин,— и оба раза она возвращалась Турции, как клад, не дававшийся нам в руки. Горцы могли рассчитывать, что то же самое случится в третий раз, и не спешили с покорностью.

Нельзя, конечно, отрицать, чтобы падение Анапы совсем не имело значения. Во-первых, турки должны были покинуть Кавказ, и хотя оставили у горцев массу своих эмиссаров, в видах нравственной поддержки народа путем пропаганды, но это было далеко не то, что корпус регулярных войск, который мог бы оперировать из Анапы на наше побережье Черного моря. Во-вторых, покинутые своими протекторами и предоставленные собственным силам, горцы должны были искать средства для борьбы с русскими в самих себе,— а сделать это было им нелегко. Правда, подобное положение в другие времена и при других обстоятельствах могло оказаться для нас крайне невыгодным — могло повести к сплочению горских народов в одно государственное тело, с одной общей задачей — защиты против внешнего нападения. Но, к счастью, Россия застала западно-кавказские народы в таком разъединении друг с другом, при котором большинство не помогало тому, кто нуждался в помощи. Так Анапе помогали, да и то лишь отчасти, только ближайšie к ней шапсуги и натухайцы; темиргоевцам, бесленеевцам, беглым кабардинцам и другим не помогали ни те, ни другие; абадзехи держались совершенно особняком; а дикие хакучи, обитавшие в глубоких котловинах южного склона, только и проявили свое участие в сопротивлении надвинувшейся русской силе тогда, когда уже все народы Западного Кавказа сложили оружие.

Никакого государственного устройства у черкесов не было, и их племена продолжали жить той жизнью, которая скорее всего напоминала быт древних греков героического периода их истории. Та же обособленность, то же разделение на мелкие республики, между которыми никакой политической связи не существовало; те же священные узы куначества, и те же распри и препирательства из-за мелких ничтожных интересов, та же фамильная вражда, переходившая из одного поколения в другое,— словом, те же нравы, которые знакомы нам по двум величайшим памятникам первобытной поэзии человечества. Там, у Гомера, вы видите пелазгов, разделенных на маленькие независимые царства, основанные героями и полубогами; там вы находите хищничество, угоны стад и табунов, плен людей, перепродажу их в другие народы, находите гостеприимство, жертвоприношения, кровомщение и не встретите только одного — взаимной поддержки и помощи. Все эти черты древнего быта эллинов существовали до последнего времени в быту кавказских горцев. Одиссея, прочитанная на Кавказе лицом к лицу с горскими народами, делалась вполне понятной, потому что древний быт пелазгов сохранился в ущельях Кавказа неизменным в течение тысячелетий.

Несмотря на такую разрозненность, горцы далеко не считали своего дела проигранным и менее всего интересовались успехами турецкого оружия. Если племена восточного берега не придавали большого значения падению Анапы, то народы так называемого правого фланга почти не обратили внимания на это событие. Их гораздо более занимал последний поход Джембулата. Джембулат был их кумиром. В воображении их рисовался стройно двигавшийся двухтысячный отряд, половину которого составляли благородные панцирники, другую — отборная закубанская конница. На предприимчивости и отваге этого витязя гор покоились все их надежды. Пока Джембулат с ними — им не нужны турки, они будут обороняться одни и время от времени кровавым ураганом пронесутся через русские земли. Таким образом, на скорое прекращение даже хищнических набегов нельзя было надеяться; нужны были с нашей стороны такие репрессалии, которые надолго остались бы в памяти закубанских народов и послужили бы уроком их дерзко-самонадеянным вождям. Обстоятельства как нельзя более благоприятствовали подобным репрессалиям. Войска правого фланга были усилены целым Навагинским полком, и, кроме того, на линии задержана была вторая уланская дивизия, возвращаемая из Персии и предоставленная в полное распоряжение начальника Кавказской области. Уланские полки, стройные, красивые, на рослых лошадях, с шумящими флюгерами на пиках, представляли собой такую кавалерию, которую никогда не видали за Кубанью и которая могла произвести там внушительное впечатление. Эмануэль, по причинам, которые трудно объяснить, не воспользовался, однако, столь значительными боевыми средствами. Уланская дивизия целый месяц простояла в бездействии и, наконец, отпущена была в Россию, так как дальнейшее пребывание ее на Кавказе не оправдалось никакими новыми распоряжениями. Только тогда Эмануэль решается, наконец, выйти из своего бездействия и отправляет за Кубань небольшой отряд, под начальством командира Навагинского полка полковника Широкова.

Отряд этот, составленный из пешего Черноморского казачьего полка, двух рот навагинцев и девяти сотен линейных и черноморских казаков, при четырех конных орудиях, перешел Кубань шестнадцатого июля и стал укрепленным лагерем между Лабой и Белой, на речке Псинафе. Здесь он находился в самом центре неприязненного нам населения и мог свободно действовать в разные стороны, препятствуя жителям заниматься полевыми работами. Кругом его колосились созревшие поля, но убирать их было некому. Темиргоевцы, которым они принадлежали, при первом известии о приближении войск бежали на речку Ул, и их роскошные нивы, еще не тронутые серпом, стали военной добычей. Широков запретил, однако, истреблять поля, в надежде, что темиргоевцы одумаются и возвратятся на прежние пепелища, а между тем сам девятнадцатого июля с

большей частью отряда перешел за Ул. Но там никого уже не было — темиргоевцы ушли еще дальше в горы, и войска очутились в дикой, глухой и необитаемой местности. Кругом стоял лес. Казаки, посланные осмотреть его, нашли большую отару овец и пригнали ее в лагерь.

Четыре тысячи голов не составляли, конечно, богатства целого племени и, по всей вероятности, принадлежали только владельцу того поля, на котором остановился отряд; но горцы хорошо понимали, что угоном одного стада русские не удовольствуются, что все их стада и все табуны, находящиеся на пути отряда, станут его добычей. Поля также не будут пощажены; народ дойдет до разорения, наступит голод — и гордое племя поставлено будет в зависимость от других племен, стоящих ниже его по происхождению. Эта перспектива смирила их гордость. Лучше покориться великому государю, нежели быть обязанным своим существованием вассалам. И вот, на третий день после прибытия отряда на Ул, князя Шумаф и Тау-Султан явились в лагерь, на честное слово, гарантировавшее им свободу. Они с раскаянием говорили о своем прошлом поведении, но условием новой покорности ставили позволение убрать хлеб с полей и возвращение отогнанного стада. “Поля вы убрать можете,— отвечал начальник отряда,— но на стада не рассчитывайте: они составляют добычу войск по праву войны”.

Пришлось принять и эти, не совсем снисходительные, условия. Часть темиргоевцев тотчас отправилась вслед за отрядом на речку Псинаф, а остальные удалились в горы готовиться к переселению. Но дни проходили за днями, поля давно уже были убраны, а покинутые темиргоевцами аулы на Кубани по-прежнему стояли пустыми, точно при переговорах на Уле о переселении не было и речи. Наконец прошел месяц. Широков потребовал от князей объяснения в их странном поведении. Князья отвечали, что, верные данному слову, они готовы двинуться в путь, но что под-ЗП

властный им народ ерукавский, подстрекаемый Джембулатом, объявил, что скорее покинет своих князей, чем согласится когда-нибудь вернуться к постыдному прошлому.

Широков тотчас двинул отряд на речку Фарс и занял войсками поля, принадлежавшие ерукаевцам. Хлеб уже был убран и стоял в копнах. Если бы Широков помедлил день или два, жители успели бы свезти его к верховьям рек в свои неприступные трупцы. Рассчитывая, что истреблением ерукаевских полей он причинит значительный ущерб самим смирившимся уже темиргоевским князьям, Широков прежде всего вступил в переговоры с ерукаевцами, увещая их принести покорность. Переговоры длились целую неделю. Изворотливость азиатских дипломатов и их умение обставить главный вопрос ненужными аксессуарами, выразившими совсем не то, что думал и что хотел народ, всегда приводили в изумление наших начальников. Семь дней говорить и ничего не сказать — искусство, которому позавидовали бы лучшие ораторы любого из наших европейских парламентов. Переговоры, к удивлению людей, не знакомых с обычаями горцев, не привели ни к чему. Дело оставалось все в том же положении, в каком находилось в первый день появления в нашем лагере неприятельских парламентаров. Широков думал уже приступить к уничтожению полей, но проливные дожди, начавшиеся с утра и не прекращавшиеся до полуночи, долго не позволяли ему прибегнуть к этой решительной мере. Ерукаевцы между тем не теряли времени даром. Они не без умысла тянули переговоры, и в то время, как русские доверчиво внимали их клятвам, от них во все стороны скакали гонцы, приглашая соседей на помощь.

Первого сентября на безоблачном небе показалось, наконец, солнце. Широков придвинул отряд к середине сжатых полей и приказал казакам зажечь крайние копны. Густой дым черными спиральными столбами поднялся над посевам и, колеблемый ветром, стал

устилать всю окрестность. Под его покровом к полям незаметно приблизилась неприятельская конница. На черном фоне дыма начали вспыхивать огоньки ружейных выстрелов, и завязалась перестрелка. Казаки отступили, но дело свое они уже сделали, и пламя, перебрасываемое ветром с копны на копну, охватило огненным морем довольно значительное пространство. Среди дыма видно было, как горцы поодиночке и целыми толпами перебежали от одной копны к другой, стараясь спасти те, до которых пожар еще не добрался. К вечеру на полях все стихло. Но зато на следующий день, с утра, горцы уже открыли огонь по нашим пикетам. Чтобы поддержать посты, Широков выдвинул сильные резервы. Партия также стала усиливаться, и к двум часам пополудни против отряда стояло уже до тысячи человек пеших и конных горцев, а из-за Фарса все продолжали прибывать новые подкрепления. Видя, что дело начинает принимать серьезный оборот, начальник отряда отозвал передовую цепь и поставил войска в боевой порядок. Неприятель между тем пошел вперед и атаковал наш левый фланг, где были рассыпаны навагинские стрелки и стояли три сотни Кавказского линейного казачьего полка с двумя конными орудиями. Удар был так стремителен, что навагинская цепь была прорвана, и горцы кинулись на орудия. Артиллерийский офицер был ранен, защищая пушки. К счастью, в этот самый момент линейные казаки ударили в шашки. Неприятельская пехота, смятая и отброшенная, побежала назад в беспорядке. В горячей погоне за ней линейцы наскочили на черкесскую конницу, смешались с ней и, не останавливаясь, гнали неприятельские толпы до самого Фарса. В этой лихой атаке у нас выбыло из строя пятнадцать казаков — все холодным оружием.

Отброшенный за Фарс, неприятель не стал упорствовать ради чужого дела и в тот день разошелся по домам. Ерукаевцы, предоставленные собственным силам, сочли за лучшее смириться. Так, без особенных жертв и даже усилий, окончилось покорение отложившихся от нас темиргоевцев. Последняя причина, препятствовавшая их князьям вернуться на Кубань, была устранена, и на левом берегу реки, остававшемся пустынным в течение целых месяцев, снова зародилась жизнь и закипела деятельность.

Удачная экскурсия полковника Широкова послужила прелюдией к военным операциям и других отрядов, остававшихся так долго в бездействии. Сам начальник правого фланга генерал Антропов тридцать первого августа сделал набег из Прочного Окопа в землю башильбаевцев, чтобы свести с ними счеты за истребление Незлобной. Набег был удачный. Кубанский казачий полк, с вечера до утренней зари, проскакал девяносто верст и как снег на голову явился в долине между Урупом и Зеленчуком. Не все казачьи лошади могли без передышки пробежать такое расстояние, и вместе с Антроповым явилось не более двухсот казаков, — но сила была не в числе, а в полной неожиданности нападения. Башильбаевцы, спокойно убирая хлеб, оторопели. Двое из их старшин, постоянные сподвижники Джембулата, Аслан-Гирей и Аджи-Хахандуков, также были захвачены в поле. Аджи был убит, Аслан бежал, но его родной брат, один из знаменитых узденей за Кубанью, был настигнут ординарцем Антропова подпоручиком Мельгуновым, сбит с седла и взят в плен. Поля башильбаевцев были истреблены огнем, и казаки вернулись назад, приведя семьдесят семь пленных и целый транспорт арб, приготовленный жителями для перевозки хлеба.

Чтобы расширить круг своих операций и не затруднять войска непрерывными переправами через Кубань, Антропов заложил на Урупе, верстах в тридцати пяти от Прочного Окопа, небольшое укрепление, названное Георгиевским в честь Эмануэля. Это было первое русское укрепление, переброшенное на вражескую сторону. Оно было не велико — всего на четыреста человек пехоты с шестью орудиями, но при нем располагался весь Кубанский казачий полк, что давало возможность делать набег не менее быстрые, но, может быть, еще более губительные, чем набег черкесов.

Первый удар с этой новой позиции разразился восьмого сентября над махошевцами, жившими между Лабою и Белой. Махошевцы, управляемые князьями Богортоко, были непримиримейшими нашими врагами и также участвовали с Джембулатом в нападении на село Незлобное.

Как только укрепление было готово, Антропов, оставив в нем часть гарнизона, с остальными войсками, в ночь на восьмое сентября, сделал усиленный переход на Лабу и здесь остановился. По ту сторону Лабы начинались уже поля махошевцев. Антропов притаился в лесу и стал выжидать рассвета. Надо сказать, что при нем находилось несколько ногайских князей, только что изъявивших покорность. Каждый из них явился со своей конницей,— но не было конницы лучше той, которую привел с собой известный на линии вожак хищнических партий князь Исмаил-Алиев, истребленный и изрубленный в боях с казаками. Теперь он был проводником русского отряда и вызвался идти один на разведку в махошевские аулы. В ожидании его возвращения, в отряде были приняты все меры, чтобы ничем не обнаружить засады.

Наступило утро восьмого сентября. Вошло чудное осеннее солнце и ярким светом залило всю живописную равнину, расстилавшуюся за Лабой. Из всех окрестных аулов народ, вооруженный серпами и косами, стал выходить на уборку хлеба. Время было дорогое, страдная пора подходила к концу — надо было торопиться. Горцы, весело разговаривая, рассыпались по полю, не подозревая, что смерть стоит у порога и что многие из них сами будут скошены прежде, нежели успеют скосить несколько колосьев. Трогательна беззаботная веселость человека, не знающего, что над его головой уже висит черная туча. Едва махошевцы принялись за работу, как под зеленым пологом леса каркнул старый ворон. Это был условный сигнал Исмаила. Через секунду крик повторился, и вслед за ним, сверкая оружием, из темного леса вынырнула наша кавалерия; быстро перескочив Лабу, она в один момент очутилась на том берегу среди оторопевших махошевцев.

Но махошевцы были народ воинственный, они никогда не переступали за порог своей сакли, не перекинув через плечо винтовки, а в хищничестве им уступали пальму первенства даже закаленные в этом опасном промысле башильбаевцы. Поэтому-то, как ни внезапно было нападение нашего отряда, оно не всех захватило врасплох; только первые, попавшиеся казакам под руку жители, не успевшие сообразить опасности своего положения, были изрублены без сопротивления; остальные, находившиеся в середине поля, опомнились, сбились в кучу и, выхватив из чехлов винтовки, дали по казакам залп. Казаки, не дожидаясь второго залпа, кинулись в шашки, смяли толпу и обратили ее в бегство. Рассыпавшись по полю, линейцы скакали по всем направлениям и, настигая бегущих махошевцев, сбивали их с ног, рубили, топтали их конями или забирали в плен. Поле покрылось телами. Где гуляла коса — пошла гулять казацкая шашка...

Шум разгоравшейся битвы и выстрелы подняли на ноги всю окрестность. Первым прискакал на тревогу махошевский князь Богортоко с тремястами всадников. Рассыпавшиеся казаки не могли оказать никакого сопротивления; но, к счастью, почти в тот же момент и к нам подоспело подкрепление — из-за Лабы выручать казаков прибежала пехота. Появление штыков и барабанный бой, с которым пошли навагинцы, остановили горцев. Этой минутой воспользовались ногайские князья и кинулись на Богортоко. Едва махошевцы приготовились к отпору, как с другой стороны на них налетели успевшие уже собраться казаки.

Старые кубанцы поныне рассказывают о гомерическом поединке, произошедшем при этой атаке между подпоручиком Мельгуновым, ординарцем Антропова и махошевским узденем Мефедзьевым, известным вожаком хищнических партий. Пуля Мефедзьева,

ударившись об ружье Мельгунова, разрубила его вдребезги и ранила офицера в грудь; Мельгунов — богатырь ростом и силой — одним взмахом шашки раздробил кольчугу и положил узденя на месте. Поражение махошевского князя было полное. Он потерял в этот день более семидесяти человек убитыми, сорок два пленными и до восьми тысяч голов скота. Поля, принадлежавшие махошевцам, были сожжены и вытоптаны.

Счеты за разгром Незлобной не все еще были сведены, так как абазинцы, жившие к стороне Карачая и составлявшие также значительный контингент в партии Джембулата, оставались не наказанными. Эмануэль приказал сделать набег на них майору Канивальскому.

В ночь на десятое сентября из Баталпашинска выступил небольшой конный отряд из нескольких сотен линейных и донских казаков при двух конных орудиях. На рассвете поднялись на высокий хребет, отрог Большого Кавказа, и увидели на самой вершине его два громадные утеса, образующие природные ворота,— но эти ворота, к удивлению всех, были заложены каменной стеной такой странной кладки, что без помощи археологии трудно было определить даже, к какой эпохе принадлежит ее сооружение.

Канивальский приказал казакам спешиться и разобрать часть стены, по возможности, не делая шума. Работа действительно производилась так тихо, что черкесский пикет, спавший по ту сторону стенки, увидел казаков только тогда, когда был окружен, и не успел даже сделать сигнального выстрела. Весь отряд, протискавшийся кое-как в узкие ворота, столпился у края обрыва над страшной бездной, дно которой, закрытое туманами, нельзя было видеть. В эту-то бездну, откуда доносился только рев бушующей Теберды, отряд начал спускаться по едва заметной, обрывистой и опасной тропинке. Было еще темно; кругом царило ночное безмолвие; местность казалась необитаемой, а между тем вся долина Теберды была усеяна народом, который, торопясь с уборкой хлеба, заночевал в поле. Казалось, что судьба обрекла этих людей смерти и плену. Но чуткого слуха горцев вовремя коснулся шум, подобный шуму горного водопада — это мчалась конница, и привычное ухо ясно различило среди конского топота стук и громоханье орудийных колес. В одно мгновение все, что находилось в поле, скрылось в лесу, и прискакавшие казаки захватили только скудные, брошенные народом пожитки. Кроме этих пожитков да небольшого стада овец, не было никакой добычи. Из двух аулов князей Бибердова и Лова два-три человека были убиты и восемь захвачены казаками в плен. Добиваться большего отряду было нельзя, так как надо было скорее убраться домой, пока неприятель не отрезал ему путь на перевале. Таким образом, трофеи набега были ничтожны, но важным результатом его являлась для нас смерть храброго абазинского князя Лова, друга и сподвижника Джембулата: пушенная на ветер, казачья пуля случайно сразила его у самой опушки и навсегда избавила линию от непрошенных и частых его посещений. “Кесмет!” (судьба!) — могли сказать над его могилой горцы.

Другим, еще более важным последствием этого небольшого и даже не совсем удачного набега Канивальского было открытие нами ближайшего пути к Карачаю. Эмануэль и воспользовался этим путем, когда через месяц повел войска для покорения карачаевцев.

XXVI. ХИЩНИКИ

Три последовательные набега, предпринятые нашими войсками за Кубань, не прошли для линии даром.

В то самое время и даже в тот самый день, шестнадцатого июня, когда Широков выступил с отрядом против темиргоевцев, значительная партия горцев появилась в виду

Бургустанской станицы. Она захватила все, что было в поле, и затем с вершин Бугунты быстро перенеслась на север, сделала в ночь стоверстный переход и на заре угнала большой табун, ходивший на речке Невинке.

Это смелое вторжение и целый ряд нападений, быстро следовавших в течение июля и августа, показали всю несостоятельность надежд, основанных на взятии Анапы. Если падение ее не оставило глубоких следов даже в населении, обитавшем по побережью Черного моря, то народы так называемого правого фланга совсем не заметили этого события. Им не было никакого дела до Анапы. Анапа была от них далеко, а слабая кубанская линия и паника, распространенная по краю разгромом Незлобной, слишком сильно искушали их хищнические инстинкты.

Было и еще одно благоприятное условие для их прорывов — это непонятная беспечность, даже апатия занимавших кордоны донских казаков. Доблестные в поле, находчивые и неустрашимые в критические минуты, донцы не выказывали особых способностей к сторожевой кордонной службе. Чем бы не объяснялась подобная аномалия, но сами горцы, привыкшие ценить в своем противнике ловкость и бдительность, не встречая их среди донцов, относились к ним с полным пренебрежением.

Действительно, кордонная служба находилась у них в младенческом состоянии. В дождь, в туман, в ненастье и слякоть на вышке никогда нельзя было увидеть часового; посты казались незанятыми. В ясную погоду казак если и стоял на часах, то только до тех пор, пока не начинало его допекать полуденное солнце; тогда он спускался вниз, в свой камышовый балаган, а на вышке оставлял ружье с накинутой буркой и надетой папахой. Если посмотреть издали, особенно снизу — точь-в-точь стоит часовой.

Однажды в жаркий июльский полдень, на правом берегу Кубани, как раз напротив брода, охраняемого казаками у Баталпашинска, показались хищники. Зрение у горца острое — он видит даже ночью, когда руки своей не видеть; а слух такой, что шаги человека и конский топот он различает с расстояния, с которого другой, быть может, не услышит ружейного выстрела. Долго и пристально всматривались осторожные горцы в постовую вышку: там стоит часовой. Но проходит час, проходит другой — часовой не шевельнется: ни голову не повернет, ни руки не поднимет. Хищники догадываются, в чем дело. “Кукла”, — говорят они и смело переезжают Кубань. Они выходят на берег у самого поста; лошади их шумно стряхивают водяные брызги, фыркают, а на посту никто даже не выглянет любопытствовать, кого Бог посылает с заречной стороны. Благополучно объехав пост, партия ударилась в степь и в сумерках была уже за девяносто верст под Темнолесской станицей. Набег был удачен. Двое русских поплатились жизнью, семь человек, преимущественно девушек, гулявших в садах, увезены были в плен, и партия на заре следующего дня ушла за Кубань с добычей.

Но горцам не было надобности пускаться всегда на такие далекие и опасные экскурсии. Иногда они устраивали засады возле передовых станиц и ночью, когда все смыкалось в непроглядную тьму, становились хозяевами края или выжидали утра, чтобы с дневным светом напасть на оплошных жителей.

Однажды, двадцать восьмого июля, конная партия переправилась у беломечетской станицы и засела всего в трех-четыре сажнях от казачьего поста, охранявшего водопой. Утром, когда из Беломечетки стали выгонять стада, партия вдруг выскочила из балки, отхватила десятка три лошадей и скрылась прежде, чем постовые казаки успели опомниться. На посту не могли даже сказать, как велика была партия, до того все были

озадачены ее внезапным появлением. Станица была в двух верстах, но тревога и ее захватила врасплох: резерв был распущен, и помощи дать было некому.

Другое происшествие случилось в Кисловодске десятого августа и было еще оригинальнее по своим последствиям. Шел проливной дождь. Горцы рассчитали, что в такую погоду они ни одного казачьего пикета не найдут на месте, и партия действительно подъехала к станичной ограде, не встретив, что называется, живой души. Горцы засыпали ров, разломали плетень и в образовавшиеся ворота вывели поодиночке весь станичный табун в числе ста семидесяти лошадей так тихо, что часовые, убаюкиваемые мерным шумом дождя, стучавшим о камышовую крышу их балагана, узнали о пропаже табуна только под утро, когда увидели ворота там, где их прежде не было. Дерзость горцев изумила всех; но изумление еще усилилось, когда узнали, что партия в ту же ночь отбила всех лошадей на Кумском посту, так что казакам не только не на чем было преследовать неприятеля, но они не могли даже известить соседний пост о тревоге. Не успели вдоволь наговориться об этих происшествиях, как горцы угнали лошадей из-под Чегемского укрепления, потом в Ессентуках и, наконец, в Лысогорской станице. Мало того, репрессалии их стали касаться даже их соотечественников, преданных русским. Так сделано было нападение на кош известного ногайского узденя Генардука Лафишева, славившегося своей геркулесовской силой. Самого Генардука не было дома — иначе хищники едва ли бы осмелились ступить на его землю, а тем более угнать у него более трех тысяч баранов. Донские казаки, посланные в погоню, вернулись с пустыми руками, ссылаясь на темную ночь, которая скрыла от них неприятеля. Но та же темная ночь не помешала князю Береслану Ловову настичь партию с горстью ногайцев. Дело произошло жаркое; четыре ногайца были убиты; и если князь Береслан при своей малочисленности не мог сделать многого, то все-таки отбил назад до пятисот баранов.

Общественное мнение, встревоженное тем, что большинство происшествий случалось или в пределах Большой Кабарды, или недалеко от ее границ, обрушилось всей своей тяжестью опять на генерала Эмануэля; всюду повторялись обвинения его в потворстве кабардинцам. Без участия кабардинцев, правда, не обходилось ни одного набега; но справедливость требует сказать, что ни в одной Кабарде, а далеко за нею, среди деревень и мирных сел кавказской области — везде слышались те же вопли, те же стоны и мольбы о помощи. Вина в этом случае падала опять на наши кордоны, занимаемые донскими казаками; опять слышался ропот на их бездействие, и вспоминались те времена, когда казаки чувствовали на себе железную руку главнокомандующего. В самом деле, просматривая длинную летопись тогдашних происшествий, невольно останавливаешься на одном обстоятельстве: целый ряд нападений — и со стороны казаков ни одной схватки, ни одного выстрела!

Горцы были противниками, с которыми нельзя было не считаться. Они внимательно следили за всем, что происходило на линии; они знали всех начальников, число войск, места их расположения и не могли, конечно, не знать многих наших обычаев бытовых и религиозных. Всеми этими сведениями они были обязаны мирным черкесам, никогда не прерывавшим с ними сношений. Не имея понятия о календарях, они отлично изучили не только все важнейшие христианские и местные храмовые праздники, на которые в больших селениях Кавказской области падали годовые ярмарки, но и то, как проводятся у нас эти праздники; им было известно, что народ возвращается с ярмарок поздно, часто поодиночке и всегда в настроении на несколько градусов выше нормального, вследствие обилия по дорогам притонов, в которых продается безумие распивочно и на вынос. Военная осторожность на кордонах в эти дни должна бы была усиливаться, но о ней именно в эти дни гораздо менее думали, нежели во все остальные. У казаков были те же посты, те же праздники, и когда все кругом веселилось, почему бы им не развернуться во

всю ширь своей казацкой натуры. От наблюдательности горцев не ускользнула эта характерная черта из быта русского человека, и они искусно пользовались ею для своих наездов. Чем дальше от передовых кордонов отстояло селение, куда направлялся удар, чем более опасностей и затруднений предстояло преодолеть на пути, тем громче и славнее считался набег. Добыча в этом случае не играла даже особенной роли. Добыча нужна была байгушам, подонкам общества, а благородные князья, гнушавшиеся ею, искали славы и на хищника, жертвовавшего жизнью только ради корысти, смотрели с презрением. Каким подвергались опасностям и какие переживали тревожения эти залетные партии, как метеор переносившиеся с места на место, может служить, например, следующий случай.

Пятнадцатого августа, в день Успения Пресвятой Богородицы, один из самых светлых моментов трудовой жизни земледельца, когда страдная пора приходит к концу и выясняются урожаи на весь будущий год,— человек тридцать горцев скрытно пробрались к селению Бешпагирскому. Был уже вечер; в деревне мелькали огни, и порой доносилось оттуда нестройное пение гуляющего люда. Шел храмовой праздник. Партия расположилась в балке, и десять человек пошли на разведку. Как раз в это время через поле, куда направлялись горцы, проходила толпа крестьян, возвращавшаяся с праздника. Встреча была роковая. Мужчины были изрублены, женщины захвачены в плен,— и горцы понеслись со своей добычей, не позаботившись даже скрыть следов своего нападения. Между тем, минут через двадцать, новая толпа, возвращавшаяся из Бешпагира, наткнулась на целые лужи крови и тела, распростертые среди дороги. Полупьяная песня их оборвалась разом. Крестьяне в ужасе кинулись на соседний пост и подняли тревогу. На этот раз переполошилась вся линия. Разведочная партия уже не могла возвратиться к своим и пустилась уходить врассыпную. Много надо было присутствия духа, отваги и хитрости, чтобы избежать неравной встречи с преследующими их отрядами. Но горцы ее избежали. Казаки поймали только двух каких-то отставших и обоих положили на месте; остальные с пленными ушли благополучно.

Все это время партия, сидевшая в засаде, не смела тронуться с места. Она слышала, как вокруг селения поднялась тревога, как казаки проскакали возле самой балки, и потом долго слышала их голоса, перекликавшиеся в степи. Наконец все успокоилось. Горцы уже хотели уходить к Кубани, но потом передумали и решили остаться до утра. Поздно ночью они слышали опять, как казаки возвратились с погони, на лошадях измученных и едва передвигавших ноги. Теперь им нечего было опасаться преследования. Они поодиночке сводили лошадей на водопой и стали готовиться в путь. Летняя ночь коротка. Показался рассвет, и через некоторое время зарумянились кусты и камни в овраге; крылья стоявшей на горе мельницы вспыхнули точно от пожара. Начинало всходить солнце; по дорогам закрипели возы, замычали стада, прогоняемые к водопою, и над головами горцев, как им показалось, стал раздаваться нестройный, порывистый топот — то он затихал, то опять явственно слышался. Они догадались, в чем дело, и выскочили из оврага. Перед ними расстилался широкий луг, на котором паслись лошади. У одного края этого луга, поближе к балке, под старой тенистой грушей, расположились табунщики; их было восемь человек; несколько поодаль стояли их заседланные лошади. Пастухи окаменели от ужаса, когда увидели перед собой целую партию. Не успели казаки вернуться с погони за одной, как перед ними стоит уже другая, а за ней появится, пожалуй, и третья. Что они могли сделать, не имея при себе никакого оружия? Станут кричать — их изрубят шашками; побегут — догонят и также изрубят; они не смели тронуться с места, не смели пошевеливать пальцем и остались в той же позе недоумения и страха, в какой захватила их партия. Горцы между тем въехали в середину табуна, выбрали десятка три лучших лошадей и погнали их через луг так же спокойно, как будто курили на ярмарке. Это спокойствие и было причиной, что они, никем не замеченные, прошли мимо нескольких

деревень и хуторов, пересекли несколько больших дорог и ушли за Кубань прежде, чем тревога, поднятая пастухами, дошла до передней линии.

Менее удачлива была другая партия. Она пробралась еще далее, к урочищу Бургон-Можару, но там наткнулась на ногайский кордон и при отступлении потеряла одного человека убитым и двух ранеными. Но если принять во внимание, что ногайцы потеряли также двух человек и шесть лошадей убитыми, что горцы успели мимоходом изрубить еще двух крестьян, работавших в поле, то перевес, даже и в этом случае, все-таки остается на стороне неприятеля. Вообще летние месяцы 1828 года были роковыми для линии, в пределах которой каждая встреча с горцами вела за собой гибель и разорение. Но они все-таки бывали. Старики рассказывают, например, следующий случай: ехал невдалеке от Ставрополя верхом старый казак Хоперского полка Загудаев. Ехал он один и как раз наткнулся на партию. Горцы его окружили. Загудаев неторопливо сошел с коня, вынул из чехла винтовку и крикнул: “Кто первый возьмется за ружье, тот не жилец на свете”. Горцы, быть может, и не поняли то, что он крикнул, но поза и жесты были так выразительны, что они сняли блокаду и объехали его стороной.

В другой раз сами горцы растеряли свою добычу потому, что были поставлены в такое положение, когда им волей-неволей пришлось разрешать известную загадку, как переправить волка, козу и капусту так, чтобы волка не оставить с козой, а козу не оставить с капустой. Дело в том, что четыре горца, забравшиеся в лес под Николаевской станицей, захватили в плен трех казаков и двух девок. Кубань была в разливе, и лошадь более двух человек на плаву поднять не могла; пленных же было больше, нежели хищников. Посоветовавшись между собой, они решили так: двое перевезут сначала девок; один останется их караулить, а другой вернется назад, чтобы переправить сразу трех казаков. Казаки между тем внимательно следили за начавшейся переправой,— и вот, когда два горца, перевозившие девок, стали перебивать главное течение Кубани и не могли уже вернуться назад, они крикнули: “В ростичь, братцы!” — и кинулись в разные стороны. Этим способом двум из них удалось уйти, но более тяжелый на подъем казак Савельев был настигнут и изрублен. Казаки, прискакавшие к Кубани, слышали еще на том берегу русские голоса, но не решились рисковать жизнью из-за девок и повернули назад. В официальном журнале значит, однако, что казаки не нашли через Кубань переправы.

Жаркое сухое лето наконец миновало; наступало еще худшее время — надвигалась осень: не та благодатная кавказская осень, о которой так много говорят и пишут, но осень, как ее понимают в нашей северной России, угрюмая, с дождями, туманами и слякотью. Такой она была в 1828 году и наступила тотчас за последними днями августа. Ненастью и туманам неприятель часто бывал обязан успехами своих нападений. Туман был опаснее ночи. Ночью слух делает для человека то, в чем отказывает ему зрение; в туман оба главные органа самосохранения, глаз и ухо, одинаково бессильны предохранить человека от опасности.

В один из первых дней сентября, когда все пространство между землей и небом заволочла непроницаемая масса серого тумана и в нескольких шагах от себя нельзя было различать предметов,— из Дикоконского ущелья, названного так потому, что в нем водились когда-то дикие торпаны, выехало пять всадников. Они долго и внимательно озирались во все стороны и только удостоверившись, что кругом все тихо, начали осторожно подаваться вперед к стороне Бургустанского укрепления. Скоро они заметили впереди какие-то движущиеся точки, и привычный глаз их различил табун. Отхватить этот табун было для них делом одного мгновения; но гик и ружейный выстрел, которым они спугнули лошадей, услышаны были в станице, откуда тотчас выскочил очередной резерв. В густом тумане не было видно ни зги; преследовать неприятеля по пятам было нельзя; казаки

взяли наперерез и, опередив горцев, заняли вход в Дикоконское ущелье. Партия, гнавшая табун, очутилась в безвыходном положении: впереди казаки, сзади вот-вот покажутся новые резервы с соседних постов, а миновать ущелья нельзя — это единственный горный проход в этой части края. Слабая надежда, что другая партия, оставшаяся в ущелье, отбросит казаков — исчезла. Партия действительно встретила их бойким огнем, но донцы, спешившись, засели за скалы, а между тем послали в станицу за помощью. Горцев выручило другое, никем не предвиденное обстоятельство. В то время, как в Дикоконском ущелье гремела перестрелка, с валов Бургустанского укрепления вдруг грянул пушечный выстрел, за ним другой... третий... и началась канонада. Казаки оторопели. “Братцы! Ведь это станицу берут!” — крикнуло несколько голосов, и казаки, забыв о табуне, во весь опор понеслись назад к укреплению.

Тревога оказалась, однако, фальшивой. К Бургустану подходила рота, которая, заблудившись в тумане, неожиданно явилась перед укреплением не с той стороны, откуда ее ожидали. Часовой, заметив какую-то толпу, подвигавшуюся прямо на крепость, принял ее за неприятеля. Несчастную роту засыпали гранатами и ядрами. К счастью, благодаря тому же туману, выстрелы никому не причинили вреда; но пока разобрали, в чем дело, и остановили канонаду, горцы, воспользовавшись сумятицей, подоспевшей для них так кстати, прогнали табун через ущелье.

С наступлением осенних ночей неприятель стал прорываться через Кубань уже несколькими партиями и простер свои набеги до самых северных границ Кавказской области. Он перешагнул бы через них, если бы только имел надежных проводников, и, таким образом, мог бы очутиться даже на земле тех самых казаков, распущенности которых обязан был своей вольницей. Особенно поразил всех разгром богатых Надеждинских хуторов, стоявших недалеко от Ставрополя. Горцы нагрянули на них перед светом. Хутора запылали, и не прошло получаса, как обвалившиеся трубы печей одни печально высились над кучей золы и мусора. Там, где жили люди, остались только признаки недавнего их пребывания. Из шестнадцати душ, захваченных в роковую ночь на хуторе, не спаслось ни одного человека: четверо были убиты, двенадцать увезены в плен. Скот, который горцы не успели выгнать из сараев, сгорел вместе с ними; имущество также сгорело или было разграблено.

Не успели опомниться в Ставрополе от этого происшествия, как сделаны были три новых нападения,— погибли опять хутора отставных казаков Рыбалкина и Паншина, и угнан был большой табун Хоперского полка, ходивший на речке Калаусе. Замечательно, что во всех этих случаях неприятель ни разу не был настигнут казаками. Только на Калаусе он имел жаркую схватку с ногайцами, которых собрал на тревогу урядник Косякин, временно исправлявший в то время должность ногайского пристава. Это был уже третий случай, когда ногайцы одни, без содействия казаков, вступали в открытый бой с противником. Двадцать человек, имея в голове Косякина и князя Эдигара Мансурова, прибывшего сюда погостить из Тахтамыша, смело ударили в шашки на шестьдесят горцев и отбили половину табуна; но отбить остальную половину не удалось — не хватило сил.

В то время, как мелкие шайки, пользуясь густыми туманами, совершали свои экскурсии в окрестностях Ставрополя, над старой Кубанской линией также собиралась гроза — готовилось большое вторжение, затеянное в горах двумя ногайскими султанами: Саго и Саламат-гиреем. К счастью для нас, между предводителями во время их совещаний возникли разногласия, окончившиеся обоюдной ссорой. Они разошлись врагами. Саго остался при партии, а Саламат скрылся и через своих лазутчиков дал знать обо всем генералу Антропову. Линия тотчас оповещена была об опасности, и командир

Кавказского линейного казачьего полка майор Васмунд стянул небольшой отряд в станицу Казанскую.

Двадцать пятого сентября, часов в девять вечера, секреты дали знать, что неприятель, в числе пятисот человек, переправившись через Кубань, идет к хуторам Рогачевским. Дорога эта была хорошо знакома султану, который до побега в горы долго жил на Кубани, как раз напротив этих хуторов.

Васмунд выждал время, когда партия значительно уже отошла от Кубани, и послал за ней Гречишников с его лихой тифлисской сотней, а сам с ротой пехоты, с оружием и другой линейной сотней занял переправу, которую горцы не могли миновать при отступлении. В то же время восемьдесят стрелков скрытно расположилось недалеко от него, в лесу, как раз напротив самого брода.

Гречишников пошел не по дороге, а стороной, по мягкой пахоте, чтобы заглушить конский топот и не дать неприятелю открыть себя преждевременно. Горцы шли быстро. Перед ними замелькали уже огоньки в маленьких домиках Рогачевских хуторов, когда до слуха их предводителя донесся вдруг явственно отдававшийся в вечерней тишине шум скачущей конницы. Саго сообразил, что движение его открыто и что его преследуют. В голове его мелькнула догадка об измене Саламат-гирея. Он остановил партию и круто повернул назад к переправе. В этот момент показался Гречишников. Горцы пустили коней во все повода, но линейцы настигли толпу и, врезавшись в середину, рубили ее до самой Кубани. Здесь ожидало партию новое разочарование — переправа занята пехотой. Отбитые от брода пушечным и ружейным огнем, поражаемые стрелками из леса, горцы бросились назад и попали опять под шашки линейцев. Смятение сделалось полное. Выстрелы, короткими молниями прорезывавшие сгустившийся мрак ночи, озаряли по временам эту, полную трагизма, картину поражения. Не видя другого спасения, горцы стали бросаться в Кубань прямо с крутого обрыва и гибли десятками: одних уносило течением, других настигали пули. Сам предводитель султан Саго и один из лучших абадзехских вожаков были убиты. Горцы не успевали подбирать тела и даже раненых бросали на произвол судьбы.

С нашей стороны потери не было. Эмануэль в самых восторженных отзывах говорит в своем донесении о майоре Васмунде, который выехал в дело больной и не только всю ночь не сходил с коня, но даже принимал участие в рукопашной схватке.

Весть о катастрофе двадцать пятого сентября быстро облетела все горы; к счетам, не совсем еще сведенным между казаками и горцами, теперь прибавился новый — трагическая смерть султана Саго. Никто из горцев не указывал прямо на того, кого подозревали в измене, но все давали понять, что его знают; по его адресу произносились даже угрозы. Сам Саламат-гирей почувствовал неловкость своего положения. Опасаясь репрессалий со стороны своих неприятелей, он послал сказать генералу Антропову, что охотно перешел бы на сторону русских, если бы не боялся, что Джембулат преградит ему дорогу. Антропов быстро собрал отряд и третьего октября выступил с ним на Лабу. Переправы, однако же, не было. Это обстоятельство замедлило наступление наших войск, а между тем Джембулат, воспользовавшись им, занял крепкую позицию на дороге к речке Ходз, так как он не сомневался, что русские идут освободить Саламат-гирея. Чтобы заставить его сойти с дороги, Антропов прибег к диверсии. Триста донских казаков под командой полковника Залещинского посланы были верст за пятнадцать на поля махошевцев и беглых кабардинцев, убивавших в то время хлеба. Джембулат угадал намерения Антропова и с партией в шестьсот человек стремительно атаковал казаков. В первую минуту атаки Залещинский был ранен пулей в шею; принявший от него команду

есаул Лучкин также выбыл из строя, раненный из пистолета в упор. Донцы, лишившиеся начальников, очутились в опасном положении. К счастью, в это самое время на помощь к ним подошли два орудия, под прикрытием целого взвода стрелков. Джембулат устремился на нового противника, но меткий огонь с одной стороны и атака казаков, бросившихся в пики, с другой — положили конец ожесточенной схватке. Джембулат отступил, и партия его разошлась по домам. Теперь преграды между Саламат-гиреем и русским отрядом не существовало; но хитрый ногаец, внимательно следивший за ходом дела, сообразил, что иметь своим врагом темиргоевского князя не совсем удобно, а потому не только не пошел на соединение с отрядом, но даже отодвинулся в глубь страны, желая показать, что ничего общего с русскими он не имеет. Антропов напрасно простоял целые сутки, поджидая султана, и должен был, наконец, вернуться домой, потеряв в своей бесполезной экспедиции двоих офицеров и шесть нижних чинов.

Таким образом, экспедиция не только не принесла тех результатов, которых от нее ожидали, но подняла даже дух неприятеля. Смелость горцев дошла до своего апогея; достоинство русского оружия требовало возмездия, — и этим возмездием было покорение в октябре 1828 года неприступного Карачая.

XXVII. ПОКОРЕНИЕ КАРАЧАЕВЦЕВ

В верховьях реки Кубани, по горным отрогам Эльбруса, жило непокорное нам общество карачаевцев, числом до восьми тысяч душ обоего пола. Карачаевцы считали себя выходцами из Крыма, были мусульманами, говорили на татарском языке и находились в полувассальном отношении к кабардинцам, на земле которых паслись их стада. Имея очень мало земли для хлебопашества, они занимались скотоводством и разводили прекрасные породы овец, выделывая из их шерсти грубые сукна, паласы и бурки, не уступающие андийским по красоте и прочности.

Карачаевцы не были народом воинственным, но центральное положение, занятое ими среди полупокорных и непокорных нам племен, придавало им важное стратегическое значение. В руках карачаевского народа находились все горные теснины, по которым пролегали кратчайшие пути из Западного Кавказа в Восточный, и в их же земле стоял Эльбрус — царь Кавказа, белую мантию которого еще ни разу не оскверняла нога человека. Трещины Карачая казались неприступными. В его гнездах, свитых на голых, почти отвесных утесах, находили себе убежище все закубанские хищники, все абреки и люди беспокойные, которым не было приюта в собственных обществах, которым нельзя было показаться даже в предгорьях Эльбруса без опасения быть убитым своими или чужими. И не одни русские — еще ранее их турки оценили важное значение Карачая, особенно после того, как в конце минувшего столетия потеряли другой горный проход против Баталпашинска. Известный уже читателям анапский паша Чечен-оглы употребил все усилия, чтобы склонить карачаевский народ к принятию турецкого подданства. Он наводнил их землю эмиссарами, которые деятельно принялись за пропаганду, доказывая карачаевцам, что рано или поздно русские сделают их своими данниками, отберут от них оружие, и карачаевцы будут ходить как женщины, возбуждая к себе сожаление и насмешки соседей. Они говорили, что русские будут вербовать их в солдаты, разлучать с родиной и отправят на службу в холодные северные страны, откуда, по происшествии длинного ряда лет, молодые будут возвращаться седыми и немощными стариками. Если не их самих, то их детей горцы обратят в свою веру — и дети станут чуждаться родителей. Теперь этого пока нет, — говорили эмиссары, — русские боятся восстания в покорных им мусульманских обществах; но когда вся страна попадет в их руки и жители будут обезоружены, — они тотчас потребуют отречения от Корана, разорят мечети и на их местах будут строить церкви”.

Аргументы были внушительны. Многие карачаевцы увлеклись ими, другие отнеслись к проповедям эмиссаров недоверчиво и даже преследовали проповедников насмешками. У некоторых ненависть к последним дошла до того, что в одного очень влиятельного эфенди сделан был выстрел с улицы, в раскрытое окно, в то время, как он сидел в своей сакле, углубившись в чтение книги. Народ карачаевский разделился на две партии, из которых одна требовала присоединения к Турции, другая — стояла за принесение покорности русским. События на Кубани, и в особенности смелый набег Джембулата, заставивший говорить о себе в карачаевских трущобах более, чем о разгроме Паскевичем далекой и чужой им Персии, положил конец такому разъединению: весь народ, без различия политических мнений, склонился на сторону Турции, и о принесении покорности русским не было даже и речи.

Положение дел в Карачае не могло не отразиться на ходе наших дальнейших предприятий за Кубанью. В последнее время не было набега, в котором не участвовали бы карачаевцы, не было хищнических партий, которые не находили бы себе приюта в их владениях. Пока существовал этот оплот закубанских народов, имевший значение стратегической цитадели, до тех пор от наших военных операций за Кубанью нельзя было требовать сколько-нибудь удовлетворительного результата. Пока войска находились в движении, задача умиротворения края казалась близкой к осуществлению; но как только войска удалялись,— все приходило в прежний порядок: волны смыкались за прорезавшим их кораблем и не оставляли даже следа на своей, подернутой зыбью, поверхности. Генерал Эмануэль сознавал это ясно, и мысль о наступлении в Карачай поглотила все его внимание. К ней присоединилась и другая, которую, быть может, не один генерал лелеял до него в своем воображении,— мысль об овладении Эльбрусом, этим центральным узлом и кульминационной точкой Кавказа. Эльбрус в наших руках мог служить буфером между покорными нам кабардинцами и непокорными закубанскими народами. Тогда абреки лишены были бы возможности укрываться от наших преследований и хищнические партии сделались бы гораздо осторожней, зная, что Карачай не может уже оказывать им прежнего гостеприимства.

Задуманный поход в Карачай Эмануэль решил предпринять во второй половине октября, когда суровая осень препятствовала неприятелю долго находиться в сборе. Но как ни скрытно делались приготовления с нашей стороны, в горах, однако, узнали о них прежде, чем собрались войска; узнали даже о цели движения,— и карачаевцы приготовились к отпору. Они только не знали, с какой стороны ожидать русских.

В Карачай вели две дороги: одна шла по левому берегу Кубани, у верховий которой лежала скалистая котловина — сердце карачаевских владений; другая — со стороны Пятигорья. Это был кружной путь, пролегалший по горным тропам, под самой снеговой линией, где неприятель менее всего мог ожидать появления русских. Но карачаевцы и этот путь не оставили без наблюдения — где только могла ступить нога человека, везде стояли они наготове. Эмануэль решил отвлечь внимание неприятеля и предварительно двинул небольшой отряд — две роты егерей, двести пятьдесят казаков и три орудия,— под начальством генерал-майора Турчанинова, вверх по Кубани к Тебердинскому ущелью. Появление этого отряда у Каменного моста послужило сигналом для сбора неприятельских партий, которые быстро сосредоточились к теснинам Аман-мхыт, что в переводе означает “гибельный путь”. Нагорная полоса осталась незанятой. Тогда Эмануэль выступил с главными силами из Бургустана, и обе колонны, двигаясь концентрически, соединились девятнадцатого октября у северного склона Эльбруса на одной из его террас, идущих диадемой вокруг его белой короны. Терраса эта известна под именем Эль-Джурган-сырт и имеет несколько более семи тысяч футов высоты. Отсюда войска двинулись к Карачаю уже в боевом порядке. Впереди, под начальством командира

Волжского казачьего полка майора Вирзилина, шел батальон Навагинского полка с двумя кегорновыми мортирами, рота стрелков и две сотни спешенных линейцев с конным единорогом. На этот раз движение войск нельзя было скрыть от неприятеля, который внутренними дорогами бросился к северным склонам Эльбруса и успел предупредить русский отряд в лесистых оврагах на самой границе своей земли. Тенгинская цепь, после получасовой перестрелки, принудила, однако, карачаевцев покинуть эту позицию. Тогда они заняли высокую гору Хоцек, покрытую от подошвы до самой вершины, почти на протяжении трех верст, хвойным лесом и усеянную огромными обломками скал. Эмануэль приказал штурмовать гору. Было десять часов утра. Густая цепь стрелков первая начала наступление, за ней небольшими сомкнутыми частями, в виде резервов, двинулись остальные войска авангарда. За авангардом шла главная колонна и тяжести. Во всю ширину покатоности из-за камней и гигантских сосен вырывались белые клубы дыма, и в этом дыму сверкали длинные стволы карачаевских винтовок. Бойкая перестрелка шла по всему протяжению боевого поля. Эхо соседних гор, сливаясь в один протяжный гул, вторило ударам пушечных выстрелов. В этот день в первый раз нарушено было царствовавшее вокруг Эльбруса мертвое безмолвие. Войска наши, тяжело дыша, скользя и спотыкаясь, двигались по крутому подъему с небольшими роздыхами. Негостеприимная природа гораздо более обращала на себя их внимание, нежели безостановочно жужжавшие мимо ушей карачаевские пули. По мере того, как войска приближались к завалам, горцы покидали их и поднимались все выше и выше, не переставая обдавать ружейным огнем передовую цепь. При самом начале боя майор Вирзилин был ранен пулей в ногу и сдал начальство над авангардом подполковнику тридцать девятого егерского полка Ушакову, который продолжал наступление с той же настойчивостью и с тем же упорством. Крутой подъем, обломки утесов, служившие закрытием неприятелю, скалистые ребра гор и среди них мрачные ущелья, вырытые дождевыми потоками — все это не могло не замедлить нашего движения, и, несмотря на то, еще не было одиннадцати часов утра, когда русские штыки засверкали на вершине Хоцека.

Но за Хоцеком вставала другая гора, еще более крутая, известная под именем Карачаевского перевала. Это был последний оплот страны, цитадель, на защиту которой горцы употребили свои лучшие силы. Этим сил было не много — всего пятьсот человек, но их было бы вполне достаточно для удержания этой крепкой позиции, если бы только на месте карачаевцев было другое, более стойкое и воинственное племя.

На вершине Хоцека Эмануэль оставил все свои тяжести, всех раненых и даже конное орудие под прикрытием ста егерей; остальные войска начали спускаться с горы в глубокую долину реки Худес-су. Спуск был так же затруднителен, как и подъем. Тот же лес, те же обломки скал и та же неумолкаемая перестрелка. Артиллерии при авангарде не было, кроме двух кегорновых мортирок, но и те не могли действовать, что давало выстрелам неприятеля, вооруженного винтовками, некоторый перевес над огнем наших гладкоствольных ружей. Полтора часа длился бой, и только тогда наступил короткий перерыв, когда колонны наши, спустившись к самой реке, остановились на ровной площадке для роздыха.

Лес, обрамлявший горы по ту сторону речки, кишел неприятелем. Оттуда по временам раздавались ружейные выстрелы, доносился глухой стук топоров и голоса людей, очевидно спешивших устраивать завалы. Эмануэль увидел, что если дать неприятелю время укрепиться на том берегу, то переправа через небольшую, но быструю горную речку обойдется нам не дешево. Три орудия, собранные в одну батарею, направили огонь на опушку, и когда гранаты разогнали рабочих и разметали завал, неприятель покинул лес и стал подниматься в гору. Авангард наш тотчас перешел Худес-су и начал наступление.

Подъем на карачаевский перевал был до того крут, что войска не раз останавливались, чтобы перевести дух, а неприятель, пользуясь этими остановками, усиливал перекрестный огонь, под которым все время держал наши колонны. Было уже два часа пополудни. На вершине горы показалась новая партия, человек в двести, которая, рассыпавшись по гребню, усилила оборону перевала. Были ли то карачаевцы, прибывшие из дальних аулов, или же закубанские народы выслали им в помощь шайку своих отчаянных головорезов — об этом у нас не знали; но во всяком случае присутствие лишних двухсот винтовок не замедлило отразиться на самом ходе сражения. Ружейный огонь со стороны карачаевцев, хотя частый, но урывчатый, теперь превратился в батальный. Тем не менее авангард наш подавался вперед медленно, с расстановками, но неуклонно. Он мужественной настойчивостью завоевывал себе каждый шаг, и горцы должны были понять, что дело их проиграно, что через час, много через два, Карачаевский перевал — последняя опора их страны — будет в руках русских. Но надежда еще не покидала их. Они знали, что ожидает русских там, у самой вершины горы, и заранее представляли себе то смятение, в каком эти стройные колонны будут сброшены вниз и побегут, объятые паникой, а они будут преследовать их, — преследовать и рубить до самой подошвы горы.

Как ни труден был подъем, особенно для арьергарда, куда отправляли убитых и раненных, большая часть его была пройдена, оставалось не много — расстояние одного ружейного выстрела, но на этом расстоянии и цепь, и колонны вдруг остановились. Произошло действительно нечто совершенно неожиданное. Гора вдруг вздрогнула, заходила ходуном, и сверху на головы атакующих войск обрушились громадные утесы, целые скалы и камни в сотни пудов. Все это, гудя, прыгая, дробясь на части и вздымая пыль, за которой нельзя было ничего разобрать, летело вниз с ужасающей силой. Несколько человек были буквально раздавлены; многие получили тяжелые ушибы или контузии. Каменный дождь действительно озадачил войска и произвел в них некоторое смятение. Наступила критическая минута экспедиции. Было уже поздно, солнце уходило за горы, вечерние сумерки быстро охватывали окрестность, а сражение оставалось еще сомнительным и не решенным.

Тогда Эмануэль, убедившись, что фронтальная атака горы невозможна, двинул свой последний резерв в обход неприятельского фланга. Это была рота егерей силой в восемьдесят штыков, под командой поручика Митцкевича. Обходное движение ее было, однако, замечено горцами. Егеря попали под сильный перекрестный огонь, но, несмотря на это, Митцкевич пробился до подножия высокого, отдельно стоящего холма, с которого можно было анфилировать неприятельскую позицию, — и взял его штурмом. Сильный огонь, открытый им во фланг неприятелю, расстроил карачаевцев. Горцы, сбрасывавшие камни, первые полетели вниз вместе с ними и устлали своими трупами весь скат горы. Неприятель отшатнулся от гребня, и каменный дождь остановился. В это мгновение в войсках раздалось “ура!” — и русские колонны вскочили на перевал. Карачаевцы не выдержали натиска и бросились бежать с криком: “Нет более Карачая! Нет более нашего отечества”.

Стемнело, когда в воздухе пронеслось и замерло эхо последних выстрелов. Преследования не было. Неприятель, окутанный темнотой наступившей ночи, отступал по такой местности, где мы легко могли потерять плоды дорого доставшейся нам победы, если бы горцы опомнились и решились сделать ночное нападение. Генерал приказал ударить отбой. Этот сигнал, благодаря обстановке, среди которой он прозвучал, имел в себе нечто торжественное — им как бы закреплялся акт покорения карачаевцев.

Бой за обладание Карачаем длился ровно двенадцать часов. В семь часов утра раздалась первая выстрелы, и в семь часов вечера смолкли последние. В продолжении этих

двенадцати часов с нашей стороны убито и ранено семь офицеров и сто пятьдесят шесть нижних чинов. Потеря значительная,— но с такими потерями можно мириться, когда они отвечают достигнутым результатам. Урон неприятеля в точности был не известен; но он не мог быть особенно значителен, так как все выгоды позиции во все моменты боя были на его стороне. Войска не трогались с поля битвы до следующего утра; они раскинули свой бивуак на той самой горе, на которой горцы никогда не надеялись видеть русских. Ночлег после дня, проведенного в непрерывном огне, не отличался особенными удобствами, да их никто и не требовал: небо, усеянное звездами, служило пологом, земля, обогреть кровью,— постелью, костры, сложенные из цельных сосен и елей,— ночниками. Утром к отряду присоединились все тяжести, и войска начали спускаться в долину Кубани, уже усеянную аулами. Этот спуск, продолжавшийся несколько часов, показал Эмануэлю, как благоразумно он поступил, не позволив преследовать бегущего неприятеля ночью. Эта была одна из тех дорог, по которым небезопасно двигаться даже днем в ясную и сухую погоду. Она представляла из себя ломаные зигзаги, которые то обрывались в глубокие пропасти, то взбирались на отвесные скалы, или же вдруг пропадали и снова появлялись далеко в стороне от первоначального направления. Что случилось бы с нашими войсками, тяжело одетыми и тяжело обутыми, в темную ночь на такой неприступной и незнакомой местности. Сколько бы прибавилось к жертвам упорного боя новых жертв, погребенных среди скал и пропастей Карачая.

Солнце переступило за полдень, когда колонны спустились, наконец, к подошве перевала и, выстроившись в боевой порядок, двинулись вверх по Кубани. Они шли к аулу Карт-юрту — центральному селению, где находилась резиденция правителя Карачая Ислам-крым-шамхала, носившего титул валия.

Аул уже был в виду, когда из ворот его выступила депутация, во главе которой находился сам валий. Войска остановились. Валий подошел к Эмануэлю и сказал ему: “Генерал! Мы были до сих пор самыми верными приверженцами турецкого султана; но он изменил нам, оставил нас без защиты. Будьте же теперь вы нашими повелителями. Мы со своей стороны никогда не изменим нашему слову”. Открытое, честное лицо валия, вся его представительная наружность, и в особенности его смелая, краткая речь произвели на всех приятное впечатление. Эмануэль, человек настолько же гуманный, насколько храбрый, обошелся с депутацией приветливо. Карачаевцы не были крамольниками; они были открытыми нашими врагами и как враги имели право укрывать у себя наших преступников. Экспедиция против них предпринята была не для усмирения, а для покорения их — как требовали того наши военные и политические соображения. Теперь дело покорения окончилось. Народ в лице своего представителя просил пощады и давал обет неизменной верности. Генерал поспешил успокоить карачаевцев. “Меч,— сказал он,— отражен мечом; теперь вы встречаете меня с пальмовой ветвью мира, и мир даст вашему народу счастье и благоденствие, которых карачаевцы не знали до настоящего времени”. Он приказал всем старшинам и муллам собраться к нему на другой день для переговоров. Депутация удалилась, а войска расположились лагерем возле самого аула. Кругом поставили цепь, которая охраняла как лагерь от покушений карачаевцев, так и карачаевский аул от каких-либо шалостей и насилий наших солдат. Ночь прошла спокойно. На другой день утром перед лагерной цепью собрались все карачаевские старшины; муллы и кадии; сюда же прибыл и сам правитель их Ислам-крым-шамхал. Когда на аванпостах от них отбирали оружие, никто не оказал ни малейшего сопротивления, но на лицах некоторых из них выразилось удивление и разочарование. Им невольно припомнилось одно из пророчеств турецких эмиссаров. Переводчик объяснил им, однако, что с оружием в русский лагерь никого не пропускают, но что они получают его обратно, когда будут возвращаться домой. Эмануэль принял депутацию перед своей ставкой также ласково, как и накануне. Старшины первые обратились к нему с просьбой о

принятии их в подданство России и в залог искренности своего заявления предложили аманатов из лучших фамилий.

Затем начались переговоры об условиях, на которых владычество России могло распространяться на карачаевское общество. Условия эти не были тяжелыми, особенно если принять во внимание, что рано или поздно карачаевцы должны были покориться в силу обстоятельств, тесно связанных с их экономическим бытом; довольно сказать, что все зимние пастбища их находились у верховий Кумы, по реке Маре и по нижнему течению Теберды, то есть в таких местах, куда легко доставало русское оружие. Карачаевцы сохранили право носить оружие; самоуправление их оставлено было во всей его неприкосновенности, и даже претензии их к мусульманам, находившимся в русском подданстве, предоставлено было им разбирать по своим вековым адатам. Со своей стороны карачаевцы обязались: выдать всех пленных, вознаградить убытки, причиненные их набегами, не давать у себя убежища абрекам, беглецам и вообще людям вредным общественному спокойствию, а в случае появления на их земле больших неприятельских партий тотчас извещать об этом ближайших русских начальников. Затем поставлен был на очередь вопрос, сильно интересовавший народ,— вопрос о податях и повинностях. От податей они освобождались, а что касается повинностей, то они обязывались выставлять на время наших экспедиций только известное число конных, хорошо вооруженных всадников и давать подводы за условленную плату. Когда договор этот подписан был обеими сторонами, карачаевский валий и все почетные лица, муллы и кадии были приведены перед открытым Кораном к присяге на подданство. Момент был торжественный,— и с этого момента карачаевское общество навсегда присоединилось к русским владениям.

“А знаете что, генерал,— обратился к Эмануэлю валий, когда обряд присяги окончился,— если бы вы не нашли дороги к северным предгорьям Эльбруса, а избрали бы путь по Кубани, вы бы и до сих пор стояли еще у Каменного моста”.

“Почтенный валий! — отвечал на это Эмануэль,— русские и от Каменного моста дошли бы до Карачая. Они достигают цели, не обращая внимания на те препятствия, которые ставят им природа и люди”.

Тем не менее замечание валия затронуло любопытство Эмануэля, и он решил исследовать на обратном пути все дороги, ведущие в Карачай и особенно путь от Каменного моста.

После роскошного завтрака, устроенного Эмануэлем в азиатском вкусе, депутация выехала из лагеря с самыми светлыми надеждами на будущее своей страны и с самыми восторженными отзывами о великодушии и приветливости генерала, прибывшего к ним с войсками. Рассказы их до того подействовали на жителей Карта-юрта, что они все высыпали из аула и буквально наводнили наш лагерь произведениями своего скромного хозяйства: сыром, яйцами, домашней птицей и в особенности барашками. Карачаевские барашки известны целому Кавказу своим особенно нежным и вкусным мясом. В этом случае Карачай может соперничать даже с известным островом Уайта, славящимся также барашками, мясо которых составляет гордость королевского стола в Англии. Между жителями Карт-юрта и нашими солдатами скоро установились самые дружеские отношения. Весь словарь кавказского солдата исчерпывался только словами: яман, якши, кушай, работай, тащи, сату и некоторыми другими; словарь карачаевцев оказывался еще беднее, а между тем и те, и другие, дополняя мимикой и выразительными жестами то, для чего не хватало слов, отлично понимали друг друга. Захочется, например, солдату достать яйцо — он пальцем правой руки чертит на левой ладони овал и в то же время кричит петухом. И его понимают: татарин смеется, кивает головой и бежит в саклю за яйцами.

После трехдневной стоянки в Карт-юрта войска возвратились назад к северным предгорьям Эльбруса и были распущены: одни пошли в Кабарду, другие в Бургустан, а сам Эмануэль с небольшой частью пехоты и двумя сотнями линейных казаков предпринял экскурсию к Каменному мосту, чтобы обозреть прославленный своей неприступностью вход в карачаевскую теснину. И, действительно, то, что он увидел, вполне оправдывало название этой теснины: “Гибельный путь”. Эмануэлю припомнились слова карачаевского валяя, и он не нашел их преувеличенными.

“Термопилы Северного Кавказа взяты нашими войсками, и оплот Карачаева у подошвы Эльбруса разрушен!” — этими словами начинается приказ Эмануэля от 30 октября 1828 года, возвестивший войскам и жителям о новом приобретении, сделанном Россией.

Покорение Карачая действительно составляет важную стадию в истории кавказской войны как первый шаг к замирению остальных закубанских народов. Общественное мнение того времени отнеслось к нему восторженно. Быстрота совершившегося факта изумила всех, и даже самих его участников. Употребить каких-нибудь двенадцать часов для овладения твердыней, которую Эмануэль называл в своем приказе “Кавказскими термопилами”, для этого мало быть кавказскими солдатами, нужно, чтобы во главе их стоял Эмануэль.

XXVIII. РЕПРЕССАЛИИ

Покорением Карачая Эмануэль рассчитывал вселить спасительный страх в остальные закубанские народы. Завладев их операционной базой, их стратегической цитаделью, он надеялся положить предел хищническим набегам, но ему пришлось скоро разочароваться в своих ожиданиях. На некоторое время горцы действительно притихли. В то время, как наши войска ходили в Карачай, на линии случилось только одно происшествие, и то незначительное, но которое нельзя обойти молчанием — оно показывает, до чего мог доходить фанатизм мусульманина, движимого жаждой мести.

Пасмурный осенний день сменила темная, почти черная ночь. Через Кубань переправился всего один человек. На добычу он не мог рассчитывать — за добычей поодиночке не ходят. Ему нужно было убить хоть одного гяура, чтобы отомстить за смерть дорогого ему человека и тем очистить свою совесть перед умершим. Кровь за кровь — другого побуждения у него быть не могло. Тихо подкрался он к посту Осторожному, так тихо, что ни малейший шелест не выдал его приближения. Казаки еще не ложились спать, а вокруг плетневой ограды поста светлыми звездочками мелькали огоньки, разложенные приютившимся здесь на ночь обозом. Это казачьи семьи, возвращавшиеся с ярмарки, заночевали под охраной кордона. Вдруг среди ночного безмолвия грянул ружейный выстрел и перекатным эхом раскатился по берегам сонной Кубани. В воздухе пронесся крик; Пуля черкеса, пущенная на ветер, попала в обоз и ранила ребенка, убаюканного на коленях матери.

Одиночный хищник ушел также тихо, как тихо подошел к кордону; но за ним появились целые партии. Войска не успели оставить вновь покоренной земли, как горцы снова заставили уже говорить о себе, точно хотели доказать Эмануэлю ошибочность его мнения о значении для них Карачая. Результаты нашей победы должны были сказаться лишь в будущем. Сделан был первый шаг, — но до окончательного умиротворения воинственных горцев еще было далеко. Много прошло времени, много было пролито крови, прежде чем исполнилась эта заветная мечта, лелеемая русским народом.

Первая тревога на линии случилась двадцать четвертого октября, в тот самый день, когда русский отряд снялся с позиции у Карта-юрта. Партия в пятьсот человек, переправившись через Кубань, внезапно бросилась на форштан Ахандуковского укрепления. Ее отбили орудийным огнем, но небольшое стадо и несколько человек, находившихся в поле, были захвачены горцами. С этих пор хищнические набеги принимают положительно эпидемический характер. Эмануэль едва успевает читать донесения о военных происшествиях — так быстро следуют они один за другими. Четвертого ноября, например, в одну ночь было три набега одновременно на разные пункты недалеко от Георгиевска у селения Александрии, в Шотландской колонии близ Пятигорска, и у Тахтамышевского аула. Не останавливаясь на описании этих набегов, так как приемы, употребляемые хищниками, известны уже из предыдущих очерков, заметим только, что в короткий период времени от второго до седьмого ноября, в какие-нибудь пять-шесть дней, мы потеряли девятнадцать человек убитыми, шесть ранеными и тридцать два пленными, не считая потери лошадей и скота. Этот ненормальный порядок вещей объяснялся самим Эмануэлем частью оплошностью кордонных начальников, не везде выставивших секреты, а частью беспечностью жителей, которые, несмотря на постоянные слухи о прорыве неприятельских партий, продолжали выходить из селений без всяких мер осторожности не только днем, но даже в поздние часы вечера и в ранние часы утра, самые опасные для движения по дорогам. Эмануэль увидел, что наступила пора положить конец разнузданности наших беспокойных соседей, и с этой целью предпринял целый ряд экскурсий в земли непокорных нам закубанских народов. Какой исход могли иметь эти экскурсии, заранее никто не мог предвидеть: война — потеря, но сам главнокомандующий, признавший их целесообразность, тем самым как бы слагал ответственность за них с Эмануэля.

Не обнажая линии, генерал мог двинуть в горы в общей сложности не более двух тысяч восьмисот человек пехоты, тысячу восьмисот человек казаков и от десяти до двенадцати орудий. Весть о предстоящих военных действиях за Кубанью была встречена войсками с радостью. Перспектива была слишком заманчива: набеги, лагерные стоянки, ночные движения, новые места и сильные ощущения — все это вносило разнообразие в их затворническую жизнь, исполненную только лишений. Товарищи их пожинали лавры на полях Азиатской Турции, а они плесневели в четырех стенах своих укреплений. Правда, месяц тому назад некоторые из них ходили в Карачай, но таких было не много, да и покорение этого уголка доставило слишком мимолетное развлечение. Из войск, назначенных для экспедиции, сформированы были четыре отряда, которые перешли Кубань двадцать третьего ноября в разных пунктах и двинулись вперед, под начальством генералов Турчанинова [Генерал Турчанинов был начальником двадцать второй дивизии, расположенной на Северном Кавказе.] и Антропова, полковника Луковкина и майора Васмунда. Горцы знали о наступлении наших войск, но, не имея верных сведений о настоящей цели экспедиции, не знали, где им сосредоточить свои силы, чтобы дать отпор, и потому сочли за лучшее оставаться в домах, чтобы охранять свои аулы.

Переправа через Кубань совершилась тихо, без выстрела; неприятель нигде не показался. За левым берегом реки колонны начали сближаться. Дороги, по которым они проходили, представлялись безлюдными, — не только партий, но даже одиночных пикетов нигде не было видно. В полдень двадцать четвертого числа все колонны сошлись у реки Псефир и здесь раскинули один общий лагерь. Псефир течет в границах сильного абадзехского народа и принадлежит к системе Кубани, хотя несет свои воды не прямо в главную артерию, но через посредство двух других рек, Фарса и Лабы, самых значительных и замечательных ее притоков. Еще палатки не были разбиты, еще лагерь не успели оцепить аванпостами, как от отряда отделилась уже колонна генерала Турчанинова и двинулась к верховьям Урупа истребить кабардинский аул князя Аджи-мурза-бек-Хамурзина.

Движение это было так внезапно, так неожиданно даже для самих войск, что, казалось, неприятель не мог иметь времени вывести свои семейства, ни укрыть в безопасном месте имущество, а между тем аул найден был совершенно покинутым: ни рогатого скота, ни даже домашней птицы, ничего в нем не оказалось; скирды хлеба, и те более чем наполовину были свезены в горы. Оставались голые стены и крыши с почерневшими от копоти дымовыми отверстиями. Горцы не нашли нужным отстаивать их; они даже не показывались в окрестностях своего аула. Колонна встречена была только пикетом из трех всадников, которые, сделав залп, мгновенно скрылись в лесу за поворотом дороги. Горцы, стоявшие на таких постах, никогда не рассчитывали наносить вред нашим войскам своими выстрелами. Они стреляли наудачу: на шум движущихся по дорогам масс, на шорох листьев, треск валежника, на конский топот. Во время сильных туманов или в темные, предрассветные часы ночи эти выстрелы служили сигналом, заменявшим в их аванпостной службе маяки и телеграфы. На этот раз, однако же, из трех — две пули попали в цель и два казака поплатились жизнью. Это были единственные жертвы экспедиции. К вечеру колонна Турчанинова вернулась в лагерь, предав огню аул — потеря ничтожная для населения, расположенного среди богатой природы, изобилующей всеми строительными материалами.

На другой день, еще до рассвета, из лагеря выступили две колонны: одна, под начальством подполковника Флиге, к верховьям Псефира, где ютились несколько абадзехских аулов; другая — рота навагинского полка, сто пятьдесят пеших черноморских казаков и полусотня линейцев с конным оружием, под командой капитана Поленова, направилась к нашим границам навстречу транспорту, следовавшему с провиантом из Усть-Лабинской крепости. Флиге вернулся в тот же день и с теми же ничтожными результатами, какими ознаменовались накануне действия Турчанинова. Поленов — выдержал кровавый бой, и если понес большую потерю, то надолго отбил у неприятеля охоту встречаться с нашими войсками.

Маленькой колонне Поленова выпала трудная задача: ей предстояло пройти через владения двух враждебных нам племен, махошевцев и ерукаевцев, находившихся в вассальных отношениях к сильному термигоевскому князю Джембулату. Махошевцы пропустили отряд без боя, потому ли, что не хотели драться, или потому, что не заметили его приближения, так как колонна двигалась в стороне от их аулов; но ерукаевцы собрались в значительных силах и заняли речку Сфир, через которую отряд должен был переправиться. Капитан Поленов был опытный кавказский офицер. Удачный проход через махошевские владения не только не ослабил его бдительность, но заставил его быть еще осмотрительнее. Он помнил, что идет по неприятельской земле, и принимал все требуемые в его положении меры осторожности. Впереди шел авангард, а фланги колонны были прикрыты боковыми цепями, — горсть людей представляла в миниатюре настоящий боевой порядок. И Поленов был прав. На другой день, когда туман, стоящий над рекой, начал медленно подниматься, глазам его представилась черная полоса, заслонявшая от нас переправу; то были черные бурки и черные папахи горцев, собравшихся с явным намерением не пропустить колонну за Сфир. Внезапное появление неприятеля несколько не смутило отряд, двигавшийся в полной боевой готовности. Поленов тотчас выдвинул вперед конное оружие и с расстояния полуружейного выстрела ударил картечью. Неприятель рассыпался, отряд перешел Сфир — но на том берегу встретил партию уже в восемьсот человек конных и пеших ерукаевцев. Горцы мгновенно окружили маленькую колонну, слабые силы которой и изолированное положение внушали им надежду истребить ее и завладеть оружием прежде, нежели на Псефир поднимется тревога. Молча, без выстрела, два раза врывались они в наши ряды — и оба раза, отбрасываемые штыками и провожаемые картечью, бежали в беспорядке. Поленов не стал ожидать третьего натиска и с криком “ура!” сам атаковал неприятеля. Фатальная

развязка первых двух нападений не ослабила, однако, энергии противника, который в третий раз кинулся в шашки... Горцам терять было нечего, навагинцы знали, что могут потерять оружие,— и вот почему обе стороны дрались отчаянно, дорожа каждой пядью земли, и почему поле битвы, после упорной и горячей схватки, осталось за навагинцами, спасавшими свое оружие. Неприятель отступил, подобрав своих убитых и раненых. У нас выбыло из строя тридцать пять человек — потеря ничтожная в деле, которое могло иметь роковой исход для всей нашей небольшой колонны.

Дальнейшее следование Поленова представлялось еще более трудным и опасным; теперь каждую минуту можно было ждать новых нападений, а между тем на руках отряда были убитые и раненые,— и ни одной подводы. Самое место, где происходило побоище, было одинаково удалено как от лагеря, стоявшего на Псефире, так и от верховий Гиого, откуда ожидался транспорт; пушечных выстрелов ни в том, ни в другом пункте не было слышно, а потому никто даже не знал, в каком положении находился маленький отряд Поленова. Правда, личная храбрость колонного начальника, его присутствие духа и распорядительность один раз уже выручили отряд из опасности, но мог ли он быть уверенным, что они выручат его при других, менее благоприятных обстоятельствах, когда на стороне неприятеля, кроме численного перевеса, будет еще и крепкая позиция: завалы, лес, теснины? Чтобы двинуться дальше, казакам велено было спешиться: на их лошадях разместили раненых, через седла перекинули убитых,— и в таком порядке колонна выступила с поля битвы.

До речки Гиого дошли без выстрела. Транспорт давно уже прибыл и стоял на берегу в ожидании псефирской колонны. Оба отряда, соединившись, ночевали вместе под холодным зимним небом, внутри каре, построенного из повозок,— и в первый раз солдаты Поленова заснули спокойным, крепким сном после долгого странствования по незнакомым местам, среди враждебного нам населения. На другой день отряды опять разошлись, каждый в свою сторону: один вернулся в Усть-Лабу, другой направился к Псефиру. Капитану Поленову еще раз пришлось пройти неприятельскую землю, но на этот раз в его распоряжении был транспорт, который в случае нападения он мог превратить в подвижной редут — обстоятельство, дававшее ему значительный перевес при обороне. Неприятель, впрочем, нигде не показывался; он точно под влиянием последнего боя отказался от схваток с русскими войсками, и колонна благополучно доставила в лагерь десятидневный запас сухарей и провианта. Между тем главные силы, под личным начальством Эмануэля, простояли четыре дня на Псефире, высылая колонну за колонной для наказания окрестных жителей. Одна из этих колонн, под командой майора Принца, истребила большой абадзехский аул, покинутый жителями, и уничтожила богатый пчельник, в котором насчитывалось не менее полутора тысяч ульев. Законы войны суровы, и там, где они прошли, ландшафт надолго сохраняет печальный вид опустошения.

Другая колонна, майора Васмунда, достигла своей цели только после упорной перестрелки, так как абадзехи, собравшись в значительном числе, заняли все лесные дороги, по которым должны были проходить наши войска. Они, конечно, не рассчитывали остановить движение русских, но они старались задержать их настолько, чтобы дать время своим убрать имущество и семьи. Расположенные у подошвы горы четыре аула, действительно, найдены были пустыми: везде попадались следы недавней тревоги, но кроме нескольких небольших скирд хлеба, которых не успели сvezти, добычи не было. Все эти скирды вместе с саклями уничтожены были огнем. По ту сторону горы стоял еще один аул, куда отправилась пешая команда охотников. Скоро за горой послышались выстрелы, и к зимнему безоблачному небу взвились черные клубы дыма. Участь пятого

аула была решена, и охотники, потерявшие в перестрелке одного убитого, присоединились к колонне.

Как только возвратился Васмунд, выступил сам генерал Антропов для истребления абадзехских и кабардинских аулов, раскинувшихся в низовьях Псефира. Но и здесь войска не нашли ничего, кроме голых стен, разобранных плетней да на прилежащих полях небольшого запаса сена. С первых же дней появления русских за Кубанью горцы поняли тактику Эмануэля и приняли соответствующие меры противодействия. Он предпринял экспедицию с тем, чтобы держать их жилища в постоянной тревоге. Они увезли свои семьи и угнали скот в неприступные горные тущобы, которыми так богаты северные склоны Кавказа, и не оставили в добычу русских даже старого негодного хлама. Только в редких, исключительных случаях нам удавалось заставить врасплох, да и то не иначе, как на значительном расстоянии от лагерного расположения, где черкесы никак не могли ожидать появления русских отрядов. Таково было внезапное нападение полковника Луковкина, с тремя сотнями кубанских казаков и ротой навагинского полка, на аул кабардинского князя Кучук-Аджи-Гиреева, расположенный у самых истоков Лабы. Здесь нами взято в плен сто двадцать душ обоего пола, и в том числе грудной сын самого Аджи-Гирея, вместе с кормилицей.

Плен княжеского сына, свидетельствовавший о полном смятении, в котором бежали кабардинцы, быть может, и дал Эмануэлю повод упомянуть в своих донесениях вообще о больших потерях, понесенных неприятелем во время нашей экспедиции. Но на самом деле это едва ли было так. Кроме случайного разгрома кабардинского аула да дела капитана Поленова на Сфири, стычки с неприятелем ограничивались такими ничтожными перестрелками, в которых убыль наша не превышала двух-трех человек. Очевидно, что и неприятель не мог терять более. В другие времена, когда перед черкесами стояла цель задержать, например, наступление наших отрядов, не пропустить их и даже отбросить назад — они никогда не считали у себя убитых и раненых; тогда ни штыки, ни картечь не останавливали их; они дрались с той беззаветной отвагой, перед которой преклонились самые боевые части нашей кавказской армии. Но в настоящем случае ничего подобного не было. Все, что было дорогого для наших противников, они успели заблаговременно укрыть в безопасных местах, а голые стены не стоили того, чтобы из-за них проливать много крови. Черкесы выезжали на тревоги, вступали в перестрелки, но делали это из одного удалства, как джигиты, у которых при первых звуках боя разыгрывалась кровь, и они скакали на выстрелы без всякой заранее намеченной цели. В такие минуты они скорее являлись дилетантами, чем серьезными противниками. Потери их поэтому могли быть значительными только в устах лазутчиков, в интересе которых было преувеличивать их, так как выдаваемый гонорар обыкновенно соразмерялся с важностью доставленных ими сведений. Чем больше понес неприятель урон, тем жарче, стало быть, было дело и тем щедрее оплачивалось известие.

Но если материальный ущерб неприятеля был невелик, то все же нельзя отвергать нравственного влияния экспедиции, что выразилось, между прочим, и легким покорением тех самых бесленеевцев, с которыми в начале весны безуспешно вел переговоры Антропов. Теперь появление того же Антропова в верховьях Чамлыка, где сосредотачивалась большая часть их населения, принесло совсем другие результаты. Надо сказать, что колонна, при которой находился сам Эмануэль, выступила ничью так тихо, что даже в лагере не заметили ее выступления. Соблюдая возможную осторожность, почти без дорог пробиралась она лабиринтом темных, поросших лесом ущелий и горных коридоров к земле бесленеевцев, рассчитывая, что жители застигнуты будут врасплох, тем более, что неприятельские пикеты если и были выставлены в эту ночь, то конечно наблюдали другую дорогу, на которой скорее всего можно было ожидать появления

русских и которую Эмануэль оставил далеко в стороне. Кабардинцы, жившие на Бесленевской земле, уже покинули свои жилища, но сами бесленевцы еще оставались в аулах. Пораженные внезапным появлением войск, не смея сопротивляться без риска погубить семьи, они по первому требованию выслали депутатов с изъявлением безусловной покорности. Сам бесленевский князь Айтек-Коноков приезжал в лагерь, чтобы принести присягу на подданство русскому государю. Эмануэль обязал их выдать аманатов, возвратить все, что было похищено ими в пределах России, и притом в двойном количестве, а в будущем за всякое хищничество уплачивать тройную стоимость награбленного. Как ни тяжелы были эти условия — бесленевцы их приняли и даже сами просили о назначении к ним русского пристава. Но смутные обстоятельства того времени или иные соображения были причиной, что Эмануэль сам отклонил подобное предложение. Может быть, он не вполне доверял бесленевцам, и три года управления краем научили его быть осмотрительнее, не увлекаясь первыми, не редко обманчивыми впечатлениями. Русский пристав, с его канцелярией и неизбежным конвоем, разве не был в руках только что покорившегося народа тем же самым заложником, участь которого была бы тесно связана с участью амьнатов, выданных самими бесленевцами?

Другой, не менее удачной экскурсией может считаться движение небольшого отряда подполковника Ушакова в верховьях Урупа, где жили башильбаевцы. Устрашенные истреблением всех кабардинских аулов, лежавших на пути отряда, они не пожелали подвергаться участи своих соседей и сами поспешили принести покорность на тех же условиях, на каких покорились бесленевцы. За башильбаями последовало и небольшое баракаевское племя, сидевшее по речке Гуп, куда ходила колонна подполковника Флиге.

Менее удачна была четвертая экскурсия, предпринятая опять под начальством Ушакова к речке Сфир для замирения ерукаевцев. Берега этой маленькой речки, уже обогранные русской кровью, и на этот раз оказались негостеприимными. Ерукаевцы встретили наши войска, готовые к бою, и русский отряд после сильной перестрелки возвратился назад без успеха.

Когда берега Псефира были опустошены, главные силы Эмануэля передвинулись на речку Фарс — один из значительнейших притоков Лабы, за которой начиналась уже земля абадзехов. На Фарсе, так же, как на Псефире, колонны выступали из лагеря почти ежедневно, то одновременно к разным пунктам, чтобы отвлекать силы неприятеля, то последовательно, одна за другой, чтобы служить взаимной опорой. Во время одного из таких набегов, на речке Хуаре, небольшой отряд майора Вейганга наткнулся на каменную стенку, которая преграждала путь к абадзехским аулам. Хотя абадзехи успели убрать свои семейства, но без выстрела не хотели уступить даже голых стен своих саклей и, расположившись за этим каменным валом, встретили наши войска беглым ружейным огнем. К счастью, стена, за которой они считали себя в безопасности, не имела фланговой обороны, и анфиладный огонь скоро обратил неприятеля в бегство. По его следам солдаты ворвались в аулы и целый ряд их был охвачен пламенем. Вместе с аулами сгорели и громадные запасы сена, заготовленного в таком количестве, что оно далеко превышало потребности жителей. Явилось даже предположение — не ожидали ли абадзехи на помощь к себе турецких войск, так как эмиссары их рыскали по краю, и двое из них, с бумагами и прокламациями турецкого правительства, были захвачены казаками в то время, когда пробирались в горы.

Как только на Фарсе и его притоках сожжено было все, что могло гореть, войска двинулись дальше по направлению к Белой. Вначале предполагалось даже соединить все четыре колонны в одну и проникнуть в самую глубь абадзехских владений, но наличные боевые средства Эмануэля признаны были недостаточными для выполнения этой задачи.

Страна, в которую предполагалось сделать вторжение, могла выставить в поле не менее пятидесяти тысяч хорошо вооруженных людей, а потому Эмануэль ограничился нападениями только на аулы, рассеянные по ее окраинам. Седьмого декабря колонны постепенно начали сходить к Майкопу, уничтожая по пути все, что попадалось по берегам рек и ущельям гор. Как прежде, так и теперь, аулы везде находили пустыми, неприятель почти не показывался; даже перестрелки случались редко, а еще реже приходилось выбивать горцев из каких-нибудь укрытий или завалов; но войска тем не менее были настороже; лагерь окружался двойными цепями, и малейший шум вызывал ночные тревоги.

Одна из этих тревог осталась особенно памятной как явление чисто стихийное, вышедшее из ряда обыденных явлений, к которым привыкли наши войска на Кавказе. Случилась она в самую полночь с восьмого на девятое декабря, когда солдаты, утомленные дневными работами, покоились глубоким и безмятежным сном. Вдруг все, что находилось в лагере, разбужено было таким оглушительным гулом, от которого дрогнули ближайшие горы и всколыхнулся весь бивуак, точно от сильного подземного удара: несколько палаток было опрокинуто, костры потухли, испуганные лошади сорвали коновязи. Крик и суета подняли на ноги всех, начиная с Эмануэля. Но тревога на этот раз оказалась фальшивой; это был шум большого горного обвала, упавшего в каких-нибудь полутора или двухстах саженьях от нашего лагеря. Огромная масса земли и камней, давно угрожавшая падением, наконец сорвалась и завалила всю дорогу, которая много лет пролегла под этим опасным навесом. Войска оставались наготове в ружье, пока казачий разъезд не вернулся с известием о случившемся. Тогда мало-помалу в лагере все приняло обычный порядок: водворилось прежнее безмолвие, последние голоса замолкли, последние огоньки, тускло светившиеся сквозь парусиновые стены палаток, потухли; лагерь погрузился в глубокий сон. Присматриваясь к темноте ночи, только и можно было видеть чёрные силуэты часовых, медленно ходивших вдоль передних линеек, да неподвижно стоявших, подобно конным статуям, казаков на аванпостах. Так прошло около часа. Вдруг раздались новые звуки, на этот раз хорошо знакомые кавказским солдатам — били тревогу. Быстрее даже, чем за час перед тем, войска выстроились впереди палаток. Тревога была настоящая. Целая партия абадзехов появилась перед нашими аванпостами, дала по ним залп и прежде, чем ей успели ответить, скрылась под черным пологом ночи. Утром, когда казаки поили лошадей, на противоположном берегу реки, на опушке леса, опять показалось человек до пятидесяти панцирников. Кольчуги их, сверкая при розовых лучах зимнего восхода, казались осыпанными рубинами и аметистами. Войска пришли в движение: пехота вызвана была в ружье, кавалерия с водопоя поскакала в лагерь. Но панцирники повернули назад и удалились неторопливо, шагом, точно появление их в виду лагеря не имело другой цели, кроме удовлетворения простого любопытства. Полагали, что это были темиргоевцы. В тот же день колонна подполковника Пырятинского сделала поиск в их землю. Она проникла довольно далеко, но и здесь, как на всем обширном пространстве, где только маневрировали наши войска, аулы стояли брошенными, и неприятель вел слабую перестрелку, которая отличалась от других перестрелок разве тем, что со стороны неприятеля действовал фальконет, вероятно, оставленный турками. О самом Джембулате не было никаких известий, темиргоевский вождь точно расправлял свои крылья в ожидании случая дать полный простор своему орлиному полету. Но о нем мы услышали не скоро — это случилось уже в сентябре следующего 1829 года.

Походом к темиргоевцам завершились русские репрессалии. Они продолжались почти три недели и стоили нам восьмидесяти пяти человек, выбывших из строя. Надо сказать, однако, что жертвы эти не превышали результатов, добытых экспедицией: три враждебные нам народа — бесленеевцы, башильбаевцы и баракаевцы вступили в

подданство России, несколько десятков ногайских семейств водворилось на прежних местах по Кубани, около ста тридцати душ общего пола взяты в плен; истреблены все попавшиеся нам на глаза аулы и уничтожены громадные запасы сена, которого достало бы на несколько лет на целую кавалерийскую дивизию. Даже отложившиеся от нас кабардинцы не могли не задуматься над участью, которая ожидала их в будущем. Два знатнейшие князя — Рослаббек-Бесланов и Мирза-бек-Хамурзин — сами приезжали в Ставрополь для личных переговоров с Эмануэлем. Они говорили о готовности своей покориться и вывести из гор свои аулы, ежели только им дозволено будет не возвращаться в Кабарду, а поселиться на Кубани, где они брались охранять наши границы. Эти условия, входившие в прямой расчет Эмануэля, не были однако же, приняты главнокомандующим.

“Подобное снисхождение,— писал он Эмануэлю,— ослабит до некоторой степени то влияние, какое мы уже приобрели над горскими народами, и кабардинцы, поселившись на Кубани, будут служить не охраной наших границ, а вожаками и укрывателями хищнических партий”.

Паскевич настаивал, чтобы князья с подвластными им аулами непременно вернулись в Кабарду на прежние пепелища, между Баксаном и Тереком, за линию наших укреплений. Кто был прав: главнокомандующий ли, скептически относившийся к миролюбивым заявлениям кабардинцев, или Эмануэль, старавшийся уступчивостью и доверием привлечь их на нашу сторону,— этот вопрос остается открытым: ни Рослаббек, ни Хамурзин не захотели принять предложенных им условий и остались в горах. Они предпочли открытую вражду с нами насильственному переселению в пределы Кабарды, под надзор ненавистной им администрации.

Вообще, главнокомандующий не стеснялся в своих суждениях относительно военных событий на Кубани и в одном из своих предписаний делает подробный разбор действий Эмануэля:

“Прошедшее,— говорит он,— лучший урок для будущего, рассмотрим же происшествия на линии в истекшем 1828 году:

Несмотря на предстоявший разрыв с турками, в начале обстоятельства для нас были самые благоприятные, народы па левом берегу Кубани даже отказались, по приглашению турецкого правительства, удалиться в горы, объявив, что они предпочитают оставаться вблизи русских; прочие, за исключением абадзехов и беглых кабардинцев, приметно переменили свое поведение и, будучи убеждены в бескорыстных видах нашего правительства, больше оному доверяли, нежели туркам, так что, по мнению Вашему, за Кубанью в пользу турок не могло быть никакого важного ополчения.

Сколь ни успокоительны были таковые донесения Ваши, я поспешил на всякий случай усилить вас Навагинским пехотным полком и предоставил удержать на линии по Вашему усмотрению вторую Уланскую дивизию.

Ни одним из этих выгодных условий Эмануэль, по мнению Паскевича, не воспользовался для развития своих операций в земле непокорных народов”.

“В минувшем году,— писал Паскевич,— на линии происходило следующее:

Первого мая генерал-майор Антропов выступил на Уруп для рассеяния партии в восемьсот человек, собиравшейся из абадзехов и кабардинцев, но, не открыв ничего, возвратился назад.

Между тем слухи о сборе горцев для нападения на линию продолжались. Ваше высокопревосходительство весьма основательно поступили, решившись предупредить их; но вы разделили силы Ваши и не обеспечили успеха предприятиям. Генерал Антропов с одним отрядом, подавшись до горы Ахмет, с девятнадцатого по двадцать шестое мая простоял, вызывая бесленеевских князей явиться к нему с покорностью, и двадцать девятого числа без всякого успеха возвратился на Кубань за недостатком хлеба.

В то же время другой отряд, под вашим начальством, как видно из вашего же донесения, по малочисленности пехоты не мог овладеть первым встретившимся аулом; потом незначительная речка, по неимению средств к переправе, не допустила Вас идти прямо на место сбора хищников, и, после нескольких перестрелок, Вы возвратились на Кубань, не в силах более оставаться за границей также по недостатку продовольствия.

Всякое нерешительное предприятие только возбуждает дерзость горцев, почему обе вышеуказанные экспедиции не могли произвести на них надлежащего впечатления; напротив, они раздражали их и должно было ожидать возмездия. Вам нужно бы было снова выступить за границу и, угрожая собственным их аулам, отвлечь от линии предстоящую опасность. Но только один генерал-майор Антропов выходил на короткое время для прикрытия преданных нам ногайцев и по достижению этой цели возвратился обратно. Горцы же беспрепятственно продолжали свои сборы: шестого июня они явились у Баталпашинска, седьмого дневали там, а на девятое истребили близ Георгиевска село Незлобное, почти посреди наших войск.

Дабы удержать дальнейшие набеги, нужно было произвести примерное возмездие, тем более, что прибытие на линию второй уланской дивизии позволяло собрать нужные для того силы; но сего не последовало. В июле и августе набеги умножились, как прежде редко бывало. Между тем, сколько полезно бы было сделать тогда движение, доказывает экспедиция небольшого отряда подполковника Широкова, последствием которой было покорение темиргоевцев, а еще более предпринятые Вами в сентябре удачные экспедиции за Кубань против башильбаевцев, махошевцев и абазинов.

Что же касается предприятия Вашего на Карачай, то оно столь же полезно, сколько отважно, и если вслед за ним произошли от других народов снова опустошения, то это оттого, что они не видели постоянного сбора войск, который угрожал бы собственным их жилищам. В этом случае последнее предприятие Ваше в ноябре, будучи основано на весьма хороших соображениях, увенчалось полным успехом”.

Таково было мнение Паскевича; но насколько репрессалии Эмануэля действительно достигли своей цели — на этот вопрос ответило время.

XXIX. НОЧЬ НА 18 АПРЕЛЯ 1829 ГОДА (Смерть князя Измаила Алиева)

Памятный войной, исход которой еще нельзя было предвидеть, 1828 год удалился со сцены, предоставив своему преемнику развязку кровавой борьбы, охватившей собой оба побережья Черного моря. Но то была распря политическая, война между двумя государствами, которая, рано или поздно, должна была окончиться миром. Того же, что происходило на Кавказе в то время, никто не предвидел. Это была война двух культур, война, так сказать, органическая, где свет боролся с тьмой, цивилизация с варварством. В государстве всегда есть хозяин, от верховной воли которого зависит судьба его народов,— будет ли то самодержавный монарх, президент республики или парламент; здесь хозяйничали все, у кого была винтовка за плечом и кинжал на поясе. И надо сказать, что в числе районов, на которых происходила борьба этих двух культур, Кубань занимала не

последнее место. Переpravляясь через нее обратно тринадцатого декабря 1828 года после целого ряда поисков в неприятельских владениях, поисков, дававших своей непрерывностью приблизительное понятие о *perpetum mobile*, Эмануэль не мог сказать, что миссия его за Кубанью окончена, что спокойствие и безопасность линии, если не навсегда, то на многие годы обеспечены; напротив, он должен был ожидать, что на репрессалии ему будут отвечать репрессалиями, что счеты между ним и враждебными нам племенами никогда сведены не будут. Это был бесконечный спор, в котором каждая сторона стремилась оставить за собой последнее слово, в котором одинаково заинтересованы были и целые племена, и отдельные личности. Брат какого-нибудь Абдуллы был убит русскими,— а Абдулла отправлялся мстить или один, или собирал целую партию. Чувство мести было для него долгом более священным, нежели всякое другое обязательство. Понятие о его ненарушимости он всасывал с молоком своей матери и приучался с пеленок платить кровью за кровь и отвечать кинжалом и пулей на каждую обиду. В этом и лежал источник вечных смут, грабежей и убийств, которыми так богата тогдашняя линейная хроника. Но еще было хуже, когда одиночное понятие об оскорблении переходило в создание целых народностей, для которых причиной кровной мести могли сломить, например, смерть вождя, погибшего в набеге, разорение родного аула, измена, предательство, переход на русскую сторону и даже простая услуга, оказанная русскому правительству. Каждый свободный горец считал своей обязанностью мстить за обиду, нанесенную народным интересам, и бывало нередко, что мстители являлись из совершенно другого, даже враждебного общества.

Начало 1829 года на Кубани ознаменовало было именно двумя подобными происшествиями, из которых в первом — двигателем является, по всей вероятности, личная месть, а во втором — месть народная, выразившаяся хотя, быть может, и не преднамеренно.

Однажды несколько линейных казаков из Григориполинской станицы отправлялись за Кубань, чтобы подыскать в лесу дерево, годное для выделки каюка. Один из них, страстный охотник, напал на свежий след зверя и, преследуя его, незаметно отошел на такое расстояние, с которого нельзя было слышать ружейного выстрела; да, впрочем, если бы товарищи и услышали его, то приняли бы, конечно, за выстрел охотника. Раздвигая осторожно кусты, казак неожиданно в нескольких шагах от себя увидел черкеса, который пробирался кустами к Кубани и вел в поводу свою лошадь. Противники встретились на таком расстоянии, что ни тому, ни другому податься было некуда. Оба схватились за винтовки и, несмотря на то, что стреляли в упор, оба промахнулись. Одиночный черкес, пробиравшийся к Кубани, конечно шел не с тем, чтобы разрядить ружье в воздух; ему нужна была кровь, и оба противника, мгновенно охваченные каким-то зверским чувством, кинулись друг на друга. Это была борьба двух разъяренных барсов. Черкес был прекрасно вооружен; у казака, кроме разряженной винтовки в руках да топора за поясом, не было ничего. Тем не менее бой, скорее единоборство, продолжался долго. Черкес рубил с плеча и наносил удар за ударом; казак крестил его топором, куда ни попало. Наконец оба противника, обессиленные от множества раж, свалились и продолжали бой, катаясь по земле, быть может, уже в предсмертной агонии. Падая, черкес успел еще воткнуть кинжал в живот казака и там повернул его несколько раз; казак собрал последние силы и нанес топором смертельный удар черкесу. Сколько времени пролежал казак в беспомощности, он этого не помнил; когда же очнулся, то первым делом его было снять оружие с убитого черкеса и поймать лошадь, которая паслась от него в нескольких шагах. Он привязал повод к поясу и потихоньку пополз на стук топоров, все еще доносившийся до него из леса, где работали казаки. Он полз, придерживая рукой то разрубленное лицо, то вывалившиеся внутренности, и в этом страшном виде явился перед своими товарищами.

Впоследствии, к общему изумлению, он выздоровел, получил Георгиевский крест и еще много лет бродил по закубанским лесам и плавням.

Другое происшествие, о котором упомянуто выше, случилось в половине апреля: но прежде, чем говорить о нем, необходимо предпослать краткий биографический очерк главного действующего в нем лица.

В двадцатых годах нынешнего столетия в числе наездников, прославившихся за Кубанью своими подвигами, был некто князь Измаил Алиев, владетельный султан одного из ногайских улусов. Изрубленный и истрелянный в боях с казаками, он почитался в горах отъявленным врагом всякого иноземного владычества. Пользуясь неограниченно властью в своем народе, он, естественно, боялся утратить многие наследственные прерогативы, если вступал в подданство России или Турции. Это опасение он ловко прикрывал любовью к родине и религиозным фанатизмом, что заставляло смотреть на него в горах как на один из столпов борьбы за независимость. Престижем, окружавшим его, Измаил Алиев обязан был не одной личной храбрости: он был человек очень умный и по-своему весьма образованный. Осторожный сегодня, чтобы не повредить своей боевой репутации, он завтра очертя голову бросался в самую гущу опасности и увлекал всех своей безрассудной отвагой. Рассказывают, что однажды он едва не взял в плен известного на Кавказе генерала Вельяминова, который отделился с небольшой свитой от своего отряда и был атакован Измаилом до того стремительно, что едва успел вскочить в каре, и то благодаря только замечательной быстроте своей лошади.

Но время, с которым гораздо труднее бороться, нежели с течением быстрого горного потока, время, которое вносит перемены во все нас окружающее, дало мыслям и чувствам Измаила другое направление. Кровь его поостыла, ненависть ко всему иноземному мало-помалу улеглась, патриотизм, которым он сам себя старался обманывать, уступил место другим, более разумным побуждениям. Он увидел, что надвигается новая сила, перед которой не устоит никакая отвага, что рано или поздно сила эта проникнет далеко за Кубань и все народы или покорятся ей на условиях, которые предпишет победитель, или должны будут покинуть родину, и искать другой, где свободе их будет угрожать еще большая опасность. Он понял все это, и на лицо его набежало облако; он часто стал задумываться, сидя у себя в сакле перед очагом, пламя которого ярко переливалось на стене, увешанной дорогим оружием. Но облако скоро рассеялось. Беседуя в былые времена с правителями других ногайских улусов, давно признавших над собой протекторат России, он много раз слышал от них о гуманности и бескорыстии русского правительства, о добродушии и веротерпимости русского народа. Теперь эти беседы все чаще и чаще стали приходить ему на память. И вот в один прекрасный день он стряхнул с себя все свои невеселые думы и, после недолгих переговоров с нашими властями, перекочевал со своим улусом к Кубани. Он поселился при самом устье Урупа, верстах в семнадцати от Прочного Окопа, и стал таким же горячим приверженцем России, каким горячим был ее антагонистом. Личная храбрость его, ум, необыкновенный такт и немаловажные услуги, оказанные нам в разное время, обратили на него внимание Эмануэля, который исходатайствовал ему чин поручика. Благодаря дошедшим до нас мемуарам одного из современных деятелей, мы можем составить себе некоторое понятие о наружности этого замечательного человека. В 1829 году Измаилу было тридцать девять лет. Он был среднего роста, широкоплеч и, как все уроженцы Кавказа, прекрасно сложен. В глазах его, черных, как агат, выражался ум и проницательность, но его слегка загнутый книзу нос, напоминавший клюв хищной птицы, придавал лицу его выражение какой-то суровой кровожадности. Лицо это имело еще одну лишнюю черту, которой Измаил немало гордился; это был широкий шрам, шедший через весь лоб,— след шашечного

удара какого-нибудь линейного казака, когда Измаил еще сражался в рядах наших противников.

Характер Измаил имел общительный: его очень часто видели веселым, смеющимся, но в его смехе для внимательного наблюдателя было что-то неестественное и принужденное: иногда выразительное лицо его вдруг омрачалось грустью, точно ум его осаждали тяжелые воспоминания. Впоследствии от приближенных его узнали, что у него было великое тайное горе, с которым могла ужиться только его мощная натура. Горе это было семейное: Измаил был женат на двух женах; первая, которую он страстно любил и которой никогда не мог забыть, была во власти анапского паша вместе с малолетним сыном и содержалась у него в качестве заложницы. Зная, каким авторитетом пользуется Измаил между закубанскими народами, паша несколько раз требовал его к себе с тем, чтобы заставить его отступить от русских и принять присягу на верность турецкому султану. Как ни любил Измаил свою жену и своего первенца, как ни хотелось ему вернуть их назад к семейному очагу, но интересы вверенного ему судьбой народа и клятвенные обязательства, которыми он связал себя перед русским правительством, пересиливали в нем это желание, и он отвечал посланным анапского паша категорическим отказом. Между тем начиналась война; турки покинули Анапу, и паша вместе со своим гаремом увез и семейство Измаила. Измаил перенес горе твердо, но не разлучался с ним до последней минуты своей бурной, исполненной тревог жизни; и когда носился в набегах впереди своих верных сподвижников, он, может быть, не раз призывал к себе смерть, но смерть медлила отвечать на его призыв.

Поселившись на Урупе и отдавшись всецело служению новому отечеству, Измаил порвал все связи с прошлым и начал уклоняться от сношений не только с прежними союзниками, но даже со своими родственниками и кунаками. В горах ему не простили этого. Те, которые прежде искали его расположения и гордились его дружбой, теперь стали непримиримыми его врагами, называя его гяуром, и даже подсылали к нему убийц. Но провидение хранило его. Убийцы, шедшие с твердым намерением покончить с ним, падали духом при виде человека, который, кроме Бога и бесчестья, ничего не боялся. Измаил и сам знал, что его жизнь висит на волоске, но он даже не показывал виду, что подозревает что-нибудь недоброе относительно себя, и гораздо больше озабочивался участью подвластного ему улуса. Когда один из наших офицеров спросил его в дружеском разговоре, зачем он променял жизнь относительно спокойную на такую, в которой на каждом шагу его сторожит опасность, он отвечал, что мог бы сделаться турецким подданным, и это было бы для него выгоднее во многих отношениях, но он предпочел отдаться царю, который в левой руке держит солнце, а в правой луну.

Прошло более двух лет с тех пор, как Измаил водворился в наших пределах, но улуса его никто не тревожил. Лев, как называли Измаила в горах, сидел в своей берлоге, и самые смелые партии обходили ее стороной. Так наступил 1829 год, и с ним временное затишье по всей Кубанской линии. Началась весна, и полный расцвет ее в этом году совпал с праздником Светлого Христова Воскресенья. Пасха началась четырнадцатого апреля. Природа встретила ее цветами и зеленью, а русские люди пасхальными гимнами, братским целованием и колокольным звоном, начавшимся в полночь и не умолкавшим до заката солнца. Горцы также любили этот христианский праздник, хотя несколько иначе, чем мы: они знали, как легко в эти дни относятся к своим обязанностям те, на ком лежала охрана наших границ, и пользовались ими где и как только было можно.

По установившемуся давно патриархальному обычаю, в Прочном Окопе первые два дня все провели дома, каждый в своей семье, а на третий в укрепление съехалось множество гостей из всех окрестных станиц, штаб-квартир и даже из Ставрополя. Начальник правого

фланга генерал Антропов принимал у себя в этот день поздравления. В числе приехавших был и владетель Мангитовского улуса князь Измаил Алиев. Когда он вошел в приемный зал, все уже были в сборе, и в особенности много было дам, поразивших его роскошью туалетов, каких он никогда не видывал. Мужественная фигура, непринужденность в обращении и природная грация князя обратили на него внимание всех присутствующих. В рядах представительниц прекрасного пола пробежал шепот одобрения. Никто не хотел верить, что он никогда не был в Петербурге и не служил в конвое. Измаил знал, куда идет, и потому кольчугу, налокотники и все стальные принадлежности своего боевого костюма заменил другим, не менее живописным нарядом, в котором выказал много вкуса. На нем была коричневого сукна шапочка с меховым околышем, шелковый темно-малиновый бешмет и коричневая черкеска, обшитая узкой серебряной тесьмой; вместо ноговиц — шаровары того же коричневого сукна с серебряным лампасом и, наконец, русские полусапожки, в которых маленькая нога его казалась выточенной. Оружия при нем не было, кроме шашки в сафьянных ножнах, обложенных галуном, да кинжала в золоченой оправе. Измаил был приветлив, принимал участие в общем разговоре и поражал всех меткостью и даже остроумием своих замечаний; иногда он улыбался, и тогда два ряда белых зубов ослепительно сверкали из-под черной окладистой бороды. Но он напрасно старался под личиной непринужденного веселья и азиатской утонченной вежливости скрывать какой-то нравственный гнет — не то предчувствие чего-то недоброго, не то воспоминание о навсегда утраченном счастье. Приближенные не раз заставляли его в последнее время сидящим одиноко, в глубокой задумчивости, и когда спрашивали, что с ним, — он отвечал: “Молю Аллаха, чтобы последняя рана, от которой я должен умереть, нанесена была мне в грудь, а не в спину, а то эт-марра (будет стыдно)”. Еще в это утро, в комнату, в которой он ночевал в Прочном Окопе у одного из русских офицеров, влетел воробей в то самое время, когда Измаил одевался, чтобы идти к генералу. “Это нехорошая примета, — сказал он задумчиво, — птичка принесла мне недобрую весть”.

Возвратясь от генерала, он перед вечером выехал из Прочного Окопа навестить одного из ногайских владельцев, князя Коплана, лежавшего на смертном одре, и, выходя от него, проговорил в полголоса: “Мне не нравится такая смерть, я бы желал умереть от пули”. Печальный и задумчивый, он вернулся в аул, рассчитывая на другой день вечером опять посетить Прочный Окоп, где был назначен у генерала бал. На балу он, однако же, не был. Его отсутствие было замечено, и многие спрашивали, отчего нет Измаила, тем более, что ему послано было особое приглашение через одного из адъютантов. Бал окончился поздно.

В доме генерала еще не успели потушить огни, как в крепость прискакали два азиата, которые потребовали немедленного свидания с Антроповым. По их одежде, грязной и покрытой пылью, по их встревоженным и бледным лицам можно было догадаться, что привезенное ими известие носило тревожный характер. Их провели прямо к генералу. Вошел молодой князь Абулов и с ним Якуб, любимый уздень Измаила. “Несчастье! Измаил убит!” — вскричали они оба. У генерала опустились руки. Печальная весть в несколько минут облетела укрепление и омрачила праздник, точно угрюмая осень разом сменила ясные весенние дни.

Вот что в эту ночь произошло верстах пятнадцати от Прочного Окопа. Семнадцатого апреля, часов в пять пополудни, партия человек в двадцать, под предводительством двух известных абреков Бабукова и кабардинского князя Кучук-Аджи-Гиреева, напала на улус Измаила в то время, когда все жители были на полевых работах, а потому успела не только отогнать табун, но и захватить в плен узденя Темирова вместе с его малолетним сыном. Если бы хищники знали, что Измаил дома, что конь его оседлан и доспехи висят на стене, над его головой, они не осмелились бы в таком ничтожном числе открыто, среди

белого дня, напасть на его ставку; но они введены были в заблуждение лазутчиками, которые видели Измаила в Прочном Окопе и не знали, что он вернулся домой. Измаил в это время отдыхал в своей сакле. Он полулежал на широкой тахте, облокотившись правой рукой о подушки, а левой перебирая янтарные четки. Вдруг дверь растворилась, в комнату вбежали два молодые князя, братья Абуловы. “Вставай, Измаил,— кричали они,— хищники угнали табун!” Измаил вскочил как ужаленный; четки полетели на ковер, и рука машинально потянулась к винтовке. Глаза его засверкали гневом. Не успел он крикнуть дежурного нукера, как уже заседланная лошадь его стояла у парадного крыльца. Напрасно один из молодых князей убеждал его остаться дома. “Тебе не прилично самому выезжать против хищников,— говорил он.— Вспомни, сегодня генерал ждет тебя на вечер. Что он подумает, когда узнает, что ты из одного удальства пренебрег его приглашением? Останься и положишься на нас”. Но Измаил ничего не хотел слушать. “Я им докажу,— говорил он,— что за всякое покушение они будут платить мне своими головами. Я тот же Измаил, каким они знали меня прежде”.— “Если так,— возразил Абулов,— так собери по крайней мере достаточно людей; нас мало, а погоня будет далекая”. — “Каких людей? — вскричал Измаил, с выражением глубокого презрения в голосе.— Ты хочешь, чтобы я поднял весь улус и оторвал народ от его работы из-за какой-нибудь шайки негодяев! Слава Аллаху, мы еще не дошли до этого. Нас более, нежели нужно, чтобы навсегда отбить у них охоту рыскать вокруг моих аулов. Вот мои люди”. И он указал нагайкой на своих нукеров, которые в числе пятнадцати человек уже сидели на конях с винтовками наголо. Измаил вышел к ним вместе с князьями Абуловыми, сел в седло и первый выехал за ворота. Затем, миновав деревню, партия гикнула и понеслась к горам, откуда навстречу ей с бешеным ревом мчался Уруп, обдавая и пеной, и брызгами молодую травку своих берегов. По дороге к партии присоединились еще двоюродный брат Измаила Селим-Гирей и князья Хан-Мурза и Шубан Алчагировы, каждый со своим нукером. Всего преследователей набралось, таким образом, двадцать четыре человека. Скакали долго, потому что хищники так успели запутать сакму, что ее только с трудом можно было разыскать. Общее направление их определить было нетрудно — они тянули к верховьям Урупа, но следы их пропадали то на каменистом грунте скалистых предгорий, то в глубоких оврагах, по дну которых бежали ручьи стаявшего снега. Хищники слышали за собой погоню, но, не зная, что во главе ее скачет сам Измаил, решились сделать засаду в том месте, где в Уруп впадает маленькая речка Теньга, известная под именем Синюхи. Как только Измаил, окруженный князьями, показался во главе своей партии, хищники дали залп. Они не узнали Измаила. По одной из тех случайностей, которые не всегда можно предвидеть, под ним был не тот конь, на котором его привыкли видеть за Кубанью. Правда, его можно было узнать по его дорожному вооружению и повелительным местам, которыми он сопровождал свои приказания, но в горах уже были сумерки, и к тому же капризное апрельское небо дотоле яркое, как синий хрусталь, стало вдруг заволакиваться тучами, набегавшими с главного хребта Кавказа.

Скоро совершенно стемнело. Бойкая перестрелка гулко отдавалась по соседним горам, и выстрелы урывчатыми молниями одни освещали мрак, окутавший ущелье. Вдруг в нескольких шагах от Измаила упал нукер, и не успел он высвободиться из-под убитой лошади, как был окружен черкесами. Возле Измаила в ту пору не было ни одного человека; он бросился на помощь один и первым выстрелом свалил с седла кабардинского князя Кучук-Аджи-Гирея. Потеря предводителя смешала и расстроила шайку. Но в ту минуту, когда победа уже склонилась на сторону ногайцев, пробил и последний час Измаила,— тот час, о котором он так много думал в последнее время. Занятый перестрелкой, он не заметил, как на него налетел всадник на белом коне и в белой папахе. Это был Псинаф Бабуков, убух, известнейший вожак и предводитель шаек. Он узнал Измаила и выстрелил по нему из пистолета. Пуля раздробила рукоять шашки, сделанной из мамонтовой кости, и прошла в живот навывлет. Рана была безусловно смертельная, но

Измаил имел еще достаточно сил, чтобы ответить выстрелом и положить убийцу на месте. При виде белого коня Псинафа, мчавшегося без седока, с разбитым седлом, хищники обратились в бегство. Ногайцы понеслись за ними и только тут заметили, что с ними нет Измаила. Молодой князь Абулов поскакал назад и нашел его на том самом месте, где лежал убитый Бабуков. Измаил еще сидел на лошади.

— Измаил, что с тобой? — вскричал подскакавший Абулов.

— Тише! — отвечал Измаил.— Не называй меня громко по имени: услышат наши — упадут духом, услышат враги — возликуют.

— Ты ранен?

— Да, возьми поскорее ружье, оно никогда не казалось мне таким тяжелым.

Абулов, соскочив с коня, принял винтовку и хотел помочь ему сойти с седла; но в эту минуту лошадь Измаила шарахнулась в сторону, и раненый упал на землю. Он вскрикнул от мучительной боли. На этот крик прискакало еще несколько ногайцев; они уложили умирающего князя на бурку, сняли с него кольчугу, расстегнули бешмет. Он был в забытии, но скоро очнулся и спросил:

— Где брат мой, Селим?

— Он впереди,— отвечал Абулов,— преследует разбитую партию.

— А где князя Алчагировы?

— Они оба ранены и лежат рядом с тобой.

— Велика ли у нас потеря?

— Нет,— отвечал Абулов,— кроме князей, ранены два узденя и один убит наповал.

— И я убит,— тихо сказал Измаил. — Благодарю Бога за то, что пуля нашла ко мне дорогу спереди и что мой убийца не станет кричать, что убил Измаила: у меня только и достало силы, чтобы лишить его этого удовольствия. Впрочем, кажется, и того, другого, не миновала моя пуля...

Это были последние слова Измаила; он произнес их с расстановкой, едва слышным голосом, и когда Абулов, наклонившись, прислушался к его дыханию и приложил руку к сердцу — сердце уже больше не билось.

Было одиннадцать часов вечера семнадцатого апреля. В это самое время в Прочном Окопе бал у генерала Антропова был в полном разгаре: там гремела музыка, кружились танцующие пары, и все с нетерпением ждали Измаила. Но Измаила не было — его безжизненное тело, завернутое в бурку, в этот самый час несли его верные нукеры вниз по течению Урупа, мимо темных ущелий и глубоких оврагов, в которых сердито бушевали горные потоки.

Весть о смерти Измаила быстро облетела берега Урупа,— и не одни ногайцы, жители всех мирных аулов выходили толпами навстречу почившему князю. Самая смерть его оказала русским громадную услугу, избавив линию от двух опаснейших и злейших ее врагов.

Кчук-Аджи-Гирей, по крайней мере, имел еще утешение умереть у себя в сакле, окруженный семьей; но тело Бабукова было брошено и попало в руки ногайцев. Это был несмыаемый позор для его соратников, и никто из них не смел показаться на глаза своим односельцам: мужчины от них отворачивались, женщины преследовали их насмешками, родные и друзья Бабукова стали их кровниками,— и к тем жертвам, которые похитил набег, должно было прибавиться еще много жертв, вычеркнутых из книги жизни обычаем кровомщения. Таким тяжелым явлением отозвалась в горах смерть Измаила.

На другой день в Мангитовский улус прибыл сам Эмануэль в сопровождении огромной свиты. Русский генерал преклонил колени на могиле ногайского героя и посетил его осиротевшее семейство.

Измаил оставил после себя трех сыновей. Старшего из них, выросшего в Анапе у турок, он собирался отправить в Россию, в кадетский корпус; двое других были еще малолетние. Но власть правителя переходила по народным обычаям не к прямым наследникам умершего, а к старшему в роду, которым в то время был племянник Измаила, Эдигей, мальчик лет четырнадцати или пятнадцати. Он воспитывался в горах у бесленеевцев и во время одной междоусобицы захвачен был в плен абадзехами. Там его встретил уздень, отец которого был связан тесной дружбой с отцом Измаила; так как у черкесов не одна вражда, но и дружба переходили, из одного поколения в другое, то уздень не только освободил из плена молодого князя, но подарил ему двух лошадей из своего табуна, одежду, оружие, панцирь с полным прибором и отправил его в улус Измаила. “Дядя твой,— сказал он ему на прощание,— никому не позволяет быть в бою впереди себя, а потому никто не может поручиться, что он вернется домой на седле, а не на бурке. Аллах каждую минуту может потребовать его к себе, и тогда Мангитовский улус перейдет к тебе по наследству. Если это случится, я буду извещать тебя обо всем, что может пригодиться тебе в новом положении; если в горах пойдет речь о нападении на твой улус, ты будешь знать об этом прежде, нежели соберется партия”.

Слова, предрекавшие возможность близкой перемены в судьбе Эдигея, оказались пророческими: племянник уже не застал дядю в живых; он прибыл в улус на другой день после его погребения. Джемат, перед которым впервые появился князь в роли правителя и вершителя дел, был поражен его молодостью. Эдигей оставил улус ребенком; его никто не помнил; слышали, что он отдан был дядей на воспитание бесленеевцам, знали, что он молод, но никто не ожидал увидеть перед собой почти ребенка. Впечатление это не скрылось от пронизательности Эдигея. Он встал и обратился к собранию старшин и стариков со следующей речью:

“Потеря вашего благодетеля и моего дяди для вас незаменима; вы так, по крайней мере, думаете. Для меня она точно незаменима, потому что он был для меня отцом, но для вас он был только правителем. Правитель умер, перед вами стоит его преемник”.

Джемат, озадаченный, молчал.

“Из уважения к памяти дяди,— продолжал Эдигей,— из чувства долга к моему народу, я сделаю все, что от меня зависит, чтобы внушить к себе ваше доверие. Мой дядя был предан русским,— я буду вдвойне им предан. Мой дядя указывал русским дороги днем,— я буду указывать их в самые темные ночи. Мой дядя знал, где собираются скопища для нападений,— я знаю тропинки, по которым они пробираются...”

“Твой дядя,— остановили его старики,— знал шариат, как ни один мулла, ни один эфенди, и у него мы находили себе защиту в наших делах, а ты еще молод. Поживи, князь, и ты увидишь, как трудно тебе будет заменить твоего дядю”.

“Мой дядя не стариком родился,— отвечал Эдигей,— и вы не можете знать, чем буду я, когда доживу до его лет”.

На этот аргумент отвечать было нечего — и последнее слово осталось за князем.

В Мангитовском улусе все пошло по-прежнему. Той же преданностью к русским отличались его жители, с той же бдительностью охраняли они свое владение, и с той же готовностью вступали в ряды наших отрядов, когда того требовала общая безопасность. Можно было подумать, что над улусом носилась славная тень Измаила Алиева.

XXX. НА ЭЛЬБРУСЕ И АРАРАТЕ

Верстах в трехстах к юго-востоку от Ставрополя на горизонте виднеется беловатая полоса, точно вереница облаков отдыхает на ясной, голубой лазури. Но облака по нескольку раз в минуту меняют свои очертания, а беловатая полоса, протянувшаяся вдоль горизонта, никогда не меняется. Как видели ее назад тому десятки тысяч лет, так видят ее и теперь, с тем же нежно-розовым отливом на утренней заре, с тем же слабым отблеском далекого зарева по вечерам, когда солнце уходит за горизонт и прощальные лучи его озаряют окрестность. В туманную погоду и в знойные часы летнего полдня, когда мгла поднимается из раскаленной почвы, она совсем пропадает из вида. Эта белая полоса — снеговая линия Кавказа. В центре ее, несколько выдвинувшись вперед, возвышается увенчанный двуглавой короной колосс, который носит название Эльбруса [Эльбрусом называют его только соседние горские племена: карачаевцы, балкарцы, чегемцы и другие. Урусниецам он известен под именем Менге-тау, а кабардинцам — Ошха-махо, что значит счастливая гора.]. Долгое время окрестности его были страной неведомой, куда не проникало русское оружие; и даже пытливый взор ученого, останавливаясь на нем, только издали любовался его белоснежной порфирой. Но время шло,— русские штыки наконец проложили себе путь к его заповедным предгорьям. Это было в 1828 году, во время покорения Эмануэлем Карачая. Эльбрус, считавшийся не более, как одной из вершин главного хребта, каким он представляется издали, оказался самостоятельной нагорной областью. Это исполин, не только смело рванувшийся ввысь, в заоблачный мир, но и захвативший своими отрогами целую страну, населенную различными племенами, говорящими на различных языках и наречиях. Покорением этих племен выполнялась одна из важнейших стратегических задач наших за Кубанью; но Эмануэль этим не удовлетворялся. Просвещенный генерал, не будучи ученым по профессии, был одним из выдающихся меценатов своего времени. Он хотел покорить самый Эльбрус, обозреть все его окрестности, побывать на его вершине, исследовать природу его во всех отношениях, словом, сделать его достоянием науки.

Для выполнения задуманного плана у Эмануэля как у высшего административного лица в крае были все вспомогательные средства: войска, проводники, вьючные животные, но не было людей, которые своими исследованиями и открытиями могли бы принести пользу науке, не было ученых и специалистов. Без них же восхождение на Эльбрус было бы подвигом, достойным удивления, но подвигом бесцельным и безрезультатным. В двадцатых годах нынешнего столетия наука в России не пользовалась большой популярностью; она составила достояние немногих избранных лиц, и, подобно науке средних веков, искавшей себе убежища в монастырях, работала в тиши академии, процветавшей только под эгидой русских венценосцев. Эмануэль снесся с академией

наук, приглашая членов ее принять участие в экспедиции, которую он намерен был предпринять летом к Эльбрусу и его окрестностям для открытия прямых и безопасных путей через этот центральный узел Большого Кавказа. Академия сочувственно откликнулась на его приглашение и с соизволения императора Николая Павловича командировала на Кавказ успешных завоевать себе почетное место в науке четырех своих членов: Эмилио Ленца, совершившего с Коцебу кругосветное путешествие и впоследствии издавшего прекрасное руководство по физике; Адольфа Купфера, также профессора физики и химии; Карла Мейера, директора ботанического сада в Петербурге, и Эдуарда Менетрие, энтомолога, занимавшего должность консерватора в кунсткамере, которую он обогатил замечательной коллекцией бразильских насекомых. От министерства финансов, для геологических и минералогических исследований, назначен был горный инженер Вансович, и, кроме того, к экспедиции присоединился еще один иностранец, известный венгерский путешественник де Бесс, посланный наследным принцем Габсбургского дома эрцгерцогом Иосифом в Крым, на Кавказ и в Малую Азию. Это была вторая русская ученая экспедиция на Кавказ, первую совершили академики Гюльденштедт и Гмелин, посетившие Кавказ в 1769 году. Но восхождение на Эльбрус до Эмануэля никто никогда не предпринимал, да и самая мысль о подобном предприятии никому не могла прийти в голову. Отчеты об ученой экспедиции в 1829 году помещены в мемуарах С.-Петербургской академии наук, но они, как и вообще отчеты ученых и специалистов, отличаются сухостью и доступны пониманию не многих. К тому же, наблюдения, сделанные во время этой экспедиции, сравнительно с позднейшими исследованиями, уже потеряли цену и самое определение высоты Эльбруса [По тогдашнему измерению высота Эльбруса определялась в 16 330 футов, а по позднейшим исследованиям высшая точка его — 18 470 футов.] показывает, что ныне руководствоваться данными этой экспедиции, без сличения их с новейшими изысканиями, невозможно. Зато другие стороны этой академической экскурсии весьма любопытны, особенно о тех местах, о которых сохранились мемуары венгра де Бесса, туриста без всяких претензий на какую-либо ученость. Непогрешимости его путевых заметок и наблюдений несколько вредит довольно странная мания видеть во всех народах, с которыми ему приходилось встречаться на Кавказе, племена, родственные венграм,— остатки великого народа маджар, или мадьяр, владевшего будто бы всем Северным Кавказом, до берегов Дона и Каспия. Всех их он приветствовал как своих единоплеменников. Карачаевцев он уверял даже, что в Венгрии и теперь еще сохранилась фамилия их древнего родоначальника Карачая, представители которой поныне служат в армии австрийского императора. Наивные горцы с неммым удивлением внимали речам словоохотливого туриста, но не разделяли его национальной гордости. Довольные своим положением и внутренним устройством, они не желали никаких перемен и начали подозревать в навязываемом им родстве с мадьярами коварный умысел посадить к ним владетелем венгерского Карачая, о котором они не имели никакого понятия. Тревога их, вызванная открытиями иностранного путешественника в области этнографии, была так сильна, что Эмануэль нашел необходимым гласно вывести их из этого заблуждения и запретить де Бессу впредь вести разговоры о таких щекотливых предметах.

В настоящее время восхождение на Кавказские горы не только с научной целью, но даже для удовольствия альпийской прогулки, полной приключений, происходит часто и производится не только русскими путешественниками, но и разными иностранными учеными, посещающими Кавказ во время летнего перерыва их кабинетных занятий. Но во времена Эмануэля, когда прогулки вне стен укреплений происходили только на местности, огражденной казачьими пикетами, подобное восхождение на Эльбрус могло быть совершено только в виде военной экспедиции. К началу июля в Константиногорске собран был отряд из шестисот человек пехоты, четырех сотен казаков и двух орудий, под начальством подполковника Ушакова, занимавшего в то время должность нальчикского

коменданта; из караногайских степей пригнали верблюдов для поднятия тяжестей, и небольшой отряд, сопровождавший ученую экспедицию, выступил девятого июля утром по пути к Бургустану. В свите Эмануэля недоставало только одного де Бесса, который приехал спустя несколько дней, когда войска стояли на урочище Хассауте. Казак доложил генералу, что прибыл какой-то иностранец, должно быть, немец, который сам себя называет “бесом”. Эмануэль имел уже предварительные сведения о нем из письма эрцгерцога Иосифа и, как сам венгр, принял знаменитого путешественника с распростертыми объятиями.

Лагерь, раскинутый в верховьях реки Хассаута, не имел сам по себе ничего привлекательного. Напротив, своими прозаическими деталями он мало гармонировал с девственной красотой ландшафта. Для генерала и его свиты, к которой причислялись и все академики, разбиты были палатки; солдаты укрывались от солнечного зноя в шалашах, построенных из хвороста и древесных ветвей, а казаки разбрелись по ущельям между окрестными холмами, где на роскошных пастбищах лошади их утопали в траве по самую шею. Хассаут был первой станицей на пути к Эльбрусу, и с этой же станции начались исследования наших ученых. Но между тем, как одни из них пополняли свои гербарии, другое наблюдали барометр или делали вычисления, а третьи разыскивали в окрестных горах богатые залежи свинцовой руды и каменного угля, неугомонный венгерский турист весь поглодан был изысканием родословной своего народа, колыбелью которого, по мнению его, был Северный Кавказ. “Даже на этом самом месте, где теперь стоит наш лагерь,— говорил он Эмануэлю,— на месте пустынном и одичалом, сохранились следы пребывания мадьяров. Невежественные горцы зовут его Хассаут, тогда как настоящее имя его Казаут, что значит по-венгерски “покосная дорога”. Здесь наши родоначальники, на этих самых лугах, пасли своих коней и сюда же, на эту самую речку, водили их на водопой”. Он искал подтверждения своих догадок в местных преданиях, расспрашивал каждого горца, появлявшегося в лагере, и не находил ничего, кроме глубокого изумления со стороны туземцев, которых в данную минуту интересовала не родословная их предков, а внезапное появление русских штыков вблизи их аулов; особенно смущала их артиллерия,— и депутация за депутацией являлись к Эмануэлю с тайной целью выведать — точно ли русские не имеют никаких завоевательных замыслов. Первыми прибыли карачаевцы, которым принадлежал Эльбрус своими северными и западными склонами. Они враждебно отнеслись к де Бессу, и даже у них промелькнула мысль, не пришел ли русский отряд посадить к ним нового правителя, какого-то неведомого им венгра. Эмануэль рассеял их опасения. Он объяснил карачаевцам, в чем дело, и сказал, что опасаться им за свои жилища нечего, что русских ни в чем упрекнуть нельзя, так как они все время свято соблюдали принятые на себя обязательства. “Без надежного военного прикрытия,— добавил он,— я не могу дозволить нашим ученым, присланным от самого государя, предаваться исследованиям, особенно в таких местах, где по трущобам сидят аулы кабардинских абреков”.

Заинтересованные предприятием, карачаевцы остались при отряде с тем, чтобы принять участие в экспедиции, в успехе которой, однако, сильно сомневались. Один из мулл, отправившийся обратно в Карта-юрт, успел успокоить переполошившееся население, после чего сам валий Карачая Ислам-Крым-шамхал тотчас сел на коня и выехал навстречу отряду. Вслед за ним стали являться и другие владельцы, из числа которых обращал на себя внимание ногайский князь Атакой Мансуров, прибывший с огромной свитой. Все они, успокоенные относительно намерений отряда, относились, однако же, с большим недоверием к возможности достигнуть вершины Эльбруса. Энергичнее всех восстали против предприятия старики. “Если бы вы только потеряли время и труд,— говорил один из них де Бессу,— это бы еще ничего; но вы можете потерять людей и погибнуть сами. Идите. Мы от вас не отстанем, будем указывать вам дорогу, но до вершины горы не

дойдем, а если и дойдем, то уже назад не спустимся”. — “Да отчего же? Отчего?” — допытывался де Бесс через переводчика. “Так угодно Аллаху, — отвечал старик, — никто из смертных, пытавшихся проникнуть в тайны Эльбруса, еще не возвращался назад, и никто не может сказать, куда они пропадают”.

Действительно, величественная и грозная природа Кавказа, с ее необъяснимыми для необразованного ума явлениями, сделали горцев чрезвычайно суеверными. Пылкое воображение их населило горы бесчисленным множеством сверхъестественных и таинственных обитателей и создало множество поэтических легенд, из которых мы расскажем же, которые относятся собственно к Эльбрусу.

Одно из самых древних преданий Востока говорит, что кавказские горы первые показали из-под воды после всемирного потопа и что за одну из них, именно за Эльбрус, как за подводную скалу зацепился Ноев ковчег. Он расколол вершину ее надвое и потом уже, отплыв отсюда, остановился на Арарате.

Греческие мифы говорят нам о Прометее, который похитил небесный огонь и был за то прикован Зевсом на вечные времена к кавказской скале, где он томится до сих пор в одной из ледяных пещер Эльбруса.

У горцев Северного Кавказа также существуют подобные легенды. Вот что, например, рассказывают о том осетины.

В глухой и полудикой Дигории, что лежит по соседству с землей карачаевцев, жил один бедный пастух, которого звали Бессо. Однажды, разыскивая горные пастбища для своего маленького стада, он забрел в такие места, где не только никогда не был сам, но где едва ли ступала нога человека. Прямо перед ним вырезывался на голубом небе величественный силуэт Эльбруса, и снеговая вершина его, озаренная лучами восходящего солнца, переливалась всеми цветами радуги. Кругом стояли мрачные утесы, и странно! ему показалось, что они перешептываются между собой.

Какая-то неведомая сила тянула юношу вперед и вперед. Он подчинился ей безотчетно и шел до тех пор, пока не остановился перед зияющей пастью пещеры, угрюмой и страшной, как жилище демона. Оттуда неслись тихие стоны. Бессо смело переступил порог старого, закоптевшего грота — и крик невольного изумления вырвался из его груди. Прямо против входа в пещеру к громадной каменной глыбе был прикован толстыми цепями красивый полуобнаженный юноша; его прекрасные голубые глаза выражали страдание; его шелковистые золотые кудри в беспорядке разлились по плечам, которые едва были прикрыты обрывками пурпурной мантии, испещренной золотыми узорами. Весь пол пещеры усыпан был золотыми и серебряными слитками, а по углам лежали кучи драгоценных камней.

— Бог да благословит тебя, добрый юноша! — сказал незнакомец, обращаясь к Бессо. — Приход твой может избавить меня от страданий, и тебе даст богатство и счастье.

— Приказывай, батона (господин), — отвечал пастух, почувствовавший к узнику необъяснимую симпатию. — Все, что может сделать бедный Бессо, — он сделает.

— Поддай мне конец цепи, которая висит за тобою, Бессо оглянулся. На противоположной стене, куда указывал юноша, был ввинчен обрывок толстой железной цепи. Бессо поднял его, но цепь оказалась короткой.

Тогда юноша сказал ему:

— Слушай Бессо: я могу быть свободен, только схватясь за конец этой цепи; тогда я разорву оковы и уничтожу злого коршуна, прилетающего терзать меня. Но цепь должна быть из старого железа; не пожалей трудов, собери его столько, сколько нужно для полуаршина цепи, скуй ее,— и тогда я спасен, а богатства, которые ты видишь, будут твои. Но помни, пока я не буду свободен, ничей посторонний глаз не должен видеть не только меня, но даже утеса, в котором я погребен уже много-много веков.

Вернувшись домой, Бессо тотчас принялся за свой кропотливый труд: днем он собирал по кусочкам старое железо, ночью — уходил из деревни и перековывал его в пещере, о существовании которой, как ему казалось, никто не догадывался. Но когда цепь была готова, односельцы его, давно подметившие странное поведение пастуха, подстерегли его на дороге и силой заставили вести себя к таинственному гроту. Бессо пошел как приговоренный к смерти.

Вот перед ним показался уже Эльбрус, такой же величавый, такой же сверкающий, как в первый день его свидания с узником; те же скалы стояли на тех же местах, и как тогда, казалось, шептали между собой о тайне, скрытой в их недрах... Вот и пещера узника... И вдруг раздался оглушительный, страшный треск: громадный утес вместе с пещерой пошатнулся на своем основании, оторвался от гор и рухнул в бездну... Дико вскрикнул Бессо и без чувств повалился на землю; несчастный сошел с ума. Что случилось с его спутниками, предание не говорит, но с тех пор на снежных пустынях Эльбруса больше никогда не отпечатывалась нога человека.

Таково осетинское сказание о Прометее. У христианских народов, соседних с Осетией, нет даже следов подобного мифа, и Эльбрус, этот гигант Кавказа, низводится народными легендами грузин на степень нашей Лысой горы, где, как известно, собираются на шабаш киевские ведьмы. Только грузинские ведьмы отличаются от наших доморощенных тем, что совершают свои воздушные путешествия не на традиционных метлах и вениках, а на черных котах, которых воруют у соседей.

Вера в недоступность вершины Эльбруса существует также и у горцев Западного Кавказа. У них также есть свой Прометей. Но какая разница между поэтическим вымыслом греков и суровым представлением наших воинственных горцев. Там Прометей — художник, прекрасным изваянием которого недоставало только души, и, чтобы вдохнуть в них жизнь, он решился похитить огонь с неба. В понятиях горца Прометей — титан, громоздивший скалы, чтобы по ним добраться до самого неба. Одна из наиболее распространенных легенд среди закубанских горцев рассказывает следующее:

На самом темени Эльбруса, с которого снег никогда не сходит, есть огромный шарообразный камень. На нем сидит великан-старик с длинной, до ног, бородой и с красными глазами, которые горят как два раскаленные угля. Много веков пронеслось над землей с тех пор, как он, окруженный недремлющей стражей, сидит, прикованный к скале Эльбруса за то, что когда-то, полагаясь на свои титанические силы, думал низвергнуть самого Аллаха. Иногда старик пробуждается от тяжкого оцепенения, в котором находится века, и спрашивает своих сторожей: “Все ли еще растет на земле камыш и рождаются ягнята?” — “И камыш растет, и ягнята рождаются”, — отвечают ему сторожа. И великан, зная, что он осужден томиться, пока на земле будет проявляться творческая сила Зиждителя, в бешенстве потрясает оковы. Тогда земля колеблется, и от звона цепей рождаются громы и молнии. Никто из смертных не может его увидеть,— на то и стража охраняет вершину Эльбруса, но его присутствие ощущается всеми: его стоны — это

подземный гул, потрясающий подножия гор и утесов; его дыхание— порыв урагана; а слезы— та бурная река, которая с неистовым рокотом вырывается из-под вечных снегов Эльбруса.

По кабардинскому преданию, еще более поэтическому, на том же Эльбрусе обитает Джин-падишах, властитель и царь духов, которого Аллах низверг с небес за то, что в безумной гордыне он думал стать выше Того, Кто сотворил небо и землю. Он также стар — старее нашей земли, потому что сотворен был раньше ее, когда Аллах мановением руки создал бесплотные небесные силы. Наши годы для него мгновение; века и тысячелетия составляют его годы. Он помнит прошлое, которого был свидетелем, но ему известно и будущее. Он знает, что в наказание ему из далеких полуночных стран, где царствует вечная зима, придут великаны и покорят его заоблачное царство. И вот в мучительной тревоге поднимается он порой со своего ледяного трона и зовет со всех высей и пропастей Кавказа полчища подвластных ему духов. Когда он летал, от удара его крыльев поднималась буря, бушевало море и страшным ревом своих волн будило дремлющих в его пучинах духов. Иногда от трона царя со снежной вершины раздавались стоны и плач. Тогда умолкало пение птиц, увядали цветы, вершины гор одевались туманом, вздымались и ревели горные потоки, гремел гром, тряслись скалы — и все покрывалось мраком... Порой неслись оттуда же гармонические звуки и пение блаженных духов, которые, витая над тронном грозного владыки, желали пробудить в нем раскаяние и покорность великому Богу. В это время облака быстро исчезли с лазурного неба, снеговые вершины гор сверкали рубинами, ручьи тихо-тихо журчали и цветы, как благовонные кадиланицы, курили фимиам и наполняли воздух благоуханным ароматом. Но грозный старец не внимал зову небес. Он вперял взоры на север и видел, как оттуда

Колыхаясь и сверкая Двигались полки...

Это север слал свои дружины, и стальная цепь штыков их уже протянулась до предгорий его Эльбруса...

Теперь от области народных фантазий перейдем к действительности. Мифы доказывают пытливость человеческого ума, который до тех пор не даст себе покоя, пока не разрешит представившейся ему загадки. Той же пытливостью объясняется и предпринятое Эмануэлем восхождение на Эльбрус. Отряд его мы оставили в долине Хассаута, откуда шестнадцатого июля караван двинулся дальше и после трудного трехчасового перехода поднялся на высоту семи тысяч футов над уровнем моря. Это была вторая ступень исполинской лестницы, ведущей на Эльбрус с востока. Она состояла из обширного плато, известного под именем Зидах-тау, и была ограждена такими теснинами, что небольшая горсть людей, вооруженных винтовками, могла бы здесь остановить напор целой армии. На Зидах-тау, так же, как и у Хассаута, войска нашли все необходимое для бивуака: обильные пастбища, прекрасную воду и хворост для шалашей и костров. Но здесь же им пришлось испытать на себе и влияние некоторых климатических условий этого негостеприимного пояса. Из-за гребня ближайших высот вынырнула вдруг огромная черная туча, мгновенно омрачившая небо, и над лагерем пронесся ураган с проливным дождем и градом. Удары грома, сопровождавшиеся глухими раскатами в горах, придавали нечто грозное общей картине страны, внушая путешественнику, что он приближается к священной горе, недоступной назойливой пытливости человека.

За первой тучей стали появляться другие, и только к вечеру все они потянулись на восток освежать раскаленные степи каспийского побережья. На другой день утро было чудесное. По краям голубого неба торчали серебристые пики снеговых гор, и между ними кое-где еще плавали остатки облаков — последние следы пронесшейся бури. Солнце грело, но не

жгло и не сушило, как на плоскости. Трава, отчасти вытоптанная лошадьми и верблюдами, распространяла здоровое весеннее благоухание. Людям, принимавшим участие в экспедиции, пришлось в этом году второй раз встретить весну, хотя июль перевалил уже за половину и внизу стояло сухое, знойное лето. Около семи часов утра отряд стал подниматься выше, на следующее плато, известное у туземцев под именем Карбиза. Дорога, огибая пропасти и выступы скал, делала переход тяжелым и утомительным, а между тем Эльбрус точно угадывая намерение копошившихся под ним пигмеев, окутал свою корону густыми облаками и выслал навстречу экспедиции новую вереницу туч, опять разразившихся ураганом с громом и молнией.

Всю ночь бушевала буря и только к утру, точно утомленная напрасной борьбой с человеком, притихла. Войска поспешили оставить это негостеприимное плато и поднялись еще выше, на новую ступень, где им опять пришлось увидеть весну, но в раннем ее периоде. Своеобразная альпийская флора предстала во всей красе своей первой юности: небольшой лесок, венчавший террасу, едва распустил свою листву, а выбивавшаяся из-под снега трава была густа и нежным цветом напоминала цвет зеленого бархата. Утро опять было чудесное. Опасаясь, однако, новых метеорологических сюрпризов, солдаты деятельно занялись устройством своих шалашей и, навьюченные ворохами свежих древесных ветвей, сновали взад и вперед по лагерю, точно муравьи перед ненастьем. Другого рода деятельность шла внутри палаток, поставленных несколько в стороне от военного бивуака: то была деятельность людей, посвятивших себя науке и открывавших перед ней новые и новые горизонты. Из них двое трудились над своими коллекциями: один, ботаник Мейер, бережно укладывал между тонкими листьями своего гербария собранные им по дорогам образчики растений, никогда прежде ему не встречавшихся; другой, страстный, неутомимый француз, зоолог Менетрие, вооруженный булавками, прикреплял к картону всех возможных сортов и величин букашек, бабочек, пауков, кузнечиков и других представителей энтомологического мира. Ленц приводил в порядок принадлежности своего походного физического кабинета. Купфер, самый симпатичный из четырех членов ученой экспедиции, мягкий, приветливый, с манерами настоящего джентльмена, все время не выпускал из рук пера; добровольно приняв на себя звание секретаря экспедиции, он готовил для академии мемуары, куда заносил каждый факт, каждое новое приобретение науки. Горный инженер, вооруженный геологическим молотком, с утра отправился бродить по окрестным горам и возвратился перед вечером с известием, что им открыты еще в четырех местах богатые залежи каменного угля и что вообще каменноугольный бассейн Хассаута и Малки не уступит в богатстве бассейну верхнего течения Кубани и ее четырех притоков: Мары, Хумары, Кента и Аракента. Что же касается ученого венгра, то ему оставалось только применять к делу неистощимый запас своих этнографических познаний.

Предусмотрительность нижних чинов, употребивших здесь два часа на устройство своих шалашей, оказалась очень кстати. К вечеру полил дождь. Целую ночь шумел он по ущельям, напоминая шум горных каскадов. Но к утру небо очистилось. Солдаты поспешили развести большие костры, чтобы обсушиться перед выступлением, которое назначено было ровно в восемь часов; но в половине восьмого новые тучи скопились над террасой, и полил дождь, хлынувший на бивуак, мгновенно загасил костры, и выступление было отложено. Движение в горах в такую погоду невозможно. Эмануэль решил переждать ее; но погода на этот раз выказала постоянство, на которое трудно было рассчитывать в этой страшно пересеченной местности. Дождь не переставал в течение трех дней, и только в ночь на двадцатое число показались наконец звезды. Заря светлая, безоблачная предвещала ведро, и с восходом солнца барабаны ударили давно желанный генерал-марш. Жители предупреждали Эмануэля, что предстоящий переход будет самый трудный, потому что дорога едва доступна для всадников и совершенно

недоступна для артиллерии и обоза. Кроме того, с той стороны, с которой предпринято было восхождение, Эльбрус окружает природный вал, который достигает девяти тысяч футов над уровнем моря. Отряд двигался медленно. Едва успел он подняться саженей на семьдесят от лагерного расположения, как был окружен густым туманом, налетевшим внезапно, как бы для того, чтобы заставить его одуматься и отказаться от безрассудного предприятия. Более двух часов простояла экспедиция на месте, в ожидании, пока туман разойдется. Туземцы не преувеличивали опасности последнего перехода. Тропинка, по которой взбирались к верхнему уступу, чрезвычайно скользкая, шириной не более аршина, ползла мимо страшной пропасти с одной стороны и отвесными скалами с другой. Люди вооружены были длинными посохами с железными наконечниками и, несмотря на эту предосторожность, ступали шаг за шагом. Странствование по таким местам, помимо военных целей, может быть оправдываемо только любовью к науке, которая требует от своих жрецов такого же самопожертвования, как война от солдата. Караван растянулся версты на полторы. Шествие открывал старшина племени урусипиев Мурза-Кул, бодрый и свежий старик, полюбившийся всем своей веселостью и неистощимым юмором. За Мурза-Кулом шел генерал со свитой, а за ним, вытянувшись в нитку, поднимался отряд, останавливаясь через каждые десять-пятнадцать шагов, чтобы перевести дух. При таких условиях путешественникам было не до разговоров, ни один из них не проронил ни слова, и только изредка, когда измученный де Бесс отставал от генерала, Мурза-Кул кричал ему с дружеской усмешкой: “Гайда, земляк, гайда: маджары никогда не оставались сзади!”

С трудом, но без приключений добрались наконец все до гребня обводного вала. Спуск с него был так же крут, как и подъем, но представлял еще больше опасности, так как спускаться приходилось по скользким и обледенелым камням. У подошвы спуска скалы сходятся так близко, что образуют узкий коридор, едва доступный для движения одного пешехода. Природа точно намеревалась совсем загородить доступ к Эльбрусу, но потом раздумала и оставила проход, известный у местных жителей под именем железных ворот. За этими воротами местность образует новое плато — последнюю ступень лестницы, ведущей к заповедной грани. Теперь уже не оставалось никаких преград, которые заслоняли бы от взоров грандиозную фигуру Эльбруса. Теперь он весь был налицо, от вершины до основания, во всем величии своей необычайной красоты, для описания которой человеческий язык не выработал подходящих выражений.

Террасу, или плато, со всех сторон обступали высокие, остроконечные утесы, на отвесных боках которых снег никогда не задерживался, и потому они сохраняли свой черный цвет, представлявший мрачный контраст с окружающими их снежными пустынями. Из-за угрюмых пиков этих утесов выглядывали купола и пирамиды покрытых вечным снегом гор в одиннадцать и двенадцать тысяч футов каждая. И эти исполинские горы казались пигмеями перед колоссальной фигурой самого Эльбруса. Никому из участников экспедиции не приходилось прежде стоять посреди таких подавляющих своим величием декораций,— и они все поражены были до того, что не обменивались впечатлениями: они молчали или говорили вполголоса, точно в самом деле стояли у входа в святая святых. Под свежим впечатлением этой картины де Бесс в своих мемуарах обращается к атеистам, приглашая их взглянуть на Эльбрус с того места, на котором он стоял перед ним в немом созерцании, и, положив руку на сердце, сказать — достанет ли у кого-нибудь из них смелости отвергнуть Художника, написавшего такую дивную картину, воздвигшего такой храм, у преддверия которого никаким земным помыслам не остается места в душе человека,— ничему, кроме молитвы и смирения.

На этой террасе отряд расположился лагерем. Теперь Эмануэль уже не сомневался более в возможности достигнуть кульминационной точки Кавказа, и восхождение на Эльбрус назначено было на другой день, двадцать первого июля. Между тем маленький отряд,

сопровождавший экспедицию, принялся устраивать для себя помещения, насколько позволяли имевшиеся под рукой средства, а на этот раз под рукой не было ничего, кроме снега да скудного подножного корма. Но кавказский солдат умел находить для себя необходимое даже там, где, по-видимому, не росло ни одной былинки. Рассыпавшись по окрестным ущельям, солдаты набрали на какой-то лесок и стали возвращаться в лагерь по одному и по два с охапками хвороста до того скромными, что за ними, кроме движущихся ног, ничего нельзя было видеть. Об усталости они совсем забыли и вспомнили об отдыхе только тогда, когда последние лучи догоравшего дня потухли на серебристых шатрах Эльбруса и на их лагерь опустилась холодная звездная ночь. Громадные костры запылали между шатрами, и Эльбрус, может быть, в первый раз увидел на своих равнинах огни, кроме тех, которые каждое утро и каждый вечер зажигались на куполах окружающих его высоких гор.

На следующий день, еще не начинала заниматься заря, как все были уже на йогах. И людям, просвещенным наукой, и темным простолюдинам одинаково хотелось хоть один раз в жизни насладиться видом Эльбруса при первых лучах восходящего солнца. И вот звезды стали гаснуть одна за другой. На востоке протянулась белая полоса рассвета, и снеговые горы, окутанные синеватой мглой, стали окрашиваться в такой нежно-розовый цвет, что издали казались прозрачными. И вдруг, ледяная корона Эльбруса зажглась мириадами ослепительных искр, и весь он предстал во всем блеске утреннего наряда, одетый в серебро, как в златотканую глазетовую ризу. То же явление повторилось и на соседних, покрытых снегом вершинах. Даже черные, остроконечные утесы на несколько мгновений утратили свой угрюмый вид и казались отлитыми из флорентийской бронзы. Картина была достойна великого Художника, Зиждителя этой дивной природы. И взоры людей невольно обратились вверх, к беспредельной глубокой синеве эфира, куда с земли не достигает ничего, кроме молитвы...

В восемь часов утра двадцать второго июля Эмануэль вышел из лагеря с небольшим конвоем и, поднявшись на крутой и высокий холм, долго и внимательно осматривал в подозрную трубу восточный склон Эльбруса. Осмотр убедил его, что впереди препятствий не было, что все, что могло остановить или задержать его предприятие, было пройдено ранее. Оставался один корпус горы, но этот корпус поднимался на девять тысяч футов, почти вертикально над террасой, где стоял отряд,— и страшная высота, на которую приходилось взбираться, невольно пугала самое смелое воображение. Все народные мифы о недоступности этой горы оправдывались величественным и в то же время грозным ее видом. Эльбрус — это громадная снеговая пустыня, выброшенная из недр земли одним из тех мировых переворотов, которыми создавались материки и океаны. Это целая страна, перенесенная в заоблачные пространства, страна унылая, необитаемая, суровая. На полюсах есть жизнь, на Эльбрусе ее нет. Название мертвой горы к нему еще более пристало, нежели к Асфальтовому озеру название Мертвого. В одиннадцать часов утра генерал вернулся в лагерь и тотчас же приступил к снаряжению небольшого каравана, который должен был сопровождать ученых-натуралистов на Эльбрус. Вызваны были охотники. Вышло двадцать казаков и один кабардинец, по имени Киляр. К академикам присоединился еще итальянский архитектор Бернадацци, но зато ученый венгерский турист предпочел оставаться внизу, в роли простого наблюдателя.

Запасшись на два дня провизией, караван выступил из лагеря, напутствуемый пожеланиями генерала и всех присутствующих. Прямо с террасы пришлось подниматься на так называемые черные горы, среди крутых и скалистых утесов, на которых не было ни малейших признаков тропинки; каждый ставил ногу туда, где казалось ему более удобным и безопасным, чтобы не сорваться в бездну. Не только академики, но даже казаки и проводник Киляр не решились доверить свою жизнь животным, и потому все спешили и

вели лошадей в поводу. К вечеру черные горы были пройдены, и на площадке одной из них, под навесом выступившей громадной скалы, экспедиция заночевала. С этого момента генерал, наблюдавший за ней все время в телескоп, потерял ее из виду.

Только на другой день, в самый полдень, де Бесс первый заметил в телескоп на сверкающих снеговых покровах Эльбруса четырех человек, которые пытались достигнуть самой вершины горы. Трое из них скоро исчезли из виду, но четвертый поднимался все выше, выше — и вдруг фигура его рельефно обрисовалась над самой короной Эльбруса. То был, как оказалось впоследствии, кабардинец Киляр, уроженец Нальчика. Его появление на вершине горы войска приветствовали тремя ружейными залпами, и эхо гор, дремавшее столько веков, повторило громовые раскаты пальбы столько же раз, сколько высот окружало священную гору. Едва ли какое-либо другое торжество сопровождалось таким величественным и грозным салютом.

К великому смущению местных жителей, никакого старика с длинной белой бородой, прикованного к скале, на Эльбрусе не оказалось. Джин-падишах, окруженный несметными полчищами своих подвластных духов, также не сделал никакой попытки к сопротивлению. Люди, пришедшие с полчных стран, где царствует вечная зима, исполины по духу, покорили его заоблачное царство и сняли с узника оковы. Если бы де Бесс менее увлекался генеалогией своего народа, он бы мог написать в своем дневнике: “Мы ходили освободить Прометея, и Зевс не только не прогневался на нас, но, напротив, послал нам чудное синее небо, теплый ласкающий воздух и девственной белизны мягкий пушистый ковер под ноги”.

Киляр никого и ничего не видел на Эльбрусе, но, на память о своем восхождении, принес оттуда черный с зеленоватыми прожилками камень, оказавшийся базальтом. Генерал приказал разбить его на две равные части, из которых одну отослал в Петербург, другую вручил де Бессу для хранения в национальном музее Пешта.

Ученая экспедиция спустилась в лагерь в тот же день, но вследствие чрезмерной усталости не могла представиться генералу. Попытка взойти на Эльбрус ни для кого не прошла безнаказанно: глаза всех страшно распухли, а на лицах появились темные багровые пятна. Вершины горы никто из академиков достичь не мог, и все ученые наблюдения производились с небольшого обледенелого выступа, откуда окрестная страна представлялась обширной, рельефной картой. Академики сделали все, что могли, и большего требовать было нельзя от людей, не имевших ни навыка, ни опытности, ни выносливой натуры горца. Выше всех из них поднимался молодой Ленц, но и он остановился на высоте пятнадцати тысяч футов. Купфер и Менетрие не пошли далее четырнадцати тысяч, а Мейер отстал от всех, хотя и ему удалось переступить границу вечного снега.

Утром двадцать второго июля, в то время, как натуралисты, опираясь на свои длинные шести, взбирались по обледенелым крутизнам Эльбруса, Эмануэль со своей стороны предпринял также небольшую экскурсию. Он не мог оставаться праздным, когда другие, может быть, с опасностью для жизни, предавались своим бескорыстным исследованиям в интересах науки. Если лета и высокое положение, занимаемое им в служебной иерархии, не позволили ему принять непосредственное участие в трудах академиков, то он пожелал по крайней мере ближе ознакомиться со всеми окрестностями Эльбруса и видеть все его достопримечательности. Уже давно он обратил внимание на глухой, однообразный шум, нарушавший торжественное молчание ночи, шум, напоминавший грохот экипажей, снующих взад и вперед по бойким улицам большого города. “Что это такое?” — спросил он одного горца. “Это Малка шумит”, — ответил тот. В ту сторону генерал и направил

свою экскурсию в сопровождении де Бесса, нескольких офицеров и конвойных казаков. Чем ближе подъезжали путешественники, тем явственнее доносился до них сердитый шум Малки, и в этом шуме терялся звук человеческого голоса, а в нескольких саженях нельзя было слышать даже ружейного выстрела. Дорога к реке обрывалась на краю страшной пропасти, по другую сторону которой, с высоты семи тысяч восьмисот футов, издала вода, образуя громадный движущийся занавес. Это был настоящий водопад, напоминавший де Бессу знаменитый Шафгаузен на Рейне, но далеко превосходивший его дикой красотой пейзажа. Жители станиц, расположенных у нижнего течения Малки, где она так мерно катит свои желтоватые волны, конечно не подозревают, с какой страшной высоты она низвергается и каким грозным величием обставлена ее колыбель.

Двадцать третьего июля, на другой день по возвращении экспедиции с вершины горы, у Эмануэля был парадный обед, на котором присутствовали представители Кабарды, Карачая, Урусипия и других закубанских народов. За обедом пили шампанское, замороженное в снегах Эльбруса,— и первый тост провозглашен был за здоровье венценосного покровителя наук императора Николая Павловича. Этот тост, за неимением музыки, сопровождался бесконечными ружейными залпами, которым бесконечными перекатами вторило горное эхо; потом пили за инициатора экспедиции генерала Эмануэля, за ученых ее членов, за кабардинца Киляра, за фактическое присоединение Эльбруса к владениям Российской империи. Пили все, не исключая мусульман, которые оправдывали себя на этот раз исключительным случаем. После обеда Киляру вручен был с особенной торжественностью заслуженный приз, а затем состоялась церемония раздачи подарков всем почетным горцам, принимавшим участие в экспедиции.

Чтобы сохранить память о пребывании русских в этих местах, долгое время считавшихся заповедными, генерал приказал вырезать на скале, у входа на террасу, где стоял отряд, следующую надпись:

“В царствование Всероссийского Императора Николая I стоял здесь лагерем с 20 по 23 июля 1829 года командующий войсками на Кавказской линии генерал от кавалерии Георгий Эмануэль. При нем находились: сын его Георгий четырнадцати лет; посланные российским правительством академики: Купфер, Ленц, Менетрие, Мейер; чиновник горного корпуса Вансович, архитектор Минеральных Вод Иосиф Бернадацци и венгерский путешественник Иван де Бесс. Академики и Бернадацци, оставив лагерь, расположенный в восьми тысячах футов (1143 сажени) выше морской поверхности, всходили двадцать второго числа на Эльбрус до пятнадцати с половиной тысяч футов (2223 сажени). Вершины же оно достиг только кабардинец Киляр. Пусть сей скромный камень передаст потомству имена тех, кои первые проложили путь к достижению донныне считавшегося неприступным Эльбруса”.

Кажется, эта же самая надпись находится на двух чугунных досках, которые стоят теперь на пятигорском бульваре, у грота Дианы, привлекая толпы любопытных как две скрижали, оставшиеся от давно минувшего и уже полузабытого времени. Доски отлиты на Луганском заводе и, по всей вероятности, предназначались сначала к постановке на том самом месте, где Эмануэль начертал свою надпись.

Двадцать третьего июля ученая экспедиция была окончена, и в тот же день, в три часа пополудни, назначено было обратное выступление. Войска, среди нахлынувшего вдруг густого тумана, скрывшего от глаз грандиозный ландшафт, окружавший террасу, спустились на плато Карбиза и отсюда, оставив в стороне Хассаут, повернули к верховьям Кубани, к так называемому Каменному мосту. Это были места, также никогда не посещавшиеся нашими войсками. Они поражали своей пустынностью и в то же время

картинностью видов, менявшихся на каждом шагу и оставлявших по себе неизгладимые впечатления. Это была панорама, с которой, по словам де Бесса, не может сравниться ни один из виденных им пейзажей в Швейцарии. “Там,— говорит он,— на каждом шагу озера, в прозрачных водах которых отражаются горы,— в этом вся красота Швейцарии, красота величественная, спокойная, но довольно однообразная; здесь встречается все, что только может требовать взыскательная фантазия художника; в особенности хороши угрюмые, голые утесы рядом с роскошнейшими представителями флоры”.

Замечательно, что на всем пути, где войска останавливались, и даже в ближайших окрестностях,— нигде не было видно следов пребывания человека. Даже от жилищ его ничего не осталось; время сравняло их с землей и не коснулось только жилищ мертвецов: оно пощадило два кладбища — одно христианское, с глубоко вросшими в землю крестами, другое магометанское. От первого веяло седой древностью, последнее принадлежало к позднейшей эпохе, хотя также поросло мхом и обвилось повиликой. Но еще древнее, чем христианское кладбище,— были курганы, которые тянулись по сторонам дороги. Все они были расставлены на таких одинаковых, точно отмеренных расстояниях, так были похожи один на другой, что, несмотря на их внушительные размеры, невольно приходила в голову мысль, что они — дело рук человеческих. В такой безукоризненной симметрии природа не ставит своих декораций. Эти курганы, по всей вероятности, и были могилами родоначальников или вождей какого-нибудь народа, давно сошедшего со сцены истории. Быть может, раскопки и дали бы какие-нибудь указания, но средства и время не позволяли заняться решением задач, входивших в область археологии. И тем не менее, по этим надгробным памятникам, придававшим стране грустный элегический характер, можно было читать ее историю. Язычество, христианство и магометанство — каждое имело здесь свою эпопею. Византийский монах, с крестом в руке, вытеснил отсюда жрецов, не знавших истинного Бога; чалма вытеснила монашеский клобук,— но кто вытеснит чалму? На этот вопрос, обращенный к туземцам, последние отвечали только красноречивым пожатием плеч.

Двадцать восьмого июля отряд, после пятидневного марша, приблизился наконец к Кубани, к знаменитому Каменному мосту. Эльбрус остался теперь позади, и те, которые видели его так близко, провели два дня у его подножия, отныне будут его видеть только издали, на краю небосклона, в тех же белых ризах, но уже не в той величавой обстановке и не с тем ослепительным блеском. Но Эльбрус теперь не занимал путешественников; их занимал Каменный мост — это грозное явление природы, которому де Бесс дает характерное название “прекрасного ужаса”. Каменный мост — это две скалы, свесившиеся над бездной с двух противоположных берегов реки. В давно прошедшее время они составляли, вероятно, одну сплошную арку, но вода разорвала ее и оставила посередине провал сажени в две шириной. Чтобы устроить мост, нужно с одной стороны на другую перекинуть кладки. И такие кладки существовали здесь до 1828 года, когда Эмануэль приказал сбросить их, чтобы лишить горцев возможности тревожить наше укрепление, стоявшее верстах в десяти ниже моста. Кубань, загроможденная обломками скал, низринутых со своих пьедесталов, бушует здесь с такой ужасающей силой, что громоздкие обломки ни секунды не остаются на месте: они двигаются под напором воды, сталкиваются и производят грохот, при котором можно объясняться только знаками. Если бы горы, окружающие эту дикую местность, не задерживали звуков, грохот этот разносился бы так далеко, что его слышали бы во всех казачьих станицах, на нижней и на верхней Кубани. Ученым академиком, сопровождавшим Эмануэля, довелось, таким образом, в короткое время находиться под впечатлением двух диаметрально противоположных явлений природы: созерцать величаво-спокойный Эльбрус и видеть неистово бушующие волны Кубани. Здесь, более чем где-нибудь, человек мог постигнуть и величие своего разума, и ничтожность сил, которыми его одарила природа; он может

воспроизводить искусственные водопады, может прорывать перешейки, чтобы соединить две части света, устраивать воздушные дороги, оплодотворять и заселять великие пустыни Африки, но он не в состоянии, при всех усовершенствованиях техники, создать что-нибудь подобное Каменному мосту на Кубани. Только природа могла соединить в одном произведении столько страшного величия с красотой, не поддающейся описанию.

Стоя на одном из выступов скал, академики заметили вблизи небольшое, но прекрасно содержанное кладбище, на котором, посреди неумолчного рева волн, покоились вечным сном мусульмане. На одном из памятников, поставленных в виде часовни, де Бесс прочел следующую, не лишенную поэзии надпись:

“Когда я навещаю тебя, я исполняю только свой долг. Сегодня ты успокоился, завтра придет моя очередь”.

В четырех верстах отсюда была еще одна достопримечательность, обязанная своим происхождением уже человеку. Это одинокое здание, вознесенное на высокую гору и напоминавшее наружным видом древние византийские храмы. Это, действительно, и был храм, воздвигнутый на служение христианскому Богу. Века, пронесшиеся над ним, не оставили заметных следов разрушений, и даже мусульмане щадили древнюю святыню, которая продолжала стоять, возбуждая благоговейное почитание всех окружающих народов.

К сожалению, прибыль воды в реке, закрывшая все переправы, не позволила нашим путешественникам ближе ознакомиться с этим древним памятником христианства. Но, по словам Эмануэля, посетившего церковь в минувшем году, она настолько сохранилась, что реставрировать ее было не особенно трудно. Но для кого было реставрировать ее? Кто будет охранять святыню? Чьи молитвы будут возноситься перед алтарем ее? Не одно поколение сойдет со сцены прежде, нежели над ее старинными сводами исполнится пророческое слово Евангелия... “И будет едино стадо и один пастырь”.

Первого августа отряд возвратился на линию и был распущен по квартирам.

Восхождение на вершину Эльбруса не было, однако же, явлением одиночным в области географических открытий на Кавказе за время управления краем графа Паскевича. Еще академики, сопровождавшие Эмануэля, не успели представить отчетов о сделанных ими исследованиях, как уже известный своими учеными трудами и путешествиями профессор Дерптского университета Иоган-Фридрих Паррот предпринимает, в сентябре того же 1829 года, восхождение на Арарат.

Всеобщее религиозное уважение, окружавшее эту священную гору с тех пор, как ковчег остановился на ее вершине, покоится прежде всего на библейских преданиях; но и помимо этих преданий Арарат имеет за собой еще большее политическое значение как пункт, где сходятся рубежи трех государств различных национальностей, различных вероисповеданий и, можно сказать, различных судеб, ожидающих их в будущем. Для России Арарат — ворота в Малую Азию, а Малая Азия, соприкасающаяся с пятью морями, представляла собой пять готовых путей во все концы мира. Вот почему все европейские кабинеты не могли не ударить в набат, когда туркменчайский мир передал Арарат во владение русским. Один, уже из современных нам крупных политических деятелей, указывая на него, говорит, что это место избрано самой природой для randevу между Сибирью и Сахарой, что переход от снежных вершин к раскаленным пескам так близок, что здесь один и тот же ветер колеблет своим дуновением и финиковую пальму на месопотамских равнинах, и северную сосну на курдистанских горах; здесь реву

евфратского льва отзывается рев курдского медведя... Естественно, что описание этой горы, исследование ее физических свойств, определение ее высоты и географического положения составляло предмет, над которым стоило потрудиться науке. И вот в начале осени 1829 года, когда спутники Эмануэля, Ленц, Купфер, Менатрие и Мейер, возвращались в Петербург, из Петербурга на Кавказ выехал Паррот. Он был уже на Пиренеях, бродил по его негостеприимным высотам, взбирался по опасным тропинкам на Рис-ди-Миди, наслаждался с Чатырдага прекрасным видом Южного берега Крыма, пытался исследовать ледники Казбека и теперь намерен был подняться на вершину Арарата, на которую ничья нога не дерзала ступить от сотворения мира.

По своему географическому положению Арарат лежит в стране Армении и составляет священную реликвию этого народа; он окружен такими легендами и мифами, которые делают его предметом религиозного почитания, всасываемого армянами с молоком матери. Как всякий народ, потерявший политическую самостоятельность, армяне перенесли на особенности своей религии и ее местных аксессуаров всю ревнивую страстность своей южной природы, и всякий вопрос, касающийся свободного исследования в области их религиозных верований, встречают как посягательство на свою святая святых. Унаследовав землю, которая была колыбелью возрожденного человечества, армяне глубоко верят, что Ноев ковчег и до сих пор хранится на вершине горы, закрытый от взоров людей вечными льдами. Отсюда же вытекает и другое учение, как непосредственно связанное с первым, о святости горы и ее недоступности. Паррот конечно знал это значение Арарата в духовной жизни армян и хорошо понимал, что подняться на его вершину — значило подорвать вконец таинственное очарование, которым армяне окружали свой Масис [Армяне называют Арарат Масис и производят это слово от имени Амоии, одного из праотцов из шестого колена Иафета.].

В последних числах августа Паррот был уже в Эривани, и первый визит был сделан им в Эчмиадзинский монастырь, чтобы получить благословение католикоса. Католикосом Армении был в это время девяностотрехлетний старец Ефрем. Он принял Паррота в торжественной аудиенции, но говорил мало, и когда разговор касался восхождения на Арарат, отвечал или полусловами или короткими, ничего не значащими фразами. Старейшие представители духовенства также не выразили особого сочувствия к предприятию знаменитого путешественника. Прежняя судьба монастыря,— замечает Паррот,— судьба переменчивая и ставившая его в зависимость то от одного, то от другого владетеля, наложила свою печать на монашескую братию, и под личиной холодной вежливости вы здесь увидите скрытность, лицемерие и эгоизм. Тем не менее, при прощании с ученым профессором, Ефрем благословил его предприятие и даже дал ему в проводники весьма смышленного и расторопного дьякона Абовьяна.

Снаряжение экспедиции со стороны правительственных лиц не встретило никаких затруднений, потому что вся страна, лежащая к северу от Арарата, за год перед тем была покорена русским оружием и обаяние целого ряда побед, одержанных Паскевичем в двух последовательных войнах, было так велико, что даже бродячие шайки курдов не смели приближаться к нашим границам. Если Эмануэлю, в его экскурсии на Эльбрус, потребовался целый отряд с артиллерией, то для Паррота оказалось достаточным лишь несколько человек в качестве проводников, и то потому, что один он не решался идти на высокую гору, которая своей вершиной уходила далеко за пределы вечного снега и была окружена глубокими пропастями и вертикальными скалами. Парроту назначили в спутники трех поселян из деревни Аргури, приютившейся в долине св. Иакова у самой подошвы Арарата, и двух рядовых сорок первого егерского полка Алексея Здоровенко и Матвея Чалпанова.

Еще в 1811 году, когда Паррот пытался взойти на Казбек, он оценил русского солдата, который хотя и не был таким отличным ходяком по горам, как прирожденный горец, но зато шел за отважным профессором смело и беспрекословно по таким местам, куда ни один горец из суеверного страха не решался сопровождать путешественника. В Эривани Паррот вспомнил об этой услуге, оказанной ему солдатами восемнадцать лет тому назад, и выпросил себе двух егерей, на которых полагался больше, нежели на всех проводников-горцев. И русский солдат, как увидим, не обманул и на этот раз его ожиданий.

Первую попытку взойти на библейскую гору Паррот предпринял с восточной стороны, казавшейся более доступной, нежели северная. Но это был только оптический обман. Паррот поднялся до тринадцати тысяч футов и должен был остановиться: дальше начинались отвесные кручи и путь преграждался такими ледяными глыбами, на которые не только человек, даже цепкая серна не могла бы вскарабкаться. Паррот заночевал у линии вечного снега. Что должен был он пережить и перечувствовать на этой страшной высоте, в безмолвные часы таинственной ночи!.. Его, как привидения, обступали со всех сторон темные силуэты скал, кругом зияли черные провали, даже днем казавшиеся бездонными, а над головой висели грозные льды — предел, за которым выше облаков возносилась немая вершина горы... И надо всем этим — кроткое сияние звезд и неизмеримые глубины мировых пространств,— красноречивый аргумент вечности и всемогущества Творца!

Если сравнить положение Паррота у вершины Арарата с положением четырех академиков, сопровождавших Эмануэля на Эльбрус,— какая выйдет поражающая разница. Там шум водопадов, говор тысячи голосов, палатки, бивуачные костры, лошади, верблюды... Там было с кем обменяться мыслями, было с кем поделиться восторгом или ужасом. Здесь — царство смерти, абсолютная неподвижность; никакого звука, кроме биения собственного сердца и дыхания спящих проводников, которым не было дела до красот и ужасов природы. Среди этой страшной воздушной пустыни Паррот был один, совершенно один.

Первая неудавшаяся попытка заставила его внимательно изучить северный склон, и восемнадцатого сентября он предпринял второе восхождение на Арарат уже со стороны Эривани. На этот раз его сопровождали те же солдаты, пять крестьян из того же селения Аргури, молодой эчмиадзинский монах Абовьян и двое ученых: профессор минералогии Бехагель фон Адлерскрон и зоолог Шиман. Вторая попытка была немногим удачнее первой: экспедиция перешла границу вечного снега, миновала так называемый ледяной пояс и поднялась на высоту пятнадцати тысяч футов. Но дальше идти опять было невозможно. Паррот и его спутники выбились их сил, а между тем густой туман обложил Арарат и с вершин его поползли черные тучи, предвестники бурь, которые в этом заоблачном царстве бывают губительны. “Гроза,— говорит Абовьян,— разразилась скорее, чем можно было ожидать, и страшная буря, потрясая гору, навела на нас такой сильный страх, что мы впали в уныние, потеряв надежду на какое-либо спасение”. Только один Паррот сохранил невозмутимое присутствие духа. Он видел невозможность бороться с расшвыряемыми стихиями, но прежде чем отступить, приказал водрузить, на память своего пребывания на Арарате, в том месте, до которого доходил, деревянный крест, освященный им в монастыре св. Иакова. Этот крест и поныне виден из Эривани. Ковчег и крест! Колыбель рода человеческого и символ его нравственного возрождения.

Когда крест был врублен в ледяную поверхность горы, Паррот начал спускаться вниз, чтобы ночь не застигла экспедицию на полугоре, среди страшных обрывов и круч; но несмотря на все предосторожности, случился эпизод, едва не стоивший жизни ученому путешественнику. Спускавшийся в нескольких шагах позади него зоолог Шиман вдруг

поскользнулся и, не удержавшись на гладкой поверхности, покатился в пропасть. Желая задержать его падение, Паррот сильно уперся в лед железным каблуком своего сапога, но ремень, которым была подвязана подошва, лопнул, и Паррот, сам потеряв равновесие, покатился вместе с Шиманом. Они летели вниз более полуверсты и только задержались, ударившись о выступ какой-то гигантской скалы, преградившей им путь. К счастью, и Паррот, и Шиман отделались только небольшими ушибами. Тем не менее, опасаясь дать пищу народному суеверию, Паррот тщательно старался скрыть свое падение, чтобы армяне не могли сказать, что его постигла Божья кара за дерзкую попытку подняться туда, куда со времени Ноя запрещено подниматься смертному.

Неудачу своей второй попытки Паррот объясняет не только наступившей бурей, но и ошибочностью в распределении времени, вследствие незнания им настоящей высоты Арарата, значительно превышающей высоту знакомого ему Монблана. Не предлагая, под влиянием усталости и неудач, предпринимать новых попыток, Паррот тем не менее не уезжал с Кавказа; он даже не покидал долины Аракса и очень часто подолгу не спускал глаз с того места, где поставил свой скромный памятник. Погода между тем установилась тихая, ясная и теплая. Грозы, которые к концу лета так часто тревожат атмосферу Эриванского плоскогорья, притихли. Над Араратом не было ни облачка; даже туман, расстроивший смелое предприятие путешественника, давно разошелся, и белоснежные пирамиды библейской горы одиноко возвышались в прозрачном эфире. Впечатления первых двух неудач мало-помалу изгладились; уныние, овладевшее было Парротом, сменилось новой энергией; настойчивость взяла верх над колебаниями, и восемь дней спустя, двадцать шестого сентября, он предпринимает третье и последнее восхождение. Его сопровождали те же лица, с которыми он поднимался восемнадцатого сентября: тот же неутомимый монах эчмиадзинского монастыря Абовьян, те же поселяне деревни Аргури и те же два солдата. Не было только Бехагеля и Шимана, уехавших для исследования кульпинских соляных копей.

Экспедиция провела ночь на двадцать седьмое сентября на скале, гораздо выше того места, где ночевала в последний раз, стало быть, уже за пределами вечного снега. Утро застало всех на ногах. Усталый, но бодрый духом, оставив далеко позади себя крест, медленно взбирался Паррот по гладкой поверхности ледяного пояса. Ослепительный блеск расстилавшейся кругом его снежной скатерти, при ярко сверкавшем солнце, резал ему глаза; но он шёл, останавливаясь только для минутных отдыхов. Теперь никакие препятствия не могли бы заставить его отказаться от предприятия. Он шел с твердым намерением достигнуть цели, для которой приехал за три тысячи верст, зная, что весь ученый мир мысленно следит за каждым его шагом и с нетерпением ожидает известий о результатах его экспедиции. Настойчивость его увенчалась успехом: ровно в три часа пополудни он стал на вершине Арарата. Эту высокую честь разделили с ним эчмиадзинский монах, два русских солдата и два армянина; остальные спутники пристали на половине дороги и дальше не могли сделать ни шагу. Два часа оставался Паррот на Арарате, занимаясь барометрическими наблюдениями и напрасно отыскивая следы кратера, которого, к немалому удивлению профессора, не оказалось. А между тем нет сомнения, что Арарат — потухший вулкан, и следы его извержений встречаются не только по всей долине Аракса, но даже у пределов вечного снега, где черные, точно выжженные скалы носят слишком явные следы своего вулканического происхождения: это застывшая лава, выброшенная из недр земли, быть может, в самый период образования Арарата.

Здесь, так же, как у ледяного пояса, Паррот поставил крест, в ознаменование того, что отныне священная гора должна составлять исключительную собственность христианского мира. Но это торжество не прошло ему даром. Он первый осмелился ступить на

девственные снега Арарата, первый разрушил ореол его недостижимости — и если не был побит камнями или отлучен от церкви, как это случилось бы три или четыре века назад, то должен был выдержать одну из тех нравственных пыток, которые обыкновенно выпадают на долю всех изобретателей и пионеров в области науки. На страницах единственной, издававшейся в то время на Кавказе газеты “Тифлиссские Ведомости” появилась статья, в которой некто Шопен утверждает, что на вершине Арарата со времени всемирного потопа никто никогда не бывал. На это издатель “Тифлиссских Ведомостей” заметил, что не далее, как в 1829 году на Арарат всходил профессор Дерптского университета Паррот и даже на вершине его оставил вещественное доказательство своего восхождения. Шопен возразил, что никто на свете, и тем более армяне, не дадут веры показаниям Паррота уже потому, что самые свойства горы не позволяют подняться на ее вершину. “Паррот,— говорит Шопен,— действительно поставил крест на полугоре, но до этого места и даже несколько выше при благоприятной погоде доходят иногда охотники. Для того же, чтобы отсюда подняться до самой вершины горы, нужно по меньшей мере употребить целые сутки”.

Полемика, предметом которой служил один из выдающихся деятелей науки, не могла не обратить на себя внимание правительства. В Петербурге о ней заговорили. Тогдашний министр народного просвещения князь Ливен потребовал, чтобы было произведено формальное следствие и допрошены под присягой все лица, сопровождавшие Паррота в его экскурсии. “Честь,— писал он генералу Понкратьеву,— дорога для каждого человека, а кольми паче для известного ученого, пользовавшегося всегда добрым именем и видящего, что ныне стараются помрачить его имя в таком деле, которое важно для всей Европы и для России в особенности”. Понкратьев приступил к дознанию с той осмотрительностью и с тем беспристрастием, которых требовали обстоятельства такого щекотливого дела. В показаниях допрошенных армян нельзя было не заметить некоторой уклончивости, легко объясняемой, впрочем, давлением на них общественного мнения, стремившегося подорвать авторитет Паррота и охладить любознательный пыл его последователей, если бы таковые оказались. “Армянская церковь,— говорит Паррот,— распространяя в народе легенду о ковчеге, до того заставило его уверовать в недостижимость вершины Арарата, что справедливость нашего восхождения отрицали даже те, которые там были”. Зато показания двух темных русских солдат, ни чем не заинтересованных в деле, кроме раскрытия истины, отличались такой правотой и чистосердечием, что им нельзя было не дать безусловной веры. Оба они, Чалпанов и Здоровенко, показали, что крест, о котором говорит Шопен, действительно поставлен на полугоре, но что, кроме того, есть еще другой крест, водруженный ими на самой вершине, куда они поднялись вместе с Парротом при третьем восхождении двадцать девятого сентября. Начальство дало за это каждому из них по десять рублей, а Паррот от себя подарил по червонцу.

Так завершилось скромное торжество науки, и памятником пребывания Паррота на Арарате остался крест, к которому прибита свинцовая доска со следующей надписью: “В Царствование Николая Павловича, Самодержца Всероссийского, сие священное место вооруженной рукой приобретено христианскому исповеданию графом Иваном Федоровичем Паскевичем-Эриванским, в лето от Рождества Христова 1829”. С тех пор прошло больше шестидесяти лет, и Европа никогда не могла примириться с совершившимся фактом. Замечателен отзыв одного из ее политиков, сделанный назад тому лет двадцать или двадцать пять. “Величайшая опасность для независимости будущего человечества и для его цивилизации со стороны России,— сказал он,— заключается не в том, что она в Европе расположена только в двадцати часах парового пути от Берлина и Вены, но в том, что в своем поступательном движении в Западной Азии — она стоит уже на Арарате”.